

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

4

НОВЫЙ МИР

2000

4 (900)

2000

ВЫШЕЛ В СВЕТ 900-Й НОМЕР ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»!

**В 2000 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Т. ТВАРДОВСКОГО.**

**В 2000 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ
ОПУБЛИКОВАТЬ:**

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ.** Монахи (роман);
БОРИС АКУНИН. Новый роман;
МИХАИЛ АРДОВ. Вокруг Ордынки (новые главы);
ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть);
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
ЮРИЙ БУЙДА. У кошки девять смертей (повествование в рас-
казах);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Купавна (повесть);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные
заметки);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ИГОРЬ ДЕДКОВ. Дневники 1980-х годов (из наследия);
БОРИС ЕВСЕЕВ. Отреченные гимны (роман);
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
АЛЕНА ЗЛОБИНА. Заметки о раздробленности культурного со-
общества;
ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Культурно-политические статьи для руб-
рики «По ходу дела»;
ТАТЬЯНА КАСАТКИНА. Литература после конца времен
(статья);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пятиречь (сцены из захолустной жизни);
СТАНИСЛАВ ЛЕМ. Эссе из книги «Мегабайтовая бомба» (пере-
вод с польского);
БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских
реакций;
ВЛАДИМИР МАУ. Интеллигенция, история, революция (очерки
жизни современной России);

(См. на обороте)

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);
АНДРЕЙ НЕМЗЕР. Империя от Павла I до Николая I в зеркале новейшей историографии;
ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия;
ЕЛЕНА ОЗНОБКИНА. Тюрьма или ГУЛАГ (современная философия наказания);
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Подарок (сказка о новом);
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. «Гамбургский счет»: возможность и действительность;
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. НЕДО (автогеография);
А. СОЛЖЕНИЦЫН. Крохотки;
ИРИНА СУРАТ. Пушкинский юбилей как заклинание истории (опыт подведения итогов);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Ложка супа (повесть);
ВЛАДИМИР ТУЧКОВ. Русская коллекция;
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Путешествие с... (роман);
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Музыка о перспективах для России и мира (три композиторских портрета);
МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. Людская молвь и конский топ (из записных книжек 1950 — 1990-х годов);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Прощение о Еве (повесть);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, МИХАИЛА БУТОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, НИНЫ ГОРЛАНОВОЙ, ДАНИИЛА ГРАНИНА, СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, АНАТОЛИЯ КИМА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИРИНЫ ПОВОЛОЦКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АНТОНА УТКИНА**; стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, МАРИНЫ КУДИМОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА**; статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРКА ФЕЙГИНА** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 1999 и 2000 годах: \$ 14,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: nmir@aha.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2000» (том 1, стр. 144, вверху). Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталожная стоимость подписки на первое полугодие 2000 года — 210 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2000 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 17 часов. Стоимость льготной подписки — 198 рублей. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9 до 18 часов, в последнюю субботу месяца — с 10 до 13 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (ул. Бахрушина, 28), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабλικейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира»
обращать внимание на обложку журнала.*

*За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется
только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»;
торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

НОВОЛЕТНИЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4 (900)

Апрель, 2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР МАКАНИН — Буква «А», повесть	7
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Жизнь, убегая, стихи	36
БОРИС АКУНИН — Чайка, комедия в двух действиях	42
МАКСИМ АМЕЛИН — Долги земле и небу, стихи	67
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ — Радость, рассказ	72
ЕВГЕНИЙ САБУРОВ — Облака заговорили, стихи	76
МАРИНА ПАЛЕЙ — Long Distance, или Славянский акцент. Сценарные имитации. Продолжение	79
РАХИЛЬ БАУМВОЛЬ — «Пред грозным ликом старости своей...». Предисловие Владимира Глоцера	113

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ — Америка каждый день. Записки натуралиста	119
--	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

Города и годы

ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ — Город мертвых и город бессмертных. Об эволюции образов Петербурга и Москвы в русской культуре XVIII — XX веков	145
ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ — Город накануне	157

ОПЫТЫ

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ — Занимательная диагностика	165
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — «Как сердцу высказать себя?». О русской прозе 90-х годов	185
МАРИНА АДАМОВИЧ — Этот виртуальный мир... Современная русская проза в Интернете: ее особенности и проблемы	193

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Александр Гаврилов. Секс, ложь и медиа	208
Алексей Смирнов. Опыт Холина	212
А. В. Лавров. «...Только слова останутся»	215
Майя Кучерская. Смерть как простота	220

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

АНКЕТА

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, ДАЛЕЕ — ВЕЗДЕ... 223

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИРИНА ВРУБЕЛЬ-ГОЛУБКИНА — По поводу письма Эммы Герштейн 231

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ 232

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко) 240

Периодика (составитель Андрей Василевский) 243

Сетевая литература (составитель Сергей Костырко) 251

SUMMARY 256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ИЗВЕСТНОГО ПРОЗАИКА И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ,
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА В 1986 — 1998 ГОДАХ
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ЗАЛЫГИНА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЛЮБИМОВА
С НАГРАЖДЕНИЕМ ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ!**

**С УДОВОЛЬСТВИЕМ СООБЩАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, ЧТО
ИНСТИТУТ «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» (ФОНД СОРОСА)
ПРЕДОСТАВИЛ ГРАНТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СЕТЕВОГО ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ИНТЕРНЕТЕ ПО АДРЕСУ:
http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Благотворительный Резервный Фонд выкупает с благотворительными целями 1500 экземпляров журнала «Новый мир» для их последующего бесплатного распространения среди неимущих читателей, а также для провинциальных библиотек.

ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

БУКВА «А»

Повесть

Какие слова начинаются на «а»? — спросил активист.

Одна счастливая девушка... ответила со всей быстротой и бодростью своего разума:

— Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист!

«КОТЛОВАН».

1

В тот августовский день з/к Афонцев за обедом обнаружил в своей миске кусок говядины. (Наткнувшись на него ложкой.) Кусок небольшой, плоский. Был нарезан с явной экономией, и все же ложка Афонцева дрогнула, сама себе не поверив. Ложка замерла. А кругом, тем слышнее, стоял звенящий шум. Лязг, какой издают обычно полста алюминиевых ложек в полста алюминиевых мисках. Как не полязгать! Мясо обнаружил каждый. За общим дощатым выскобленным столом. В первых числах августа... В тот самый день, когда буква на скале стала читаться.

В тот же вечер старый грязный зек Ключня вышел из барака. Вышел просто так. Остановился. Однако дальше, чем сойти с крыльца, не разрешалось (без спросу у постового солдата). Зек тупо и долго смотрел на алый закат. Можно сказать, он смотрел на запад из самой глубинки. Смотрел из сибирской тайги в географическую сторону уральского хребта, бесконечно далекого отсюда. Смотрел и шевелил ноздрями. Внюхивался. Желтый лицом (и с оторванным левым ухом) Ключня произнес тогда два слова, услышанные и постовым, и зеками:

— Это ОНА.

Ключня имел в виду волю. Ту самую, которой век не видать. Говорил про волю, а смотрел на букву. Буква уже с перекладинкой, готовая. Лишь передняя нога не вполне закончена. Буква «А» чуть хромала. А Ключня шевелил ноздрями и улыбался. В отличие от Коняева, как сочли зеки, он был **СПЯТИВШИЙ ТИХО.**

Но только уткнулись по-настоящему в вонь одеял, как Конь заорал. Этот тронутый не давал заснуть — снова и снова фамилии! Среди ночи!.. Ни одного мертвяка не забыл. Уйгура вспомнил. Переключка с того света, мать его! Повторялось уже третью ночь. По несколько раз...

— Аввакумов!.. Арье!.. Бугаев!..

Все повскакивали. Тяжелые, сонные, с выпученными глазами. С ухающим сердцем. Ударившиеся башкой со сна и злые. Сейчас тебя прикончим! Втемную! Нам света не надо!

— ...Заикин!.. Зубарев! — продолжал орать тот.

Охрана вошла в барак, грозно зыряка и матюкаясь. Коняев смолк... Охранник, по прозвищу Штырь, поднял руку. Знакомый всем кулак:

— А ну на нары! Спать, падлы, шас собак впушу. Шас яйца пооткусят!

Зеки небыстро полезли на нары. Кто-то нервно и нарочито долго встряхивал вонючим одеялом. Зек Филя во всеуслышанье грозил гвоздем. Ржавым большим гвоздем. Потрясал. Мол, темная темной, а он теперь будет спать лежа на спине и сам учинит Коню расправу — ему один хер, пахан или не пахан!..

Охрана ушла. Уснули. Зек Филя-Филимон тоже спал. Но не на спине, а скрючившись, с зажатым в кулаке гвоздем, чтобы проснуться и с маху всадить в глотку, как только среди ночи этот тронутый опять завопит: «Аввакумов!.. Арь!.. Бугаев!.. Буражников!» Плевать, вожак или не вожак. Список Филя ему докричать не даст. На Р-рр-абиновиче он его прикончит! Век без воли!

С того же дня... Вырубленная на скале «А», она стала давить на старого Коняева. Давила на его глаза. На мозги. На дряхлевшую душу. Коняев, вожак барака-один, не мог ночью как следует уснуть. Не мог спать. Все время видел эту громадную букву. Он вскрикивал. Ее раскоряченные огромные ноги... Ее треугольная акулья голова.

Зеки окрысились, ему не веря. Считали, что ночной переклик мертвых нужен сейчас Коняеву. Базар нужен ему самому — его сдохшему авторитету. Стоило появиться букве (всего-то первой), вожак уже заважничал. Хотел отметить, старый мудака! Вожаки тщеславны, их паханская одурь известна. Но ночами надо спать. И не хера из-за своих сладких мыслишек подставлять всех других.

Это ж с ума сойти!.. Негоже хоронить безымянно. Негоже, мол, в общей яме. И все в таком духе. Нужны отныне таблички для мертвых. Смерть, мол, и подсказала ему, Коню, первый шаг. Смерть подсказала жизни. Возможно, в этом назревала уже некая общая мыслишка. Возможно, такие, как Конь, вдруг спятившие, чувят, куда ветер, — тогда это и впрямь мог быть шаг в правовое поле. Первый шаг-шажок. Но зеки-то понимать околесицу не могли. И не хотели. (Мы и слов таких тогда не знали.) В каком-то смысле слово, выбиваемое на камне, будет как их посмертная надпись. А скала — как их общая могильная табличка? И на века. Без имен. Без дат... Вот что, должно быть, померещилось старому Коню. Безликая величественность его напугала. И вот он про таблички и могилки... могилки!.. могилки! Сначала зеки думали, что туфта. Что заморочка. И что Конь собирается под это дело выбить у начлага в будущем какую-то для зека жрачку. Еду. Таблички — как талоны. И каша в котле через край... Но какая жрачка, какая еда, если он кричал про то время, когда тебя уже засыпят землей. Надо не надо старый мудака требовал не каши и не картошки, а поименные могильные холмики — мол, ждет каждый! Зеки не знали, что и подумать. Казалось, этот тронутый предлагал делить кладбище уже сейчас. Скорей, скорей. Не прозевать бы! Землицу-то!..

Уже более года у зеков осуществлялась своя тайная и горделивая затея — выбить вблизи лагеря на камне некое слово. На скале. Чтоб издали видеть. Буквы на камне тем и хороши, что сделаны своим трудом и что не вписываются в обрыдлый лагерный распорядок. (Как не вписывалось, скажем, тайное собрание сухарей. Или самодеятельный концерт к Первомаю. Когда по-тихому сочиняли стихи о вожде.) Отчасти, конечно, и вызов. Слова не значили. Даже самые простые. Разве что шум, сморчок, хрип, звук беззубого вонючего рта. Слов как слов давно нет, их обнулили. Потому, быть может, и важным (и греющим вялые честволюбия) казалось выбить слово киркой и зубилом. Потому и ждали день за днем свою первую букву. Зеки как зеки. С каждой выбоинкой на камне они, мол, теперь

мало-помалу куда-то двигались. Продвигали куда-то в вечность свои срачные жизни. Свои застывшие серенькие судьбы.

За час-полтора до удара о рельсу трое «больных» бросали лопаты и отпрашивались с насыпных работ. Выкраивали (выпрашивали) у охраны эти полтора часа и уходили будто бы в лагерь, а шли к скале. Дело небыстрое. Но для зеков это и лучше, что небыстрое! День ото дня. Неделя... Месяц... А вожакам неспешность дела помогала держать зековскую массу заодно. Само слово от большинства пока что утаивалось. (Меньше опасности проболтаться.) Очень возможно, что о потаенной работе лагерное начальство уже знало. Не поощряло, конечно. Но смотрело сквозь пальцы. Их тоже устраивала занятость зеков чем-то определенным и понятным. Трех-четверых отпускали без конвоя. Из этого лагеря убежать нельзя: все знали.

Возможно, начлаг с спокойным интересом наблюдал их ударный труд. Посматривал в бинокль. Разглядывал, как там, высоко на скале, висит на веревках и болтается куклой (если ветер) один из его стриженных дурачков. Зек с киркой. А еще два дурачка, сидя на самом вершине скалы и побагровев лицами, удерживают зека в натяг каждый своей веревкой. Пусть их! Пока, собственно, выбили одну букву, и ту не до конца.

Оказалось, Ваня Сергеев... Вдвоем... С ним Енька Шитов, хилый пидар-туберкулезник. Этот бежать ну никак не мог. Он и к насыпи, на работу, еле-еле шагал... А Ваня сглупил. (Не оговорит ли теперь кого Енька? Не переложит ли пидар на зеков вину за побег?..) Ваню застрелили. То ли при поимке его забили. Так измудохали, что уже в тайге помер.

Разве что сам начлаг нуждался в таком побеге. В том, чтобы время от времени кто-то уходил в тайгу. Чтобы исчез там не более чем на денек-два. Это бы не в учет. Бодрит охрану, а собакам дает власть порыскать, побегать, ловя ветер в глаза.

Шли на работу, соединившись с барак-два. Побег? Неужели?.. Обменялись слухами: вы нам, мы вам. Шкандыбали. Колонна доходит. То упадет кто, то выбьется из строя. Кто-нибудь непременно хотел на ходу помочиться. Охрана и собаки тоже нервничали, но пока не ярились. Афонцев приотставал, перешнуровывал жуткие битые ботинки. Горячился, передавая на ходу новости (а что-то узнавая сам). Енька пойман, кашляет в «лазарете»... Козлик внушал Афонцеву опасение — надо бы бочком-шажком к нему пробраться. И поддержать. (Хоть бы через фельдшера.) Дать знать, чтоб не скис совсем и не ссучился. Чтоб молчал.

Струнин — вожак барака-два — бросил вполголоса:

— Вот ты, Афонцев, и пробейся к пидару.

— Чего это — я?

— Ты ж с ним в дружках.

Афонцев от неожиданности не отспорил, смолчал. Не был он дружком с Енькой... раз как-то побить не дал. Охрана себе в угоду прикармливала Еньку, жалкого, женоподобного, но он стал плохо кашлять. Теперь был им не нужен — с сукровицей на губах. С комковатой выкашлянной слизью на подбородке. Охрана пинками гнала его, а он все жался к их мискам. (Боялся, что лагерники отнимут пайковый хлеб. А потощай теперь малость, как все мы!) Афонцев и Деревяго тогда пожалели его: отделили ему место на нарах.

Кремнистая белесая осыпь, топот ног и общий глуховатый галдеж в колонне — это потому что туман. Шли рядом. Туман вдруг напознал и прятал лица зеков, напряженные скулы.

На насыпи сразу же свалился дохляк Тутушин — зек помирал. Никто к нему не кинулся. Корешей нет. Охране тоже начхать. А до перекура рано. Оттащили в сторонку. Все же по-человечески. Ведь подыхающий на виду всех только раздражает. Лежал с раскрытым ртом. Синегубый... Прервали

работу, но никак не из-за Тутушина. Лопаты в землю торчком. Это их спятившего жоака опять подхлестнуло. Заговорил! Не только же начальству и не только охране — пишите на могилах и нам, зекам... Имена! Даты! Каждому! — орал Коняев. Спятил. Он даже грозил новым побегом! Но вот тут зеки уже загудели. Не подставляй нас, Конь. На фиг нам твои таблички! Возьми их все себе!.. Урежут хлеб, картошку. Пол-лагеря вымерзнет за будущую зиму!.. Они не оглядывались (не посматривали, как там их упавший), а Тутушин все валялся. Все дергался, никак не помрет. Но хоть глаза не мозолил. В сторонке. Все как у людей... За шумом и голосами его хрипы не слышались.

Опер, подойдя, ударил (легонько ткнул) жоака в грудь:

— Заткнись, Конь. Дощечки-таблички... Ты-то, неугомонный, чего хочешь?

Коняев осекся.

— То-то, — хмыкнул опер.

Коняев переморгал что-то личное. Как всякий старый псих... С фиолетовыми пятнами на щеках. Но тут же завопил оперу в лицо. Он прямо завыл — не думай, сука, что быльем порастет. Таблички и задним числом на могилках ставят. Вот так! Посмертно! Табличка к табличке! Он, Коняев, не зря же запоминал и всех помнит.

Тутушин как раз захрипел отходную. Громко. Зеки и тут не оглянулись. (Недовольные... Мешал слушать.) А Конь, дались ему могилки, уже опасно и нагло надвигаясь на опера, продолжал вопить свое.

За десятилетия он, может, и проскочит памятью кого из умерших. Он не контора. Не ангел, если кое-чью душу упустит! Но зато весь прошлый год... И эти полгода... Вплоть до лета сидят у него в голове. В памяти. Как гвозди в башке! Будьте уверены!.. И старый жоак стал выкрикивать поименно:

— Аввакумов, Арье, Бугаев, Буражников, Вахтин, Венедиктов, Грелкин, Гусаров, Деев, Еманский, Жижкин, Заикин, Зубарев... — весь список.

Все продолжал и продолжал. Он даже не запинаясь. Трехун-Заизбенный, помер с дизентерией, даже его легко выговорил.

— Рабинович А., Рабинович И., Разуваев...

Зеки, со своей давно скисшей памятью, разинули рты. Потрясенные — сколько же их померло! Каждый помнил ну пять, ну шесть. Каждый своих. Надо же сколько!.. Для нас мертвые куда-то исчезали. Их смывало дождем. Это ж надо, так всех упомнить! Неужто всем жмурикам теперь таблички?! Были потрясены цепкостью, настырностью памяти. Зеки восхищенно смотрели — вот он! вот пахан! не чета гондону Струнину из барака-два!.. Но если б он еще и не орал по ночам! Ведь спятил, сука...

Не перебивали его. Конь доорал весь список.

За эти новые полгода (вплоть до августа) померли Ачунин, Братков, Васильев Д., Васильев С., Гришаев, Грушин, Драгонский, Елмачов, Жихарев, Иванов Н., Иванов М., Кистяков, Крамаренко, Мумлаев, Обломовцев, Примаевский, Ражков, Сухарев, Трехун-Заизбенный (брат прошлогонного), Тропаревский, Хаснутдинов, Хренов, Цицаркин, Ямцов.

2

Тропу охрана угадала, так что собаки обнаружили запашок беглецов в первом же долинном лесу. Участвовал к тому же опер, читавший примятую траву как газету. Лучше любой сторожевой... Мокрый Енька выполз из росной травы, хныкал. С одним пойманным уже было решили вернуться в лагерь. Уже возвращались... Когда опер вдруг указал рукой, и собаки кинулись к старому, почти мертвому дубу с огромным дуплом. Охранники сначала постреляли влесть, пробивая насквозь кору там и здесь. Дуб изрешетили. Стали кричать: «Эй! Выходи! Руки подыми — и выходи!»

Выходить было некому. Сами и вытащили Ваню из дупла. Грудь была прострелена дважды. С лица сорван пулей нос.

Подробности побега узнались в зоне уже к вечеру. За Ваню Сергеева почему-то злobiliсь бывшие урки. Филя, сплевывая, кривился. С неким намеком. Смерть зека — тьфу, повседневна, но смерть беглого зека бластных язвила:

— Ваня мужик солидный. А поймали его слишком быстро!

Дураковатый зек Колесов, бывший врач, рассуждал вслух, расчесывая свой шрам на голове:

— В говядине много железа. Дополнительная энергия для побега. Эритроциты. Гемоглобин...

Тому лет пять, как побоями у Колесова вышибли из головы все, кроме отдельных, заученных в студенчестве фраз.

На него заорали:

— Умник сраный! Лопатой, лопатой работай!

И Колесов тотчас ускорил движения рук. Виноват-с. Он ведь строил насыпь этой лопатой. Каждый из них строил насыпь. (Так было написано на лозунге в зоне. Белым по красному.) Их приводили сюда день за днем, помимо банных.

Афонцев такой же лопатой бросал землю с машины — через открытый задний борт.

— Эй! Гляди же, сука! — заорал солдат. Скучавший внизу возле грузовой машины.

И передернулся на месте, встряхивая добротными сапогами. Афонцев, похоже, швырнул землю прямо ему в ноги. Жаль, не в пах.

Километр за километром насыпная земля уходила в просеку, надвигаясь тупым рылом на серенькую тайгу. Насыпь для будущей дороги. Она была так же малопонятна, как красно-белый лозунг. Насыпь метила куда-то слишком далеко. Непостижимо далеко для голодного зека.

— Гляди...

Другая машина, уже без земли, торопилась пройти мимо разгружаемых. Едва не зацепила на повороте соседнюю. Не долбанула ее ржавый борт...

— Гляди же, сука! — заорал солдат теперь на шофера.

— А, заткнись, Жора! — весело крикнул шофер.

Такой же, по сути, солдат, шофер, в отличие от присматривающего солдата, был улыбочив. Сидел с открытой пастью. Может, говядина (много железа) и впрямь уже поставляла гемоглобин. А с ним энергию... Афонцев видел сегодня не менее пяти смеющихся солдат.

После разгрузки тотчас послали на тачки. Язвенник Деревяго старался, чтоб земли в его тачке поменьше. Чтоб надрыв не сразу. Первую тачку всегда усмотрят и всегда прикрикнут. И потому Афонцеву было катить первую — самую видную. Афонцев и покатил. Афонцев не спорил. Тем более не сейчас, когда Деревяго хватался за кишки.

— Ты б не курил, — сказал он Деревяге.

Сам Афонцев покурил всласть. И тоже, как ему казалось, толкал сегодня тачку веселее (говядина?). Он даже поигрывал корпусом тачки вправо-влево. А нагрузил-то горой!

Доски, выложенные узко и состыкованные, вели от грузовиков к правому скату насыпи.

— Давай, давай! — поощрительно заорал солдат. Этот сторожил на краю насыпи.

Собака взлаяла — тоже реакция на ускоренное, пусть даже с тачкой, движение зека. И у собак был сегодня хорош харч: теплый суп с битыми костями. Тачка вдруг сделала угрожающий крен, Афонцев напряг плечи, руки... и тут ему помог солдат охраны. Метнувшийся, придержал вес тачки сбоку... Афонцев впервые за годы почувствовал рядом плечо охранника.

Что за чудеса? (Сколько за эти годы было опрокинуто тачек, поломано рук и ног.) Случайность? Охранник как-то дурацки засмеялся.

Надо или не надо было теперь увязывать: крики Коня... кусок мяса... Ваня, дупло дуба, отстреленный нос. Отучившись связывать, мысль отучилась вникать. До этих случаев год за годом ничего не происходило. Стояла та бессобытийная тишь, когда в лагере, казалось, не двигался никто и ничто — ни даже время... В тот обед тихо спятивший Ключня, сидя рядом с Афонцевым, бормотал:

— Она. Ей-ей: она... Гы-гы-гы.

Кусочек говядины чуть всплыл в тарелке. Ключня ложкой мягко приотронулся к нему. Старый одноухий Ключня сам себе дал зарок не произносить слова «воля». Чтоб не спугнуть. А прежде клялся волей по каждому пустяку... Боясь слова, он его замалчивал, зажевывал. Афонцеву нравилось это неназванное значение. Нравилась осторожная неточность. На другой день баланда, привезенная на насыпь, не была сытной. Под ложкой не колыхнулось. Баланду привозили сюда в котле приотстывшую.

— Афонцев! — И вот его уже дернули: отрядили хоронить Ваню Сергеева. Кто ж даст зеку додумать?.. Опер кликнул — поди, поди, Афонцев, поможешь! Там-то копать неглубоко!..

Убитого беглеца слишком далеко (да и тяжело) нести с места поимки. Да и зачем нести?.. Для учета важно, не того ли зека убили, а того ли теперь зарывают в землю. И потому близ лагеря хоронят немногое. Что принесли. Обычно голову и правую руку, чтобы сверить отпечатки пальцев. Зато и места всем вдоволь. Кладбищенский пятачок по-сибирски просторен, а кустарник (под огромными соснами) то ли вырубил, то ли сам уже расступился.

— Сюда! Сюда! — Охранник приготовился. Рядом с неглубокой могильной ямой.

В присутствии опера поднял мешок. Вытряхнул сначала на траву, чтоб видеть. Голова Вани (безногая, с дырочками) выкатилась сразу. Рука на миг застряла, стала в мешке углом. Но и руку вытряхнули.

Афонцев, вырвавший яму, курил. И тотчас его цепкий, стороживший глаз заметил на рукаве фуфайки вздутие. На принесенной сюда Ваниной руке. Там что-то таилось. Ага! Афонцев, будто бы забирая лопату, шагнул. Поднагнулся ближе и ловким разом вытащил из-за рукавной закатки кисет.

Зек не обдумывает. Но сообразить успевает... Афонцев говорил и уже как со стороны слышал свой с просительным нажимом голос: мол, кисет-то не Ванин, а Енькин! Надо бы и отдать Еньке. Из рук в руки, в лазарете!

Торопясь и не сводя глаз с добычи (зажатой в своей руке), Афонцев объяснял оперу (тот стал внимателен). Махорка же. Махра Енькина... А Ваня редко смолит. Не курил он!

— Я и отдам Еньке, — сказал охранник.

Но Афонцев взвился:

— Хера ты отдашь! А вот я отдам. Наше — это наше. Разве не так? — И, цепкий, сразу сунулся просящим лицом к оперу. За поддержкой.

Тот кивнул — мол, позволяю. Снесешь кисет. Но без болтовни.

Властный знает, когда момент силы. Умеет дать прочувствовать. Он потому и властный, что иногда позволяет, разрешает.

Возвращались напрямик через зековские безымянные холмики. Вот бы где покричать Коню... Уже и не холмики. А стершиеся под травой бугорки-намеки.

Зона! — и сразу же охранник Афонцева в почку. Ткнул прикладом. Памятлив! Как раз прошли мимо хозблока, святое место. Наиболее охраняемая пядь земли в заброшенных лесных лагерях... Выступил угол. Барачный торец, где зарешеченная комнатка.

Вонь хлорки. Афонцев услышал, как закашлял забитый Енька. В первую минуту встречи он сразу кашлял. Глаза туберкулезника силились что-то выразить, но только слезились. Не выразили... Разве что вечную боль пидара. Смотрел неотрывно. Лежа он протянул за кисетом худющую руку.

Афонцев с оглядом на конвойного (не могу же не сказать корешу хоть что-то) спросил:

— Баланду тебе дают?

Тихо... Афонцев строго посверлил его взглядом. И переспросил:

— Баланда горячая? Кормят?.. Ты ж больной. Говядинку видал?

Енька замотал головой:

— Говядинку?.. Не было.

— А у нас была. У всех была.

Конвойный замахнулся — молчи, морда! шас врежу!.. Но Афонцев, прикрыв голову, уже замолчал. Сделал свое. Сказал.

Тем часом зеков выводили из барака.

Собаки легко узнавали того, кто общался с беглецами последним. Умели учуять. Того, кто шел рядом, терся или жевал хлебушек бок о бок. Однако считалось, что тем самым собаки дознаются, кто был с беглыми в молчаливом сговоре и, скорее всего, им помогал. Дали понюхать Ванин рукав. Дали нателную вонь с майки хилого Еньки. Всех выстроили. Охранники передернули затворами, чуть что наготове. Строй притих. Спросили для порядку, не признаются ли. Не скажет ли кто на себя сам — и после минутного молчания спустили двух собак.

Каждая выхватила себе по человеку. Выволокла зека к охранникам и рвала на глазах у всех, перед строем. Оба зека катались, не допуская собачьи клыки к животу и к горлу. Оба взвизгивали с каждым глубоким укусом. Расправа на четверть часа. Охрана знала, что собаки рвут не тех. Но кого-то же порвать за побег надо.

С губ у собак пошла пена.

— Сидеть! Сидеть!.. Фу! — Охранники, рукавицы на руках, кинулись, чтобы унять. Хватали собак за ошейники.

Обоих порванных унесли. Один из них молчал, однако же булькал кровью (не уберег горла?). Зато второй рваный зывал со стонами, поминал — Господи! Господи!..

— Вот и боженьку вспомнил! — с привычной злобой сказал кто-то из зеков.

За полтора часа до окончания работы четверо, на худой конец трое, уже постанывали и отпрашивались. Делали себе рвоту — вот-вот грохнут-ся наземь. С упавшим и блюющим (но никак не умирающим) сколько возни! Их отпустили, постращав лишь на случай ночи в тайге. Без криков, без мата и без тыканья кулаком.

Впервые они так необруганно ушли. Надо же, какая удача! Их лихорадило. Радовались... Это она, буква! Зеки мнительны и дорожат всяким совпадением, если оно в их пользу. Даже нелепый побег... Даже жесткий, плоско порезанный кусок мяса (копченое, с дымком!) виделся им уже как следствие. Уже как слабинка вертухаев и оперов. Пошла полоса!.. Кажалось, события (пусть мелкие) уже пытались схватиться, цепляясь одно за одно. Время пыталось превратиться в хронику.

Афонцеву привязка к букве казалась натяжкой. Но не спорил. Возможно, как начало... Возможно, начало таким и бывает... Люди ищут (и находят) причину удач. Иначе человек теряется. К чему перебор сотен разных причин, если в одиночку всякая из них (присмотрись) окажется еще нелепее. Пусть буква! Что-то в ней есть. Что-то в ней находят. И несомненно же, что буква не рознила, а крепила зеков вместе: держись, падлы!

Буква «А» нависала уже с предгорной тропы. Четверо «слабых и приболевших» зеков взбирались по тропе горясь, но стоило поднять глаза —

буква выстреливала им в лица. Прямо со скалы... Четверка заторопилась. На подходе к вершине уже стояли отдельные картинные сосны. Лес иссяк. И макушка горы светлела пролысинкой.

Вышли на солнце. На закат. Самый хилый из четверки, заика Гусев, тяжело дышал. Лоб, лицо, шея в каплях и струйках пота.

— Б-быстро шли, — сипел Гусев, оправдываясь. И прося, чтобы дали передохнуть.

Ему дали — но чтоб за сторожа, поглядывай в оба.

Извлекли припрятанную кирку. Из-под высохшего горного куста... Кирка укороченная и нетяжелая (под одну бьющую руку). Крепкий молоток. Несколько зубил. Все приворованное и давно уже принесенное сюда на себе, под одеждой. Первым на веревке спустили Маруськина, ловкого и вмиг обвязавшегося красивым узлом. Спуск — минута. Уже висел. Уже от туда давал знать голосом: «Чуток пониже!.. А ну еще чуток!» — Афонцев и Деревяго, державшие концы, ослабили веревку. Стравили ему еще метр. «Порядок!» — донесся голос. И тут же звуки кирки, бьющей по плоскому камню. Первые, пока еще скользющие удары.

Деревяго, скептик, фыркнул. Камень, мол, нехорош. Камень крошится. Работа для дятла. Для стукача. Что у нас вообще может быть хорошего?.. Разве что долбеж киркой. Разве что дурные крики о могильных табличках... Он выматерился.

— ...Глупость.

Афонцев, натягивая веревку, сказал рассудительно:

— Но делать надо. Ничего не делать — с ума сойдешь.

— Я не сойду.

Локтями занятых рук (удерживающих веревку) Деревяго пытался добраться до своего чешущегося носа. Плевался, матюкал букву. Но ведь тоже думал о ней. Зек как зек. Боялся сглаза. А выругать, тогда и не сглазишь.

Следующим, минут через двадцать, спустили Афонцева. Деревяго и Маруськин удерживали. Афонцев дорабатывал букве переднюю ногу, доскребывал. Красавица будет! Афонцев уже умел смотреть вниз. Не раз-два туда глянуть, а смотреть. Голова не кружилась. Да и ветра не было, закатный солнечный час. Кирка по руке. Чуть упершись стопами ног в скалу, Афонцев сделал отмахку. И сильно, с азартом ударил.

Когда сверху окликнули — все так? в порядке? — он понял, что проработал минут десять. Солнце пригрело спину. Мелкая крошка била в глаза от удара к удару — Афонцев шурился, улыбался.

Зека убитого (Ваню) опять похоронили безымянно — не как человека. Тут уж Коняев разгулялся. Разошелся вовсю. И ведь какая неумолимая и чудовищная логика! Раз был каждому кусок говядины — дайте каждому могильную надпись! Он вопил в бараке перед сном. Бил кулачищем по нарам и вопил. Зеки не знали, что поделать. Не могли подступиться. А охрана не решалась заткнуть пахану рот. Больной!.. Не ел, не пил, не спал, не ссал — орал: даешь могильную надпись! Не крест, не оградка, а хоть бы нам, бедным, какой знак — столбик! Хоть бы что-то! Обновлять по весне? А зачем?.. А не надо обновлять. Сколько простоит, и ладно. Зиму-две — уже хорошо. Коняев готов. Хоть сию минуту! Он припомнит поименно даже холмики! Сгладившиеся холмики!.. С ума сойти!

И начинал орать с самого начала:

— Абрамов, Арье, Бугаев, Буражников, Вахтин, Венедиктов, Грелкин, Гусаров, Деев, Еманский, Жижкин, Заикин... — весь нынешний список. Все холмики. Без пропусков.

Начлаг и опера не реагировали — видно, решали, как с ним быть. Всякая власть от людей. Такому не просто же пулю в лоб. Помнило ли в этом случае лагерное начальство о долгом вожачестве Коняева? и Струнина (в бараке-два)?.. Вероятно, помнило. Разумеется, помнило. Их не уничтожа-

ли по той же причине, по какой в уголовной среде тюремщики не выбрасывают паханов из бараков вон. Вожак, пахан — тоже структура. Берет на себя часть обязанностей и свою долю при взрывах беспредела. Но хоть бы этот сучий маньяк не орал по ночам!

Второго из беглецов, Еньку Шитова, тем временем в «лазарете» еще больше оградили. Матерыми уйгурами... Фельдшера куда-то вовсе изгнали. Фельдшер только и нужен был, чтоб в верную минуту щупать пульс и подсказать охране. Когда охрана в раже... Чтоб не забили насмерть.

Раздав в обед разваренную перловую кашу, зек Филя-Филимон показал дно котла Коняеву. По-пахански тот должен был остаток отдать. Тому или другому... Из самых слабых. Или из поощряемых (в этот именно день). Однако впервые за много лет вожак-пахан взял котел сам. Алчно в него заглянул. И, прижав к животу, в несколько ложек выжрал все.

Зеки смолчали. Возможно, вожаку нужны силы. Чтоб опять орать и выкликать мертвых?.. Кто-то хихикнул. Сегодня был первый день, когда Коняев вдруг притих. И не кричал ночью.

— Может, что не так, Конь? — спросили. Стояли, обступив.

Мрачный, он сидел, прижимая пустой котел к животу. Коняева время от времени подводил изъязвленный старый желудок, но никогда — память на кликухи. И никогда инстинкт на опасность.

После зеки говорили меж собой (придумали), что как настоящий вожак Конь, предчувствуя край, будто бы вполголоса произнес. Как бы им завещал:

— Бейте букву, падлы. Бейте букву — будете вместе.

На самом деле он молчал. Весь в себе. Наорался небось, выкрикивая денно и ночью. Переполненный кашей, он только тяжело икнул.

Но то, что ему край, он чувствовал. После обеда (на перекуре) Коняев поманил к себе Афонцева. Сядь, подыми табачком.

Лопата к лопате, они сидели на теневой стороне насыпи — у куста. Куст их отгораживал. Коняев бросил курить еще в давний, в первый свой срок, но дымок со стороны любил.

— Знаешь что-то о той бумаге? — спросил он Афонцева.

— Нет.

— Но видел ее?

— Мало. Мельком. Когда хоронили Ваню. Я яму рыл. Опер переключал из кармана в карман.

Коняев хмыкнул:

— Он что же? Развернул, чтобы ты увидел?

— Похоже, что так. А может, нечаянно... Не знаю.

При поимке у избиваемого Еньки был найден листок бумаги, сложенный вчетверо. На листке — каракули с изображением лесов и тропок. Набросок карандашом... Но на севере (если не подставка) нарисована двойным пунктиром ветка узкоколейной железной дороги. Да, далеко. Да, не дойти и не доползти. Сотни километров. Но еще вчера никто из зеков про узкоколейку не слышал. Не слышал и Коняев.

— Кто мог подсказать нашим — Еньке и Ване Сергееву, — не знаешь?

Афонцев даже башкой затряс — нет, нет! откуда мне знать?!

— Н-да... А все ж таки не мог Ваня в обход всех... Почему он не дал мне знать перед побегом?

Коняев ладонью подогнал себе немного табачного дымка.

Но теперь Афонцев ухватил запазушную мысль вожака:

— Ваня тебя зачеркнул. Живым не считал. Сегодня ты есть — завтра нет... Заболтался ты со своими табличками, Конь.

Уйгуры, видно, перестарались. Были веселые, накурившиеся. День ото дня они (в зарешеченном лазаретном закутке) уделали пидара. Забили.

Как-то легко! Как-то играючи! Перемежающиеся побоями насильные ласки лишили его рассудка. Хныкал, плакал, и только.

К бараку-один подошел уже не Енька, не пидар, не раздолбай... шло большое животное, качающееся на ногах. Настолько униженное, что первый же встречный зек, какой мразью он сам ни был, мгновенно отодвинулся. Отдернулся. От этой ходячей, хнычущей мрази. Глаза Еньки, ласковые, слезились гноем.

— П-пшел! — невольно отпрянул зек.

Вдогон толкнул его ногой. Прочь от себя — да и прочь от барака. У входа трясущейся своей ручонкой Енька робко тянулся зека погладить.

— К-кусок говна! Пшел!..

Всклипывающий пидар испуганно поплелся назад. В зарешеченный лазарет.

После обеда все повторилось с охранниками. Двое солдат, что постоянно дежурили у барачков (по одному у входа). И плюс третий. Он стерег межбарачное пространство, полянку с невысокой травой. Эти трое солдат толкали, пинали Еньку по кругу. Падая, вяло попискивающий пидар пытался за одного, за другого ухватиться. В том и собачность сломленной психики. Пинаемый Енька лип к ним. А то оглядывался в сторону проклятого «лазарета» — не уйти ли хотя бы к уйгурам. Собака, ищущая хозяйина. Солдаты, скуластые сибирячки, потешались: «А хочется ему, видно!» И передразнивали голоса уйгуров: «Нга. Нга. Как хочется. Совсем жэнщина стал...»

И гнали его:

— Нга. Нга. Иди теперь к зекам. К своим иди. Они тоже хотят...

Толчки и пинки давались ему как раз на межбарачной полянке, в круговую. Значит — зрелище. Пусть зеки словят свой смех... Охранники похотывали. Охранники доходягам-зекам еще и подмаргивали: во падаль!.. Мол, мы (солдаты) и вы (зеки) равно понимаем потеху. Мы и вы... В этом тоже помаленьку было явлено новое. Тоже пробивающаяся новизна.

— За полпайки любому даст.

— Вот ведь падаль!

— Во сранье какое! — перекрикивалась охрана, пиная и толкая из рук в руки Еньку.

А Коняев подошел близко. Вожак стоял молча. И неспешно сплевывал травинкой, которую грыз.

Начлаг и его опера знай добавляли Коню к первой его «десятке». Пять лет. Еще пять. Чтобы здесь его сгноить — здесь же и зарыть. Уже старый. Уже, казалось, презирал сволочную лагерную смерть. Что ж он теперь так задумался? Где ж его вопли о загубленных? Вот бы и покричать кстати!.. Зеки всё видели.

Тем временем, продолжая злую забаву, солдаты охраны подняли вытасченную из собачника подстилку. Грязное собачье тряпье. Заворачивали в него Еньку. Такая потеха! Спеленать в вонючем и кинуть вонючку в барак... Не сомневаясь, что в гневе зеки тотчас выкинут грязного пидара обратно. Тоже люди. Тоже и им смех. Мы и вы. Кидать туда-обратно...

Енька задергался в собачьем тряпье. (Зачесался? Ага! Блохи!) Захныкал. Жалкие светлые волосики прилипли ко лбу. Скошенный идиотский лобик. Глаза полны слез.

Из барака и точно его выбросили. Сразу же. Раскачали и вышвырнули, да так, что, перелетев ступеньки, пидар закувыркался на траве.

Солдаты охраны уже подхватили его. Снова и снова. С гоготом заворачивали в вонючую собачью подстилку.

Коняев, перетоптавшись, сделал полшага-шаг вперед. Шаг. Но уж такой скромный! Охранники, однако, и скромный заметили. Сразу попристихли, замедлили движения рук. Ждали?.. И сержант, что поодаль, медленно шел сюда ближе.

Подойдя, сержант, с подначкой в голосе, заметил:

— Это ты, Конь... Говорят, ты вчера кашей всласть потешился?

Они ждали. Какая ни падаль этот пидар, а из его барака. Его пидар. Как вожак (а еще больше — как пахан) Коняев обязан был вступиться.

Но Коняев так и не шевельнулся. Только смотрел. Старое паханское сердце, заменявшее ему в эти минуты мысль, поджалось. Такое не скроешь... Конь покраснел, побурел лицом. Стал насвистывать... Думал, им нужен повод.

Повод им был нужен. Но необязателен. На другой день Коняева расстреляли. Его повели на кладбищенскую вырубку. На ту самую. Будто бы обсудить на месте (и, может быть, решить) проблему поименного захоронения зеков. Ведь он так рьяно настаивал. Кричал!.. Старому маньяку отвели на кладбищенской вырубке отдельное место. Именная! Хотел — получи. Ты у нас первый такой. Насмешка насмешкой, а Конь свое взял. Можно сказать, что он докричался. Именно с этого дня хоронили с надписями. На сосновых дощечках... Его даже спросили, хорошо ли ему место.

Копал Конь глубоко, зная, что из ямы вылезти не дадут. Он не спешил выбросить наверх свою лопату. Столь задороживший жизнью, трухнувший, когда туда-сюда швыряли Еньку, он уже расслабился. Стоя в яме, мог себе позволить. Напоследок — что угодно. Как и все зеки, Конь закричал: «Да здравствует...» Закричал, но не закончил. Услышал изготровку автоматов. Чирик-чик. Чирик-чик. И тогда горловым хрипом. Из ямы... Глядя им в лица, Конь послал их. Да, да, их всех. И заодно с ними того, кому только что недокричал здравицу, надо же, как хитро и ловко!.. Да, да, вместе с ним, рядком с ним и нас послал! — рассказывал потрясенный солдат, пристреливший старого Коня в яме.

Сам же безумный Конь, его ночные крики, его паханская стариковская боль — все разом ушло в прошлое... Но повторять-то было сладко. Неслышанно сладко и страшно!.. Преодолеть магию имени, потоптать — тоже новизна. Еще какая! Скаля беззубые рты, зеки повторяли — послал! да, да, «его»! послал «его», и еще как! Пьянящая новость, новизна облетела лагерь, последовав впритык за новизной поименных могил. Это она, воля, житуха, сделала сразу один шагок. И сразу второй.

Солдату тоже хотелось послать. Солдатик пробовал это ночью. Засыпая... «Его», конечно, послать не получалось. Не получалось даже и начлага. Солдатик изгрыз угол податливой подушки. Набивал рот вонючими перьями. И начинал все снова... Посылал сержанта!.. опера!.. замначлага!.. Но... Но начлага опять и опять не мог. Ворочался. Бил кулаком подушку. Застреливший Коняева солдатик, казалось, и бессонницу Коня взял теперь на себя. Он вдруг плакал. И среди ночи пробовал (мысленно) снова. Посылал сержанта... опера... замначлага.

В тот день, висая на веревке, Афонцев добивал последние щербинки в правой ноге «А» — еще бы чуть. Почти завершенная буква!

Висел. Крикнул вдруг:

— Чего перекрутили веревку?

— Мы не перекручивали. Она въедается в камень, а камень крошится.

Молчание. И тут Афонцев матюкнулся:

— Кто? Кто это помочился, суки?..

— Гы-гы-гы, — раздалось сверху. — Птичка прилетела...

Мяч крупный. Сшили из тряпок. Набили мяч стружкой и (для веса) опилками. Сначала те двое из охраны... с ними третий, что подстраховывал на межбарачной полянке. Трое сторожей сошлись на этой самой полянке и, став в позицию, часами пинали тряпичный «футбол». Тем самым оголились выходы из бараков. И мало-помалу зеки, кто хотел (а они все хотели), выходили из барака без спроса. Спустившись с барачного крыль-

ца, зеки приближались к играющим. Вяло, тупо смотрели. С неточным ударом мяч, как водится, вылетал за круг (за треугольник), и тогда зеки, стоявшие за спинами охранников, спешили к мячу, плюхнувшемуся в траву. Спешили мяч подать. Вдруг сбросив вялость.

Похоже было, что толкаемый и пинаемый Енька трансформировался в простецком сознании солдат охраны в этот мяч. Нехитрая игра шитым мячом шла вслед той потехе. Так получилось. Самодвижение бытия. Слабинка солдат мелькнула (могла мелькнуть) в их сторожевых глазах, когда пинали Еньку. Когда толкали друг к другу жалкого пидара... Слабинка перешла в недогляд... Зек, конечно, не смел свободно пойти из барака-один в барак-два. Но теперь он мог постоять, понаблюдать за игрой... обойти кругом и... в барак к соседям. А солдаты знай пинали мяч. Вскрикивали! Восторг обнаруженной вдруг игры детства. Автоматы у них болтались... У кого на груди, у кого за спиной.

Зеки водили глазами — туда-сюда — за тряпичным мячом. На них тоже веяло детством. Когда зеки торопились подать отскочивший в сторону мяч, у них хрустели колени. И в легких подсвистывал воздух. Они давно не бегали. Они годами не бегали. Зек Хитянин, обычный зек, смотрел за мячом неотрывно. Зек ни разу не сумел подать солдатам мяч. (Так объясняли уже после.) Зек облизывал потрескавшиеся губы.

3

Трудно сказать, что Хитянина так взорвало. Мяч детства? Или что можно без спросу шляться из барака в барак?.. Зек вдруг забеспокоился от этих мелких, там и тут, высвобождений жизни. Он часто и нервно дышал. Заглатывал излишек внебарачного кислорода. На полянке... И не мог он ждать. Такой всегда найдется. Хотя бы один. В болото здравый смысл! Такой сразу хочет весь кислород. (Весь, какой есть в воздухе. Весь на этой полянке.) Узкоплечий, худой Хитянин, казалось, не представлял опасности. Усохший телом.

И что у него на уме, было не ясно. Зек как зек. Он только и попросил докурить. Стоя сзади, поклянчил у одного из троих футболистов. Мол, ты же играешь... не отвлекайся на сигарку. И дай же докурить твой вонючий бычок (и тот дал! машинально!).

Но с окурком покончив, Хитянин у этого же охранника (тот как раз получил мяч в ноги) тронул рукой автомат. И потянул на себя:

— Дай поддержать.

Тот выкатил глаза:

— Ча-ааво? — и даже упустил мяч, на который поставил было левую ногу.

— Дай поддержать автомат. Тебе мешает... Играть мешает.

И Хитянин дернул оружие на себя.

Вскинувшиеся охранники не верили своим глазам, своим ушам.

Крепко придерживая автомат (и тем он занял руки), охранник открылся. Вот оно. Зеки вылупили глаза. Все, как один, вылупили, смотрят — вот оно, подумал поймавший свое счастье Хитянин, вот все и расставлено!.. Без ярости, но сильно и зло он врезал солдату кулаком в подглазье. Равны теперь мы? и вы?.. (Меня не будет, а его фингал еще неделю будет светить людям!)

Второй (здоровяк сержант) кинулся на помощь, но все видевший Хитянин опередил и его. Влупил сержанту с левой. На это ушли последние силы. Весь выложился. С разворота сержанту пришлось по скуле. Зачем бить поддых, я хочу и на его скуле... Знак!.. Чтоб зеки видели. Чтоб помнили своего сумасшедшего Хитянина! — мелькнуло у него, уже окруженного. Уже не имевшего шанса жить. Но еще пыром, дырявым ботинком

он и тут успел врезать сержанту меж ног — и это тоже со счастливой мыслью. Со скрытым умыслом: найти и занять для вечности личного врага.

Его ударили, разбили рот, нос, но Хитянин как-то отскочил, схватить себя не дал. Харкнул сержанту в лицо. Трое, забросив автоматы за спину, надвигались. Опасный, опытный сержант уже целил с решающим ударом, а зек, безумно посмеиваясь, продолжал в них харкать. Густыми, один в один, красными плевками.

Но вроде бы он споткнулся, привстав на колено. И тут же — ловя подсказку — утершийся сержант ударил, как с бугра. Сапогом... Ударил, как надо, опьяненного волей зека. Железной подковкой. В открывшуюся сзади тощую поясницу.

— О-аа-ээ-эх! — Из глотки Хитянина вырвался распад неких последних звуков. Из его легких. Ему сломали спину.

Встать зек не мог. Но он еще поднял голову, сел. Он не мог дышать, воздух не втягивался. Зек только слабо отдувался от крови, красной пленкой выскочившей и залипшей на губах.

Все же сидел. Глаза помутнели, мир стал другого цвета.

Охранники подступили.

— Готов, — сказал один.

— А я еще. Еще... Добавлю ему *на дорожку*, — с одышкой выговорил ярившийся сержант. Отирал захарканное лицо.

— Погоди. Готов он.

Следовало пристрелить. Зек решил бежать среди бела дня. Побег... Иначе (в это меняющееся время) еще будешь, пожалуй, держать ответ. Перед операми. За сломанную с одной попытки зековскую спину.

А Хитянин все силился — все хотел сдуть кровавую пленку с нижней губы.

Двое шевельнули автоматами, переводя оружие с плеча к руке ближе. Спины нет — не жилец. Но сержант не хотел упустить живого, зачем бить труп. Оглянулся на столпившихся лагерников... Вышагнув вперед, он ударил сапогом сидячего Хитянина в лицо — и лица у зека больше не было.

Сказал солдату:

— Теперь добей его.

Хитянин еще смог поднять кровавую лепешку лица. Глаза видели мало. Но дуло зека, конечно, увидел и по-сумасшедшему прямо смотрел в его крохотный кружок. В бездонный кружок. Давай, сука. Давай.

Очередь в упор. А сержант уже бежал на там и тут глазевших зеков, грозно потрясая автоматом и загоняя их в барак... Возник опер. Бок о бок с ним — другой опер.

Появился на выстрелы и начлаг. Он закурил. Коротко меж собой обсудили. Пристреленный зек... Сам виноват; это ясно.

Опер осторожно, носком сапога туда-сюда поворачивал голову Хитянина. Рассматривал:

— Сумел, пада. Хорошую смерть нашел.

Начлаг переспросил:

— Что?

— Хороша смерть... Чужую, говорю, смерть он себе взял. Вожачью, а?

Начлаг коротко бросил:

— Свою.

Начлаг ушел.

Понабежала охрана — с разных углов лагеря. Частью из казармы, полусонные. Сержант с автоматом (и с фингалом на скуле) все еще загонял зеков в бараки, страшно крича, а то и передергивая затвором.

Опер, напряженность снимая, махнул рукой — убрать мертвого. Два охранника прихватили труп Хитянина за ноги и поволокли. Скоренько, скоренько, бегом! — метнулись туда, потом сюда. И вдруг повернули на-

зад... Тупые! Ни фигу не соображают!.. Наконец поволокли, как положено, к фельдшеру, чтоб на бумаге означил случай и смерть.

Так и волокли, головой по земле. Голова Хитянина болталась, цеплялась за траву, словно бы зек оглядывался. Охранник, державший правую его ногу, гыгыкнул напарнику — мол, этим вот ботинком, глянь, он врезал нашему сержанту. По яйцам...

— Ага! — сказал на бегу второй.

Солдаты охраны, попинав мяч, а затем приостановив вдруг игру, охотно обсуждали с зеками тяжкий этот случай. И такой внезапный!

— ...Ударил. Он первым меня. Ударил ни за что. И ведь я не сержант!

Так объяснял солдат охраны, тот самый, с сигаркой, кому досталось в подглазье от Хитянина. Мы — как вы, настаивал он. Мы солдаты... Он явно недоумевал... Вроде как сержанту можно, конечно, врезать ни за что — но он-то простой солдат! он служивый! Простой и тоже, заметь, обижаемый! За что же в глаз, если мы как вы?

И зеки (тоже охотно) соглашались:

— Да, спятил.

— Рехнулся Хитянин, это ясно...

Зеки в случившемся не винили охрану, винили Хитянина. Хотелось, чтоб все справедливо. Стояли в кружок и по-честному рассуждали. Но где они стояли и где рассуждали?.. А стояли они на той самой игровой полянке, в межбарачном пространстве, куда раньше зек и подумать не мог выйти. Ничто не напрасно. И не только стояли — теперь зеки сами пинали мяч. Теперь им можно... Здесь же, где Хитянин попробовал жизнь на прямой прорыв. Где застыл его немигающий взгляд в дуло. Так получалось понятнее. На траве... Мертвую голову зека заменило живое скольжение мяча.

И как раз тряпичный мяч отскочил далеко. Зек, всех опередив, бежал пнуть его разок-другой и не промахнуться! Зек становился в такую минуту сержант. Остальные смотрели, одобрительно ему подсвистывая.

Начлаг отправился в командировку. Срочно... Считалось, что в Иркутск — в связи с вопросами зимнего снабжения лагеря. (Но он уже не вернулся, приискав себе другую работу.) Как оказалось, начлаг уже загодя считал свои дни.

Он попросту сбежал. В его столе нашелся черновик письма к жене (уехавшей прежде него). Там были такие выражения, как *«Их безумие, готовое прорваться»*. И еще: *«Не боюсь смерти, боюсь этого их безумия»*. Чей след пылил в начлаговских чутких мыслях — беглого Вани? или Коняева? Или, пожалуй, след Хитянина?.. Следы уже не стирались... Начлагу казалось, кто-то слыше и впрямь учитывает теперь каждую лагерную смерть. Не дает пропасть в прошлом... Кто-то знающий, что ничто не напрасно. Кто-то очень спокойный. *«...Если бы ты видела, дорогая, мертвый взгляд пристреленного зека, когда его волокут головой по траве...»*

И еще спешно приписанное: *«...Как больная крыса, их злоба... инфицировать... затаится... дыша заразой из темного угла...»*

В день отъезда начлаг вызвал к себе мрачноватого и всегда насупленного Лям-Ляма. Всего лишь с одним конвойным!.. Лям-Лям считался среди зеков правой рукой Коняева. Так что самим этим вызовом Лям-Лям был поощрен. Возможно, назначен. То есть теперь (вслед за Конем) он наследовал барак и вожачество.

Начлаг угостил папироской (сказал: «Кончатся»). И сам же (неслышанно!) расспрашивал обалдевшего зека о житье-бытье в бараке-один. Все ли справедливо у них в ужин с едой — без жожака, а? Отпускают ли с насыпи больных пораньше?.. Спросил и о Хитянине. Заметно ли было, как тот свихнулся?..

Начлаг закурил вторую папироску, но Лям-Ляму не предложил (кончатся!). Молчали. Лям-Лям сглотнул слюну.

Начлаг ему вдруг сказал, что, если рассуждать в общем и целом, — зеки и охрана как бы один-единый мир. Начлаг еще и прибавил: да-да, единый мир, потому что (такова природа вещей) — усвойте это, зеки!.. — потому что охрана и сам начлаг тоже не вне колючей проволоки. Тоже ведь внутри. Вот ключ к правде лагеря... Охрана тоже люди. Опутаны колючкой. Вместе... Этого уравнивающего всех и вся оттенка потерявший Лям-Лям (он не сводил глаз с коробки папирос) так и не схватил. Не уловил.

В бараке-один, конечно, спросили, зачем он был зван, но Лям-Лям не понимал и только пожимал плечами. А зеки не понимали Лям-Ляма. Красота! Вот ведь и нашему лагерю определилось стать таким местом, где уезжающий начлаг вызывает и угощает зека последней папироской!.. В тот же день переволновавшийся Лям-Лям упал с разгружаемой машины, вывихнув руку. Что за вожак! С подвязанной рукой Лям-Лям то подымался, то спускался со строящейся насыпи. И нет-нет говорил глупости. Его мучило проснувшееся честолюбие. Он нелепо страдал. Еще и подвязанная рука придавала ему дурную значительность. Как портфель чиновнику.

Тяжко вздохнув, Лям-Лям еще раз взошел на самый верх насыпи и сделал знак. Зеки тотчас перестали бросать землю. Кач и взмах лопат прекратился по вине переднему краю. Пыль снесло ветерком.

Весь в синеве неба Лям-Лям, покашливая, понес какую-то невнятицу. Какую-то чепуху.

— Заткнись! — рявкнул на него появившийся наконец опер.

И лопаты зеков снова заскрежетали. Заработали.

Опер подошел ближе. Он подступил неслышно. Так что куривший Афонцев с опаской вскочил на ноги.

— Ты ведь знаешь, что там на скале?

Афонцев кивнул: кто ж не знает, если вы знаете. Там буква. И без бинокля ее отсюда видно. Если взглядеться...

— Что за буква?

— «А», — ответил Афонцев.

— Ясное дело. Буква «А» — всякому понятно. А что дальше? Что за слово?

Афонцев вновь послушно ответил: не могу знать. Он и правда не знал. И чуть отвернул лицо. Он опасался, что опер ему сейчас врежет.

Но опер только усмехнулся — мол, мне... Мне ты мог бы сказать! Иначе что за доверие?.. Если ты, Афонцев, со мной в прятки — я с тобой в злого дядю. Понял?

И ворчнул уходя:

— Буквы писать — надо знать зачем.

Опер на ходу, на скором шаге попытался тут же узнать у Фили — у нервного зека с одним глазом и перекошенной челюстью. Быстрый какой! Хотел выведать у зека, который куда лучше обращался с ножом, чем со словом. Но и урка Филя-Филимон ответил витиевато — если и знаю, не сразу скажу! Сурприз! Может, буква как раз в имени вождя... Херка тебе с бугорка, а?

И преданно (оловянно) Филя смотрел единственным глазом на опера. Готовый при случае тотчас впасть в истерику со слезой — да, ссанный опер! мы все за вождя!

Гора горбатилась справа от насыпи. На скале (самый верх горы) и сейчас болтался, покачивался ветерком зек, спущенный на веревке. Метров десять — одиннадцать. Веревка не была длинной. Выбивали самый низ буквы, подошву. За свои трудовые полтора часа — выбоина, шербатина на

камне. Величиной с банный таз... С тропы этот таз виделся мелким пятном. А из лагеря — оспинкой.

Но если напрячь опасливое зрение, чего не разглядишь! Лагерное начальство могло увидеть в выбитой букве замысел куда больший, чем он был у зеков. Начальству виднее. Возможно (и это интересно), что замысел и точно был куда большим. Зеки просто-напросто еще не всё додумали.

Возвращались со скалы, трое или четверо. С крошками каменной пыли в волосах. С часто моргающими красными глазами...

— Ишь грибники! — говорил опер.

Уже издали было видно — буква выровнялась.

Оказалось, у опера можно попросить бинокль. Взять и приставить к радостным глазам. И видеть... Зек придвигался при этом поближе. Знал, что от него воняет. Опер отшатывался. Опер только перетаптывался, ревниво ожидая — вернет бинокль зек? или не вернет?..

Начлаг отбыл, а замначлага на все смотрел с прохладцей. Он, правда, был в тот день утомлен. (Он вернулся с охоты на лося.) Любимые его две собаки отдыхали. Сам отдыхал.

— Агу! Агу их!.. — по-охотничьи грозился он на зеков, когда ему докладывали про скалу. Но при этом смеялся.

Замначлага еще был способен грозно замахнуться — но... не бить. Высвобождение уже шло извне. Правда, зеки не знали. Зеки не знали (не могли знать) невнятицы последних полуприказов из далекой Москвы. Замначлага слушал радио один, приглушенно (по ночам). От зеков скрывалось. И замначлага только тихо изумлялся, как это через тыщи километров одно связалось с другим. Там и тут — совпадало. Само собой. В том-то и дело! Высвобождение шло изнутри. Неостановимо... Бинокль в руках и тряпичный мяч в ногах зека увязывались, становясь чередой... да-да, чередой никем не управляемых изменений. Здешний, свой ход перемен... почти мистическим образом он заставлял если не дрогнуть, то замереть уже поднятую для мордобоя руку опера.

Замначлага — самый старший теперь в лагере. Чином майор... Вызвав Лям-Ляма, он сообщил ему, что отныне Шизо, звавшийся больничным изолятором, «лазаретом», отменяется: зеков там больше держать и наказывать не будут. Ни одного зека. Ни на полчаса... Майор еще кое-что добавил: смотрите, мол, сами! Да-да, сами!.. Разве что сами зеки захотят кого буйного на день-другой поусмирить.

Лям-Лям не знал, что сказать ему в ответ. Заговорил о судьбе. О судьбе-злодейке. В последнее время Лям-Лям совсем поглупел.

Единственный наказанный в те дни зек Балаян по слову майора был тотчас выпущен. Пулей рванулся из изолятора. Едва открыли дверь... Еще на бегу (не добежав до барака) одичавший зек набросился на охранника: дай, дай! Зек с ходу просил, чуть ли не требовал курева (у охранника!). Оравший, матюкавший солдата Балаян (с ума сойти!) был при этом не сбит с ног, не огрет прикладом и даже вовсе не тронут. Свален он был лишь самовольно набежавшей могучей Альмой. Сторожевой собакой вялого реагирования. Небыстрая. И незлая. (Других собак теперь не спускали.)

— Доволен ли? — спросил майор Лям-Ляма. Спросил, как спрашивают пахана.

— А?

— Доволен ли? Может, сам... Может, сам что-то еще предложишь?

Недоверчивый Лям-Лям, потирая болевшую руку, все-таки попросил: пусть проклятую дверь изолятора приоткроют. Да, откроют... И всегда держат открытой. Пусть там проветривается. Пусть там хлопает и хлопает она (дверь) на ветру — и пусть все видят...

Майор открыл дверь изолятора. Открытой ее оставил. Сквознячок задышал. Дверь мягко ходила туда-сюда. Без скрипов.

Вернувшись в барак-один, Лям-Лям крикнул своим, что изолятора больше не существует. Лям-Лям нервничал. Побаивался, что кто-нибудь из зеков, из своих же, его заподозрит — не сука ли, не ссучился ли пахан? почему все так легко?..

Лям-Лям только разводил руками (одной рукой на привязи) и, оправдываясь, нервно смеялся:

— Я не герой. Я не герой, земляки...

Лям-Лям рассказал, что майор спросил его о второй букве: какую будете бить? какая следующая? — просто интерес ему! — а Лям-Лям как раз забыл. Да, забыл. Букву забыл и само слово забыл. А жаль. Майор — мужик хороший, ему сказать бы можно...

Хмурые лица зеков разгладились: изолятора нет — радоваться, падлы! Надо радоваться!.. Лям-Лям же клялся, что вспомнит слово и сам пойдет с ними вместе бить следующую букву на скале. Хоть бы и с вывихнутой рукой, хоть завтра...

— Если не вспомню — Туз вспомнит. Обязательно.

— Туз?! — Зеки захохотали.

Очередная перемена (но неизвестно какая!) уже ожидалась. Вот-вот... Уже толчками. Уже лихорадилось где-то близко, рядом с их бараками. Возле их нар... Но что? что такого (после отмененного изолятора) могли им еще сказать или еще сделать?.. Ждали... А тут еще старый Клюня, с оборванным ухом, опять твердил, что он чует, чует! не сомневайсь!.. На нарах, укладываясь спать, зек бормотал себе под нос: это она, она, она, воля! житуха! лафа! халява! — это она лихорадится сквозь житейский сор, это она продолжает из воздуха, из леса, из черной земли пробиваться к ним — к зекам.

— Выходи!

Их не повели на работы к насыпи. Их вывели из барак, словно бы решив наконец объявить... Что-то сказать. Но не сказали — просто оставили их на плацу.

Нет, не поверка. Не велели даже построиться. Никто не знал, что это. Зеки нервно почесывались. Курили. Присев по-этапному на корточки.

— Зачем мы тут? — Одноглазый Филя совался там и здесь спросить.

Бродили по плацу из конца в конец. Лям-Лям лечил себе больную руку. Массировал. Очевидной нелепостью своих движений он раздражал. (Его нет-нет и толкали.) Молодой Панков в пику Лям-Ляму злобно спрашивал — почему? Почему они нас не построили?.. А зеки все бродили. Им без разницы. Кружили, не зная, что делать и что не делать. Поглядывали на вышки... Зато с вышек, со стороны столбов с натянутой колючкой, зеки впервые не казались сейчас вялыми роботами. Казались, к примеру, насекомыми. Казались живыми. Живой рой, повязанный инстинктивным биологическим приказом столпиться, но не разбежаться.

Вероятно, было какое-то начальственное движение. И был же какой-то приказ. Зеков собрали. Но за время их сбора не направленный свыше жест иссяк. Его качество (качество приказа) иссякло. Чего-то не хватало в их воздухе. Или что-то ждалось...

Заика Гусев — зек без фантазий. Но не ленив. И в деле один из самых упорных. (Честный, как его кирка.) И уж если Гусев замедлил свою руку, значит, буква завершена.

Гусев, висевший в тот день на веревках, вдруг расслабился. Он просто смотрел по сторонам. Было свежо. Ветрено...

— Г-готова она, — выговорил он, когда его подняли.

Афонцев потрепал Гусева по плечу — ладно, ладно, землячок!

— Висел и с-сучал. Г-готова, — повторил Гусев.

Лям-Лям мучился. Сбрасывал ли он с машины лопатой землю, шел ли куда... Бормотал себе под нос. Атака... Астрал... Аллилуйя... — перебирал слова. Искал среди слов что помудренее.

Вдруг остановившись, грыз ногти. Сплевывал. Нет-нет и негромко ахал... Это к нему возвращалась пугающая мысль: а что, мол, если буква «А» затаилась в середине слова. Проборматывался новый запас хлынувших на него слов: счАстье... знАние... свобода... Зеки смеялись. Прервав работу, они глумились. Вожачок-с! Горе ты наше!.. Потешались. Глупость Лям-Ляма была уже у всех на виду. Особенно в перекур, когда Лям-Лям садился в сторонке и складывал слова из камешков. Припоминал...

— Играешься? — спросил его Деревяго.

И заика Гусев стоял рядом с тем же укором:

— Иг-г-гру н-нашел?

Когда-то именно так — на камешках — осторожный пахан Коняев показал Лям-Ляму слово. (Во время перекура, здесь же, на насыпи.) Конь хитер! Вслух не произнес... Но кто-то из охраны склонившегося к камешкам Лям-Ляма подсмотрел. Охранник! Затопал сзади, пыля сапогами! И вот уже землей (по земле) надвинулась на Лям-Ляма укороченная тень. Обрубок автоматного дула... Лям-Лям сразу сменил букву, одну, другую. Получилось иное слово. И вслед еще одно. Взамен. «Я тогда схитрил. Но с испуга я слишком быстро схитрил», — оправдывался растерянный Лям-Лям.

И вот ведь как!.. Теперь эти слова-заменители к Лям-Ляму возвращались. Лям-Лям их имел. Получал из камешков! И нет-нет взвизгивал! Он думал, что тем самым приближается к потерянному слову. Возвратом. Он, мол, к нему шаг за шагом теперь возвращается. По пути своего окаменевшего страха... Однако бывают минуты, к которым уже не вернуться. Вся эта взбаламученная психология только смешила зеков. Что за детский базар!.. Конечно, смешила. Или выводила из себя.

Молодой и наглый Панков беспамятного Лям-Ляма авторитетно прикрыл:

— Заткните пасти! Чего гоготать! Забыл он! Вы год, а то и больше, били первую букву! Полтора года! Тут маму с папой по имени забудешь!

С виду ребячливый и дерзкий, Панков был зол. Чеканя матерные слова, звеня голосом, он тонко и мстительно сплевывал на сторону. словно уже загода кому-то угрожал.

И вдруг заорал: пошли на хер все!

— И вы на хер, и буква ваша на хер! Кому она нужна? Если даже Лям-Лям ее забыл, хмурая гнида!..

Следующую букву и само слово должен был, конечно, знать Струнин. Вожак барака-два... Но в последние дни к Струнину было не подступиться. Вокруг него суетились. Уже шестерили... Замначлага, майор, теперь по званию старший, предложил Струнину стать еще одним замом. Замом от зеков. Поскольку служивые верхи уже сильно поределли. «...Начлага нет, накрылся. А мы с тобой будем на равных правах!» — пообещал майор. И сразу же в бараке-два появился стол. Струнин за столом — и чуть что вокруг него, шу-шу-шу, новоявленные шестерки... И было ясно, что в отличие от Лям-Ляма Струнин не глуп. Могло получиться!

На брюках Струнина (на коленках) лепились заплатки в виде красновато-грязных выцветших ромбов. По тузу на каждой коленке. В новом раскладе эти красные заплатки засияли. Когда Струнин шел к своему столу, ромбы играли на сгибах, один к одному. Командирский вид... При том, что втайне Струнин притих. Был в большом нервическом напряжении. Зеки (в настроениях переменчивы) сегодня любят, завтра обвинят. Струнин боялся должности... и хотел.

Афонцев, Деревяго, заика Гусев, Маруськин... Серединные зеки — самые требовательные. Именно их встревожили участвовавшие ночные убийства. Ночное сведение счетов. Слишком нарочито, как им казалось, и подло зек убивал теперь зека. Слишком легко!.. Воровства вряд ли стало больше. Но воровство стало заметнее. Стало обиднее! А как все вскинулись, когда решено было разобратся. Когда кликнули урок к общему разговору. Надо было видеть, как они, тертые, никому верить нельзя, просачиваются внутрь через барачную дверь. Там и тут кучками. Вороватые, они картинно садились на нары. Щерились! Загодя уже переполненные стержовным защитным злом. (Злом непойманных. Злом скользких.) Так и разошлись, расплевались, друг другом все недовольные. Ни разборки, ни разговора. В таких нерешаемых случаях ищут виновных на стороне. Виноват кто-то... Или что-то... Тут и помянули устремившегося в начальство Струнина и следующую букву. Где буква? Где она?.. Все, что теперь ни обнаруживалось плохого и гнусного, зеки готовы были свести к утраченной работе на скале, к забытой букве — к забытому слову. Много кричали. Орали, перебивая... Слово не хер собачий! В слове есть (был) высокий смысл!.. Да, смысл этот был пока что им не вполне доступен. Смысл сложен. Но ведь это нормально, если человек (зек) хочет чего-то большего, чем он сам... Наконец распознались по нарам. Засыпали, переругиваясь.

Афонцев, Гусев, Деревяго, Маруськин переговаривались ночью всех дольше. Какой там сон!.. Эти урки... Как жить!.. Поубиваем друг друга...

В сущности искали виновных. И сетовали:

— Если б не урки! Как сговориться с подлыми!..

Но Афонцев с опаской чувствовал, что он не лучше других. Не дошел черед стать подлым (вот и вся его выдержка). Как жить, не дав добраться до тебя однажды поутру. Его почему-то пугало утро — пугало проснуться убийцей. Чувство серединного зека... В ближайший банный день... Грозили устроить общее разбирательство. Уже загодя можно было слышать, как они будут орать на Лям-Ляма. Что толку?.. Ванина голова, катящаяся по траве. В неглубокую могилку...

Напряжение... глаза старались не мигать, не моргать. Зато ночью, прежде чем заснуть, упершись глазами в темноту, Афонцев моргал час напролет. Промаргивал раздражающую его нутро мысль о неведомой следующей букве.

К Афонцеву и Деревяге подсаживался одноглазый крикливый Филя. Слушая распрю зеков, он только скрипел зубами. И, задирая единственный глаз к небу (к властям, к жоакам), вдруг тоже спрашивал отрывисто, коротко:

— Ну, суки. Ну, падлы. Ну — где буква?

Конечно, они вовсе не думали, что, буква к букве, вырубленное на скале некое слово выручит их или спасет. (Это ковырянье киркой? Этот упорно-туповатый долбеж по камню?..) Но даже урка Филя знал, что за буквой должна быть буква. Он не знал какая. Но он знал, что она есть.

Филе хотелось орать. Хотелось резать воздух криком. Чтоб даже на вышках оглянулись. Чтоб ухрюкались! Какой бы вой ни выдал он своей глоткой. Свободной отныне глоткой. Скользкой от голодной слюны...

Был еще Туз (Тузоз) — зек с холодными глазами и, как знал весь лагерь, с поразительной памятью. Правда, мелочной. Память к названиям, к ценам, к разновесам. Лагерное начальство прежде само дергало (вызывало) бесконвойного зека Тузова в канцелярскую комнатушку для помощи в отчетах. Теперь, пользуясь послаблениями, зек и вовсе обжился в канцелярском углу. Заперся там. Но когда Деревяго и Гусев к нему пришли, Туз вскинул на них холодные глаза: «Знать не знаю... Откуда мне помнить ваши буквы? А мне их сказали?..»

— Зачем буквы — я вам баб достану! — крикнул он зекам. Крикнул им, уходящим, вслед. Он жил своей жизнью.

Уже заметно озабоченный, Туз строчил и строчил письма в очень далекие (но отсюда самые близкие) женские лагеря. За конторкой день за днем... Он изощрялся в стиле. С шуточками, с ёрничаньем. Предлагал женщинам-лагерницам *коллективную свободную встречу*, так выражался памятный канцелярщик. Почему бы и нет, если его голова для чего-то удерживала в себе каждый хоть однажды мелькнувший в бумагах адресок? Письмо за письмом. Запершись... Зеки смеялись над ним. Но удивительно, что, как только Туз с женщинами списался, все вдруг поверили. Как только пришел ответ.

Конечно, женщины не явились. Конечно, что-то и где-то в последнюю минуту сорвалось. А вдруг уверовавшие зеки готовились. Впервые их мысли от несколько улучшившейся вечерней жратвы были отвлечены чем-то высоким. Пусть не высоким — но возвышенным. Онанировали нещадно. Доходяги в тот вечер расстарались... Освежить душу. Придать органу усиленное кровообращение. Напомнить ему! Всю ночь в бараке на нарах шла тихая возня и раздавались неожиданные вскрики. Напоминало клекот речных незасыпающих чаек. Голубиное воркование... Барак, казалось, полон птиц.

Труд в тот незадавшийся день напомнил зекам совсем уже забытое ими и давнее — томную лень молодых лет. И чуть что перекур.

Но на насыпи уже никто особенно и не подгонял. Не вел злобный счет нагруженным тачкам. Солдаты-шофера сами давали зеку закурить. Стояли рядом. Неспешные и неполные тачки с землей их тоже устраивали. Как не поговорить! И не только о неприехавших к ним тощих женщинах... Солдаты рассказывали зекам, откуда они родом. И по какому (номер) приказу сюда прибыли. Жаловались. Стенали... Тем самым (загодя) смягчая зеков и подравнивая жизнь под них. Мы как и вы. Мы тоже подневольные. И если что, попомните нашу схожесть!

Солдаты сочувствовали:

— А чо ж ваша буква? Чо ж к скале не ходите?

Зеки теперь только отмахивались — да ладно! Забыли и забыли. Прогнали... Из зеков один только Енька при напоминании заметно волновался. Толком не понимал, что забыто и о чем, собственно, речь... Но бегал. Но суетился. Страдал, вздымая руки к небу, рвя тощие светлые волосики.

— Забыли! Забыли!.. — И бедный пидар плакал навзрыд. Плакал так горько, что зеков разбирал смех.

Ему даже дали пинка. В слезах Енька побежал от барачков — к колючей проволоке. Он всматривался через колючку в большие дуплистые деревья. Во время побега они с Ваней прятались в таких!.. Смотрел неотрывно. Он прямо-таки прилип к проволоке. А со стороны сторожевых вышек — ничего! Совсем ничего. Ни даже окрика матерного! Жалкий пидар (ничто не напрасно) выявил зекам еще одно послабление. И какое!.. Вертухаи не стреляли в зека у проволоки. (И даже не палили предупредительно вверх). Проволока теряла свою колючую силу. Цепкую... И как-то глухо посматривали теперь на зеков сторожевые столбы.

Проделав в проволоке небольшую дыру, Енька выбрался к манящим его дуплистым деревьям. На четвереньках. Как собака через лаз. Все видели... И зек опасно сказал зеку:

— В лесу бы не потеряться.

Но леса уже не боялись. Теперь можно. С собакой искать не станут. Не сунут Альме под влажный нос полы зековской вонючей тельняшки. Лес прекрасен! Зек в лесу сам вдруг вставал на четвереньки. Сам лаял. Просто так... Через лаз (Енькин) уходили в лес и брали с собой уйгуров. Искали «травку». Хоть что-то для души. А Маруськин один. Просто уеди-

нялся со своей тарелкой. Ему бросят в обед каши, а он поскорей с ней в лес. Боялся, что каша остынет. В одиночку каша была ему слаще... Забавно было там жевать и оттуда поглядывать на колючку.

Она, каждый понимал, как умел, воля, житуха, халява, лафа — торжествовала. Даже «лазарет» глядел веселее. Туда пришлось-таки запереть кой-кого после драки. Сами их заперли. Самых свирепых. Трех... Выставив из зарешеченного оконца разбитые рожи, теснясь там, зеки выкрикивали всяческие матюки, подчас забавные. Показывали, выставляли на свет свои рассеченные брови и восхитительные синяки. Улюлюкали, свистели, оралы, если мимо шел задумчивый Лям-Лям. Нажимали на веселую первую букву:

— Агурец!.. Ананист!..

Не ходили к скале, зато вволю, не отпрашиваясь, собирали в лесу грибы. В основном грузди — для варки, для засолки. И ягоду. Вернувшись, рассказывали, что в тайге всю осень и вот-вот похолодает. И что на спуске с горы поставили силки на уже линяющего зайца. К еде стали требовательнее. Ах, помнил тот первый кусок прикопченного мяса! Им восхищались. Им бредили!.. И словно в отклик, перемены наконец-то коснулись святого для всех: распределения. Зеков востребовали. Как равных. Зеки теперь участвовали в разгрузке продуктов с прибывших двух грузовиков. (Что там буква! Что там каша в одиночку!) Наравне с охраной зеки вносили на спинах ящики. Волокли коробки, мешки. И, само собой, теперь-то знали — чего и сколько. Теперь сами видели, что картошка в мешках привезена уже подпорченная. Уже с чернотой. Но ведь всем такая. Сами ее щупали, сами ногтем скребли картофельный глазок. Сами уверились... Сами ели.

С придыханием вносил зек пахучие скоропортящиеся продукты в хозблок. Ледник хозблока — святая святых. Куски льда в подвале мерцали как в сказках детства! В пещере!.. Хозблок был доступен и каждый день на виду, вот он! Странно было увидеть зеку, что здесь не манна небесная. Даже и скудно. Много лучше, чем у них, у зеков, но скудно. Не пир горой.

Водки, плохого спирта взахлеб, суррогатов — ничего не оказалось в хозблоке. А надеялись!

И даже скоротечная болезнь набросилась теперь равно на всех. Непонятная болезнь... С подскоком температуры до 41 градуса и судорожной (с частыми судорогами) предутренней смертью. Длилась неделю. За ночь ночь болезнь выхватила десятка полтора зеков. Солдат (если считать) лишь чуть меньше.

Две лошади протащили знакомую телегу с большим деревянным кубом-ящиком — сначала все-таки к караулке. Солдаты побросают солдат, зеки зеков — так виделось. Но дело пошло дружнее! Там и тут их плечи, их руки сталкивались, действуя вперемешку. И хочешь не хочешь, движения согласовывались. Сначала зеки подошли с заботой, чтобы с мертвых солдат снять себе кое-что. Снять крепкие их гимнастерки (сапоги уж были сняты). Одежда — живым. Солдаты спокойно смотрели, как раздевают солдат. И, конечно, добротные их штаны (ремни были сняты). Насчет ремней отличились урки. У ремней были чудесные «зеркальные» пряжки. Металлические! Ремни полагалось раздавать по алфавиту, но урки как фокусники... Ну, молодцы!.. Ремни с мертвых солдат просто исчезали. Их даже не успевали разглядеть.

Проводить за лагерные ворота охранники и зеки (бесконвойные!) вышли вместе. Рядом с трусившими лошадаками. Шли... Перебрасывались словами. Когда и пофилософствовать, если не на этой дороге! И как бы не было разделенности меж теми и этими. (Меж теми, кто с собаками и автоматами, и теми, кто без.) Тем и другим словно бы с небес уже подсказали

простейшую в их дни мимикрию. Подсказали превращаться из одних в других. И чем скорее превращение и правдоподобнее, тем в будущем для них же безопаснее. Для тех и для других.

Солдаты и зеки разметили землю. И разом налегли на лопаты... Не в общую же яму. Ямы нужны были всем. Земли достаточно. Зато и дощечки с надписями. У каждого.

Майор (замначлага) вел разговор со Струниным, Лям-Лямом и молодым Панковым. Свободы, они ведь неожиданны, непредвиденны. Свободы дают считаться каждому с каждым. Это же мать-перемать! А потому забота одна и общая — препятствовать сведению счетов.

— Для нас, людей один к одному притертых, — майор скрепил объединяющим жестом (для всех нас!), — жизнь — уже спуск. В каком-то смысле мы уже останемся в лагере. Все мы. За колючкой. Даже когда ее снесут. А наружу вылезут только чувства. Чувствишечки, неизбежно присутствующие запертым и кучно живущим людям. Мстительность... Ревность... Алчность...

Панков, молодой, спросил со смешком:

— Побаиваешься?

Майор развел руками: вовсе нет. Он еще и усмехнулся: нет!.. По мифу (а с мифом на нарах не поспоришь) он как раз и был «свойским». Единственный из бывшего лагерного начальства. Зеки его числили «мужиком». Свой! Зеки насчет начальства уже расслабились...

Но тем острее зеки чувствовали и понимали, как мало в них самих высвободилось. Бывшие урки и те понимали... Как мало высвободилось того, что только и стоило высвобождать, — доверия к соседу по нарам. На пять копеек!

И никакого напряжения. Только ждать. Сколько могли, вообще не работали. Отлынивали. Станным образом это делало нас не добрее, а злее.

— Пошел на ...!

Хотелось выmaterить, а еще лучше — кому-то врезать. Душа просила. Если кого-то не выmaterить и не врезать, в эти дни освобожденности становилось трудно общаться. Трудно жить... Не работать, не вкалывать трудно, а жить. Как-то стыдно. Слишком замечалось, что бедны душой. Что год за годом в тебе самом осталось только то и такое, чтобы выжить. Остальное фук! Остальное выдуло зимними ветрами за колючую проволоку. И дальше за сторожевые столбы — ищи в снежном поле!

Охранников настоящих, следящих в оба, было уже маловато. Да и они поубавили в свирепости. Прикуривая у зека, они охотно пощучивали. Или даже давали ему, пока горит спичка, подержать автомат. Штырь с его цементным кулаком куда-то поутру (и навсегда) отбыл. Никто и не заметил. Псы не полаяли ему на прощанье! Свобода...

На тачках Струнин не мучился. Только лопатой. Понятно: человек пожилой... Помалу лишь перекидывал землю. Но вот в разбродные моменты построения он как-то молодо и шустро кидался в самую гущу колонны. Перебежкой. И никак к нему не приблизиться!.. Шли тоже плохим, ломким строем. Гусева оттерли совсем. Афонцева толкали, наступали на стертую пятку. Еще и как кричали!

Чуть что Струнин отмахивался — здесь не место для разговоров. Барак ему не место. Насыпь ему не место...

— С-сука, — с трудом выговорил Гусев.

Афонцев, усмехнувшись, кивнул: сука!.. Как все мы.

Лопата к лопате, Афонцев и Гусев, все же к Струнину прилепились. Ковыряли землю с ним рядом. Вот оно!.. Ожидали уже перекур. Как вдруг Струнин на их глазах ослабел и сполз на землю. Сполз вдоль своей

лопаты, цепляясь за нее длинными артрозными пальцами. Афонцев и Гусев не отошли от него ни на шаг. Не верили. Бледный, с мертвенными скулами, Струнин задыхался.

Охранник, подбежав первым, заорал — мол, пусть Струнин лежит сколько хочет. Жалел не жоака, жалел будущего начальника...

— Все остальные работать! Работать! Бегом, падлы!

Охрана тыкала прикладами в спины. Отгоняли зеков от упавшего. Ра-сталкивали. Гнали их от края насыпи — назад к разгружаемым машинам... Постереги его ты! и ты! (Афонцеву и Гусеву.) Давай, давай, перенесите его в тенек — остальные к насыпи, к насыпи, твари!.. Бегом!

Афонцев и Гусев несли Струнина к сужению сосновой просеки. В тень. Сторожевой пес сходил с ума. Рычал и вскидывался. Пес не помнил, чтобы зеки на насыпных работах сделали столько шагов в сторону! Охранник, едва удерживая пса, тоже орал: «Ну вы, падлы, хватит нести! Бросай его тут! Без баловства, падлы!»

Афонцев склонился к лицу Струнина. Вожак скривился лицом, страдал. В глазах боль и столько обнажившегося страха! Не за жизнь, быть может, а за свою немоту. За свой неответ. Страх за вдруг открывшуюся горькую истину приспособления.

Пес грыз запененный поводок. И снова кидался. Он таки куснул за ногу (через штанину с ромбами) Струнина, только-только пристроенного в высокую траву. Вожак охнул. Афонцев и Гусев заблажили. Зато и охранник кричал в сторону опера — хрена ли его тут бросили? хрена ли его одного?! оставили с зеками у непролазной чащи!.. Он клацал затвором на всякий случай. Едва не падая от рывков пса.

Струнин, помертвевший и бледный, лепетал:

— Не знаю... Ничего не знаю, земляки. Убейте меня... Лопатой по голове — и конец.

Из носа Струнина поползла красная струйка. Извивалась слабеньким током. Пес, его укусивший, при виде крови завыл. Выл тонко и с ужасным надрывом, пока охранник не дал ему настоящего пинка.

Охранники, что с насыпи, наконец подбежали. Вдвоем. Понесли Струнина к машине.

Более всего почему-то винули собаку. Кто-то же виноват!.. Поутру половину сторожевых псов увезли. Куда-то. Самых свирепых. Оставшиеся, не доверяя неясной участи увезенных, выли. Они всё понимали. И словно бы продолжали тот тонкий надрывной вой. Завывания шли вподхват, глотка к глотке — тоска к тоске. Но этих собак зеки не боялись.

К оставшимся собакам прислушивались уже как к собакам. Своя тварь. Проснулись, надо же им пожрать; пожрали — надо полаять.

Меж солдатами и зеками дошло до похлопыванья друг друга по спине, по шее. До снисходительного, по-русски обмена матерными словами. И следом же схожесть даже внешняя — одеждой. Солдат просил зека посторожить, постоять за него часок-другой с автоматом. Солдат двумя руками вешал свой автомат зеку на шею. Зек сиял. Зек взамен за дежурство хотел одну из двух солдатских гимнастерок. Сменить (наконец-то) вытершийся зековский тельник.

И не все ж в жоаках! Не все в их забывчивости... Буква «А» на скале, она ведь не осыпалась и не стерлась — осталась. Но буква уже не смотрелась столь волнующе. Вот ведь как. Из зековской подневольной затеи, из наскальной надписи ушло нечто торжественное и высокое — зато высоким и торжественным стало само небо! Небо, в которое можно глядеть... Здрав голову... Идти и думать о синеве. Думать о неменяющейся высоте неба! о чем хочешь!.. Не боясь при этом случайно оступиться ногой. Не боясь в задумчивости споткнуться, сделав невольный шаг вправо-влево, что равен побегу — и выстрелу в спину.

5

Со смертью Струнина пришло чувство еще большей освобожденности. Какая разница, кто из них наверху! Главное — чтоб не жали соки. Когда воля приходит, нужно ей поддакивать, а не подсвистывать. В любом случае...

Полагали, что новое общее согласие, пусть спешное и отчасти слепое, возникнет само собой. Обязательно! В это особенно верили бывшие уголовники. (Как ни странно.) Урки ликовали. То там, то здесь обговаривали какую-нибудь свежую детскую идею. Жить на деревьях. Как бабуины. Торжественно выбросить все ножи... Зарыть автоматы в землю. Все до единого... Они верили, что стоит выскочить из колючей проволоки, как что-то доброе и вечное сделает их свободными навсегда. (А заодно, глядишь, загонит в колючую проволоку их сторожей. Здесь они чуток мелочились. Мелки и мстительны...) Однако же зеки всей своей монументальной массой никак не распались. Держались в целом. Хотя уже уединялись отдельными группками за картами. Хотя группками попивали чифирек. А то и в одиночку, где придется, спали, укрыв попросту лицо широким листом лопуха.

Взаимозаменяемость гласно не поощрялась, но ведь не запрещалась! Когда у насыпи солдат никак не смог вырлиться, заика Гусев, в прошлом хороший шофер, вдруг сел за руль. Сел в грузовик. Сел и поехал. Зека допустили к машинам. Под общий смех над неумехой солдатом (и смех над еще одной несвободой) Гусев дважды сделал хитроумный отъезд-наезд. Для шоферившего солдата зигзаг явно непосильный. Гусев лихо подогнал машину бортом. Он ее приклеил!

Но столбы и вышки стояли. И колючая проволока тянулась. И спиной (особенно спиной) зеку чувствовалась их тихая (столбов и проволоки) меж собой договоренность.

Для мысли важнее всего — не исчезнуть. Важно быть. Существование так или иначе удержавшейся на плаву мысли и есть сама мысль. Вот почему зеки средние по авторитету и зеки совсем мелкие готовы были цепко ухватиться за какие ни есть — за самые остатки ускользящей мысли, из тех, что помогали им в прошлом. Одна из таких — о букве, что на скале. Серединность дала им здесь жить. Теперь эта серединность велела им держаться друг друга. Это стойкое (и, быть может, обманное) чувство как раз и не позволяло им пасть совсем уж в грязь и в блевоту. В яме, но не на дне... Но что теперь делать и как же теперь им быть?

С того и началась воля, что буква «А» стала давить на подслеповатые глаза Коня... Зеки не верят в стихийность. Как и все люди. Куда охотнее зеки верят в чей-то замысел и в происки. Лишенные (по своей природе, изначально) стратегии, они подозревают в стратегическом таланте (и значит, в замыслах) всех, кого угодно. Тех, кто наверху и извне, властных. Или тех, кто изнутри, хитрых... Дергают, мол, нас за ниточки! А мы... А что мы!.. Деревяго, Филя, заика Гусев, Афонцев вовсе не рвались снова лезть на скалу, висеть там в ветер и, шуря глаз, бить по камню. Не в букве правда. Охоты корячиться не было. Но и остаться без ничего...

Трубич, из барака-два, корешивший с зайкой Гусевым, рассказывал про чудовищные у них драки. Уже три убийства кряду. Это не дележ. Это не разборка... Это нечто... Мужики не могут без своего дела. Пока били букву, нас как-никак связывало, разве нет?.. Откуда эта злая воля, с какой зеки в ночной тьме барака шастают меж нар — одни шастают, а другие настороженно делают вид, что спят. Да, старый Конь был тронутым. Но этот тронутый перечислял наших мертвых!.. Лагерные здесь десятилетия! Сотни безымянных мертвяков под холмиками! Цистерны баланды. Забыли? Память отшибло? Быдло проклятое...

На следующее утро убитый был обнаружен в их бараке. В бараке-один. Маленький Балаян. Лысенкий. Через нары от Афонцева... Никак не просыпающийся, холодный Балаян поутру лежал с зажатым в кулаке куском сахара, который так и не отдал.

Стояли вокруг зеки с разинутыми ртами. Стояла охрана.

— Сами его слепили, сами и хороните, — так решили солдаты охраны.

Слова охранников (отгораживающие их от хлопот) не были приказом или лагерным окриком. И даже не были укором. Простая неохота. Честная солдатская лень.

Мол, запрягайте лошадок и — вперед. Сами. Мы вам не помеха. Мы вам не охрана. Дорогу знаете...

Кинулись хоронить, а крысы уже обглаживали лицо Балаяна. Крысы были самой природой. Хвостатая тварь (сама природа) показывала зекам то, что не отменяется и не стирается никакой новизной и никакими переменами. Оскал. Последняя картинка — не важно, твоя она или моя.

Зато и начальство, от майора и ниже — до последнего лагерного пса, по привычке яростно метавшегося вдоль колючки, испытывало род удовольствия. Только когда сам шагнешь, понимаешь, что лед скользкий! Вы, мол, нас кляли за смерти и за плохие похороны! За жестокости! Ответ, мол, держать придется! Совестьили нас?.. ан гляньте-ка на себя!

В тот же день исчезли (уехали, отбыли) еще два опера, из крутых. Приболели. Использовали для лечения отпуску.

И к вечеру серединные опять о своем — в бараке вновь стоял гул. Ничем не стесненные крики о насущных заботах. Сбившись в группки, серединные зеки кричали чуть не хором. Им разве что лозунгов не хватало!.. Но вокруг них уже хохот. Началась ржачка. А какой сочный мат!.. Что? Опять о букве? А какая она — буква? Какая там следующая?.. Запомнили, бедные! Забы-ыы-ыли. Ай-яй-яй... Серединные легко попадают под насмешку. Туповатые. Заторможенные.

И сразу — кулаки вперед! Кого-то сбросили с нар. Могло кончиться кровавой групповой дракой. Серединные не сдавались. Кричали — даешь какое-никакое! Хотя бы и не букву!.. Насрать на букву, но пусть будет дело, пусть вновь нас приобщит и сплотит. Мать вашу, не хлебом же единым!..

По счастью, дело нашлось. Тут-то и встал в рост холодноглазый зек Тузов, обладатель шизоидно цепкой мелочной памяти. Туз встал одной ногой на нары. Встал так, чтоб выше и слышнее. Покачивался. И кричал:

— Есть! Есть дело!

Едва он объяснил, все взревели. Даже самым дальним вертухаям на вышках расслышался этот вскрик. Афонцев, Гусев, Филя, Дервяго — все кричали. Да, да, согласны! Голосуй!.. Глаза их лезли из орбит. В бараке-один стоял громогласный рев, каким всякий живой человек приветствует удачу. Каким людская масса приветствует напоминание о своем бессмертии.

И она состоялась, эта встреча, готовившаяся Тузом. С женским лагерьем. С женским бараком-один. В погожий день кончающегося сентября... Женский барак, правда, явился не полностью, как обещала переписка. Женщин оказалось маловато. Но в остальном все точно, без путаницы — и время час в час. Встреча состоялась в мелком сосняке, где земля была заведомо суха. Земля была пригрета. И сама трава там не должна была быть холодна.

Гости прибыли в крытом грузовике, и первой женщиной, которую увидели зеки, была женщина в кабине без стекол. И еще одна женщина за рулем. Шоферша. Эта в косынке, с выбивающейся чернявой челкой.

— Уууу. Гу-ууу, — прошел гул. Взгляды доходят не отрывались... Оде-ревенели скулы. Лица зеков обтянулись кожей.

Свойственный мужчинам кураж ожидания был истрачен уже загодя. Перегорели. Какой там кураж! В нетерпении они приехали на место встречи чуть ли не часом раньше. Сосняк оказался по грудь, зеки рассеянно, с оловянным взглядом, бродили меж мелких сосенок. И только с приездом гостей они ожили. И тотчас вновь образовали строй. Привычка. И чтобы никто не был первым.

Женщины-зеки выбрались из-под брезента своего грузовика, поспрыгивали на землю. И тоже стали кучно. И почти сразу обе группы сломались. И двинулись. Без знакомства. Без «здравствуйте» и без единого приветствия. (Но и без лагерной команды, без окрика.) Устремились навстречу друг другу. Некоторые мужчины все же рванули вперед — поторопились, чтобы выхватить себе (сначала глазами) подругу послаще. Два потока слились в сосняке. Слышны были хриплые мужские вскрики. Кто-то зашелся кашлем. Одна из женщин несдержанно и страстно закричала:

— И-ииии!.. И-ииии! — тоненьким заждавшимся голосом вопила она не смолкая.

В остальном только хруст подминаемого сосняка. И вдруг тихо.

Конечно, кой-где и кой-кому вышло подождать. Пришлось потоптаться рядом, кося туда и сюда взгляд. Глотая слюну... Кой-где случились сменные «треугольники». Мужчин больше, что поделать! Но в общем — без свального греха. Пары, тесно обнявшись, не расставались. Слипнув и сросшись... Бросить свое и устремиться, скажем, к другой (как думалось, как мечталось еще вчера) не получалось. Бросить — значило рискнуть. Встать, чтобы сменить худенькую на потолще (толстухи в лагере редкость), зеку в голову уже не шло. Не до затей. Так сильно была дрожь. И так опасно было выпустить из рук (упустить) худенькое, ответно дрожащее тело. Не отличались и те несколько солдат, что загодя переоделись в зек. Перерядились... Не для пригляда, конечно, и не охраны ради. Ради того же манящего местечка в сосняке. Иначе их возможности умялись. Одежда выдавала. Их серый служивый вид мог некстати нагнать страх.

В назначенный час рывкнули гудки обоих грузовиков. Машины затахтели... Оба потока сразу и, надо признать, дисциплинированно разошлись. Люди потекли вспять. Как в обратно прокручиваемой киноленте. Мужчины и женщины шли задом (оставаясь лицами друг к другу). Зеки пятились и пятились. Через сосняк. Те и другие отступали в свою сторону — к своей машине. Кричали через примятую траву — через мелкий сосняк — через пространство. Некоторые наскоро записывали.

— Воронеж! Третья Строительная... Ты запомнил? Третья Строительная, двадцать шесть! — все еще вскрикивал женский голос, когда остальные смолкли. И только рокот долго разогревающихся моторов.

Двое мужчин так и остались лежать в сосняке, на пригретой земле и в нехолодной траве. Выбор (или спешный перебор) от женщины к женщине привел к стычке. Посреди радостной свалки... Когда нож или заточенный напильник вдруг ставят торопливую точку. Один из мертвых был зек, другой мертвый — переодетый солдат. Лежали шагах в двадцати. Каждый сам по себе... К дальнейшему выяснению, однако, никого других не тянуло. Ясно было, что не сводились счеты. Что в обоих случаях в сосняке убил не зек солдата и не солдат зека. Мужик мужика.

Что выяснять, если без причин (и вовсе без участия женщин) в бараках продолжались ночные, уже не пугающие убийства. Труп там, труп здесь. Никакой даже загадки. Просто смерть. И ничего здесь нового, вот что теперь угадывалось и понималось. В убийствах не было новизны. Напротив! Только так и открывалось их прошлое. Только теперь, при первых свободах, открылось наконец, как долго они жили (и как уже прижились) во времени, когда их жизни не стоили гнutoго ржавого гвоздя.

Гвоздем и был убит Туз, с его шизоидной памятью. Он тоже был зек-середняк. Один из тех, кто выискивал в себе уцелевшую честность, жалость, совесть и прочие остатки человеческого багажа. Но у него была слишком мелкая память. Сколько украдено гвоздей... Привезено коробок... Усушка хлеба... Адресок женского лагеря... И вот уже без Туза шла барачная распря. Шел ночной дележ. Барак-один укладывался спать. Из разных углов барака несло крикливое многоголосье недовольных. Обойденных и алчущих. И тогда они, каким-то чудом урвавшие свое в этот раз Афонцев, Дервяго, Гусев, строго кричали:

— Спать, спать!.. Заткнись, падлы!

В конце сентября погода еще стояла, когда появились два трактора. Это был сладкий и острый соблазн — ломать! Зеки, поддразнивая друг друга, норовили пробраться в кабину. Сесть за рычаги. Их можно понять. Да и солдат-тракторист вроде как им уступил — пжалста! валяй!.. Тракторишко был кряжист, по виду силен. Еще держал на боках свою первую заводскую краску. (Тоже дразнящая глаз новизна!) Долгонько он полз. Долго пробивался к ним через тайгу, а оказалось, как раз к сроку. Как же теперь хотелось! Каждому!..

И беспрерывно лезли в кабину, сменяя один другого. Уже напрочь отняли у солдата его работу (проще сказать — его трактор). И даже кто не умел, никогда не водил, прорывался в кабину и, едва плюхнувшись на сиденье, отпускал тормоз — вперед! Трактор нервозно дергал и взывал. Дымил. Крутился, как бес, на месте. А зеки (следующие) лезли, висли и уже приплясывали на ползущих гусеницах: давай, давай! Солдат сначала покрикивал — мол, опасно!.. Но затем отвернулся лицом к тайге. Им уже не запретить. А себе дороже... По оскаленным их ртам солдатик быстро смекнул, что к чему.

Так и стоял он, покуривал. И смеялся: все в норме! порядок!.. Это я, такой смелый, разрешил им трактор, а не они, такие подлые, его у меня отняли.

Неинтересно им было (слишком просто) утюжить гусеницами трактора траву межзонья. Такую чистенькую травку! (Предупреждавшую от попытки побега своей чистотой.) Другое дело — сшибать опорные столбы. Мчать по самой граничной линии! И каждый кувыркнувшийся от удара столб встречать криком: «Ур-ра-аа!» — с яростью полусотни глоток... Порыв крика несся как ветер. Оглушал! Перекрывал урчание мотора. Порыв зековского крика был такой силы, что сбивал на сторону смрадные черные выхлопы, бьющие струей из тракторной задницы.

С другого угла лагерного кара появился второй трактор, сшибавший столбы — и также встреченный ревом. Восторг разрушенья! Неистовство, что всегда заодно со свободой! В сшибании опорных столбов-фаллосов и впрямь прорывалась (высвобождалась) языческая энергия. Посрамление символов. И горькая чувственность запрета. Один из зеков не зря же вдруг вспомнил. И как раз крикнул: «Чо жалеть?! Этими столбами они нас е...!» Оба трактора напористо шли навстречу. Сближались.

Наезжая на проволоку и давя, трактор мстительно ее подматывал. Наматывал внатяг. Накручивал нет-нет и звучно лопающуюся клятую колючку... Проволока? или ее опорный столб? — каждый раз (на каждом отрезке) было не ясно, кто из них двоих устоит дольше. Кто и как укоренился — кто из них крепче (и значит, памятнее) удерживается на этой, на нашей земле?.. Она не лопалась, а он не валился. Не сдавались. И вот скрежещущая гусеница наматывала проволоку до упора. До самого наезда на столб. И только тогда они (повязанные и в смерти) валялись, лежа рядом. Столб, сбитый, запрокинутый как попало. И верная ему обмякшая проволока.

Трактора встретились нос к носу. Развернулись и поспешили (вспомнив!) каждый назад к своему углу — к вышкам.

Их черед. Сам вид вышек, уже оголенных, освобожденных справа и слева от рядов колючки, вызвал новый всплеск злобы и голосов. Взрыв чувств, называемый для простоты ненавистью. Зеки понабежали отовсюду. Все смотрели. Как один. Но раньше (и решительнее) других отличились двое: молодой Панков и одноглазый Филя. Нагловатый интеллигентный Панков и болезненный, с давно уже вытекшим левым глазом урка Филя. Их одновременно воодушевила сверхидея: наложить на вышке кучу дерьма.

Отговаривали, но разве гневных удержишь.

— Засру-ууу ее! — кричал Филя.

Панков же, оскалив клыкастый молодой рот, расталкивал тех, кто на его пути. Работал плечом. А то и шипел зекам в их, казалось, уже вот-вот очастливленные лица: не мешай! пройти дай!

Вышка к этому часу уже не была девственной. Козырек помят. Дошчатые бортики вышиблены (скорее всего, ударами ног). И само место, где сиживал вертухай, теперь неприкрыто продувалось ветерками. Туда и притягивало сейчас зековский алчущий взгляд — сижал! вот она!.. Оба прожектора были сброшены. Они свисали вниз, лишь кое-как удерживаясь на сплетенье своих ж проводов. Как выбитые (и почти вытекшие) оба глаза. Вышка ослепла. Своей ослепленностью (этим мгновенно читаемым образом горя) она, возможно, напомнила Филе собственную искалеченность. Возможно, этим вышка его и манила. Филя рвался, лез — он спешил! Туда, где торчал вертухай при карабине и пулемете. Туда, где еще вчера жили окрик и пуля, а сегодня пустое место. Туда, где... там и будет его куча!

Но и зек, что на ревушем тракторе, спешил, наезжая на вышку.

Уже в двух шагах от цели зек-тракторист не желал вникать. Он тоже не хотел ничего со стороны слышать. В азарте — и тоже в праведном гневе! Какой там Панков! Какой, на хер, Филя! Он сам спешил наехать, чтобы помнилось навеки: он зажопил вышку. Он один! он сам повалил ее!

Соперничество спешащих зажгло всех остальных, зеки азартно взревели: давай, давай!.. Филя и Панков лезли на покачивающуюся пустую вышку, а сбоку на нее наезжал разъярившийся трактор. Одноглазый Филя, возможно, трактора не видел. Но Панков видел — подгоняемый молодой злобой, лез и лез наверх, чхать на трактор! чхать ему на всех и вся! И на свою несравненную жизнь тоже! Панков и стал первым, опередив косолапо взлетающего Филю. Панков — наверху! Панков уже стаскивал штаны и сверкал голой задницей. С воплем!.. И как же восторженно взликовала толпа зеков, когда и трактор не отстал и с ходу врубился. И когда клятая вышка с первым же наездом гусениц, с первым же напором тупого тракторного рыла — повалилась!

Филя заорал. Филя под слом стоек, под треск лопающейся дошчатой обшивки летел вниз, нелепо размахивая руками. А вот Панков, цепкий, с леопардовой гибкостью, не упал. Хотя и голожопый, ловко цеплялся! Падал и вновь цеплялся. Падал, перехватываясь руками, как гимнаст, — и когда вышка с грохотом рухнула, он и теперь остался на ней. На ее наполовину опустившейся к земле верхней площадке. Удержался!.. Пыль оседала, и зеки увидели испуганно выползающего из-под досок Филю. Державшегося руками то ли за голову, то ли за свой одинокий глаз (было уже не до сверхидеи). Зато с каким новым ревом восторга был встречен зеками возникающий из облака пыли Панков. Этот остался на месте вертухая — остался на вышке. Он крикнул им всем: «Ого-гоо!.. Ого-о!» Стоял торжественно в рост. Показывал рваную тельняшку, а под тельником исполосованную в кровь спину. А еще ниже — голую белую, в ветвистых ссадинах задницу. Он не прыгнул с развалившейся вышки, нет! Он и не думал спрыгивать. На боевой площадке вертухая, пусть уже полулежавшей на земле и поверженной, зек сделал-таки свой великий жест. Сел и с звуками, с натугой вывалил дерьмо на деревянный настил. На площадку. С ко-

торой десятилетиями скалился дулом пулемет. С которой надзирал азиатский глаз вдоль столбов и ветерков колючей проволоки.

— Ур-ра! — завопили зеки.

Свершилось. Афонцев, Деревяго, Гусев, стоявшие рядом, разинули кричащие рты. Как и бывает с середняком, поначалу не понимавшие (не принимавшие) знаковости этой сральной затеи, они вдруг тоже почувствовали силу и энергию жеста.

— Ур-ра! Ур-ра! — кричали зеки, теперь все заедино.

А двое безымянных спешили туда, к осевшей вышке, так же поспешно, на бегу, расстегивая и спуская штаны. Влезть и быть там. Оставить свое. Отметить миг победы.

Те, и другие, и третьи — они не просто так покрывали дерьмом высокое место надзора. Они метили. Они клеймили. Они не желали, чтобы их боль и беда были вскоре же обезличены. И забыты вместе с уходящим временем. Вместе с зарытыми мертвыми. Вместе и заодно с вышками, столбами, колючей проволокой... Под тощими задами зеков грубо и спешно громоздился культ их страданий. Вдгон этому саморазрушающемуся времени. Их кучам и кучкам было далеко до былой высоты вышки, увь! Но тем чудовищней они старались.

Вчера была фасоль. Ее привезли, ее достало всем. В жарком разваре вкуса фасоли вспомнились давние супы — недоступная десятилетиями, неслыханная еда! С привкусом солнца. С привкусом детства и сытого юга России. Ели, жадно зажевывая утром. Ели, заглатывая в обед. Ели меж едами, хотя бы ложку-две. Зато сегодня исшарпанные язвами желудка не выдержали. Всех несло. Тем самым только усиливая их историческую возможность метить и гадить. С особой мстительностью зеки садились на запретной траве, вдоль былой колючки. Сидя на кортках и придерживая штаны, рассаживались они по зоне, все решительнее вглубь. Шаг за шагом (смелая!) гадили у караулки. Гадили у Шизо — у «лазарета». У входа в свой барак. И в открытую садились на самом виду и даже на плацу, где построение. Торопились... Как знать! За лихой вседозволенностью им откроется, возможно, еще большая немереная освобожденность.

Афонцев, едва слышав тяжесть кишок и пугающий позыв, тоже с удовольствием присаживался. Снова и снова. Там и здесь. Чтобы забыть и избыть. Вместе с другими и где угодно, хоть бы на плацу! Хоть бы на священном пятачке с одуванчиками под самыми окнами сбежавшего начлага! И тоже пускал струю, облегчаясь. Вскрикивая. Ликуя. И поворачивая лицо — вправо и влево к зекам (к бывшим зекам), сидевшим рядом с ним на корточках. Ему в ответ они, тужась, тоже радостно вскрикивали. Скалили битые редкозубые рты.

Их не заботило и им не белело, что павшие столбы и проволока — их столбы и их проволока. И что земля — их земля. Здесь была их боль. Здесь была их униженность. И пусть здесь другие, следующие живут, а мы загадим. А уж мы засрем. Облегчимся — и тем облегчим злую память. И пусть здесь повсюду будет наше памятное фасольное наследие (вечная часть нас). Пусть пристанет. Привоняет все и вся на километры вокруг. Пусть...

Там и тут сидели люди. Там и тут синели (не сказать белели) их голые хилые ягодицы. Летело взрывающимися струями их дерьмо. И горланил Панков, после смерти Коня перехвативший у глуповатого Лям-Ляма вожачество. Кричал своим из барака-один, единя их и поощряя:

— Давай, давай, падлы! И чтоб от души!..

Сидя орлами, они перекрикивались.



АНАТОЛИЙ НАЙМАН

*

ЖИЗНЬ, УБЕГАЯ

* *
*

Тихий рассвет и городской рев
полчаса-час не раскачивают весы,
полчаса-час реверансов, учтивых проб,
видимы, но не лают слепые псы,

полчаса-час выясняется, кто есть кто,
только потом загорается светофор,
первые расставляет цугом авто,
и, закипая, лава плывет во двор.

Кровь отзывается на стадионный шум
той же температурой, с которой зной
тихого утра под горностаем шуб
черной вспухает кисточкой и белизной.

Так разгоняют друг друга грохот и свет,
грохот и свет; остальное вообще — ничто.
Именно так начинался двадцатый век.
И двадцать первый. И, кажется, двадцать вто...

* *
*

Длиннее дни, но все равно
приходит вечер и темно.

На свете больше тьмы и мглы
оказывается, чем света,
и там, где мгла и тьма, там мы,
а свет лишь сфера — цвет и схема

вне нас. Мы провели в отце
и матери десятилетия
беспечные, и нам во тьме
естественнее, чем при свете.

Нас тянет в ствол, вовнутрь. Бревно
есть свет, когда горит, и пламя
длиннее дня, но все равно
само есть ночь, как ночь — мы сами.

Нас тянет — нас с тобой — во тьму,
вглубь, головой под одеяло,
там жизнь не та, что на свету,
там дня ни много и ни мало,

а просто день. Вернее, дни.
Без черт. Там светятся не лица,
а наши вдалеке ступни.
Как нимб. Как бабочка. Как птица.

Антифон

— Что ты так пляшешь, легкий ягненок,
в поле под солнцем, в сумрачных яслях,
ножками хрупок, ребрами тонок,
что это, что ты, чем ты так счастлив?
Или, надеешься, смерть заблудилась,
пьяная жизнью, в градах и весях?
Или попал в редкую милость?
Что ты так пляшешь, чем ты так весел?

— Если бы ветер не затыкал мне
далью гремучей ноздри и уши,
я с языка бы выплюнул камни
и прокричал слово пастушье,
как его чуял, как его слышал
в теплом закуте, в воздухе горном,
как его голос шкурку мне вышил,
черную белым, белую черным.

— Разве оно не про гибель и жертву?
Разве тебя не затем оно кличет,
чтобы ты стал кровью и шерстью?
Каждый твой день — разве не вычет?
Ветер по крайней мере не выдаст:
душит, глушит, налегает всей тушей,
но называет выпасом выпас,
а не блаженством дудки пастушьей.

— Да, но когда поднимает на плечи,
прежде чем сделать шерстью и кровью,
тело мое пастушонок, мне легче,
словно мой вес вытекает любовью,
словно я волос, словно я брызга.
Вот что я крикнул бы, горло прокашляв,
если бы ветер хищно не рыскал.
Вот отчего, плача, я счастлив.

Младенцу

На-ка охапку ромашек —
просто за то, что люблю, —
равных по алгебре нашей
желтому с белым нулю.

Или примерь, раз уж гладью
вышито платье, жасмин:
веткой вплетется на свадьбу
в лиф, а завянет — простим.

Не выплавлять же из бронзы
к щраму губных лепестков
льнущую свастику розы,
видимую в телескоп,

то есть гвоздями тычинок,
вбитыми в корень креста,
вновь ковыряться в причинах,
чья и зачем красота

в аксонометрии тюрем,
в печени черной, в тоске,
в том, что где гвозди, там Дюрер
бьет молотком по доске.

Вот оно, начал о здравье —
жди, что снесет в упокой:
что подарю, сам и граблю
той же дарящей рукой,

жизнь проводя в разговорах.
В общем, ромашку, жасмин,
клевер — держи-ка весь ворох:
ангел, ты справишься с ним.

Fuga et vita*

I

Ушло единственное, что было, — как кровь ушла,
как с языка слюна или влага и соль из глаз,
как тень из комнаты в коридор — ни рубца, ни шва,
щелкнули клавишей на стене, и свет погас.

Только на то и хватает за жизнь ума,
чтобы понять, что она всегда позади.
Только жизни и есть, что она сама,
она и ее заклинание: не уходи.

Не потому так плохо, что то ушло,
в чем вся любовь была, все дыханье мое,
а потому, что было так оно хорошо,
что без него нет хорошего. Без нее.

* Жизнь, убегая (лат.).

II

Я был, лишь где ты была,
где звезды, как ни сложишь,
вырезывает топор-пила
тебя по общим лекалам, жизнь,

где сплошь, как клейма, твои следы
на всем, на каждом шагу,
на каждом зерне, и звене воды,
и крови, и на моем мозгу.

Я ничего не знаю кроме
тебя, но знаю, что что ни встретить,
тобой не оттиснутое в уме,
то будешь не ты, а смерть:

пусть я наткнусь в ней на красоту —
тем горше: без красоты
той, где в благоуханном поту,
с кровью под кожей — ты.

* *
*

Абзацы книг — это ребра рыб,
спасенных в аквариуме от потопа
и бегства моря, — но не интриг
поклевки и дарвинского поклепа.

Они используют вертикаль
стихии, а не таблицу видов,
ведь рыба — рыцарь, одетый в сталь
тех звеньев, что склепаны в щит Давидов.

А книга — рваный и в узелках,
но блеском ртутным кипящий бредень,
и отражает в нем сыпь зеркал
когорты волн и над каждой гребень.

И постоянно ныряет ум
за край страницы, поскольку верит,
что мир — на китовом скелете чум,
и где он стоит — очевидно, берег.

Прогулки

Марго.

I

Мемориальный серебряный стержень
рва вместе с лебедем, как его Фидий
высек, от плющенья в лезвие сдержан
сумраком парка. И все это видеть

некому. Нет никого, кто б заметил —
лучше сказать, кто б узнал, — этот зяблый
оттиск июльской Вселенной: на месте
нет никого, кому я показал бы.

Разве что кто-то невидимо дальний
хочет любить эту воду и птицу,
так же, как я, и держать это втайне,
так же, как я, сорок лет или тридцать —

кто-то, кто видов, изъятых из тленья,
ищет — куда ему выдало паспорт
новое, мне незнакомое племя,
в гербе которого русло и ястреб.

II

Остывала скала, как слоеный пирог,
и разряженный лес наступал,
как слепой, натываясь клюкой на порог,
и, как дети, шумел водопад.

На пути черепаха стояла, спеша,
я ее перенес на траву
и услышал, что чья-то сказала душа —
не моя, — что еще я живу.

Или это был дух? Ведь вокруг ни души
я не видел. А может быть, вздох?
«Жив», — сказал — и прибавил кому-то: «Глуши».
Цвету, что ли? Но цвет не заглох.

Он стоял в форме купола, панциря, призм,
синий, рыжий, какой-то еще.
Как виденье слепого. Как собственно жизнь.
Жизнь. И слава. И осень. И всё.

* *
*

Что говорят к концу? Что земля есть плавное
тело; что Рим и Иерусалим
не уступят один другому ее; но главное,
что она организм и он неделим.

Что еще? Что арбе, поворачивая,
ни на миг не сменить направленья колес,
и поэтому то, что в земле есть горячего,
роет две борозды по образчику слез.

Что же в ней есть холодного, то — гармония:
стадо холмов и мышц посреди колоннад
ребер и роц; связь их все церемоннее —
кожа скрывает жар, но сама холодна.

То — рудники и магма, а это — дерево,
сложенный, как собор и скала, кипарис,
для которого солнце, садясь, отмеривает
под колокольню верх и под шахту низ.

Стало быть, не обязательно, что что искусственно,
то неестественно. Просто жерло утрат,
свет поглощая, всхлип испускает — устное
слово, то самое, что к концу говорят.

Что говорят? Что говорят — то теряется
в шуме воздуха. Говорят, что земля —
это пауза и она повторяется,
как двойная прерывистая колея.

* *
*

Если, маленькая кукушка,
ничего мне не прокукуешь,
это значит, что очень скоро
куковать ты будешь напрасно —
все равно тебя не услышу.



БОРИС АКУНИН

*

ЧАЙКА

Комедия в двух действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Ирина Николаевна Аркадина, 45 лет, по покойному мужу Треплева, знаменитая актриса.

Константин Гаврилович Треплев, ее сын, 27 лет, писатель.

Петр Николаевич Сорин, ее брат, 62 года, владелец поместья, действительный статский советник в отставке.

Нина Михайловна Заречная, 21 год, актриса, бывшая соседка Сорина.

Илья Афанасьевич Шамраев, 55 лет, отставной поручик, управляющий у Сорина.

Полина Андреевна, 43 года, его жена.

Маша, 24 года, его дочь.

Семен Семенович Медведенко, 30 лет, ее муж, сельский учитель.

Борис Алексеевич Тригорин, 37 лет, столичный беллетрист.

Евгений Сергеевич Дорн, 57 лет, врач.

Действие происходит в усадьбе Сорина осенним вечером.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Одна из гостиных в доме Сорина, обращенная Константином Треплевым в рабочий кабинет. Направо и налево двери, ведущие во внутренние покои. Прямо стеклянная дверь на террасу. Кроме обычной гостиной мебели в правом углу письменный стол, возле левой двери — турецкий диван, шкаф с книгами, книги на окнах, на стульях. Повсюду — и на шкафу, и на полках, и просто на полу — стоят чучела зверей и птиц: вороны, барсуки, зайцы, кошки, собаки и т. п. На самом видном месте, словно бы во главе всей этой рати, — чучело большой чайки с растопыренными крыльями.

Вечер. Горит одна лампа под колпаком. Полумрак. Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах. Время от времени доносится рокот грома, иногда сопровождаемый вспышками зарниц.

Треплев сидит один за письменным столом. Рядом лежит большой револьвер, и Треплев его рассеянно поглаживает, будто котенка.

Треплев (*пробегает глазами рукопись*). «Афиша на заборе гласила... Бледное лицо, обрамленное темными волосами...» Гласила, обрамленное... Это бездарно (*зачеркивает*). Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное все вон. Описание темного лунного вечера длинно и изысканно. (*С раздражением.*) Тригорин выработал себе приемы, ему легко! (*Хва-*

Борис Акунин (Чхартишвили Григорий Шалвович) родился в 1956 году. Эссеист, переводчик, беллетрист. Автор книги «Писатель и самоубийство» (М., «НЛО», 1999), а также серии детективных романов («Азасель» и др.). Живет в Москве. В «Новом мире» печатается впервые.

тает револьвер, целится в невидимого врага.) У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно. (Громко стучает револьвером о стол.)

Пауза.

Да, я все больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души.

Кто-то стучит в окно.

Что такое? *(Снова хватает револьвер, глядит в окно.)* Ничего не видно... *(Отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад.)* Кто-то пробежал по ступеням. *(Окликает с угрозой.)* Кто здесь? *(Бросается на террасу с самым грозным видом. Возвращается, волоча за руку Нину Заречную. При свете узнает ее, взмахивает рукой с револьвером.)* Нина! Нина!

Нина кладет ему голову на грудь и испуганно всхлипывает, косясь на револьвер. Сцена постепенно наполняется светом.

(Растроганный.) Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день душа томилась ужасно. *(Снимает с нее шляпу, тальму, шарфик. Нина покорно стоит.)* О моя добрая, моя ненаглядная, она пришла! Не будем плакать, не будем. *(Вытирает слезы с ее лица. Нина вздрагивает от прикосновения.)*

Н и н а. Здесь есть кто-то?

Т р е п л е в. Никого.

Н и н а. Заприте двери, а то войдут.

Т р е п л е в. Никто не войдет.

Н и н а *(настойчиво)*. Я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте двери...

Т р е п л е в *(запирает правую дверь на ключ, подходит к левой)*. Тут нет замка. Я заставлю креслом. *(Ставит у двери кресло.)* Не бойтесь, никто не войдет.

Н и н а *(пристально глядит ему в лицо)*. Дайте я посмотрю на вас. *(Оглядываясь.)* Тепло, хорошо... Здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась?

Т р е п л е в. Да... Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина, как-то странно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы до сих пор не приходили? Я знаю, вы здесь живете уже почти неделю... *(Все больше раздражаясь.)* Я каждый день ходил к вам по нескольку раз, стоял у вас под окном, как нищий.

Н и н а *(осторожно)*. Я... боялась, что вы меня ненавидите. *(Находится, говорит быстрее.)* Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали! С самого приезда я все ходила тут... около озера. Около вашего дома была много раз и не решалась войти. *(Отдвигается от него.)* Давайте сядем.

Садятся.

(Щебечет.) Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно... Слышите — ветер? У Тургенева есть место: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол». *(Вздрагивает, сбивается с легкого тона.)* Я — чайка... Нет, не то. *(Трет себе лоб.)* О чем я? Тургенев... «И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам...» Ничего. *(Рыдает.)*

Треплев. Нина, вы опять... Нина!

Нина. Ничего, мне легче от этого... *(Берет себя в руки.)* Я уже два года не плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее на душе. Видите, я уже не плачу. *(Берет его за руку, в которой Треплев все еще сжимает револьвер, гладит.)* Итак, вы стали уже писателем... Вы — писатель, я — актриса... Попали и мы с вами в круговорот... Жила я радостно, по-детски — проснешься утром и запоешь; любила вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!

Треплев *(рассеянно — он думает о своем)*. Зачем в Елец?

Нина. Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать. *(Встает.)*

Треплев *(схватив ее за руку и насильно удерживая — он уже не рассеян, а возбужден; говорит все быстрее, а под конец почти исступленно)*. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима — я страдаю... Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто лет.

Она в ужасе вырывает руку и отскакивает. Он проворно опускается на колени и целует пол, где она только что стояла.

Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни...

Нина *(растерянно)*. Зачем он так говорит, зачем он так говорит?

Треплев. Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно. Оставайтесь здесь, Нина, умоляю вас, или позвольте мне уехать с вами!

Нина в панике быстро надевает шляпу и тальму, причем шарфик соскальзывает на пол.

Нина, зачем? Бога ради, Нина... *(В голосе угроза, поднимает руку с револьвером.)*

Пауза.

Нина *(дрожащим голосом)*. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду... *(Не выдерживает, нервные слезы.)* Д-дайте воды...

Треплев *(дает ей напиток; он вновь перешел от возбуждения к отстраненной рассеянности, даже холодности)*. Вы куда теперь?

Нина *(стучит зубами о стакан)*. В город.

Пауза.

Ирина Николаевна здесь?

Треплев. Да... *(Недобро усмехается.)* В четверг дяде было нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.

Нина *(решительно отставляет стакан и, глубоко вздохнув, говорит поставленным, актерским голосом)*. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. *(Картинно склоняется к столу.)* Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! *(Поднимает голову, следит за его реакцией.)* Я — чайка... Не то. Я — актриса. Ну да! *(Услышав смех Аркадиной и Тригорина, прислушивается, потом бежит к левой двери и смотрит в замочную скважину.)* Он здесь! *(Возвращаясь к Треплеву.)* Ну да... Ничего... Да... Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом... А тут заботы любви, ревность, по-

стоянный страх за маленького... Я стала мелочною, ничтожною, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я — чайка. Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? *(Показывает на чучело.)* Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа. Это не то... *(Трет себе лоб.)* О чем я?... Я говорю о сцене. Теперь уж я не та... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... *(Торжественно, голос звенит.)* Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле — все равно, играем мы на сцене или пишем, — главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. *(Приближается, мягко отводит его руку с револьвером, понижает голос.)* Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.

Треплев *(печально)*. Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание.

Нина *(прислушиваясь)*. Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большою актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь... *(Жмет ему руку.)* Уже поздно. Я еле на ногах стою... Я истощена, мне хочется есть...

Треплев *(оживившись)*. Останьтесь, я дам вам поужинать...

Нина *(быстро)*. Нет-нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... *(Порывисто.)* Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Сюжет для небольшого рассказа... Люблю, люблю, страстно, до отчаяния люблю.

Опомнившись, в ужасе смотрит на Треплева. Его лицо искажено ненавистью, револьвер вновь поднят

(С испуганной улыбкой.) Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства — чувства, похожие на нежные, изящные цветы... Помните?... *(Моноotonно читает, словно убаюкивая.)* «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, — словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах...»

Треплев в такт кивает, глаза полузакрыты, рука с револьвером безвольно повисает. Нина медленно отступает к стеклянной двери и убегает.

Треплев *(после паузы; говорит и двигается медленно, как автомат)*. Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму... *(Содрогнувшись, трясется в беззвучном хохоте. Потом — в продолжение целых двух минут — рвет все свои рукописи на мелкие-мелкие кусочки и бросает на пол, возле стеклянной двери. Отпирает правую дверь и уходит, сжимая револьвер.)*

Свет на сцене меркнет, и остается лишь освещенный кружок близ лампы. Через полминуты доносится приглушенный треск грома, но зарницы нет. Еще через несколько секунд мимо стеклянной двери быстро проскальзывает чей-то силуэт. Опять грохочет гром, но теперь уже значительно сильнее. Яркая вспышка, порыв ветра запахивает дверь, полощется белая занавеска, с пола взлетают и кружатся мелкие клочки.

Дорн (*стараясь отворить левую дверь*). Странно. Дверь как будто заперта... (*Входит и ставит на место кресло*.) Скачки с препятствиями.

Входят Аркадина, Полина Андреевна, за ними слуга с бутылками и Маша, потом Шамраев и Тригорин.

Аркадина. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда, на стол. Мы будем играть и пить. Давайте садиться, господа.

Полина Андреевна (*слуге*). Сейчас же подавай и чай. (*Зажигает свечи, садится за ломберный стол. Слуга уходит.*)

Шамраев (*подводит Тригорина к чучелу чайки*). Вот вещь, о которой я давеча говорил... Ваш заказ.

Тригорин (*глядя на чайку*). Не помню! (*Подумав*.) Не помню!

Громкий хлопок; все вздрагивают.

Аркадина (*испуганно*). Что такое?

Дорн. Ничего. Это, должно быть, в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. (*Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается*.) Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. (*Напевает «Я вновь пред тобою стою очарован»*.)

Аркадина (*садясь за стол*). Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, как... (*Закрывает лицо руками*.) Даже в глазах потемнело...

Дорн (*перелистывая журнал, Тригорину*). Тут месяца два назад была напечатана одна статья... письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим... (*берет Тригорина за талию и отводит к рампе*) так как я очень интересуюсь этим вопросом... (*Тонем ниже, вполголоса*.) Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...

Тригорин (*истошным голосом*). А-а-а-а!!! Нет! Не-е-е-ет!

Аркадина (*бросается к нему*). Боря, Боренька, что с тобой? Что он тебе сказал?!

Дорн (*оторопело*). Борис Алексеевич! (*Разводит руками*.)

Тригорин (*всклипывая*). Он умер, умер! Я... этого не хотел! Клянусь!

Аркадина (*обнимает его, гладит по лицу*). Кто умер? Успокойся, на тебе лица нет. Тебе вредно волноваться, ты потом писать не сможешь. (*Обернувшись к остальным*.) Борис Алексеевич такой впечатлительный.

Шамраев. В самом деле? Вот уж никогда бы не подумал.

Аркадина. Он весь погружен в себя, в творчество, но если его что-нибудь расстроит, потом долго мучается и не может писать. Успокойся, милый. На свете нет ничего такого, что стоило бы твоих слез.

Тригорин (*внезапно успокоившись, смотрит на нее со странным интересом*.) Даже если это смерть твоего сына?

Аркадина (*вполголоса*). У меня есть только ты, только ты... (*Внезапно до нее доходит смысл слов Тригорина, она резко оборачивается к Дорну*.) Это правда? Так все-таки?... Он снова стрелялся, да?

Дорн. Да, и на сей раз, к сожалению, удачно. То есть я хочу сказать — неудачно.

Всеобщее смятение. Маша некрасиво и громко кричит басом. Секунду спустя к ней присоединяется Аркадина — более мелодично. Поняв, что Машу ей не перекричать, грациозно и медленно падает. Шамраев и Дорн подхватывают ее на руки, стукнувшись при этом лбами.

Шамраев. Пардон.

Вбегает Медведенко. За ним, отчаянно крутя колеса, вкатывается на инвалидном кресле Сорин.

Сорин. Что? Что такое? Что-нибудь с Костей?

Медведенко. Убили? Кого-нибудь убили?

Шамраев. Что ты несешь! Дурак! Константин Гаврилович застрелился.

Маша (*перестает кричать*). Евгений Сергеевич, дайте папиросу. (*Закуривает и говорит, отчетливо выговаривая каждое слово.*) Я — никогда — себе — этого — не — прощу. (*Отходит к окну и в дальнейшем стоит к залу спиной, обхватив себя за локти.*)

Полина Андреевна. Я знала, я знала, что этим закончится...

Аркадина (*она все еще на руках у Шамраева и Дорна*). Доктор, а может быть, он только ранен? Ведь в прошлый раз лишь чуть-чуть пулей оцарапался. (*Поднимается.*)

Дорн (*махнув рукой*). Какой там. Прямо в ухо, и мозги по стенке.

Аркадина снова падает. Ее опять подхватывают.

Аркадина. Но... Но почему, зачем? Почему именно сегодня, когда я приехала! Это он нарочно дождался, чтобы мне досадить! Он всегда меня ненавидел.

Сорин (*всхлипывая*). Что ты, Ирочка, он так тебя любил. Ах, бедный, бедный...

Медведенко. Теперь уж лошадь точно не дадут. Ни сегодня, ни завтра. Придется идти шесть верст пешком, да еще под проливным дождем.

Аркадина (*выпрямляется, отталкивает Дорна и Шамраева, говорит трагическим голосом*). Я должна его видеть.

Тригорин (*он уже совершенно спокоен*). Не надо! Я схожу, а тебе не надо.

Дорн (*в сторону*). Ох уж эти писатели. Аще не вложу перста моего в язвы гвоздинные, не иму веры. А после вставит в роман.

Шамраев. Борис Алексеевич, я с вами.

Входят в правую дверь. Остальные ждут. Дорн наливает в стакан вина и пьет; Сорин, закрыв руками лицо, тихо плачет; Аркадина скорбно смежила веки; Маша стоит у окна; Полина Андреевна с тревогой смотрит на дочь.

Медведенко (*робко приближается к Маше*). Машенька, я ведь понимаю. Но что ж теперь поделаешь. Ты только не сделай над собой чего-нибудь. Ведь ребенок, Машенька...

Маша (*не повернув головы, с ненавистью*). Уйди, Медведенко! Моя жизнь кончена.

Полина Андреевна. Не трогай ее. Ты уходи. Домой уходи. Так лучше будет. Машенька, вот выпей капель.

Медведенко (*отходит*). Так ведь дождь. Мне простужаться нельзя.

Возвращаются Шамраев и Тригорин. Первый выглядит деловитым и озабоченным. Второй явно потрясен. Покачнувшись, хватается рукой за дверной косяк. К Тригорину кидается Аркадина.

Тригорин. Голова закружилась. Сейчас... сейчас пройдет.

Аркадина. Тебе не нужно было туда ходить. Ну что он?

Тригорин (*вяло*). Лежит на зеленом ковре. И всюду кровь...

Шамраев (*видит, что Дорн пьет вино, и тоже наливает себе*). Да, судьба-индейка. Какого, спрашивается, рожна нужно было? Мечтал стать писателем. Стал. Вот и деньги стали из журналов присылать. Теперь, поди, и вовсе в моду войдет. Самоубийство — это романтично. Книжки станут хорошо продаваться. И ведь всё вам, голубушка Ирина Николаевна, вы — единственная наследница.

Аркадина. Оставьте, как вы можете в такую минуту... (*Смотрит на закрытую дверь.*) Это, должно быть, невыносимо — красное на зеленом.

Почему ему непременно нужно было стреляться на зеленом ковре? Всю жизнь — претенциозность и безвкусице.

Шамраев. Ковер, между прочим, персидский, тончайшей работы. Можно сказать, единственная ценная вещь в доме. А кровь потом не отмоешь. Евгений Сергеевич, перевязать бы, что ли? А то его и на стол не положишь — стекать будет.

Дорн. Странное занятие — бинтовать покойника. Ну да мне доводилось делать вещи и почуднее. *(Выходит в соседнюю комнату, напевая «Бедный конь в поле пал».)*

Шамраев. Вот и поужинали. Не нужно было Константина Гавриловича одного оставлять.

Аркадина. Но кто мог предположить. Он был так тих, спокоен... Ах, у меня было предчувствие. Ты помнишь, Борис, я тебе сказала: «Поездка будет печальной»? Сердце, сердце подсказало.

Тригорин. Разве оно могло подсказать тебе что-то другое, если в телеграмме было сказано: «Петр Николаевич совсем плох. Скорее приезжайте»?

Сорин. Ехали хоронить старого, а схороните молодого. *(Плачет.)* Ну ничего. Милостив Господь. Авось и меня приберет, чтоб тебе, Ирочка, во второй раз не утруждаться. Похоронишь за раз обоих.

Возвращается Дорн. У него закатаны рукава. Вид озадаченный. Молча стоит в дверях, поочередно смотрит на остальных, как будто видит каждого впервые.

Шамраев. Ну что, забинтовали? Звать работников, чтоб клали на стол?

Дорн. Нет.

Шамраев. Что «нет»? Не забинтовали или не звать?

Дорн. Ни то, ни другое.

Шамраев. Как так?

Аркадина. Доктор, у вас такой вид, будто вы хотите сообщить какую-то новость и не решаетесь. Говорите, что уж может быть страшнее случившегося.

Дорн. Вот именно — сообщить. Собственно, даже не одну новость, а две...

Шамраев. А все-таки позвольте, я распоряжусь на стол положить. Как-то не по-христиански. Мы тут разговариваем, а он там на полу лежит. Да и ковер надо поскорее крахмалом присыпать. А после холодной водой. *(Хочет идти.)*

Дорн *(властно)*. Пусть лежит как лежит. И входить больше не нужно. Посылайте за исправником, Илья Афанасьевич. Господин Треплев не застрелился. Это вам первая новость...

Маша *(обернувшись, хрипло)*. Жив?!

Аркадина хватается рукой за сердце. Тригорин ошеломленно качает головой. Медведенко нервно поправляет очки. Сорин распрямляется в кресле. Полина Андреевна роняет пузырек с каплями. Шамраев крестится.

Аркадина. А как же мозги на стенке?

Дорн. Константин Гаврилович мертв. Только он не застрелился. Его убили.

Все застывают в полной неподвижности. Становится очень тихо.

В прошлый раз у меня не было времени как следует рассмотреть рану — боялся, что Ирина Николаевна войдет. Увидел только, что Константин Гаврилович безусловно и недвусмысленно мертв. А теперь повернул лампу, приподнял ему голову и вижу — выходное-то отверстие через левый глаз. Сначала подумал только: в закрытом гробу хоронить придется. А по-

том как ударило: кто ж этак стреляется, чтоб пуля в правое ухо вошла да через левый глаз вышла? И револьвер длинноствольный, «смит-вессон». Так и руку не вывернешь. Нет, господа, тут явное убийство, довольно неуклюже замаскированное под самоубийство. Это ясно и без полиции...

Все по-прежнему совершенно неподвижны и только следят глазами за Дорном, медленно расхаживающим по сцене.

Я полагаю, было так. Константин Гаврилович стоял у двери, ведущей на террасу, — точно такой же, как вот эта. Кто-то вошел. Взял с секретера револьвер, который зачем-то лежал там поверх бумаг — на листке осталось едва различимое, но свежее пятно оружейного масла. Потом этот кто-то преспокойно — впрочем, может быть, очень даже и беспокойно, но это не важно — дождался, пока Константин Гаврилович отвернется, взял револьвер, взвел курок, вставил ствол в ухо и выстрелил.

Полина Андреевна (*сердобольно*). Ох!

Маша снова резко отворачивается. Шамраев снова крестится. Медведенко снимает и надевает очки. Тригорин приставляет себе палец к правому уху и поворачивает то так, то этак. Сорин откатывается на кресле подальше от всех.

Аркадина. «И сок проклятой белены в отверстие уха влил...»

Сорин. Но позвольте, если так, то получается, что Костеньку убили почти что у нас на глазах! Убийца где-то здесь, совсем близко! Он не мог уйти далеко!

Дорн (*пожав плечами*). А зачем ему было уходить? Константина Гавриловича застрелил кто-то из своих, кого он хорошо знал и чьему появлению, судя по всему, нисколько не удивился.

Повторяется стоп-кадр, только теперь он короче.

Аркадина. Но почти все были в этой комнате! И мы с Борисом Алексеевичем, и вы, и Илья Афанасьевич с Полиной Андреевной, и Марья Ильинична. Кого здесь не было? (*Оглядывается.*) Брат остался дремать в столовой, но он очень слаб и без посторонней помощи пройти до террасы не мог. Остается только (*поворачивается к Медведенке и не может вспомнить его фамилию*)... господин учитель.

Все смотрят на Медведенку.

Медведенко. Господа, господа, клянусь вам... Я сидел в буфетной, пил чай. Потом услышал крик Маши... Нет-нет, разве я бы... (*Сбивается.*)

Дорн. М-да. Я, собственно, не успел сообщить вам вторую новость. Открыл саквояж, чтобы взять бинт, и вдруг вижу: склянка с эфиром и в самом деле лопнула, причем совсем недавно.

Шамраев. Ну и что?

Дорн. А то, драгоценный Илья Афанасьевич, что треск, который мы тут с вами слышали, был вовсе не выстрелом, а взрывом эфира. Из-за неплотно закрытой крышечки в склянку проник воздух, образовалась взрывчатая перекисная смесь — и ба-бах! Если подержать склянку с эфиром над свечкой, а после не закрыть как следует, то непременно хряпнет. У меня такое уже бывало: пьяный фельдшер плохо засунул пробку, а пузырек нагрелся на солнце.

Шамраев. Погодите, голова кругом. Но раз Константин Гаврилович застрелен, значит, выстрел-то все-таки был?

Дорн. Был. Однако несколькими минутами ранее, когда в этой комнате никого из нас еще не было. Мы уже отужинали и все — или почти все — разбрелись по дому.

Тригорин. То есть вы хотите сказать...

Дорн (*чеканно*). Что Константина Гавриловича мог убить любой из нас.

Все приходят в движение.

Разумеется, исключительно теоретически.

Шамраев. Ну вас с вашими теориями! Это что-то не по-русски. Сразу видно, что вы немец!

Полина Андреевна. Как ты можешь так разговаривать с Евгением Сергеевичем! Если бы не его открытие, единственным подозреваемым был бы твой зять.

Дорн. Спасибо на добром слове, Полина Андреевна. Что же до немецчества, то я не в большей степени немец, чем вы, Илья Афанасьевич, татарин. Мои предки, фон Дорны, переехали в Россию еще при Алексее Михайловиче, очень быстро обрусели и ужасно расплодились. Одни превратились в Фондорновых, другие в Фандориных, наша же ветвь усеклась просто до Дорнов. Но это из области истории и к делу не относится. У нас с вами тут совсем другая история, и пренеприятная. Хорошо бы поскорей в ней разобраться, желательно еще до прибытия полиции. Не то выйдет скверно. Затаскают по допросам, убийцу, разумеется, не найдут, и на каждом из нас до скончания дней останется пятно: а ну как именно он-то и убил? Вы наших соседей знаете. А я врач. Кому нужен врач-убийца? Этак всю практику растеряю. На что жить прикажете?

Аркадина. Ну, на всех подозрение не падет, я — мать.

Сорин. А я любил Костю, как родного сына. Никто не любил его, как я. (*Испуганно оглядывается на Аркадину и виновато опускает голову.*)

Маша (*повернувшись*). Никто не любил Костю, как вы? Да что вы знаете про любовь? (*Неприятно смеется и снова отворачивается.*)

Медведев (*поспешно*). А я всегда относился к Константину Гавриловичу с глубочайшим уважением. Он у нашего сыночка крестным был!

Шамраев. Он вырос у нас с Полиной на глазах! Мы жизнь положили на то, чтобы Константин Гаврилович и Петр Николаевич жили покойно и ни в чем не знали нужды! Нет уж, на нас ваши теории не распространяйте!

Тригорин. А я? С какой стати я стал бы убивать сына моего единственного и драгоценного друга Ирины Николаевны? Напротив, я всегда желал мальчику добра.

Дорн (*иронически кланяется*). Мерси, получается, что, кроме меня, убивать Константина Гавриловича было решительно некому — все прочие его нежно любили. Про себя этого сказать не могу. На мой непросвещенный взгляд, покойник был не без литературных способностей, но, хотя о мертвых аут бене, аут нихиль, характер у него был дрянь. Капризный, эгоистичный, жестокий мальчишка. Признаюсь, он мне совсем не нравился. Что за охота в двадцать семь лет жить одной жалостью к себе и при этом до такой степени презирать окружающий мир? Впрочем, прошу не трактовать мои слова как признание в преступлении. Согласитесь, что в качестве мотива для убийства вялой неприязни маловато. Я единственный из присутствующих, кого не связывали с Константином Гавриловичем никакие личные отношения. Вместе с тем я уже много лет наблюдаю за жизнью усадьбы и ее обитателей и, смею думать, разбираюсь в здешнем психологическом ландшафте лучше, чем полиция. Посему предлагаю себя в качестве следователя. Если, конечно, никто не возражает. Или вы предпочитаете, чтобы разбирательством занялась полиция?

Пауза.

Тригорин. Пожалуй, и в самом деле лучше покончить с этим до прибытия полиции. Начнется волокита, а мне нужно заканчивать повесть. (*Про себя.*) Работать, уйти в работу...

Полина Андреевна. Да-да, доверимся Евгению Сергеевичу. Вы с вашим математическим умом сумеете разьяснить этот кошмар.

Аркадина. Боже, Боже. И я, мать, только что лишившаяся единственного, бесконечно любимого сына, должна участвовать в этом фарсе! Увольте, господа. Дайте мне побыть наедине с моим горем. *(Царственно встает.)* Борис, отведи меня в какой-нибудь удаленный уголок, где я могла бы завить, как раненая волчица.

Дорн. Ирина Николаевна, поиск убийцы бесконечно любимого сына для вас — фарс?

Тригорин *(умоляюще)*. Он прав, Ирина. Прошу тебя, останемся.

Часы бьют девять раз.

Дорн *(сверяет по своим)*. Отстают. Сейчас семь минут десятого... Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. *(Вздыхает.)* Давайте разбираться.

Свет гаснет. Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Дубль 1

Часы бьют девять раз.

Дорн *(сверяет по своим)*. Отстают. Сейчас семь минут десятого... Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. *(Вздыхает.)* Давайте разбираться.

Вспышка молнии озаряет проем двери, ведущей на террасу, и виден чей-то силуэт.

Полина Андреевна. Смотрите, кто это?

Дорн *(оборачивается и оглядывается)*. Если не ошибаюсь, это госпожа Заречная. Здравствуйте, Нина Михайловна. Сколько лет, сколько зим.

Аркадина *(резко)*. Зачем она здесь? Зачем она пришла? В такую минуту! У нее нет ничего святого!

Нина *(неотрывно смотрит на Тригорина)*. Совсем такой же, насколько не переменялся... *(Очнувшись.)* Я проезжала мимо. Сильный дождь... Размыло дорогу, коляска не может дальше ехать. Видите, я вся вымокла. Настоящий потоп... Я знаю, Ирина Николаевна, что мой вид вам неприятен, но не выгоните же вы меня в такую непогоду. «И да поможет Господь всем неприютным скитальцам...»

Сорин *(пытается приподняться)*. Господи, Нина Михайловна, милая, что вы такое говорите! Вы моя гостья, драгоценная гостья. Да на вас сухой нитки нет! Долго ли простудиться. Вот, возьмите мой плед.

Тригорин *(равнодушно)*. Здравствуйте, Нина Михайловна.

Дорн. Выходит, я ошибался. Вот теперь действительно все участники драмы на месте.

Пауза. Нина удивленно оглядывает присутствующих.

Нина. Что-то случилось? Почему у вас такие лица? Вы что, говорили обо мне?

Аркадина. Ну и самомнение. *(Дрогнувшим голосом.)* Кости больше нет. *(Оборачивается к правой двери.)* Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой — да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы: жить перед зеркалом, жадно

вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый мальчик... Ты — единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих...

Н и н а (*схватившись за сердце, пронзительно вскрикивает, как раненая птица, — она актриса явно не хуже Аркадиной*). Что такое?! Костя! В какой страшный миг я сюда вернулась! Будто чуяло мое сердце! Бедный, бедный! На нем всегда была тень несчастья. (*Плачет.*) Почему, почему я не пришла вчера, позавчера, третьего дня! Я столько раз проходила, проезжала мимо, сердце мое чувствовало, откликалось... Но я боялась, что он оттолкнет, прогонит меня... Он... он снова стрелялся? Я угадала?

Д о р н (*сурово*). Не совсем, Нина Михайловна. Константина Гавриловича убили.

Н и н а (*с растерянной улыбкой, возникшей как бы помимо воли*). Как убили? Что значит убили? Я помню, Евгений Сергеевич, вы любите бравировать цинизмом, но время ли сейчас для шуток! Петр Николаевич, милый, что он говорит?

С о р и н (*всхлипывает*). Да-да, это правда. Кто-то стрелял Косте в ухо, и расколол голову, и выбил глаз. Костя лежит в той комнате, на полу, и его даже нельзя положить на стол, потому что придет полиция и будет искать следы.

Н и н а (*в ужасе оглядывается на правую дверь*). Сердце, нужно слушаться сердца... Почему я не пришла раньше! (*Закрыв рукой лицо и неверно ступая, проходит по комнате. Возле письменного стола вдруг, покачнувшись, оседает на пол. Тригорин и Шамраев бросаются к ней, и даже Сорин с неожиданной легкостью поднимается из кресла, но, впрочем, тут же снова садится.*)

Д о р н (*громовым голосом*). Назад! (*В несколько прыжков пересекает комнату, нагибается над лежащей и поднимает из-под подола ее платья шарфик, ранее оброненный Заречной.*) Сухой! Bravo, Нина Михайловна, вы и в самом деле стали выдающейся актрисой! Теперь понятно, зачем вы сюда вернулись.

А р к а д и н а. Что значит «вернулась»? Так она здесь уже была?

Д о р н. Поднимайтесь, Нина Михайловна, сцена обморока окончена. (*Подает Нине руку. Нина лежит, смотрит на него, но не встает.*) Разумеется, она здесь была и обронила шарфик. Видите, платье и тальма совершенно мокрые, а шарфик сухой. Обронила, когда была здесь, дождь полил уже после. Задумано и разыграно превосходно. Сейчас мы все бросились бы хлопотать над несчастной барышней, привели бы ее в чувство, и она поднялась бы на ноги. Падала без шарфика, поднялась с шарфиком — поди-ка заметь. И улика бы исчезла.

Т р и г о р и н. Улика?

Д о р н (*смотрит сверху вниз на Нину*). Со склянкой эфира у вас вышло ловко. Только вот рука при выстреле дрогнула — слишком револьвер перекосили. Ну же, поднимайтесь. Что вы лежите, как утопившаяся Офелия. Ничего не поделаешь, милая, теперь придется ответ держать. Зачем же вы так с Константином Гавриловичем? Он-то в чем перед вами провинился? (*Искоса бросает взгляд на Тригорина.*)

Н и н а (*не коснувшись протянутой руки Дорна, поднимается с грацией гимнастки*). Холодно. зуб на зуб не попадает... Да, я была здесь. И стреляла тоже я.

А р к а д и н а (*изумленно*). Вы?! Но зачем?

Н и н а (*горько усмехнувшись*). Сделала то, на что никогда не решились бы вы. Выполнила вашу работу — кажется, это так называется. У нас ведь с вами, Ирина Николаевна, в жизни один интерес... (*Кивает на Тригорина.*) Я узнала, что вы должны приехать. Не сомневалась, что вы непременно

но притащите с собой Бориса. Ты ведь, Боренька, в совершеннейшую болонку при Ирине Николаевне превратился. Как у Чехова, «Дама с собачкой».

Ар ка ди на. Сумасшедшая! Убийца! Борис, не слушай ее!

Ни на (*смотрит не на нее, а на Тригорина, хоть и обращается к Дорну*). Я получала от Кости письма и знала, что он совершенно спятил, он помещался на ненависти к Борису Алексеевичу. Я ходила вокруг дома кругами, ждала. И вот сегодня вы наконец приехали. Я была здесь какой-нибудь час назад. (*Оглядывается на часы.*) Меньше. Дождалась, пока Костя останется один, и вошла — через эту вот дверь. Решила проверить, действительно ли он настолько безумен. Оказалось, еще безумнее, чем я думала. Он не выпускал из рук револьвера, вел себя дико, взрывы ярости сменялись холодной рассеянностью, которая пугала меня еще больше, чем неистовство. Я попробовала смягчить, успокоить его, но мои нервы расстроены... Я сорвалась, само собой выплеснулось про... про мои чувства к Борису. Боже, как я испугалась! Ведь я сама подписала Борису Алексеичу смертный приговор! Не помня себя выбежала в сад и стою, будто приросла к земле... (*От волнения не может говорить дальше.*)

Дор н. И снова стали смотреть снаружи на освещенное окно. А когда Константин Гаврилович вышел в соседнюю комнату, вы тоже вошли туда — с террасы. Должно быть, еще сами не знали, что намерены сделать.

Ни на (*опустив голову*). Нет, знала... Я готова была на то, чтобы... Чтобы (*едва слышно*) отдаться Косте... Лишь бы отвлечь его от мысли об убийстве, лишь бы спасти Бориса... Мы стояли у стеклянной двери. Он взял меня за плечи, стал целовать в шею, и вдруг я почувствовала, что не вынесу, что это выше моих сил... Вижу — на секретере револьвер. Лежит и поблескивает в свете лампы. Это было как символ, как знак свыше... Я прошептала: «Погасите лампу!» А когда он отвернулся, схватила револьвер, взвела курок... Я умею стрелять. Меня офицеры научили — в прошлом году, когда я гастролировала в Пятигорске... Ах, это не важно. (*Оглядывается на чучело чайки, бормочет.*) Я чайка... Я чайка... (*Медленно выходит на террасу и стоит там. Шум дождя слышен сильнее.*)

Ар ка ди на (*Тригорину*). Не смотри ты на нее так. Вся эта сцена была разыграна, чтобы тебя разжалобить — уж можешь мне поверить, я эти фокусы отлично понимаю. Жалеть ее нечего. Изобразит перед присяжными этакую вот чайку — и оправдают. Даже на уловку с эфиром сквозь пальцы посмотрят. А что ж — молода, смазлива, влюблена. Такую рекламу себе сделает на этой истории! Позавидовать можно. И ангажемент хороший получит. Публика будет на спектакли валом валить.

Раскат грома, вспышка, свет гаснет.

К концу этой картины, как и всех последующих, кроме самой последней, все актеры должны оказаться на тех же местах, где были в начале картины.

Дубль 2

Часы бьют девять раз. Свет зажигается вновь.

Дор н (*сверяет по своим*). Отстают. Сейчас семь минут десятого... Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. Давайте разбираться.

Ша м р а е в. А как разбираться-то? Если кто убил, то сам ведь не признается.

Дор н. Для того, любезнейший Илья Афанасьевич, человеку и дана лобная часть коры головного мозга, где, согласно новейшим научным гипотезам, сосредоточена вся мыслительная деятельность. Кроме того, мы располагаем двумя древними как мир сыскными рекомендациями: *cuī*

prodest и cherchez la femme. Рекомендации препошлые, но оттого не менее верные — почти все убийства именно из-за этих двух причин и совершаются.

Медведе н ко. Про «шерше ля фам» я помню, что это значит. А первое вот запомнил. Это по-латыни?

Ш а м р а е в (*резко*). Не знаешь, так молчи, не срамись. Cui prodest — значит «ищи, кому выгода». А еще учитель! Зачем ты вообще ночевать остался? Шел бы домой.

Медведе н ко. Так ведь вы, папаша, лошадь не дали. Сказали, только со станции приехали, не гонять же опять.

Ш а м р а е в. И что с того, что не дал. Шесть верст — не околица, не рассыпался бы. Послушал бы меня, ушел бы — не угодил бы в такую историю.

Медведе н ко. Гроза началась, ливень... Так и простудиться недолго. Здоровье у меня некрепкое. Прошлую зиму вон два месяца кашлял. А умирать мне никак невозможно. Ну, Маше с ребенком вы, конечно, пропасть не дадите, но у меня ведь еще мать, две сестренки, братишка. Кроме меня, кому они нужны?

М а ш а (*оборачивается, зло затягиваясь папиросой*). Знаем. Тысячу раз слышали, почему тебе нельзя умирать. Да ты ведь, кажется, и не умер. Умер Константин Гаврилович. (*Заходится кашлем, никак не может остановиться, кашель переходит в сдавленное рыдание. Мать хлопает ее по спине, потом обнимает, обе плачут.*)

Медведе н ко (*жалобно Тригорину*). Ну вот, опять не так сказал. Теперь долго поминать будут.

Т р и г о р и н. Страдательный залог — самая угнетенная из глагольных форм и сама в том виновата. Вам бы полегче быть, повеселее. А то вы все жалуетесь — и два года назад, и теперь. Женщины этого не любят.

Медведе н ко. Хорошо вам говорить. Вы богатый человек, знаменитый писатель, а у меня мать, две сестренки...

М а ш а. Заткнись! Мама, пусть он уйдет! Я видеть его не могу! Особенно теперь, когда, когда... (*Не может продолжать и тычет пальцем в закрытую дверь, за которой лежит тело Треплева.*)

Д о р н (*задумчиво*). Ну, насчет cui prodest — сомнительно. У Треплева за душой ни гроша не было. Стало быть, остается «шерше».

А р к а д и н а. Костя был влюблен в Заречную, это всем известно.

Д о р н. Не вижу здесь мотива для убийства. Разве что кто-то другой, тоже влюбленный в Заречную, застрелил соперника из ревности? Например, вы, Петр Николаевич. Вы ведь, кажется, к Нине Михайловне были неравнодушны?

С о р и н. Нашли время шутить.

Д о р н. М-да, нет логики. Убивают счастливых соперников, а Константин Гаврилович, кажется, успехами на сем поприще похвастаться не мог. Значит, дело не в Заречной. Но ведь тут, по-моему, имелась и иная любовная линия? (*Поворачивается к Маше.*) Прошу прощения, Марья Ильинична, но сейчас не до деликатностей, да вы, по-моему, не очень-то и скрывали свою сердечную привязанность к Константину Гавриловичу.

М а ш а (*вздвигнув, после паузы*). Да, любила. Все знают, и он знает (*презрительный кивок в сторону Медведевки*). И всегда буду любить.

П о л и н а А н д р е е в н а. Что ты говоришь! Зачем? Любить люби, но зачем говорить!

Ш а м р а е в. Сама виновата, что вышла за это ничтожество. Мы с матерью тебе говорили. Нужно было уехать в Тверь, я же подыскал тебе отличное место гувернантки — в хорошем доме, двадцать пять рублей на всем готовом!

Медведе н ко (*Тригорину жалобно*). Это про меня — «ничтожество». В моем присутствии. И всегда так.

Аркадина (*недовольна тем, что разговор сосредоточен не на ней*). Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой — да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы: жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, любимый мальчик... Ты — единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих...

Почтительная пауза.

Дорн. Скажите-ка, как вас, Семен Семенович, вы ведь, кажется, примерный отец? Помнится, вы собирались идти домой пешком, невзирая на шесть верст и непогоду? Я слышал, как вы об этом говорили какой-нибудь час назад. Отчего же все-таки остались? (*Подходит к Медведенке и смотрит на него в упор.*)

Медведенко (*делая шаг назад*). Гроза... Погромыхивать стало. Мне простужаться нельзя... Здоровье слабое.

Дорн (*задумчиво*). Шерше ля фам, шерше ля фам... Да не случилось ли чего, из-за чего вы уходите передумали?

Медведенко. Ничего. Только вот тучи и гром.

Полина Андреевна (*хватается за сердце*). Господи, неужто... Это ты, ты был! Я-то, помню, подумала: с чего бы сквозняку взяться? А это не сквозняк, это ты в щелку!

Дорн (*быстро*). Какая щелка? Какой сквозняк?

Полина Андреевна. Подслушивал!

Медведенко машет руками, пятится.

Дорн. Подслушивал? Что подслушивал? С кем был разговор? О чем? Маша. Мама, не вздумай!

Полина Андреевна (*страстно*). Нет, я расскажу! Я просила Константина Гавриловича... быть с Машей поласковее. Знаю, матери о таком просить стыдно, но ведь сердце разрывается! А он (*показывает на Медведенку*), он подслушал!

Шамраев (*грозно*). Поласковее? Ты... ты сводничала?!

Полина Андреевна. Ты ничего не видишь вокруг себя! Тебя интересуют только овсы, сенокос и хомуты! Твоя дочь страдает, гибнет, а ты...

Дорн. Тихо! (*Полина Андреевна послушно умолкает на полуслове. Дорн подходит к Медведенке и крепко берет его за плечи, тот мотает головой.*) Итак, Семен Семенович, вы подслушали, как ваша теща уговаривает Треплева быть поласковее с вашей женой, и после этого передумали возвращаться домой. Кажется, у вас нашлось другое дело, поинтереснее. (*Смотрит на Медведенку с любопытством.*) Вот уж воистину «и возмутятся смиренные». Всякому терпению есть мера, а?

Медведенко (*рывком высвобождается, расправляет плечи, говорит громко*). Да, Евгений Сергеевич, да! Возмутятся смиренные, потому что и у чаши смирения есть своя кромка. Когда переполнится, одной малой капельки бывает довольно. Живешь-живешь, терпишь-терпишь. Все видишь, все понимаешь, а надежда нашептывает: подожди еще, потерпи еще, воздал же Господь Иову многострадальному. Где вам, баловню судьбы, женскому любимцу, понять, каково это — быть самым что ни на есть распоследним человеком на свете! Говорят, у каждой твари своя цена есть. Я всегда знал, что моя цена небольшая — примерно в двугривенный, а сегодня мне и вовсе глаза открыли. Не двугривенный, не алтын даже и не полушка, а нуль, круглый нуль — вот цена Семена Медведенки. Если б ставили хоть в полушку, так дали бы лошадь — только уезжай, не путайся

под ногами, не мешай разврату. А тут даже этой малости не удостоили — уйдешь, козявка, и собственными ногами. Этот барчук, этот бездельник (*тычет пальцем в правую дверь*) растоптал мне жизнь! Казалось бы, стал модным писателем, деньги тебе из журналов шлют, так уезжай в столицы, блистай. Нет, сидит как ворон над добычей. Губит, топчет, сводит с ума. А Машенька и сошла с ума. Смотреть на это сил нет! И пьет, много пьет. Ребеночка забросила. Я ведь не убивать хотел, хотел попросить только по-человечески — чтоб уехал, пожалел нас. Для того и пришел — наедине поговорить. А он на меня как на грязь какую посмотрел, пробормотал что-то по-французски, зная, что я не пойму, и отвернулся. Тут на меня будто затмение нашло. Схватил со шкафчика револьвер... Как дым рассеялся, думаю: нельзя мне на каторгу. Никак нельзя. Господи, молюсь, спаси, избави! Вдруг на глаза ваш саквояж попался. Думаю, там бинты, йод. Что, если Константин Гаврилович жив еще? Открываю, вижу — склянка и написано «Эфир». И вспомнил про кислород, про нагревание — читал в учительской газете. Еще слово вспомнил французское — «алиби». Вот тебе и алиби. Господи, что теперь с ребеночком-то будет... (*Закрывает руками лицо, глухо, неумело рыдает.*)

Ш а м р а е в (*вполголоса*). Положим, слово не французское, а латинское.

Раскат грома, вспышка, свет гаснет.

Дубль 3

Часы бьют девять раз.

Дорн (*сверяет по своим*). Отстают. Сейчас семь минут десятого... Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. Давайте разбираться. Итак, кто-то вошел с террасы в комнату, мирно поговорил о чем-то с Константином Гавриловичем, потом взял с секретера револьвер, вышиб собеседнику мозги, подогрел на свечке склянку с эфиром и удалился. При постепенном соединении с воздухом нагретый эфир взрывается через пять-шесть минут. Для того чтобы обеспечить себе алиби, в момент взрыва убийца должен был непременно находиться здесь, в гостиной, причем в присутствии свидетелей. Иначе уловка утратила бы всякий смысл. Давайте-ка припомним, кто предложил перебраться из столовой в гостиную.

Т р и г о р и н (*пожав плечами*). Никто. Мы просто закончили пить чай и решили продолжить игру в лото.

А р к а д и н а. Нет-нет! Я рассказывала, как меня принимала публика в Харькове, а Марья Ильинична вдруг перебила и говорит: «Как здесь душно. Идемте в гостиную». Впрочем, все это пустое и глупости... Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой — да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы: жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый мальчик... Ты — единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих...

Дорн. Хм, а ведь верно. Это Марья Ильинична увела нас из столовой.

Все поворачиваются к Маше, которая стоит спиной к зрителям у окна и курит.

И еще, Марья Ильинична, вы зачем-то попросили меня открыть дверь. (*Показывает на дверь, что была загорожена креслом.*) Я, помню, удивился — вроде бы ампула беспомощной барышни не по вашей части. Или вы

знали, что дверь заставлена креслом? Если так, то откуда вам это было известно? Как и все мы, вы отлучались из столовой. Не могли бы вы объяснить, куда и по каким делам?

Пауза. Маша будто не слышала.

Марья Ильинична, извольте ответить.

Маша (*произносит монолог не оборачиваясь, ровным и вялым голосом*). Пошла посмотреть, где он и что делает. Я часто за ним подглядываю. То есть подглядывала. Папа называет меня душой, а я очень хитрая. Бывало, стою на террасе у окна и смотрю, как Константин Гаврилович пишет, или просто сидит, глядя на огонь, или мечется по комнате, ероша волосы. Войти боялась — он сердится, когда я к нему вхожу. То есть сердился. Я его раздражаю. То есть раздражала...

Дорн. Не отвлекайтесь вы на грамматику. Продолжайте.

Маша. Он был здесь, и с ним была Заречная. Она все повторяла: «Я чайка, я чайка». Ах, как он на нее смотрел! Если бы он когда-нибудь, хоть один-единственный разок, посмотрел так на меня, мне хватило бы на всю жизнь. Я бы все вспоминала этот взгляд и была бы счастлива... Это не Заречная — чайка, это я — чайка. Константин Гаврилович подстрелил меня просто так, ни для чего, чтоб не летала над ним глупая черноголовая птица! (*Резко оборачивается, стоит, обхватив локти.*) Жизнь моя ужасна. Я живу в бревенчатой избе, с мужем, которого не люблю и не уважаю. Его многочисленное семейство меня боится и ненавидит. А этот ребенок! Я его не хотела, я не испытываю к нему совершенно никаких чувств, кроме досады и раздражения! Зачем он кричит по ночам, зачем требует молока, зачем пачкает пеленки! А ведь я могла бы жить иначе. Я могла бы уехать, заняться каким-нибудь делом или хотя бы просто додремать до старости. Но Костя привязал, околдовал, отравил меня... Какой он был красивый! Только я это видела, больше никто. В последнее время мне стало казаться, что он посматривает на меня по-другому. Нет, не с любовью, не с нежностью — я не настолько слепа. Но он мужчина, ему нужна женщина, а кроме меня, около него никого не было...

Полина Андреевна. Что ты говоришь! Опомнись!

Шамраев. Бесстыжая тварь! (*Бросается к дочери, но Дорн крепко берет его за локоть и останавливает.*)

Маша (*словно никто ее не прерывал*). Я думала, рано или поздно он будет мой. Но тут появилась она и снова вскружила ему голову. О, она актриса, она отлично умеет это делать. И ведь ей он даже не нужен — она просто упражнялась в своем искусстве... Я стояла за окном и думала: довольно, довольно. Даже чайка, если ее долго истязать, наверное, ударит клювом. Вот и я клюну его в темя, или в высокий, чистый лоб, или в висок, на котором подрагивает голубая жилка. Я готова была смотреть на эту жилку часами... Освобожусь, думала я. Избавлюсь от наваждения. И тогда можно будет уехать. Уехать... Уехать...

Медведевко. Маша, ты не в себе. Ты на себя наговариваешь.

Шамраев (*громовым голосом*). Молчи, жалкий человек! А ты, мать, рыдай. Наша дочь — убийца! Горе, какое горе!

Аркадина (*Тригорину, вполголоса*). Теперь «благородного отца» так уже не играют, разве что где-нибудь в Череповце.

Тригорин (*оживленно*). Потому что вот это (*показывает*) не театр, а жизнь. Я давно замечал, что люди ведут себя гораздо естественней, когда притворяются. Вот о чем написать бы.

Раскат грома, вспышка, свет гаснет.

Дубль 4

Часы бьют девять раз.

Дорн (*сверяет по своим*). Отстают. Сейчас семь минут десятого... И так, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. Давайте разбираться. (*Проходится по сцене, заложив руки за спину. В задумчивости подбрасывает носком ботинка разбросанные клочки рукописи.*)

Полина Андреевна. Снова рукописи рвал. (*Аркадиной.*) Это с Костей часто бывало: рассердится, что плохо пишется, и давай рвать мелко-мелко. После прислуга откуда только эти клочки не выметает. (*Всклипывает.*) Теперь уж в последний раз... И у кого только на нашего Костеньку рука поднялась? (*Опускается на корточки, начинает собирать обрывки.*) Надо бы склеить. Вдруг что-нибудь великое?

Аркадина. Вряд ли. Откуда ж великому взяться? Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой — да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы: жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый мальчик... Ты — единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих...

Полина Андреевна (*перебивает*). Чей это шарфик? Ирина Николаевна, ваш? У нас с Машей такого нет.

Аркадина (*подходит*). Это креплизетовый, и расцветка вульгарная. Я этукую безвкусицу не ношу.

Полина Андреевна. Откуда бы ему взяться?

Подходит Дорн, берет шарфик, рассматривает, сосредоточенно напевая «Расскажи, Расскажи, бродяга, чей ты родом, откуда ты». Приближаются остальные, тоже смотрят.

Шамраев. Странно. Очень странно.

Полина Андреевна. Видно, кто-то приходил, пока нас здесь не было.

Дорн (*качает головой*). Кажется, я догадываюсь, кто именно. (*Присвистнув.*) Вон оно что. Семен Семеныч, вы давеча рассказывали, что повстречали Нину Михайловну Заречную неподалеку отсюда и что она обещалась наведаться в гости.

Медведенко. Точно так. Только мне показалось, что она не придет, а про гости сказала из одной вежливости.

Дорн. Да нет, судя по всему, не из вежливости.

Полина Андреевна. О Господи! Да неужто! (*Крестится.*) Страх какой...

Маша (*обернувшись, звенящим голосом*). Так она была здесь, с ним? Она приходила? Я знаю, он все это время любил ее. Но зачем она пришла? Она хотела забрать его с собой? У них было объяснение?

Полина Андреевна. Машенька, милая, успокойся. Теперь это не важно, ведь Кости больше нет.

Маша. В последнюю минуту жизни он думал о ней! Он порвал рукопись, потому что решил бросить писательство и уехать с Заречной!

Полина Андреевна. Нет-нет, уверяю тебя, ничего подобного не было! Не терзай себя!

Дорн (*нахмурившись*). Минутку! А откуда, любезная Полина Андреевна, вам, собственно, известно, что здесь было и чего не было? Вы что, были свидетельницей их разговора? Кстати уж заодно: куда вы-то отлучались из столовой?

Пауза. Полина Андреевна в замешательстве смотрит на Дорна, потом на мужа. Молчит.

Шамраев (*тряхнув головой*). Оставьте Полину. Она виновата только в том, что слишком любит и жалеет дочь. А Треплева застрелил я, вот этой рукой. (*Высоко поднимает руку. От него шарахаются. Полина Андреевна смотрит на мужа с испугом.*) И несколько о том не жалею. О, я долго был слеп. Подозревал, мучился, но терпел. А все из подлости. Куда, спрашивается, мне деваться, если лишусь этого проклятого места? Где приклонить голову на старости лет? И оттого был глух, слеп и нем. Делал вид, что не замечаю постыдной Машинной страсти, поощряемой собственной матерью! (*В волнении закашливается.*)

Тригорин (*Аркадиной вполголоса*). Здесь что-то с грамматикой не то.

Шамраев. Сегодня вечером я вышел из столовой на террасу подышать воздухом... Часу не прошло, а кажется, что это было тысячу лет назад... Заглядываю в окно (*показывает на окно*) и вижу: Константин Гаврилович с госпожой Заречной. Разговаривают. Я был удивлен, но подслушивать, конечно, не стал бы — не в моих правилах. Только Заречная вдруг спрашивает: «А как та девушка в черном, кажется, Марья Ильинична?»

Маша оборачивается.

Он презрительно так засмеялся и говорит: «Пошлая девчонка до смерти надоела мне своей постылой любовью». Да-да, Машенька, именно так он сказал! Представьте себе, господа, муку отца, услышавшего такое! Все во мне заклокотало. Решил: уничтожу оскорбителя собственной рукой, а после хоть на каторгу. Пусть только Заречная уйдет — она ни при чем. Так и сделал, рука старого солдата не дрогнула. А когда дым от выстрела рассеялся, вдруг затрепетал. И не стыжусь того. Боже, думаю, ведь я погубил всех! Жена, дочь, внук — что они без меня? Кто их защитит, прокормит? Не этот же червь? (*Кивает на Медведенку.*) За что им-то страдать? Нет-с, думаю, Константин Гаврилыч над нами и при жизни покуражился предостаточно. Хватит-с. Вот и придумал интригу с этим вашим эфиром. Да, видно, не судьба — плохой из меня хитрец. (*Протягивает вперед обе руки.*) Что ж, вяжите Илью Шамраева — он готов держать ответ перед людьми. А перед Богом моя душа ответит.

Дорн. Хм, что-то здесь не так...

Полина Андреевна (*перебивает*). Илюша, прости меня, прости! Я тебя не ценила, не любила, а ты благородный человек. Виновата я перед тобой. Его, его (*показывает на Дорна*) любила много лет, а тебя теперь словно впервые увидела! Но есть и во мне душа. Это я застрелила Константина Гавриловича! Илья на себя наговаривает, чтобы от меня подозрение отвести! Илюшенька, ты и в самом деле был глух и слеп, ты ничего не знаешь! Ведь было у Машеньки с Костей, было! И ребеночек от него!

Медведенко вжимает голову в плечи.

Ладно бы от любви или хоть бы от сладострастия, а то обидным образом, спяну. И ведь после сам еще нос воротил! Уж как я ее жалела, как умоляла его быть с Машенькой поласковой! Мне ли не знать, как нужна нелюбимой хоть малая ласка... (*Мельком оглядывается на Дорна.*) Я все думала, голову ломала, как бы сделать так, чтобы Константин Гаврилович навсегда исчез из нашей жизни. Мечтала: уехал бы он в Америку или пошел на озеро купаться и утонул. А давеча вышла из столовой на террасу — посмотреть, убрали ли перед грозой белье с веревки. Вдруг вижу — здесь, в кабинете, Заречная и Константин Гаврилович с ней! Встала у окна, смотрела, слушала... Костя все револьвером размахивал, а я думала: «Застрелился бы ты, что ли». Перед тем как Заречная ушла, у нее с шеи шарфик соскользнул. В эту самую секунду мне будто голос некий шепнул: «Вот он, выход. Убить его, а подумают на нее».

Шамраев. Что ты несешь! Господа, не слушайте, это она меня выгораживает! Она и стрелять-то не умеет! Не знает, куда нажимать! А я в полку призы брал! Честное благородное слово!

Раскат грома, вспышка, свет гаснет.

Дубль 5

Часы бьют девять раз.

Дорн (*сверяет по своим*). Отстают. Сейчас семь минут десятого... Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. Давайте разбираться. Для начала предлагаю установить, где каждый из нас находился в это время.

Тригорин (*нервно*). Какое «это»? Разве вы точно знаете время, когда произошло убийство?

Дорн. Резонный вопрос. Когда я вошел в комнату после хлопка, тело было теплым, из раны, пузырясь, стекала кровь, а по стенке еще сползали вышибленные мозги...

Маша вскрикивает и зажимает руками уши. Аркадина, покачнувшись, прикрывает кистью глаза — Шамраев подхватывает ее под локоть.

Шамраев. Доктор, говорить при матери такое!

Дорн. Ах, бросьте, сейчас не до мелодрамы. Между моментом, когда я обнаружил труп, и самим убийством миновало не более четверти часа. Ну хорошо, возьмем для верности полчаса. Таким образом (*смотрит на настенные часы, потом, сердито тряхнув головой, достает свои*), Константина Гавриловича застрелили между восьмью и половиной девятого. За этот промежуток — поправьте меня, если я что-то путаю (*поочередно обращается к каждому*), — Полина Андреевна минут на десять отлучалась по каким-то хозяйственным делам. Мария Ильинична выходила в сад. Илья Афанасьевич по всегдашней своей привычке на месте почти не сидел — то выйдет, то войдет. Господина Медведенки в столовой не было вовсе. Я отсутствовал в течение семи или восьми минут — пардон, по физиологической надобности. Борису Алексеевичу нужно было удалиться, чтобы записать какую-то свежую метафору. И даже Ирина Николаевна на некоторое время исчезла, после чего вернулась посвежевшей и благоухающей духами. Надо полагать, обычное дамское прихорашивание?

Аркадина (*резко*). Уж хоть меня-то увольте от ваших изысканий. Я мать! Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой — да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы: жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый мальчик... Ты — единственный, кому я была понастоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих...

Дорн (*терпеливо дослушав до конца, с поклоном*). При всем почтении к материнским чувствам уволить от изысканий вас не могу — иначе нарушится математическая чистота эксперимента. Получается, что все, включая и вашего покорного слугу, имели физическую — я подчеркиваю: чисто физическую — возможность...

Сорин. Кроме меня. Я-то как раз физической возможности, увы, лишен. Да и из столовой никуда не отлучался по причине (*обезоруживающе разводит руками*) затруднительности перемещения.

Полина Андреевна. Да вы без посторонней помощи и не дошли бы, бедняжка.

Дорн (*внимательно смотрит на Сорина*). Вы, ваше превосходительство, действительно все время находились в столовой. Причем, если я не ошибаюсь, сразу после окончания чаепития, когда все разбрелись, вы остались там совершенно один. Что же до вашей неспособности к самостоятельному перемещению, то это не совсем верно. И даже вовсе не верно. Уж я-то как лечащий врач отлично знаю, что ваша болезнь — в значительной степени плод вашего воображения. Оттого и настоящих лекарств вам не выписываю, одну валерьянку. Захотели бы — бегали бы как молодой.

Сорин (*дрожащим голосом*). Евгений Сергеевич, это низко! Вы, кажется, намекаете... Я Костю любил, как родного сына!

Аркадина. Скажите, какие нежности! Значит, меня, мать, подозревать можно, а тебя нельзя? Нет уж, пусть будет математическая чистота. (*Дорну*.) Продолжайте, мосье Дюпен, это даже интересно.

Дорн (*по-прежнему глядит на Сорина*). Ведь ваше кресло стояло у окна, не так ли? Перед грозой было душно, вы попросили распахнуть створки и, перегнувшись через подоконник, все смотрели в сад. Что такого интересного вы там увидели?

Сорин. Просто смотрел в сад. Сполохи зарниц так причудливо выхватывали из темноты силуэты деревьев.

Дорн. Понятно. Скажите, а зачем вы вызвали телеграммой сестру? Никакого удара у вас не было — это мы с вами установили сразу.

Сорин. Это не я, это они вызвали...

Шамраев. А как было не вызвать, когда вы стонали и повторяли: «Умираю! Ирочку, Ирочку...»?

Дорн. И еще мне рассказали, что вы в последние дни от Константина Гавриловича не отходили ни на шаг. Куда он, туда и вы. Даже стелить вам велели в его комнате. Это, собственно, зачем?

Сорин (*лепечет*). Я... я боялся, что ночью мне станет плохо. Стану умирать — и никого рядом... Глупо, конечно.

Дорн. Не с чего вам умирать. Вы еще всех нас переживете. Здоровый желудок, крепкое сердце. Все нервы одни, мнительность. Я видел у вас в кресле книжку Файнхоффера «Маниакальные психозы в свете новейших достижений психиатрической науки». Вы что же, ко всему прочему еще и вообразили себя душевнобольным?

Сорин (*быстро*). Не себя... (*Испуганно подносит руку к губам.*)

Дорн (*так же быстро*). А кого? Константина Гавриловича? Мне, признаться, тоже показалось, что он нехорош. Вы наблюдали у него симптомы маниакального психоза? Какие?

Сорин (*какое-то время сидит опустив голову и говорит после паузы*). Костя в последнее время сделался просто невменяем — он помешался на убийстве. Все время ходил или с ружьем, или с револьвером. Стрелял все, что попадется: птиц, зверьков, недавно в деревне застрелил свинью.

Шамраев. Да что свинью! Он третьего дня в курятнике петуха застрелил. Видите ли, кукарекает по ночам, мешает писать. Как теперь куры будут нестись?

Сорин. Да, и петуха тоже. Прислуга его стала бояться. В понедельник Яков уронил тарелку, когда Костя сидел здесь в кабинете. Выбежал, схватил Якова за плечи и давай бить головой об стенку. Еле оттащили. Вот я и старался не отходить от Кости ни на шаг, даже спал с ним в той же комнате. Ведь неизвестно, что ему взбредет в голову. А в четверг Костя застрелил Догоня — просто так, ни за что. Добрый старый пес, полуоглохший, доживал на покое. Тогда я и изобразил припадок. Думал, Ирочкин приезд на Костю подействует. Не помогло, только хуже стало.

Дорн. Надо было мне рассказать. Я бы его в лечебницу отвез.

Сорин. Я хотел было. Но нельзя: свяжут руки, будут лить на темя холодную воду, как Поприщину. А Костя не вынесет, он гордый и независимый.

Дорн (*тихо*). И поэтому вы решили, что так будет для него лучше?

Раскат грома, вспышка, свет гаснет.

Дубль 6

Часы бьют девять раз.

Дорн (*сверяет по своим*). Отстают. Сейчас семь минут десятого... Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. Давайте разбираться.

Тригорин вытирает слезы рукавом. Аркадина стоит рядом, гладит его по плечу.

Аркадина. Не нужно так. У тебя слишком нежная душа. Видишь, я мать, и я не плачу. Сердце окаменело. Прошу тебя, не плачь.

Дорн. Главный вопрос: зачем? Кому мешал Константин Гаврилович? Кто ненавидел или боялся его до такой степени, чтобы раздробить голову пулей сорок пятого калибра?

Аркадина (*горько качая головой*). Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой — да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы: жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталанный, нелюбимый мальчик... Ты — единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих...

Дорн (*удивленно поднимает брови*). Ирина Николаевна, погодите-ка... Вы сказали: «Ничком, раскинув руки»? Но вы не входили в комнату. Откуда же вы знаете, что Константин Гаврилович лежит именно в этой позе? Я ведь ее не описывал.

Аркадина (*судорожно схватившись рукой за горло*). Я... я вижу его именно таким. Это воображение актрисы. Сердце матери, в конце концов. Да-да, сердце матери, оно ведь вечно...

Пауза. Все на нее смотрят.

Что? Что вы все так на меня смотрите? Уж не думаете ли вы... что я убила собственного сына? Чего ради? Зачем?

Тригорин (*отшатывается от нее, истерически кричит*). Зачем? Зачем?! Я знаю зачем! Самка! Мессалина! О, мне следовало сразу догадаться! Ну конечно! Ты всегда, всегда мешала мне жить, всегда стояла на пути моего счастья! Ты погубила меня, высосала по капле всю кровь! Паучиха!

Аркадина (*визгливо, с некрасивой жестикуляцией*). Борис! Опомнись! Я люблю тебя больше жизни!

Тригорин. Вот именно — больше жизни! Больше *моей* жизни! И его (*показывает на дверь*) жизни! Сколько раз я умолял тебя: выпусти, дай дышать, дай любить, дай жить! Но нет, ты из своих паучьих лап добычи не выпустишь! Я — добыча. Добыча паучихи! (*Истерически смеется.*)

Шамраев. Ничего не понимаю. Какой-то бред. Евгений Сергеевич, надо дать ему валерьяновых капель.

Дорн. Пойдите, Илья Афанасьевич, это не бред.

Аркадина. Нет, он устал, он измучен, он не понимает, что говорит.

Тригорин (*смотрит на чучело чайки*). Как метко, как грациозно подстрелил он эту глупую птицу... Он был похож на афинского эфеба, пронзающего стрелой орла. Зачем, зачем ты увезла меня два года назад? Ты разбила мне сердце! Ты подсунула мне ту глупую, восторженную дурочку.

Вместо алмаза подсунула стекляшку! Ревнивая, алчная, безжалостная! Ты знала, что ради него я пойду на все! Я даже смогу бросить тебя!

Аркадина. Нет! Это неправда! Я всегда оберегала тебя, я желала тебе только добра! Я хотела, чтобы ты был счастлив, мой бог, мой счастливый принц! Разве я мешала твоим забавам с мальчишками и девчонками? Нет, я отлично понимаю потребности артистической натуры.

Тригорин. Конечно, ты мне не мешала. Потому что знала — то были мимолетные прихоти. Но здесь, на берегу этого колдовского озера, осталось мое сердце! Твой сын подстрелил его, как белую птицу. Я — чайка! Эти два года я не жил, а прозябал. О, как я умолял тебя привезти меня сюда...

Аркадина. Я увезла тебя отсюда два года назад, потому что иначе он и в самом деле подстрелил бы тебя. Разве ты забыл, как он вызвал тебя на поединок, когда ты признался ему в своем чувстве? Зачем только я уступила твоим мольбам, зачем взяла тебя с собой! Ты клялся, что все в прошлом, забыто и присыпано пеплом. Ты обманул меня! О, как ты посмотрел на него при встрече!

Тригорин. Да. Я посмотрел на него и ощутил сладостный трепет, ощутил всю полноту жизни и возможность истинного, неописуемого счастья. Я будто спал — и вдруг проснулся. Был приговорен к пожизненному заточению — и вдруг передо мной распахнулись двери темницы. Ты снова захлопнула их — и уже навсегда. *(Плачет навзрыд.)*

Раскат грома, вспышка, свет гаснет.

Дубль 7

Часы бьют девять раз.

Дорн *(сверяет по своим)*. Отстают. Сейчас семь минут десятого... Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. Давайте разбираться.

Тригорин *(с натушной веселостью)*. Любопытно. Это может мне пригодиться. Я как раз пишу криминальную повесть в духе Шарля Барбарá, а впрочем, таких произведений в литературе, пожалуй, еще не бывало. Столько мучился — и все никак не выходило: психология преступника неубедительна, энергия расследования вялая.

Аркадина. Криминальная повесть? В самом деле? Ты не говорил мне. Это оригинально и ново для русской литературы. Я уверена, у тебя получится гениально. *(Спохватившись, оглядывается на закрытую дверь и меняет тон.)* Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой — да-да, собой. Это вечно проклятье актрисы: жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталаный, нелюбимый мальчик... Ты — единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих...

Дорн *(задумчиво)*. М-да, зов утих. Как же приступить-то? Это вам, Борис Алексеевич, не Шарль Барбара. Кстати говоря, Константин Гаврилович жаловался, что вы привезли ему журнальную книжку с его вещью, а сами даже страницы не разрезали. Все остальное в журнале прочли, а его рассказ — нет. Это вы что же, нарочно хотели его задеть? Или считали его до такой уж степени бездарным?

Тригорин *(явно думая о чем-то другом)*. Бездарным? Совсем напротив. Он был бесконечно талантлив. Теперь могу признаться, что я очень завидовал его дару. Как красиво, мощно звучала его фраза. Там было и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Так и видишь летнюю ночь, вдыхаешь ее аромат, ощущаешь прохладу. А я напишу про какое-нибудь пошлое бутылочное горлышко,

блестящее под луной, — и все, воображение иссыкает. Что до неразрезанного рассказа — маленькая гнусность, обычный булавочный укол. У нас, писателей, это в порядке вещей. А рассказ был чудесный, я прочел его еще в Петербурге.

Аркадина. Ты и в самом деле считаешь, что Костя был талантлив? Но почему ты не говорил мне этого раньше? Я бы непременно прочла что-нибудь из его вещей. Или ты сейчас говоришь это из жалости?

Тригорин (*все так же рассеянно*). Не из жалости, а от равнодушия. Он умер. Я ему больше не завидую. (*Как бы про себя.*) И мысль о нереальности происходящего. Это непременно.

Дорн. А верно про вас пишут критики, что вы все, описываемое в ваших книгах, непременно должны испытать на себе?

Тригорин. Да, нужно все попробовать. Чтобы не было фальши.

Дорн. Вы давеча сказали, что у вас с криминальной повестью «никак не выходило». (*Делает ударение на последнем слове.*) Так? Я не ослышался?

Тригорин (*быстро поворачивается к Дорну и смотрит на него с чрезвычайным вниманием — впервые за все время*). Не припомню. Я так сказал?

Шамраев. Да, сказали.

Аркадина (*недовольно*). И что с того?

Дорн (*тихо, Тригорину*). Не выходило? А теперь что же — выходит?

Тригорин вздрагивает, ничего не говорит.

Скажите, Ирина Николаевна, а зачем вы, собственно, привезли с собой Бориса Алексеевича? Человек он занятой, вон ему и повесть нужно дописывать. Насколько мне известно, никаких особенно дорогих воспоминаний с этой усадьбой у Бориса Алексеевича не связано. В прошлый раз чуть до скандала не дошло. Опять же, прошу прощения, лишнее напоминание об истории с Заречной вам обоим вряд ли приятно.

Аркадина (*обожаяще глядя на Тригорина*). Борис сам упросил меня. Я думала ехать одна, но он сказал, что хочет посмотреть на Костю.

Тригорин делает движение рукой, как бы желая ее остановить, но Аркадина не замечает, потому что уже повернулась к Дорну.

Сказал: «Твой брат пишет, что Константин Гаврилович помешался на убийстве: стреляет всякую живность, того и гляди, человека убьет. Нужно его поизучать — это поможет мне для психологического портрета убийцы».

Дорн (*Тригорину*). Ну и как, помогло?

Тригорин делает неопределенный жест.

Стало быть, не помогло... Но повесть тем не менее сдвинулась с мертвой точки. С мертвой точки — каламбур. Стало быть, психология убийцы для вас теперь загадкой не является? Что вы давеча такое пробормотали? Непременно описать ощущение нереальности происходящего? (*Делает шаг к Тригорину. Тот отступает.*)

Раскат грома, вспышка, свет гаснет.

Дубль 8

Часы бьют девять раз.

Дорн (*сверяет по своим*). Отстают. Сейчас семь минут десятого... Итак, дамы и господа, все участники драмы на месте. Один — или одна из нас — убийца. Давайте разбираться.

Тригорин (*с натужной веселостью*). Любопытно. Это может мне пригодиться. Я как раз пишу криминальную повесть в духе Шарля Барба-

ра, а впрочем, таких произведений в литературе, пожалуй, еще не бывало. Столько мучился — и все никак не выходило: психология преступника небудительна, энергия расследования вялая.

Аркадина. Криминальная повесть? В самом деле? Ты не говорил мне. Это оригинально и ново для русской литературы. Я уверена, у тебя получится гениально. (*Спохватившись, оглядывается на запертую дверь и меняет тон.*) Мой бедный, бедный мальчик. Я была тебе скверной матерью, я была слишком увлечена искусством и собой — да-да, собой. Это вечное проклятье актрисы: жить перед зеркалом, жадно вглядываться в него и видеть только собственное, всегда только собственное лицо. Мой милый, бесталаный, нелюбимый мальчик... Ты — единственный, кому я была по-настоящему нужна. Теперь лежишь там ничком, окровавленный, раскинув руки. Ты звал меня, долго звал, а я все не шла, и вот твой зов утих...

Шамраев (*вполголоса Тригорину*). Знакомый текст, где-то я его уже слышал. Это из какой-то пьесы?

Тригорин (*кивнув*). Евгений Сергеевич, а знаете что, давайте-ка лучше я. У меня там в повести описан пронизательный сыщик. Попробую представить себя на его месте.

Дорн (*усмехнувшись*). Сделайте милость, а то я не знаю, как и подступиться.

Тригорин. Подступимся по всей дедуктивной науке.

Медведенко (*заинтересованно*). Какой науке? Дедуктивной? Я про такую не слышал. Верно, какая-нибудь из новых.

Тригорин. На самом деле это только так говорится, что наука. Обычная наблюдательность и умение делать логические выводы.

Дорн. Наблюдательность — это превосходно. Вот объясните-ка мне одну штуковину. Вы давеча сказали, что у вас с криминальной повестью «никак не выходило». Так? Я не ослышался?

Тригорин (*нетерпеливо*). Про литературу поговорим после. Сначала, если не возражаете, давайте выясним, кто убил Константина Гавриловича. И тут бросается в глаза одно любопытное обстоятельство...

Шамраев. Какое?

Тригорин. Самое примечательное в этой истории — фокус с взорвавшимся эфиром... Скажите, доктор, а почему ваш саквояж оказался в той комнате?

Дорн. Когда я приехал, Петр Николаевич лежал там, в креслах. Я осмотрел его, а саквояж остался.

Тригорин. Получается, что убийца об этом знал. Мы же — Ирина Николаевна и я — приехали совсем недавно, в спальню не заходили и о существовании вашего саквояжа, тем более о склянке с эфиром, знать не могли. Логично?

Дорн. Не вполне. Вы могли увидеть саквояж в момент убийства или сразу после него и действовать по наитию.

Тригорин. Увидеть небольшую черную сумку в темной комнате? Что-то я такое читал из китайской философии, сейчас не вспомню. Там ведь только лампа горела в углу. К тому же мало было увидеть сумку, нужно было еще сообразить, что это аптечка и что в ней может быть эфир. А пороховой дым еще не рассеялся, булькает горячая кровь, и в любую минуту могут войти. И потом, кто из присутствующих имеет достаточно химических знаний, чтобы устроить такой трюк? Я, например, только от вас узнал, что нагретый эфир, смешиваясь с кислородом, образует какую-то там смесь. У меня в гимназии по естественным наукам была вечная единица. Что до Ирины Николаевны, то она вряд ли способна припомнить даже формулу воды. А вы, Петр Николаевич?

Сорин. Отчего же, помню: аш два о. Впрочем, этим мои воспоминания о химии, пожалуй, исчерпываются.

Тригорин. Так я и думал. Марья Ильинична, насколько я слышал, получила только домашнее воспитание...

Шамраев. Но очень приличное, уверяю вас! Я сам учил Машу всем предметам.

Полина Андреевна. Илья, зачем ты это говоришь? Чтобы на твою дочь пало подозрение?

Тригорин. А как с химией у вас самого, Илья Афанасьевич?

Шамраев (*с достоинством*). Я по образованию классик. В мои времена дворяне ремесленных дисциплин не изучали.

Тригорин. Ну разумеется. Полина Андреевна, надо полагать, тоже вряд ли осведомлена о химических процессах за пределами квашения капусты, соленья огурцов и изготовления чудесных варений, которыми мы лакомились за чаем. Остается господин учитель. Что за науки вы преподаете в школе, Семен, э-э-э, Сергеевич?

Медведенко. Семенович. Согласно программе: русский язык, арифметику, географию и историю. Химии меня и в училище не обучали. Для земских школ не нужно.

Тригорин (*Дорну*). Вот ведь какая ерундовина получается, господин доктор. Кто лучше вас мог знать о содержимом саквояжа, о склянке с эфиром и о том, при каких обстоятельствах эта дрянь взрывается?

Полина Андреевна. Как вы смеете! Вы не знаете, что за человек Евгений Сергеевич! На него весь уезд молится! Сколько жизней он спас, скольким людям помог! Евгений Сергеевич — святой человек, защитник живой природы. Ему все равно кого лечить — человека или бессловесную тварь. Он подбирает выпавших из гнезда птенцов, дает приют бездомным собакам и кошкам. У него все жалованье на это уходит. Некоторые даже над ним смеются! Он — секретарь губернского Общества защиты животных! Его в Москву, на съезд приглашали, и он такую речь произнес, что все газеты писали!

Тригорин. Общество защиты животных? То самое, члены которого в прошлом году в Екатеринославе совершили нападение на зоосад и выпустили на волю из клеток всех птиц? А в позапрошлом году в Москве избили до полусмерти циркового дрессировщика за издевательство над львами и тиграми? Так вы, Евгений Сергеевич, из числа этих зелотов? Ах вот оно что... Тогда все ясно. (*Поворачивается и смотрит на шеренгу чучел.*)

Дорн. Ясно? Что вам может быть ясно, господин циник? Да, я защитник наших меньших братьев от человеческой жестокости и произвола. Человек — всего лишь один из биологических видов, который что-то очень уж беспардонно себя ведет на нашей бедной, беззащитной планете. Засоряет водоемы, вырубает леса, отравляет воздух и легко, играючи убивает те живые существа, кому не довелось родиться прямоходящими, надбровно-дужными и подбородочными. Этот ваш Треплев был настоящий преступник, почище Джека Потрошителя. Тот хоть похоть тешил, а этот негодяй убивал от скуки. Он ненавидел жизнь и все живое. Ему нужно было, чтоб на Земле не осталось ни львов, ни орлов, ни куропаток, ни рогатых оленей, ни пауков, ни молчаливых рыб — одна только «общая мировая душа». Чтобы природа сделалась похожа на его безжизненную, удушающую прозу! Я должен был положить конец этой кровавой вакханалии. Невинные жертвы требовали возмездия. (*Показывает на чучела.*) А начиналось все вот с этой птицы — она пала первой. (*Простирает руку к чайке.*) Я отомстил за тебя, бедная чайка!

Все застывают в неподвижности, свет меркнет, одна чайка освещена неярким лучом. Ее стеклянные глаза загораются огоньками. Раздается крик чайки, постепенно нарастающий и под конец почти оглушительный. Под эти звуки занавес закрывается.

МАКСИМ АМЕЛИН

*

ДОЛГИ ЗЕМЛЕ И НЕБУ

* *
*

Распластана
на двух ладонях выставленных — утра
и вечера —
Москва. — Егор со змием пышнотелым
сражается. —
Я выбираю небо для прогулки! —

Склониться ли
над ароматной чашей? — Мимолетный
по случаю
такому подвиг совершить ли? — Мне же
успеть бы лишь
ко сбору винограда. — Сверху вижу

отчетливо:
внизу мелькают пряничные крыши,
лимонные
соборов купола, пятиуголки
клубничного
желе; из карамели литы пушка

и колокол. —
Все башни шоколадные и стены
бисквитною
гордятся почвой под собой, черепьев
орешками
прослоенной. — Палатами люблюсь

цукатными. —
Какой роскошный торт, обильный кремом!
Сплошь сахарной
посыпан пудрой, пастилой устелен. —
Так вот из-за
чего Егор сражается со змием! —

Склониться ли
над ароматной чашей? — Мимолетный
по случаю
такому подвиг совершить ли? — Мне же
успеть бы лишь
ко сбору винограда. — Не успею.

* *
*

В августе звезды сквозь воздух ночной
падают наземь одна за одной:
 тесно в обителях неба, —
зеркалом вод обманув, заманив
ширью просторов и золотом нив,
 не отпускает обратно

тяга земная — тугая сума.
В августе мухи слетают с ума
 в неописуемом страхе
от приближающихся холодов.
В августе тот, кто еще не готов,
 спешно ведет подготовку

к смерти, к ничтожеству, к небытию,
припоминая поденно свою
 юность, и зрелость, и старость, —
им равномерно подвержен любой
возраст, упругие губы мольбой,
 зрением глаз утруждая:

что там виднеется? дуб или клен? —
Тело изношено, дух утомлен,
 разум на части расколот,
целого больше из них не собрать.
Старая кончится скоро тетрадь,
 новая скоро начнется.

В августе солнце затмилось, и сей
знак во вселенной губителен всей
 переживающей твари,
только прожорливая саранча,
крыл и копыт оселками звуча,
 видит немалую в этом

пользу. — Четыре неполных стопы
дактиля, парные рифмы тупы,
 каждая третья — сестрица
сводная и не похожа ничуть.
В августе гуще становится путь
 и аппетитнее млечный.

Не поворачивается язык
то, что пишу, обругать. — Я привык
 жить за троих или больше
с помощью Божьей. Пора — не пора:
«Кем бы ты был, если б умер вчера?» —
 сам у себя вопрошая,

сам отвечаю себе, что никем,
невразумительных автор поэм,
 путаных стихотворений.
В августе страшного нет ничего:
свой день рождения на Рождество
 встретить надеюсь тридцатый.

* *
*

Из Коломенского в Нагатино
переехал через дорогу:
было — золото, стала — платина, —
только к лучшему, слава Богу!

что ни делается. — Мигрирую
с одного на другое место
со своей антикварной лирою
беспрепятственно в знак протеста

против косности, — польза разная
в переменах. — Ужели вскую
одного лишь покоя, праздную
жизнь торжественно, я взыскую?

Будь какая ни будет всячина, —
у меня же на лбу веселье
несказанное обозначено:
«Приглашаю на новоселье!»

* *
*

Поспешим
стол небогатый украсить
помидорами алыми,
петрушкой кучерявой и укропом,

чесноком,
перцем душистым и луком,
огурцами в пупырышках
и дольками арбузными. — В янтарном

пузырьке
масло подсолнечно блещет
ослепительно. — Черного
пора нарезать хлеба, белой соли,

не скупясь,
выставить целую склянку. —
Виноградного полная
бутыль не помешает. — Коль приятно

утолять
голод и жажду со вкусом! —
Наступающей осени
на милость не сдадимся, не сдадимся

ни за что. —
Всесотворившему Богу
озорные любовники
угрюмых ненавистников любезней.

Поминальное

До срока жизнь окончена. Долги
земле и небу отданы с лихвою.
Потерян след, и не видать ни зги.
Шевелит ветер выцветшую хвою.

Что ж остается? — Стол и стопки книг,
тропа в глубь облетающего сада —
и только-то. И больше никаких
свидетелей. А больше и не надо.

Мала людская память и слаба.
*Пожалуйста, не осуждай жестоко,
принявши душу Твоего раба,
и упокой, о Господи! до срока.*

Строфы, составленные наскоро из строк трех недописанных стихотворений

В начале — проба нового пера:
не будет завтра, не было вчера,
сей день — и первый и последний, — ныне
напрасно я от мысли ухожу,
что зримый мир подобен миражу,
скитаясь одиноко по пустыне.

Урании холодная рука
пространство гнет; столетий облака,
ликуя, Клио в чашу золотую
ту выжимает, — выстроившись в ряд,
безмолвно вниз созвездия глядят,
среди точек замечая запятую.

На — «Есть ли вдохновение?» — в ответ
я ставлю прочерк вместо да и нет, —
мне память ум и чувства заменила;
сознание — прозрачное насквозь —
за-через край, вскипев, перелилось;
бумага — плоть, а кровь моя — чернила.

Ушли в песок и солнце и вода;
не принесли сторичного плода
старательно подобранные зерна;
не всколосились бурные моря
широких нив, — труды пропали зря,
прикладываемые столь упорно.

Я буду жить, насколько хватит сил,
во что бы то ни стало, не сносил
пока до дыр вместительного тела;
весна оденет, осень оборвет
и бор и дол, меня — наоборот —
сковала осень, а весна раздела.

Как мертвым не завидовать? — Они
прохладой наслаждаются в тени
вечнозеленых, не старея, кущей, —
не плавятся в июле на жаре
и стужи не боятся в январе,
им смерти нет, повсюду стерегущей.

А мне, как ни меняй порядок строк,
не налюбиться, не напиться впрок,
и нет на свете — никого не слушай! —
границы постоянное, чем та
изменчивая, зыбкая черта,
меж морем проведенная и сушей.

В какие бы зима ни завлекла
чертоги из бетона и стекла —
подобия добротного, но гроба,
наружу лето выгонит и вновь
расковыряет плоть и пустит кровь:
в конце — пера испорченного проба.

* *
*

Долго ты пролежала в земле, праздная,
бесполезная, и наконец пробил
час, — очнулась от сна, подняла голову
тяжкую, распрямила хребет косный,

затрещали, хрустя, позвонки — молнии
разновидные, смертному гром страшный
грянул, гордые вдруг небеса дрогнули,
крупный град рассыпая камней облых,

превращающихся на лету в острые
вытянутые капли, сродни зернам,
жаждущим прорасти все равно, чем бы ни
прорастать: изумрудной травой или

карим лесом, еще ли какой порослью
частой. — Ты пролежала в земле долго,
праздная, бесполезная, но — вот оно,
честно коего ты дождалась, время, —

ибо лучше проспать, суетой брезгуя,
беспробудно, недвижно свой век краткий,
чем шагами во тьме заблуждать мелкими
по ребристой поверхности на ощупь,

изредка спотыкаться, смеясь весело,
проповедуя: «Все хорошо, славно!» —
потому-то тебя и зовут, имени
подлинного не зная, рекой — речью.



ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ

*

РАДОСТЬ

Рассказ

Надвигался хмурый неприятный вечер. Алла Александровна, несмотря на апрель — все еще в зимнем пальто, брела по перрону. Под фонарем, у стенда с расклеенной на нем газетой, стоял пожилой мужчина в мятом клетчатом костюме. Дрожащей рукой он держал лупу и через нее читал. Алла Александровна прошла мимо, но все же оглянулась. На увядшем некрасивом лице ее появилась улыбка.

— Василий Васильевич! — позвала она.

Мужчина опустил лупу и повернулся.

— Ах, Алла Александровна, — воскликнул он. — Вот и встретились!

Брызнул дождик. Сильнее запахло гарью и только что распутившимися листочками. Алла Александровна и Василий Васильевич отправились на вокзал, огибая лужи с расходящимися на них кругами от упавших капель.

В зале ожидания под потолком чирикали воробьи. Они перелетали с люстры на люстру будто с дерева на дерево. Люстры раскачивались, и их почерневшие от пыли лепестки позванивали. Электричество преломлялось в граненом стекле — и внизу, под ним, дышала выброшенная на людей живая сеть из пятнышек тусклого размытого света и комьев скукоженной темноты.

Алла Александровна и Василий Васильевич присели рядышком.

— Любезный мой, — сказала Алла Александровна, — как я рада видеть вас.

— И я очень рад, а как же, — улыбался Василий Васильевич, устраиваясь поудобнее на жесткой скамье.

— У меня как раз для ознаменования встречи есть бутылочка вина, — похвасталась Алла Александровна.

— А разве можно здесь? — спросил Василий Васильевич и оглянулся; вокруг множество людей, коротая время, вели вполголоса оживленные беседы.

— Вообще-то нельзя, — проговорила Алла Александровна, — но тайно — можно!

Она достала из скрипучей соломенной кошелки бутылку и стаканчик.

— А вы потолстели, Алла Александровна, — заметил Василий Васильевич.

— А вы похудели, Василий Васильевич, — сказала Алла Александровна.

— Вот и обменялись комплиментами, — рассмеялся Василий Васильевич, откупоривая бутылку.

Петкевич Юрий Анатольевич родился в 1962 году. Закончил Белорусский институт народного хозяйства и Высшие сценарные курсы. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Континент» и др. Живет в Белоруссии, в деревне Новый Свержень Столбцовского района Минской области.

Тут же Василий Васильевич принудил себя сделаться серьезным. Наливая в стаканчик Алле Александровне, он заботился о том, чтобы не расплескать вино.

Алла Александровна выпила и поморщилась.

— Может, сходить купить чего на закуску? — предложил Василий Васильевич.

— Не стоит суетиться, — сказала Алла Александровна. — Что это вы опять мне подаете, а сами почему не выпили?

— Уж я себя не обижу, — заявил Василий Васильевич. — А как ваша дочка?

— Никогда не было у меня дочки, — изумилась Алла Александровна. — Откуда вы ее взяли?

— А я думал, что была...

— Вы чего-то напутали, Василий Васильевич, — сказала Алла Александровна, опорожнив еще стаканчик.

Прикончив вино, Василий Васильевич поднялся со скамьи и быстро затопал из зала ожидания, а Алла Александровна прилегла, подложив под голову пустую бутылку в кошелке.

Василий Васильевич пересек привокзальную площадь и направился по улице, сжимая в кармане деньги. Дождя он не замечал, пока у ночного магазина не поскользнулся на мокрых ступеньках.

Перед продавщицей он выложил все свои деньги. Она долго разбиралась с ними и наконец выдала бутылку вина. Василий Васильевич попросил еще несколько пряников. Вышел из магазина, осторожно спустился с крыльца. Навстречу шел кудрявый парень с красоткой и играл на гармошке. Красотка ухмылялась. Вдруг парень перестал играть и внимательно посмотрел на Василия Васильевича.

— Чего ты такой веселый? — спросил он.

Василий Васильевич опустил глаза. Ни с того ни с сего парень, приблизившись, ударил его. Василий Васильевич удивился и поплелся дальше.

Мокрый снег полетел с черного неба. Снежные комья плюхались на горевшую щеку и растаивали моментально. Это было приятно и даже прекрасно. Но скоро ощущение великолепия жизни пропало, и снег сделался, как мухи, надоедливым. Василий Васильевич опомнился, когда увидел под одним из фонарей забытый торговками на тротуаре стол. На нем, мокрым, отражался вокзал в огнях. Василий Васильевич вытер вокзал локтем, огляделся, разложил на столе оставшиеся деньги, вынул лупу, посчитал деньги и спрятал их.

Алле Александровне приснилось: по реке тарыхтит моторная лодка; в ней загорелый мужчина в длинной красной рубашке кричит что-то. Поднялись волны после лодки — и Алла Александровна бросается в одежде в воду и качается на волнах. Тут она проснулась — ее толкала баба в цветастом платке:

— Ваш попутчик который раз проходит рядом, а вас не замечает, но рыщет глазами.

Сгорбившаяся, понурая фигурка Василия Васильевича промелькнула между колонн у касс. Алла Александровна замахала Василию Васильевичу. В этот момент к нему подошел милиционер. Некоторое время — показалось: вечность — он изучал паспорт Василия Васильевича, переворачивая истрепанные странички. Испуганный, будто спросонок, женский голос объявил по репродуктору о прибытии поезда. Милиционер вернул паспорт и зашагал дальше. Василий Васильевич обернулся и увидел, как машет ему рука. Лицо его засияло, и он поспешил к Алле Александровне, несколько раз столкнувшись с пассажирами, которые пыхтя несли тяжелые чемоданы.

— Ну что? — спросила Алла Александровна, когда Василий Васильевич присел рядом.

— Ох, как я натерпелся, — вздохнул Василий Васильевич.

— А колбаски — закусить — прихватили? — спросила Алла Александровна.

— У вас, Алла Александровна, мысли о колбаске, когда необходимо удалиться в какое-нибудь пустынное место, — сказал Василий Васильевич. — К стати, вы знаете, что выпал снег, но тепло и красота в природе неописуемые.

— В такое место я не хочу, — сказала Алла Александровна, — потому что вы, Василий Васильевич, непременно станете меня обнимать, уж я вас знаю.

— Да что вы, я к вам, Алла Александровна, и прикоснуться не посмею.

Василий Васильевич взял Аллу Александровну под руку, и они — степенно, можно сказать, по-семейному — вышли из вокзала на перрон.

Вдоль состава шел рабочий с фонарем. Окна в вагонах едва светились. Раздался свисток. Колеса сдвинулись с места и застучали на стыках рельсов. По репродуктору опять проскрежетал испуганный голос. Бредя вслед укатившему последнему вагону, Василий Васильевич и Алла Александровна добрались до столбика, на котором было написано: граница станции. За ним начиналась кромешная тьма.

— Я уверяю вас, Алла Александровна, — говорил Василий Васильевич, — нас ожидает комфорт редчайший, не ропщите.

— Ой, не бегите, — умоляла его Алла Александровна. — Как сердце мое трепещет, не знаете.

— Как же оно трепещет? — спросил Василий Васильевич.

— Как пойманная рыбка.

Скоро свежие снежные запахи растаяли в очень влажном и тяжелом воздухе. Глаза привыкли к темноте. Впереди застыла вода до горизонта.

— Еще немножко, и будет на повороте, за теми кустами, — беседка, — сказал Василий Васильевич. — Я люблю выпить чинно, торжественно, — объяснил он. — А то налил — и оглядывайся. В беседке будет чудно.

Часто Алла Александровна останавливалась передохнуть. Василий Васильевич переминался подле нее и скучал. Наконец дотащились до излучины, и Алла Александровна разрыдалась, увидев беседку в воде, и — села прямо в грязь. Василий Васильевич бросился подымать женщину.

— Виноват, — бормотал он, — упустил, что река разлилась.

Алла Александровна плакала горько, как ребенок. Но поднять ее Василий Васильевич не смог — она оказалась тяжелая, будто бревно, вросшее в землю. Тогда Василий Васильевич нашел недалеко корягу, приволок ее, очистил от снега и стал упрашивать Аллу Александровну, чтобы она сделала еще одно усилие и приподнялась. Наплакавшись, Алла Александровна вытерла слезы и оторвала зад от берега. Василий Васильевич подsunул под нее корягу. Вдруг сделалось видно как дном. Алла Александровна вынула из кошелки стаканчик.

— Наливайте скорее, а то умру, — сказала она.

Тут Василий Васильевич поднял голову: над рекой висела на длинном проводе обыкновенная люстра — как у многих людей в домах, — только огромная.

— Смотрите! — закричал Алле Александровне Василий Васильевич.

Алла Александровна сидела спиной к люстре и, обернувшись, удивилась:

— Что это?

— Бог нас пожалел, — догадался Василий Васильевич, — не иначе. Кроме Него — некому.

— Ну так пригласите Его, — предложила Алла Александровна. — Пусть выпьет с нами.

— Давай — сюда, к нам! — завопил Василий Васильевич, открывая бутылку. — Сейчас, сейчас, — бормотал он. — Ах, тут еще пробка. — Он ко-

вырял ее ножиком. — Наверно, хорошее вино — если пробка; сейчас протолкну ее внутрь. Вот — готово! Давайте, Алла Александровна, стаканчик!

Неожиданно раздался звук перегоревшей электрической лампочки — и опять нахлынул мрак.

Приехав домой, Василий Васильевич переоделся в одно сплошное рванье и сверкал, ходил по деревне босиком и чувствовал себя вольготно.

— Терпеть не могу городской костюм, — сказал он Алле Александровне.

Алла Александровна нашла на этажерке у Василия Васильевича бутылку чернил, сохранившихся еще с тех пор, как он работал учителем в местной начальной школе, развела их водой в ржавом тазу и покрасила в фиолетовый цвет занавески с окон — чтобы казались чистыми.

Однажды вечером Василий Васильевич и Алла Александровна сидели, будто голубочки, рядышком у окна и глядели вдаль. После зимы оживила муха — она оказалась слишком большой, чтобы запутаться в паутине под потолком, и Василий Васильевич с Аллой Александровной с наслаждением ощутили, как им на волосы садится пыль. И в наименее приятнейшем настроении Алла Александровна спросила у Василия Васильевича:

— А помните, любезный мой, как мы танцевали на выпускном вечере в лесотехническом техникуме в Ларчинске, а потом я провожала вас на паром — и вы на прощанье подарили мне атласную алую ленту; помните, какие у меня были косы?

— А как же, — отвечал Василий Васильевич, хотя в ларчинском лесотехническом техникуме отродясь не учился и на пароходе никогда не плавал.

Дни становились все теплее. Алла Александровна забыла про пальто и в солнечную погоду раздевалась до фиолетовых бюстгальтера и панталон. Однажды в таком виде она прошла вместе с Василием Васильевичем по деревне. В магазине она из бюстгальтера достала деньги и купила Василию Васильевичу подарок — на всякий случай — свечку. Увидев Аллу Александровну — и в магазине, и на улице, — как мужчины, так и женщины закрывали глаза и останавливались; время для них замирало. Вернувшись с прогулки, Алла Александровна поцеловала Василия Васильевича и сказала:

— Отдохнула я у вас замечательно, деревенским воздухом дышать одно наслаждение — и сердце мое не скрипит, как бывало, а я ведь и не надеялась дожить до лета. Теперь решила я съездить в Галабурдовщину, к двоюродной сестре. Она наверняка меня заждалась.

Когда Алла Александровна уехала, Василий Васильевич занавески на окнах по утрам не раздвигал; он к ним не прикасался, потому что они напоминали ему о женщине. В самую ясную погоду в доме торжествовали сумерки, а на столе торчала в стакане свечка, которую Василий Васильевич никогда не зажигал, даже если не было электричества.

Как-то Василий Васильевич смотрел в окно сквозь полупрозрачную ткань и увидел на дереве фантастическое существо. «Неужели такие птицы бывают?» — подумал Василий Васильевич; затем сообразил, что это по занавеске с обратной стороны ползет паук...



ЕВГЕНИЙ САБУРОВ

*

ОБЛАКА ЗАГОВОРИЛИ

* *
*

Чайка, взмывающая над землей,
погружена в голубой цвет,
как будто серый кабриолет,
карабкающийся высокой горой.
И я, наблюдая за ней, в зной
понял прохладу лет.

Но то ли мы стали красным вином
излишне увлечены,
то ли спокойствия лишены,
отягощены виной —
так или по причине иной,
но мы не влюблены.

А значит, трезвости нет как нет
и прохлада лет не дает
ни капли воды на горящий рот,
ни оправдания бед,
и, погружена в голубой цвет,
чайка в горы плывет.

* *
*

М. А.

Женоподобные метели
сносили, приносили снег
на полувековые ели,
на отвороты хвойных век,
из-под которых вдаль глядели
на берег, на слиянье рек
холмы, почти как человек.

А мы ходили да ходили,
и наш спокойный променад
ни взрывами морозной пыли,

ни тресками лесных петард
холмы в те дни не бередили.
Лишь наст скребли автомобили
да в календарь толкался март.

Прислушавшись к своим капризам,
поверив на слово тому,
что небо небывало близко
и что сидеть в своем доме,
когда с холма, согнувшись книзу,
ныряет лыжник! Что ему,
когда метелью ум пронизан!

Переступая скользких мест,
выглядываемых тревожно,
предательский внезапный блеск,
мы тяжело и осторожно
передвигались в темный лес,
переминали правду ложью,
перетрудили милость Божью,
поставили на совесть крест,
вдохнули и спаслись, возможно.

Холмы устойчиво лежали,
сообразуясь с облаками,
под ними в белоснежной шали
река, не видимая нами,
струилась чистою печалью,
и было сладко, как вначале,
когда так пусто за плечами,
без снов и вздохов спать ночами.

* *
*

Шмель в цветочек залетел
леший музыку запел
по копытам мерина
кузнец ударил нервно
силу рук измерил
и стал работать мерно.

А по краю а по кромке
мира лезли облака
разговаривала громко
с нами быстрая река
это было лишь сначала
а потом она молчала

миновала мельницу
зажила замедленно
облака же и в начале
ничего не отвечали
в тишине себе ползли
тенью павши до земли.

Тень сгущалась шмель пугался
 глядь цветок осиротел
 закачались сосен пальцы
 будто взяты на прицел.

Облака заговорили
 стали молния и гром
 взвились кучи водной пыли
 там где плавал водоем
 дождь пошел да и прошел
 а потом опять пошел.

Где прозрачный легкий воздух
 жаром душу иссушал
 встал огромной стенкой грозной
 водяной тяжелый вал.

Грозы дальние гремели
 грозы ближние глушили
 заливали в речке мели
 лес поили в небе жили
 шелк ласкался невесом
 мы лежали нагишом
 в потемневшем сразу мире
 на неведомой квартире.

* *
 *

Заповедные пределы,
 те, которых не прейти, —
 это мама, это тело,
 это мягкий запах мела,
 сад утех и вечер птиц.

Огляди свои владенья,
 длань над ними растопырь,
 там сквозь пальцы дети, дети
 каждодневно мечут деньги,
 их собирает нетопырь.

Зрелость серыми кострами
 над страной моей взойдет,
 снег растает под дождями,
 жар, растасканный ветрами,
 прекратит мутить народ.

И жестокость станет славной,
 и обида не такой.
 В основном, в сердечном, в главном
 все переместится плавно
 под невидимой рукой.

Мы ли это? Ты ли это?
 Мыли лето до зимы,
 зиму пропили с рассветом,
 но пределов по заветам
 так и не достигли мы.

Выйти бы за грань привычки,
 обернуться злым сморчком,
 вынуть трубку, вынуть спички,
 как права качают птички,
 слушать поутру молчком.



МАРИНА ПАЛЕЙ

*

LONG DISTANCE,
ИЛИ
СЛАВЯНСКИЙ АКЦЕНТ

Сценарные имитации

Фильм четвертый

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОПУГАЙ

CAST:

Сема Гринблад, человек без грин-кард, вероятно, поэт.

Эликсандэр Нечипайло, он же Эликс (Санек).

Девушка в белом

Дама в красном

Дама в оранжевом

Дама в желтом

Дама в зеленом

Девушка в голубом

Дама в синем

Дама в фиолетовом

Актер в хромовых сапогах

и с граненым стаканом

Русский человек

в русской косоворотке

Хор и солисты на сабантуйчике

Прочие завсегдатаи клуба.

Медсестра.

Ладонь и голос продавца.

Механический попугай.

Субъект и его люди.

Голоса с учебной кассеты.

завсегдатаи
Русского клуба
«RUSSKAYA GLUBINA».

Действие происходит в Нью-Йорке, ранней осенью в начале 90-х годов XX века — у врача, в клубе, в магазине, в квартирах, на улице, — точно говоря, в сознании Семы Гринблада.

Сцена 1. КАБИНЕТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗРЕНИЯ

Это довольно маленькое помещение, одну из стен которого полностью занимает зеркало. В нем отражается офтальмологическая таблица с жирной, черного цвета, латиницей. Остальные стены, а также кафельный пол, белы, как белый сон, когда кричишь, а голоса нет.

В центре кабинета стоит очень полная, очень черная негритянка в белых теннисках, белых носках, белоснежной футболке и таких же шортах. Поверх футболки и шорт надет белый служебный халат. Это медсестра.

На высоком стуле с механически поднятым сиденьем испуганно замерло странное на всякий немедицинский взгляд существо. Оно выглядит довольно инопланетным под тяжестью массивной металлической маски, плоские части которой на уровне переносицы образуют то ли очки, то ли прибор для астрономических наблюдений. Маска придает ее пользователю комический вид неуязвимости и ненасытимой сексуальной жестокости.

Комический, потому что он не выдерживает комбинации с упомянутым выражением испуганного тела, сводясь полностью на нет цыплячьей сутулостью, обгрызенными ногтями и сэконд-хэндовскими башмаками, пятками которых, не доставая ими до пола, существо неврастенически колотит по высокой выдвинутой ножке. Существо зовут Сема Гринблад.

Медсестра освобождает пациента от маски, но сейчас мы видим только его затылок. Что же до лицевой части, то подбородок Семы фиксируется медсестрой в выемке некоего прибора, похожего одновременно на астролябию и видеокамеру с треножным штативом, — объектив прибора нацелен на отражение офтальмологической таблицы.

Медсестра. Сейчас, в этом приборе, я буду менять для вас линзы. О'кей? А вы будете говорить, как вам лучше. Начнем. (*Нажимает кнопку.*) Так лучше? (*Выждав, нажимает другую.*) Или так лучше?

Сема. Так лучше... Нет, так, как было... Нет! Кажется, так, как сейчас...

Медсестра. Еще раз. Лучше... так? Или... так, как было?

Сема. Не знаю... А как было?

Медсестра. Вот так...

Сема. А теперь?

Медсестра. Теперь так.

Сема. А было?.. Простите, я, наверное, идиот...

Медсестра (*хладнокровно*). Never mind.

Сема. А как было раньше? Я уже не помню... Можете мне показать еще раз?

Медсестра. Пожалуйста. Было так.

Сема. Ага. Хорошо. То есть плохо... А сейчас?

Медсестра. Так.

Сема. Так?.. Не знаю... Затрудняюсь сказать...

Медсестра. В каком случае хуже?

Сема. В обоих случаях хуже... Простите, я, наверное, идиот...

После двух первых реплик мы больше произносящих не видим.
Слышны только их голоса.

Сцена 2. РУССКИЙ КЛУБ «RUSSKAYA GLUBINA»

Вечер того же дня.

Мы видим несколько открытых комнат, стилистически напоминающих гибрид райжилконторы с туристическим агентством. В нос резко шибает букет из квашеной капусты, блинов и подгорелой гречневой каши, а также дыма всевозможных табачных изделий в диапазоне от ностальгической «Примы» до элитных сигар. Сегодня здесь то, что иностранцы (полагающие, будто знают русский язык) неизменно называют «вечеринка».

Сразу слева от входа располагается кабинка. На двери ее самодельный плакат: человек, с кепкой в руке, мочится на броневику. Это одноместный ватерклозет, почти домашний, то есть не имеющий дифференциации

по половому признаку. Оттуда, на ходу застегивая ширинку, то и дело выходят подгулявшие особи мужского пола, причем на определенном уровне загула грань между иммигрантами (завсегдатаями клуба) и «стоцентными американцами» (приглашенными на «вечеринку») уже стерта. Выходят и женщины, зашелюванная сумочки, влажно играя зрчками, продолжая поправлять бижутерию и с тревгой таращась в облезлое зеркало. Поскольку дверь то и дело открывается, мы без труда зрим внутренний дизайн этого помещения, с коего и начнем наше знакомство с этим клубом, ведь даже Державин в Царском Селе начал с того же.

Собственно говоря, это антураж, на который мы неукоснительно обречены, коль скоро нужда загнала нас в отхожие места наших знакомых, которым выпала судьба родиться на территории лесов, полей и рек в период Белки, Стрелки, а также тотальной кукурузной кампании. Или, скажем, если мы наносим визит особо продвинутым, то есть «*svoim v dosku*», славистам, в свою очередь, делающим беспечальную карьеру на языке и культуре наших знакомых, рожденных в упомянутом ареале. Во всех этих случаях унитаз просто немыслим без окружения портретами лысого человека (с прищуром и в кепочке) либо человека с усами, словно бы рекламирующего табачную трубку на рождественской распродаже, — и конечно же это кроткое, многотерпеливое сиденье стилистически нерасторжимо с изображениями бровастого дяди, глазные щели коего излучают духовный настрой зулуса в момент общения с каменным топором и первобытным кресалом. Сами собой разумеются бесчетные лозунги, инструкции, обязательства (характерные для эры Человека с Бровями), кои ни в филологическом отношении, ни с позиций отсутствия здравого смысла ничуть, к стати сказать, не уникальной (что и кажется нам, беспамятным, летящий вскачь видеоклип наших дней), — нет, не уникальной любой другой наскальной продукции любых прочих эпох. А потому, посещая такой прогрессивный ватерклозет, от черной ли скуки или от какой другой не поддающейся определению дисфункции, вызванной этим трафаретным, как сам трафарет, фрондерством (точнее, смесью ханжества с дурновкусьем), мы не только интенсивно облегчаем кишечник и мочевого пузырь, но вдобавок осуждены на сильнейший рвотный позыв. И вот, очистив брненное тело, ослабевшим языком мы констатируем: театрализованно-условный, лжеязыческий ритуал изживания истории посредством акта дефекации, мочеиспускания, а также рвоты совсем не работает и (даже в виде ходких форм на рынке литературы) остается банальным глумленьем мышей над издохшим котом. Ведь глупость любой популяции, как и ей обратное, исторической эволюции не имеет, так что вместо оклеивания неповинных стен образчиками собственного неразумия (коиими, к стати, можно многократно оклеить по экватору все планеты нашей системы, и еще останется), — не лучше ли заменить ржавый бачок, подновить пол, побелить потолок, а стены облицевать кафелем цвета *mauve* — и в этом уединенном месте именно уединением насладиться, смакуя его как одно из самых благословенных чувств, ниспосланных прямоходящим.

Однако посетим и другие места. Привлеченные звуками тесной компании, заглянем — благо дверь открыта — в помещение, днем служащее, судя по всему, офисом, а сейчас (компьютер снят со стола и поставлен в дальний угол) преобразованное под сабантуйчик — то ли по случаю дня рождения, то ли... какая разница. Важней результат: в центре довольно массивного канцелярского стола, застланного одноразовой ярко-синей скатеркой, дымится кусок мяса, такой огромный, что его можно даже называть общинно-родовой собственностью, — к стати, это и подтверждается дальнейшей сценой.

Голос Семы. Давайте я его порежу! Где нож?

Хор (*подхватывая*). Где нож? Исаак, ты не видел нож? А где? Нет, большой! Берта, посмотри там! Да нет, там! Да нет, там, там! Может, Софа

брала? Спроси у Бори. Да не этот!! Что вы собрались делать этим ножом?! Это же только в носу ковыряться можно этим ножом! Это же ножичек, а не нож! Дайте сюда нож! А Миша не видел? и не брал? Аркадий, перестань бегать! Тише, тише, он что-то говорит! Тише! Сами вы тише! он что-то хочет сказать!

Голос Семы (*впадая*). Уже, уже! Вот нож, вот нож!

Хор (*подхватывая*). Уже, уже! Нашли, нашли! (*Крецендо; вразнойбой.*) Ты же не так режешь! смотри, смотри! ты ниже бери! вбок! ты же сейчас стол заденешь! капает! ты подложи что-нибудь! ты досочку подложи! ниже! правей! ты же не надавливаешь! ты надави! держи, держи, держи! подложи, я сказал, клееночку! левой! тарелку убери! вбок, вбок! сильнее! нет, не туда!..

Но вот наступает вожделенный момент: *уста жуют*, как заметил классик. Тишина отнюдь не полная, а все-таки пауза. Перемена блюд, снова перемена; черед сладкого вина, штруделя с чаем, расстегнутых пуговиц, размягченных душ и ностальгических песен. Слышны реплики: «Софа, ты петь будешь, петь?» — «Ой, когда это я пела? Сто лет назад!» — «Блюма, скажи твоей сестре, чтоб она не прибежнялась, у нас ей тут не велфэр!» — «Ой, у меня сегодня печенка грызет... Не надо было мне есть форшмак!» — «Это ты своему мужу на ночь мозги крути, а у нас тут никаких печенок-шмеченок, все!» — «Софочка, детуля, ну правда!» — «Ну, тоф, бесэдер! А кто будет второй голос?» — «На что тебе второй голос? Ты еще, может, второго супруга захочешь иметь, я не знаю?» — «Пусть Исаак будет второй голос!» — «Почему всегда Исаак?» — «Ладно, ладно, кончайте базар! Начали петь, начали! Берта, не лезь к чужому мужу, зачем тебе нужен этот сэконд-хэнд? Раз-два-три! Блюма, ша! Слушайте все сюда! Начали, начали! Вот я сейчас хлопну в ладоши, смотрите! Генук, Аркадий, в другой день! Ну!.. раз... два... Боря, что ты опять сгорбился, я не знаю? Посмотрите на него! Тебе же семь лет, а не семьдесят на минуточку! успеешь еще быть горбатым! ...три!»

Первый голос (*широко, протяжно*).

Что-о стои-и-ишь, шата-а-а-ась,
Го-орька-я-а-а рябина-а-а...

Второй голос (*с чувством*). Стойте! стойте! мне плохо! Софа, где у тебя память — в голове или, я извиняюсь, пониже? С чего это она у тебя вдруг «шатаясь»? Ты знаешь, кто это — «шатаясь»? Это гой с завода идет «шатаясь»! Гой с завода! А рябина — «качаясь»!..

Хор. Ша, ша, что за разница! Шата-а-а-ась-ка-а-а-ась — что за разница? Разница есть? Разницы нет! Аркадий, не бегай! Пойте!

Первый голос (*протяжно, меланхолично*).

Что-о стои-и-ишь, кача-а-а-ась,
Го-орька-я-а-а рябина-а-а...

Второй голос (*с большим чувством*). Она хочет, чтобы я получил разрыв сердца! Она сегодня этого хочет! Где ты нашла это «горькая»? Что это у тебя — «горькая»? Водка гойская у тебя горькая? Это же рябина у тебя! Рябина же «тонкая»!..

Хор (*вмешиваясь*). Ша, ша, что за разница! Горькая-тонкая — что за разница? Разница есть? Разницы нет! Борик, не горбись! Пойте!

Второй голос (*сильно, уверенно*).

Что-о стои-и-ишь, кача-а-а-ась,
То-онкая-а-а рябина-а-а,
Го-о-олово-ой по-оникну-ув...

Первый голос (*страстно*). Какого, извиняюсь я, хрена «поникнув»?! когда не в рифму?! Ты рифму слышишь?! Где у тебя уши?! Берта, где у твоего мужа уши?! Он что, да, играл на скрипке?.. Когда?! Это он папе твоему голову морочил, что он играл на скрипке! Подумаешь, Ойстрах! «Поникнув»! Это же надо! «Качаясь» — «склоняясь», ты это можешь понять? «Поникнув»! Ты знаешь, что бывает «поникнув»? Берта, у твоего мужа кое-что еще не «поникнув»?.. Нет?.. Ну и слава Богу! Сто двадцать лет жить!..

...Последуем за Семей, который бочком-бочком пробирается к выходу. Он выскальзывает в коридор и, шмыгнув за угол, надолго, с первозданной тупостью, упирается взглядом в зеркало. Оно большое, а Сема маленький, но руки, машинально скрещенные на груди, придают ему — конечно, окарикатуренный — вид то ли героя из «Пиковой дамы», то ли угасающего пленника с о. Св. Елены.

В зеркале виден дверной проем большого, видимо, банкетного зала. В проеме мелькают гости, обычные для такого заведения. Их можно разделить на четыре группы:

1. Знающие, куда они попали, и не питающие иллюзий на этот счет.

Это слависты(-ки) и тому подобная бойкая публика, что строчит свои беспечальные диссертации, с искренним энтомологическим любопытством прикинув к окуляру микроскопа, где в смертельной схватке восходят и крушатся миры таких занимательных, кишеньем кишаших, возбуждающе-рискованных организмов, — к счастью, при данном методе изучения абсолютно безопасных для исследователя.

2. Знающие, куда они попали, и питающие иллюзии.

Это супруги вышеупомянутых славистов(-ок) и тому подобных эмиссаров — не менее прекрасные половины, вовлеченные в иные, нежели славистика, области знаний, а потому с особо тошнотворным прекраснодушием «имеющие энтузиазм» к самоварно-сарафанному раю и всегда с чрезмерной лихостью, «ро-svoisky», хлопающие в ладошки уже при самых словах «Kazachok» и «Kalinka-malinka».

3. Не знающие, куда они попали, и не питающие иллюзий.

Это профессиональные алкоголики и тому подобные бедолаги, никем не приглашенные и никому не известные, но со странной регулярностью оказывающиеся на такого рода (см. ниже) мероприятиях. Чем абсурдней пиршество, тем вероятность появления таких личностей, разумеется, выше. Это своего рода индикаторы ситуации. В клубе «Russkaya Glubina» их обычно немерено.

4. Не знающие, куда они попали, и (а потому) питающие иллюзии.

Ну, это, разумеется, вновь прибывшие. Свеженькие иммигранты. (Сюда входит Сема.)

...Он продолжает смотреть в зеркало, почти безотчетно наблюдая на оборотный мир за своей спиной. Надо принимать какое-то решение, а его нет. И сил на него нет. Вернуться в компанию? Тошно. Выйти на улицу? Не к кому пойти. И не как господину Мармеладову (в гости), а потому что кровя нет, совсем нет кровя, и нет человека, кто мог бы для краткого, в несколько часов, сна разделить с ним прибежище. «У птицы есть дупло, у зверя есть нора, и только ты, сын человеческий...» Я, обладатель нескольких дипломов, выданных мне самыми высоколобыми университетами моей, местами все-таки европейской, родины, — я, знаток всех наизусть изысков стихосложения от Архилоха до компьютерных версификаций, — я, создатель неповторимых по красоте поэм, на которых с привычной беззастенчивостью паразитирует шайка профессоров от Аляски до Австралии, — я, имярек, казалось бы, зафиксированный, как любая человеческая единица, в тысячах ячеек учета, — и, наконец, я, реально и неотъемлемо

существующий в миллиардах сочленений нерасчлняемой человеческой грибницы, навеки и без остатка растворенный в ее соках, — почему так случилось, что снова, как и четыреста веков назад, я наг, сир и бездомен, и вновь я стою на голой земле под беззвездным небом?

Никого.

«...и человек станет целовать след человека...»

Насколько же двадцатый век ближе к первоисточнику!

...Сема продолжает замороженно смотреть в гладь зеркала, и кажется ему, что он стоял так еще до сотворенья зеркал, когда зеркалом было озеро и в глубине его мелькала девушка в белом... Возможно, это и есть он сам — там и тогда, где соприродный сердцу покой не надо отвоевывать с гранатометом в руках, где его не надо ежемгновенно оплачивать своей отравленной, истощенной, усталой кровью и где всякую горсть воздуха для своих загнанных легких не надо брать ни боем, ни хитростью, ни унижением... которые у тебя самого отбирают твою бесценную жизнь...

Девушка в белом?

Сема резко оборачивается.

В дверном проеме, профилем к Семе, растерянно стоит Девушка в белом. По всему видно, что она впервые в этом атакующе-гостеприимном заведении. Но вот она исчезает из поля зрения, и Сема, — как написали бы классики прошлого, — устремляется в залу.

Здесь, как отметили бы те же классики, теснится публика. Поглядим, к стати, кто именно тут теснится.

Помимо гостей, которые определяют себя нарочитой деликатностью жестов (не считая мертвецки пьяных, демократически уравненных в правах), очень заметны, особенно для неокрепших чувств новичка, Всегда гд а т а и к л у б а.

У мраморной колонны, то и дело придавая утомленную рассеянность взору, стоит Актер в хромовых сапогах и с граненым стаканом в руке. Его небольшой, сизый, бугрообразный череп обриту наголо, что как-то укрупняет зад, который, при всей полноте, обладает некоей неискоренимой вертлявостью. Любой его жест профессионально преувеличен, словно набран жирным курсивом. Огромными черными сапогами (кои выглядят склеенными из папье-маше) он громко топчет, как застоявшийся конь. Помимо того (вне имитаций рассеянности) он рыгочет. Это основные звуки, им издаваемые. Конечно, он также и громко лопочет, но, вследствие кашеобразья согласных, лепет как-то органично сливается с рыготаньем. Стилистикой поведения он сошел бы за питомца столичного театра, известного, в равной степени, нонконформизмом и склоками. Издавая громкие звуки непредсказуемой частоты и окраски, актер, видимо, изображает зайца и волка вперемешку — то есть комично рыдает, внезапно ввинчивая в глумливый плач истерические взвизги, — и раскатисто хохочет «трагическим» басом, — короче, ни секунды не бывает в покое, что в целом типично, конечно, не только для актеров с их рано изношенными нервами, но, беря шире, для тех, чей «организм отравлен алкоголем» (см. М. Г., «На дне»).

Напротив него, ближе к выходу, расположился Русский человек в русской косоворотке. Это ничем внешне не примечательный субъект, торчащий в резном, с наличниками, окошечке фанерного теремка. Субъект торгует гречневой крупой. Гречка продается на вес (для чего на размалеванный алыми розами подоконник выставлены ностальгические весы с ржавыми гирями и, друг против друга, алюминиевыми мисками), а также в граненых стаканах, вызывая, помимо прочих, соблазнительное, сугубо национальное воспоминание о жареных семечках. Над окошечком крупной славянской вязью выведено: «Вступайте в Общество Друзей...»

(далее идет название страны, с которой, видимо, необходимо прежде развестись, чтобы потом «дружить» до гроба).

На безопасном расстоянии от теремка, вокруг столика (с самоваром, бутылкой водки, горкой свежих блинов и мелко нарезанной сельдью) расположились: Дама в зеленом, Дама в синем и Дама в фиолетовом. Синхронно обмахиваясь веерами, три грации ведут следующий разговор.

Дама в синем. Это ж надо уметь! (*Чуть заметный кивок в сторону теремка.*) Устроить брак с иностранцем теще, которой было на пять минут меньше ста лет!

Дама в зеленом. Боже правый!

Дама в синем. А иначе было не свалить. Он тогда в партии состоял, преподавал в универе иностранцам, ну и нашел одного пентюха...

Дама в фиолетовом. Ты ж говорила, что он Нарышкин?

Дама в синем. Это он потом стал Нарышкин, уже в Париже, а до этого он сделал себе паспорт на Гершензона, а еще до этого стучал, состоял в партии и преподавал иностранцам русскую литературу. В смысле, утром. А вечером он был полный неформал, тусовался с художниками, ну и, конечно, подфарцовывал.

Дама в зеленом (*с завистью*). Полный набор!..

Дама в фиолетовом. А зачем он тещу втянул?

Дама в синем. Да сам-то он уже был женат, на этой как раз, ну, на Гершензон, а тут возьми и подвернись этот француз!..

Дама в зеленом. Везет же людям!.. Легко все дается!.. А вот у меня!..

Дама в синем. Да ты послушай сначала! Черт его знает, что за француз: то ли просто геронтофил, то ли очень хорошо больной. Он ей знаете что сказал? когда их познакомили? «Вы, — говорит, — вылитая старуха Изергили! Полный шарман!» Он по Горькому диссертацию писал.

Дама в зеленом. Ну во Франции-то извращенцев полно. Не знают уж, чего и придумать.

Дама в синем. Вот, значит, он тещу сначала пристроил, а потом сам к ней рванул!..

Дама в зеленом. Да! Это у меня каждый кусок с кровью! Свет включил — плати! Воду в уборной спустил — плати! А у таких!..

Дама в фиолетовом. Да помолчи ты!

Дама в синем. Ну вот. Прилетает он с женой в Париж — и как раз на похороны!..

Дама в зеленом } (*одновременно*). Да ты что!

Дама в фиолетовом }

Дама в синем. Вот вам и «что». Француз приказал долго жить. Сорок лет. Инфаркт миокарда. В самом начале медового месяца.

Дама в фиолетовом (*уточняя*). После первой же ночи.

Дама в синем. Похоже на то. Картина Репина «Не ждали». В смысле «Приезд гувернантки в богатый дом». Все, что было, отошло первой, второй и третьей жене.

Дама в зеленом. Сволочам везет.

Дама в фиолетовом. И сколько же ей отвалило?

Дама в синем. Кому?

Дама в фиолетовом. Ну, Изергили-то.

Дама в синем. Да несколько! Она-то у него шла под номером четыре.

Дама в зеленом. У меня то же самое. Стабильно мимо денег! Мой первый муж, вы его не знаете, торговал и носками, и часами, и чайниками, и, как его, кошачьим кормом, и мылом, и билетами в театр, будь этот театр трижды неладен с его главным режиссером и директором вместе, и

сумочками дамскими он торговал... чем еще? В смысле, это были совершенно разные начинания. И всегда мимо кассы! Он еще мне вечно говорил: если я стану продавать гробы, май дарлинг, люди перестанут умирать...

Дама в синем. Нет, этот не из таких. (*Взор в сторону теремка: сложная комбинация чувств.*) Хотя сначала, конечно, им пришлось хреновато: из Парижа, как говорится, — бэк ту зи ЮэСэСаp. Ну, там он быстро стал Гершензоном, развелся и выбыл на историческую родину в государство Израиль.

Дама в фиолетовом. На родину жены? Без жены?

Дама в синем. Да ну, при чем тут жена! Жена-то по паспорту тоже Гершина была, а была ли она настоящая Гершензон — это большой вопрос. Зинаида говорит, что...

Дама в фиолетовом. Да почему он один-то поехал?

Дама в синем. Так он же не сумасшедший всех туда перетягивать. Зачем? Супругу он специально и оставил в тылу, в запасе, чтоб внедряла параллельный тактико-стратегический вариант.

Дама в зеленом. А им лишь бы все на жену взвалить. Мой второй муж...

Дама в синем. Да погоди ты! Он знал, что делал. Ну, жена, как спланировали, там и развернулась: нашла себе какого-то гуталина из Замбези...

Дама в зеленом. Ну эти-то блядищи себе и без плана черножопых находят.

Дама в фиолетовом (*лениво-угрожающе*). Да заткнись ты!..

Дама в синем. ...ну, наврала, что беременна, ну, этот debil и поверил, ну, свадьба. Ну, она, конечно, дергалась всю дорогу, что сорвется. Даже на регистрации, Зинаида говорит, у нее какой-то невроз был, все чесалась во всех местах и все свидетельницу доставала: если он (гуталин этот) узнает, что мне давно уже даже не тридцать пять и что у меня трое детей, а матки уже четыре года как нет...

Дама в зеленом. Во дает!

Дама в синем. ...то я, говорит, пойду в нужник и повешусь.

Дама в фиолетовом. Ну, не узнал?

Дама в синем. Это она не узнала. Пока документы на выезд не подала.

Дама в фиолетовом. О чем?

Дама в синем. О том, что у него, у гуталина-то, две жены на пальмах живут в этом самом Замбези, — и обе с детьми.

Дама в фиолетовом. Так а ей-то что? Подумаешь тоже, Джульетта!..

Дама в синем. Да ей-то ничего, это тем — «чего». Зинаида говорит, по замбезийским законам можно только две жены официально иметь.

Дама в зеленом (*назидательно*). Если уж ищешь себе транспортное средство, так хоть немного кумекай, где в светофоре какой свет!..

Дама в фиолетовом. Это точно.

Дама в синем. Ну а он тем временем в Израиле-то, не будь дурак, все рассчитал, подцепил одну эфэргэшную немку...

Дама в фиолетовом. Да как он в Нью-Йорк-то в итоге попал?

Дама в синем. Больно быстро хочешь! Ты «Капитал» Маркса читала?

Дама в фиолетовом. А при чем тут «Капитал»?

Дама в синем. Нет, я серьезно спрашиваю: ты читала или нет?

Дама в фиолетовом. Ну, не так, чтоб взахлеб... Ясно дело, конспекты делала... как все...

Дама в синем. Конспекты! Ты хоть одно слово поняла?

Дама в фиолетовом. Стоимость товара... какая-то одна... потом какая-то другая... Как на распродаже...

Дама в синем. Короче. У этого (*кивок в сторону теремка*) история-то покруче будет, чем у десяти Марксов, вместе взятых. Полнейший шварцвальд в сорока двух томах. Чего-то они там все разводились-сводились двадцать семь с половиной раз... фиктивные аборт... инвалидности липовые... Зинаида говорит, жена границы какие-то в поезде проезжала, так под сиденьями пряталась... этакая-то коровища!.. ксивы, конечно, все фальшивые... договора о найме на работу за прошлый век... Он ее чуть ли не удочерял... то ли она его усыновляла... не помню уже. В общем, не слабо вывернулись. Ровно семьсот двадцать четыре с половиной комбинации. Короче, бабоньки! Давайте-ка лучше водочки трахнем!

Дама в фиолетовом. Так они, в конце-то концов, соединились?

Дама в синем (*уже разливая, а потому возбужденно*). Соединились, соединились! Ух и соединились же! В любовном экстазе! Хеппи-энд! Полнейший Голливуд!

Дама в фиолетовом. И старушка Изергиль с ними?

Дама в синем. А як же ж! Глянь, кто это там на кухне посудку намывает?

Дама в зеленом. Я и не сомневалась. Жена и детей здесь небось пристроила?

Дама в синем. Йес, оф корс!.. Кто же, по-твоему, теремок этот клеил? Федор Михайлович Достоевский?

Дама в зеленом. Ну, у таких-то во всем семейный подряд. А вот у меня...

Дама в синем (*раскладывая закуску*). Все, девоньки, кончай, кончай трихомундию, пьем! Поехали!.. (*Поднимает рюмку.*) Ну, за все хорошее!.. (*Пьют.*)

...Между тем Сема, невольно слушая это трио, не отрывает глаз от Девушки в белом. Она стоит возле теремка, с детской надеждой глядя в зал. Она явно ждет помощи, то есть, по сути, чуда. Человека как дар. Она ничего не ест и не пьет. Сема, как в зеркале, видит себя самого: он тоже надеется на чудо. Только на чудо. А на что же еще ему надеяться?

К Девушке в белом неторопливо подплывают: Дама в красном, Дама в оранжевом, Дама в желтом и Девушка в голубом. У каждой из них в руках тарелка с огромным блином. Едят руками, оттопырив пальчик. Разговаривая с Девушкой в белом, непрерывно жуют. Кажется, они с аппетитом пожирают именно ее. По крайней мере, без этой начинки блин не был бы так вкусен. Ожидая своего монолога, дамы образуют небольшую очередь.

Дама в красном (*блин с икрой*). Моя дорогая, я слышала о вашем довольно сложном положении, я вам сочувствую, и вот совет, который я могу вам дать: вы должны быть реалисткой, you should be realistic, как здесь говорят, в смысле — вам нужен американский мужчина, вы меня понимаете. Я не говорю, что он должен быть совершенно что-то из ряда вон выдающееся, но, понимаете, солидный, состоятельный, я имею в виду, серьезный, вы меня понимаете. Вы с ним если встречаетесь, скажем, один или два раза в неделю, обязательно регулярно, потому что им надо внушить их обязанности, что они должны, а что нет, тогда это уже что-то. И это все абсолютно ничего страшного, исключительно для души все эти встречи. Я вас не агитирую замуж, чтобы вы меня правильно поняли! Кто же это, я не знаю, сможет жить с американцем, даже если он нормальный, а таких нет! Посмотрите на меня, уж на что я все это знаю, уже проходила тысячу раз, но нет, нет, ради Бога и всех святых! (*Обстоятельно крестится.*) То есть, в смысле, что я, уж на что я ангел, а и то, знаете, себе дороже... Жить с американцем?! Вы меня понимаете... Хотя... если он возьмет...

Дама в оранжевом (*блин с джемом*). Моя милая! Моя бедная! Мне уже рассказали про ваши проблемы. Сейчас вообще очень много людей с проблемами, вы заметили? У приятельницы моей очень хорошей, давно друг друга знаем, семнадцать уже, что ли, лет, нет, восемнадцать, у нее младший сын машину разбил, а новую купить не может, он один не решается, что ты с ним сделаешь, ну и звонит ей без конца: мама, поехали на маркет, э кар покупать, а у нее собаки, то да се, не с кем оставить, вот так и длится волынка, она мне звонит на днях, говорит, ой, знаешь, при словах «кар» и «маркет» я просто вздрагиваю уже... А у другой приятельницы, ну, та-то помоложе, так у нее там, знаете, со страховкой что-то напутали, она должна была им платить сто пять в месяц, а она выплачивала фактически по сто тринадцать, и так четыре месяца, а они говорят, что это все правильно, так она сейчас все ездит к своему адвокату, а это ведь тоже, знаете, в наши дни... Да, кстати, мне сказали, что вы не имеете грин-кард, это правда? И визы нет? И денег?.. Что, совсем нет?.. У меня есть идея, вы знаете, если бы вы могли найти себе мужчину, вы бы об этом думали? Так же нельзя, без места, где спать, это же, наверное, тяжело... У одной моей приятельницы, у младшей дочери, есть один такой, это что-то потрясающее, нет, это просто книжку надо писать, знаете, Мопассан, ну, повезло девке. То есть если бы вы с кем-то встречались раз или два в неделю, я не говорю со всяким и с каждым, нам охламонов не надо, Бож-ж-же избавь... (*быстро осеняет себя крестом*), но бывают же устроенные, их полно, надо только знать. В наше время это очень важно, чтобы мужчина материально участвовал. Я не говорю замуж, вы поймите меня правильно, никто, ради Бога, не толкает вас замуж, да еще за американца, это же ад, ад, сущий ад, я сама пять раз разводилась, слава Богу, все знаю, но это может быть друг сердца, знаете, исключительно для души... И чтоб он при этом немножко платил...

Дама в желтом (*блин с маслом*). О, мне уже полностью все сказывали о вашей проблема! Я вас понимаю, и я разделяю с вами эта ситуация. Мой муж был американец, четвертый муж, другие три были тоже американские люди, а я русская, полностью русская! Мой прабабка была из Сайбириэ, они были декабристы, вы знаете фамилию Муравьефф? Это моя фамилия Муравьефф, я сохраняю все наши традиции, я стараюсь их сохранять. Знаете: «Татьяна, русская душою, сама не зная почему...» Ну, давайте о вас. Мне говорили, вы даже не можете получить ваш security number? О, no!.. Как давно? No, really? Ничего, все как-нибудь устроится. Нельзя все получить сразу, надо делать step by step. А как же иначе? You should be realistic. Я здесь родилась, и тоже было трудно. Сначала я делала мой курс на Women's Studies, потом брала два курс на комбинированный поток: Women's Anatomy, Economy and Ecology, потом делала my degree, это было очень, очень трудно, я собирала материал в Полинезии, Новой Зеландии, на Арубах, в Нижегородской области, и одновременно я родила мою дочь, и наше материальное положение с моим мужем в этот период было не очень хорошим. Конечно, мы имели наши гранты, но на эти деньги, чтоб вы поняли, можно снимать только скромную квартиру, а про дом, например, надо забыть. А потом я делала мою диссертацию, вы знаете, очень интересная тема: «Эстетическое женское как метафора для возможности эскапирования из гетто дефиниций и категорий для трансцендирования конвенций и легитимаций в эстетическом моменте». В этот период умер мой третий муж... (*трижды размашисто крестится*), и я вышла замуж за человека, который воспитывал мою дочь, как я настояла, в традициях ортодоксального православия и неортодоксального феминизма, и при этом он был очень financially secure (финансово устроен, вы понимаете), и теперь, когда его уже нет... (*со вкусом крестится*), I can completely enjoy my life... Но до этого я имела много проблем! Я могу вам посоветовать: если вы будете пробовать с мужчиной (вы еще не попробовали?), то

всегда надо иметь на руках подписанный контракт, причем это для мужчины же легче, чтобы регулярно платить. You see? А без контракта это будет, как русские говорят, «дохлый номер», он захочет, допустим, делать подарки той или иной номинальной стоимости, но это полностью не то, потому что вы как свободная и самостоятельная женщина не можете зависеть от его настроений. И это я как раз доказала в моей диссертации. It was really fantastic to meet you! (*Демонстрация полного комплекта зубов.*) Good luck! На здоровье!

Девушка в голубом (*просто блин*). Сестра! я вовсе не настаиваю, чтобы ты отдала свой поцелуй без любви. Соборность души в нашем деле переее всего. Так что ты, сестренка, умри, но не дай! А теперь, в плане развития интеллекта, угадай (эту феньку один граф сотворил, ты в школе-то училась?), что лучше: б. л. и б. д. или б. л., но з. д.? Правильно. В твоём положении тебе поможет два-три раза в неделю. Или чаще. Я не говорю со всеми подряд, сохрани тебя Бог!.. (*Энергично кладет широкие, основательные кресты.*) Только с одним, причем исключительно для души. И, что характерно, я как раз такого знаю: дедушка русской революции, там уже все, тишина, отговорила роща золотая, так что без хлопот. От тебя не убудет, а старому человеку гуманизм. Тебе, сестренка, уступлю по дружбе за символический процент. Вперед и с песней. Вначале, если по-нормальному, это, конечно, что-то с чем-то, даже не перекуришь, а потом втягиваешься, находишь свой ритм и очень по кайфу. Так что, сестренка, если ты сама не угадала, то вот, в принципе, как оно есть по жизни: без любви, но за деньги лучше, чем, на хрен, без любви и без денег. Из задачника для пятого класса. Все равно ж, один хрен, приходится.

Пауза.

(*Хвастливо.*) Меня, кстати, сам отец Никодим благословил! за символический процент...

Пауза.

Но если тебе уж никак не подходит, здоровье у тебя или что, я не знаю, так есть еще один вариант, работает на сто процентов.

Придвигается к Девушке в белом вплотную.

Запомни, подруга, мы живем в свободной стране. Так что, в принципе, если ты не против женщины твоего пола... Ты меня поняла? Могу устроить. Фиктивно. Отработанный вариант. За сугубо символический процент...

.....
Когда, в какой момент, жизнь слетает с резьбы?..

Сцена 3. ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН

На следующий день.

Участвуют: два голоса и три ладони.

Одна ладонь сжимает влажный букет гладиолусов. Точнее, их толстые стебли.

Другие две пока не видны.

Голос. С вас пять долларов и девяносто восемь центов.

Голос Семы. Сколько?

Голос. Пять долларов и девяносто восемь центов!

Голос Семы. Простите, и сколько центов?

Голос. Девяносто. И восемь.

Голос Семы. А!.. ясно: и восемь.

Голос. И девяносто!

Голос Семы. О'кей, о'кей... сорри, сорри... ясно, ясно... момент...

Мы видим ладонь продавца, служебную длань лавочника. Это одно из самых страшных видений, выпадающих на долю человека. Холодное и расчётливое животное, разумно-трусливое, длительной дрессировкой приученное жить в жестких рамках, стричь ногти, пользоваться мылом и кремом, носить манжету с приличествующей случаю запонкой, а главное, ждать — ждать, когда тебе подадут, задыхаясь от алчности, тайно и яростно дрожа несытому своему воображению и все равно сходя с ума от задушенного инстинкта, наливаясь нутряным гноем злобы в клетке цивилизации, лишь с помощью липких своих снов перегрызая ее черные прутья и вырываясь наружу лохматым, ярко-клокочущим, неподконтрольным чудовищем, — а наяву снова ждать, — вечно ждать, дрожа от ярости, постыдно вождедея даже ко всем этим дворняжкам, пяти- и десятицентовикам, не говоря уже о клинической, разнузданной, всепожирающей страсти к суховатым и хищным, знающим себе цену купюрам, — ждать, в слизистых своих помыслах изощренно, всеми извивами пяти жадных отростков лаская их безвольные холмики, — да, ждать, только ждать, в позорном законопослушии кастрата, — ждать, а не нападать, как того жаждет неподотчетное нутро, — ждать вместо того, чтобы набрасываться, впиваясь двуногому в горло всей сворой сорвавшихся с цепи бешеных пальцев, когтями вгрызаясь в мякоть сырого мяса, сладострастно рыча... или урча... Охо-хо, тяжел ты, ошейничек цивилизации... Ух как глух ты и тесен, намордничек, смыкающий намертво клыкастый оскал, раздирающий губы в регламентную, тарифно-прейскурантную улыбочку, в этот вымученный лакейский осклаб!..

И сейчас мы видим длань продавца именно в этой хищно-выжидательной позиции.

Даже хуже: не откровенно выжидательной (социальный политес такого не позволяет), а в позе застенчивой, словно бы вынужденной (мы-то, конечно, от вас сладостных песнопений ждем, вовсе не этих грязных бумажек), — в позе какой-то слишком уж невинной девушки, подозрительно девственной, как бы лишь по чистой случайности жмушейся к дверям кабака с пьяной в дым, но денежной матросней.

Голос продавца. Fine! Еще доллар и шестьдесят пять центов.

Следует сказать еще о весьма характерном звуке, коим продавец завершает (или обрамляет) каждую свою фразу. Это некий приседающий смешочек, подобострастное «хе-хе», извиняющийся, квакающе-побудительный прихехекс идиота: давайте и вы, сэр, испустите мирные, типичные для нашей мелкотравчатой породы сигналы, похехекайте со мной, поквакайте, авось и создадим на секундочку буферок безопасности, где мы не сожрем друг друга, правда ведь, сэр? — нет, не сожрем и даже не укусим, сэр, хе-хе-хе.

Голос Семы. И сколько еще? Простите, у меня только мелочь...

Самое время переключить внимание на ладонь Семы — ту, что не занята цветами. Ковшичком, полным монет, она ложится на прилавок, прямо под зависшую над ней (застенчивым ястребом) ладонь продавца. Ладонь Семы (теперь она обреченно распластана) вполне сошла бы за наглядное пособие, объясняющее школьникам значение приставок «без» и «бес»: безволие, беспомощность, беззащитность.

Голос продавца. О'ке-е-ей! Кварта, кварта, дайм, никель, дайм, дайм, еще дайм, никель! Это будет доллар, right? И еще: никель, никель,

никель, дайм, никель, кварта, никель, никель! That's it! (*Испускание ритуальных сигналов.*)

Стервятник, миг выклевавший добычу, привычно оборачивается миролюбивым жвачным. Ритмично перебирая пятью ногами, оно снова начинает свой выпас в подсвеченной снизу стеклянной долине.

Голос Семы. Сорри!.. Сорри!.. О, соу биг сорри!..

Голос продавца. You are very welcome! Have a nice day!

Традиционный обмен звуковыми сигналами.

Голос Семы: «Сорри, ай эм ин э харри!», звук убегающих шагов.

Сцена 4. ВИЗИТ

Мы видим Сему, нажимающим кнопку звонка. В руке у него большая спортивная сумка, вытянутая в длину.

В отдалении за дверью слышатся довольно грузные шаги.

Видно, как Сема судорожно собирается с духом. Он стоит на лестничной площадке, вниз и вверх от которой идут ступени.

Дверь открывается.

Сема (*здесь и далее по-русски*). Простите, я правильно позвонил? Это квартира шестнадцать «Эй»?

На пороге стоит мужчина лет тридцати пяти, одногодок Семы. В остальном это прямая Семе противоположность — всей массой тела, зачатками плечи, брюшком, а главное, смесью добродушия и нахальства, излучаемой синими глазами и вообще всей его буйной физиономией. В целом у него внешность человека, про коего не поймешь, шутки ли он шутит или и впрямь мрачен, как туча. Это Эликсандр Нечипайло, он же Эликс (Санек). Одет в клетчатую красно-черную рубашку и треники.

Эликс (*также по-русски*). Звонишь-то ты правильно...

Напряженная пауза. Эликс бесцеремонно, в упор, разглядывает пришедшего.

Сема (*не выдержав*). Вы Эликсандр?

Эликс. Я-то Эликсандр...

Сема. Простите, что не застал вас по телефону... Я к вам от Зинаиды...

Эликс. От какой Зинаиды?

Сема. Из Русского клуба... Простите, я не спросил фамилии... Ну, Зинаида такая... Ее все там знают...

Эликс. А-а-а, Зинаида...

Продолжает рассматривать Сему в упор.

Сема. Ну да! У нее еще такие волосы крашеные!..

Эликс. Это Зинаида, у которой бультерьер на той неделе издох?

Сема. Точно!

Эликс (*утвердительно*). И муж у нее закодированный.

Сема. Да-да-да-да...

Эликс (*тем же тоном*). И она поет в фольклорной группе «Русалки».

Сема. Именно!..

Пауза.

Эликс. Не знаю я никакой Зинаиды.

Сема. То есть как?!

Эликс. А никак. Не дойти никак в кабак. Вредно пиво натошак. (*Захлопывает дверь.*)

Несколько секунд Сема похож на встрепанного воробья. Потом, видимым усилием воли, расправляет неширокие свои плечи, разворачивается и начинает медленно спускаться с лестницы. Он доходит до первого поворота, когда дверь наверху открывается.

Эли к с. Стой! стой!.. Тебя как звать-то?

Се м а. Семен. А что?

Эли к с. Как-как?

Се м а. Семен Гринблад!

Эли к с. Семен — что? Блат? Приклад? Циферблат?

Се м а. Гринблад!! Семен Борисович!!

Эли к с. Ты чего орешь-то, Борисович? Глухой, что ли? Соседей перебудишь... Тут дамы есть, исключительно в ночную смену работают, они тебя не одобряют.

Пауза.

Ну? Чего встал-то?

Се м а. А что я, по-вашему, должен делать?

Эли к с. Извини, парень. Зинаиду я запомнил. Возрастное. У тебя еще не бывает?

Сема молчит.

Ну а теперь вспомнил. Так что ты заходи, гостем будешь.

Сема медленно поднимается.

Меня, кстати, Эликс зовут. А можно Санек.

Последующие взаимоотношения осуществляются в комнате. Вид ее из точки обзора зафиксированной камеры (зрительного зала) таков.

Прямо напротив нас расположен вход из коридора. Дверь смещена несколько влево, и она открыта.

С каждой стороны от нее, в той же стене, находится еще по двери. Обе они закрыты. Справа от правой двери проем, ведущий, судя по всему, в кухню (там горит свет и виден край газовой плиты). Правая стена занята искусственным камином, о котором можно только догадываться, так как вся эта сторона комнаты затемнена. Свет сосредоточен в противоположной, левой стороне комнаты и исходит от торшера, стоящего возле дивана. Напротив дивана стоит довольно старомодный (громоздкий) обеденный стол в окружении четырех стульев. В левом переднем углу, на тумбочке, задней стенкой к зрителям, стоит телевизор. Окна расположены со стороны камеры (зрительного зала), то есть не видны.

Эли к с. ...У нас в Мелитополе жили такие Гринблаты: отец — зубной врач, мать — зубной техник, сын тоже на стоматологический поступил. Дачка у них была — туши свет!.. Ты случайно не родственник их?

Сема неожиданно разражается хохотом.

Это так не вяжется с его предшествующей робостью, что Эликс столбенеет. Перед ним на миг выглянул совершенно другой человек — не тот, что на лестнице.

Ты чего?..

Се м а. Да так. Ничего.

Эли к с. Нет, ты скажи! Ржет, как припадочный...

Се м а. Да просто вы сказали точь-в-точь как у Чехова. Там Дымов говорит: «Со мной кончал курс некто Рябовский. Это не родственник ваш?»

Эли к с. Ты что, парень, с тараканами? Какой такой Дымов, какой Рябовский, какой Чехов?!

Се м а. Не важно... Нет. Я не родственник. Тех фамилия Гринблат: «т» на конце, Тамара, а у меня «д» на конце, Дмитрий.

Эли к с. А жаль.

Се ма. Чего жаль?

Эли к с. Да что у тебя на конце не Тамара.

«У тебя на конце! не Тамара!..» — резко звучит сверху.

Сема вздрагивает и бледнеет. Выпучив глаза, он не смеет направить их к источнику звука.

Сема (Эликсу). Ч-ч-что это?..

Эли к с. А!.. Выиграл в Рождественскую лотерею. Думал, машину выиграл... И то хорошо, не настоящий: хоть жрать не просит.

Включив еще одну головку своего довольно авангардного торшера, он поворачивает ее вверх, в направлении противоположного угла.

В резком луче света, пересекающем комнату по диагонали, мы видим нечто довольно объемное и грузное, сидящее на перекладине детских качелей. Скорее всего, это не качели, а довольно массивная жердь для птицы, подвешенная под самым потолком. И если сидящее на той перекладине действительно является пернатым, то нельзя не заметить, что пернатое это сильно включено и найдено, а цыганская яркость его первоначальной раскраски заметно пригашена толстым слоем пыли и паутины.

Эли к с. Вот гад! А чистить-то его все равно надо. Старый стал, срывается, когда хочет.

Выключает лампочку и уходит в кухонный отсек. Обычная партитура кухни.

Голос оттуда: «Чай будешь?» Слышно, как набирает чайник и ставит его на плиту. Появляется сам.

Может, ты жрать хочешь?

Се ма. Нет-нет, не беспокойтесь. А можно где-нибудь сесть?

Эли к с. Да падай где нравится!

Садятся: Эликс, развалясь, на диван, — Сема, стараясь принять деловую позу, очень напряженно, — за стол.

Пауза.

Хозяина, видимо, веселит острота этой интродукции. По крайней мере, он вовсе не торопится ее разряжать.

Се ма (решившись). Ну, дела, значит, такие... С чего лучше начать?.. М-м-м-м... Я, собственно, потому пришел, что так Зинаида мне настоятельно посоветовала. Она сказала, что вы именно тот человек, который может помочь. Она сказала, вы сами прошли через очень тяжелые вещи и в вас должно быть сочувствие.

Эли к с. Чего-чего?..

Се ма. Простите. Я понимаю, вам неприятно вспоминать такие вещи...

Эли к с. Какие вещи? Ну-ка, ну-ка, какие? Чего она тебе там набрехала?!

Се ма. О, ради Бога, простите! Я не имею права и не собирался что-то такое ворошить... Просто она там про рыбку, например, вспомнила... в смысле, что вы жили на рыбку...

Эли к с. На какую еще рыбку?

Се ма. Ну, в смысле, она просто сказала, что вы... ловили целый день рыбку... в каком-то городском пруду... как бы... я имею в виду, что поймал, то и съел... и так, ну... несколько лет?

Эли к с. Мясо рыб является одним из самых полезных и легкоусвояемых продуктов питания. Оно богато незаменимыми аминокислотами, фосфором и другими ценными микроэлементами, а по сравнению с мясом млекопитающих гораздо нежнее и не требует ни длительной термической обработки, ни дополнительных энергетических затрат со стороны желудочно-кишечного тракта для своего расщепления.

Сема. Да нет, я понимаю. Это наши типичные... *(хихикает)* восточно-европейские иллюзии... Насчет того, что, дескать, если человек как бы... много страдал... то он как бы... не сможет равнодушно смотреть на страдания других.

Эликс. А ты-то в чем «много страдал»? *(Зажимает нос и гнусаво выводит.)* «Она его за муки полюбила...» *(Включает телевизор.)* Футбол смотреть будешь? Мексика — Италия.

Сема. Да нет... Вы смотрите, если хотите... Здесь дело не только в страданиях... а в том...

Эликс резко прибавляет звук. Крики комментатора, рев болельщиков.

(Резко повышает голос, пытаясь перекричать телевизор.) Ну, здесь есть как бы еще один механизм!.. Если тебе!! хорошие люди!! помогли!! то и ты!! захочешь помочь!! тем!! кто нуждается!!

Эликс так же резко убавляет звук.

Теперь отчетливо слышен высокий и довольно противный свисток чайника.

Эликс. Так-так-так. Ничего не понимаю. Чай все-таки будешь? С бутербродами? Погоди, у меня еще кусок пиццы есть... *(Уходит в кухню.)*

Сема. Не надо! не надо, не надо! пожалуйста, один только чай!

Эликс *(из кухни)*. Ладно, это я решать буду! *(Звон посуды.)* Так кто это, Зинаида говорит, мне тут так сильно помог? М-м-м?

Сема *(машинально глядя в телевизор)*. Ну, она говорит... не знаю... простите заранее, если вам это будет неприятно... это вообще ваше глубоко личное дело... но если вы спрашиваете...

Эликс. Да. Я спрашиваю.

Сема. Она сказала, одна американка, славистка, что ли, собирала статистический материал по особенностям, что ли, женского быта на Украине прошлых времен. У нее диссертация была в области... я не помню в какой... Я только название запомнил: «Зависимость начинки вареников от социокультурной принадлежности украинской семьи в третьей четверти XIX века».

Эликс *(с притворным интересом)*. Та ты шо? И як же ж та славистка? Чи сподобалась ей оти варэньки?

Сема *(продолжая)*. Ну, она как бы и вывезла вас... вместе с материалами. Вошла в ситуацию, пожалела, прониклась... Фиктивно, я имею в виду.

Эликс *(жуя)*. Та-ак. Вывезла меня в качестве начинки.

Сема. По крайней мере, она дала вам возможность оформить документы, легализоваться. Таков был договор, если я правильно понимаю. Ну и все. Брак заключили в России. А не успели здесь приземлиться, она вас в ту же секунду бросила в аэропорту Кеннеди.

«В аэр-р-ропор-р-рту Кеннеди!..» — сипло трещит сверху. Сема вскакивает, но тут же садится.

Одновременно из кухни вылетает Эликс. На нем белый клеенчатый передник, в одной руке большой нож, в другой — громадный, очень красный помидор. Сам он тоже невероятно красен, — по крайней мере, большое его лицо налито багровым соком, что заметно затрудняет процесс жевания: его рот набит до отказа. Давясь, он пытается что-то сказать... Тщетно.

Сема. Простите...

Эликс возвращается за перегородку, слышен краткий стук ножа о дощечку, и вот он начинает выносить и ставить на стол: блюдо с бутербродами, салат, пиццу, бутылки с соками, чайные чашки и т. д. На протяжении этого движения туда-сюда и сервировки стола им произносится следующее.

Эликс. Да, брат ты мой... А ты как думал... Вообще, интересно, конечно, откуда эта старая мочалка узнала такие детали... если я ни одной живой душе... А теперь, стало быть, все знают... Что знают двое, то знает свинья... Пословица с лэнгвидж-курсов «Как выжить в Америке»... Так что... а ты как думал? Это, брат, тебе не турпоездка в Париж на три дня... Анекдот знаешь? Один такой чудак в раю пошел, значит, к Богу просить: хочу съездить в ад на пару деньков, посмотреть, что, как... Ну, Бог дал визу, все такое... Ну, тот поехал. Приезжает: красота! Кругом все пляшут, поют, скрипки кругом всюю, значит, наяривают... Понравилось. Возвращается, значит, назад... Говорит Богу: отпусти меня, значит, в ад на пээм-жэ! Мне там понравилось! Ну, Бог говорит: ладно, поезжай. Ну, тот поехал. Приезжает. Что такое? Те-то, что плясали, и не пляшут вовсе, а на сковородках подскакивают, а те, что пели, вообще не поют, а от муки вопят... А скрипки потому так громко играют, чтоб их вопли как-нибудь заглушить. Ну, он к Сатане: как же так, говорит, как же так?! вы меня надули!! А Сатана ему: никто тебя не надувал... Просто турпоездка, милый мой, — это тебе не эмиграция...

Снимает передник, уходит в кухню. Слышно, как открывает холодильник.
Выходит с ритуально-интригующим лицом.

Да, брат, турпоездка — это не эмиграция... *(Показывает бутылку виски.)*
Дернем, что ли?

Сема *(защитно скрещивая руки)*. Не-е-ет-нет-нет!..
Эликс. Ну, как знаешь. Один я не буду.

Относит бутылку, снова выходит, садится за стол, где продолжает сидеть заметно замученный Сема.

Теперь особенно видно, что Эликс сознательно тянет время, чтобы не приступать к радикальному объяснению. И не то чтобы он куражится, как в начале, а, похоже, сам пребывает в некоторой растерянности.

Сема *(наблюдая, как Эликс раскладывает салат)*. Так я, знаете, собственно... *(Прикрывая ладонью тарелку.)* Мне достаточно!.. спасибо-спасибо! достаточно!.. Я вот по какому поводу вас беспокою...

Эликс. Shit!.. Чайник совсем остыл. Пойду подогрею. *(Уходит на кухню.)*

Сема снова один, что придает ему смелости. Из кухни доносятся звуки вновь наливаемой воды, гремит чайник и т. п. На фоне этих звуков невидимый Эликс наконец подает свой голос.

Так чем тебе, говоришь, помочь-то?

Сема. Видите ли... У меня никого здесь нет. Совсем никого. Мне для начала надо бы легализоваться... Все остальное приложится... Вот эта Зинаида, из Русского клуба... она дама компетентная во всех отношениях... Она мне посоветовала...

Эликс медленно появляется в проеме кухни и, оставаясь там, с невероятной заинтересованностью упирается в телевизор. Сема, следуя ему, переводит глаза туда же.

Говорит, Эликсандэр против не будет, он душевный... В смысле...

Странное затишье в телевизоре.

ЗаклЮчить гомосексуальный брак... Фиктивно...

Эликс *(внезапно, вместе с заэкраным взрывом)*. Гол!!! Го-о-о-о-ол!!! Гол, твою мать!! Я-а-а-а-а-а-а!! У-у-у-у-у-у-хххх!!

Резко выключает телевизор.
Пауза.

Что-что? Я что-то не расслышал. Повтори.

Сема. Я. Хотел бы. Заключить. С вами. Фиктивный брак.

Маленькая пауза, приличествующая серьезности ситуации.

Эликс (*с любопытством*). А я... кто? Жених? Или невеста? Это крайне важно! Мне надо настроиться!..

Сема. Перестаньте... перестаньте... пожалуйста, перестаньте!..

Эликс. А я еще не начинал. Так... Разберемся. Идея, конечно, хорошая. (*Поет.*) «И я была де-е-вушкой юно-о-ой сама-а-а не припо-о-омню когда-а-а...» Я себе так смеаю, главное — это легальные документы...

Сема. Мне, понимаете, главное — это легальные документы...

Эликс. Погоди. До документов еще дожить надо. А что? Спать можно здесь... (*показывает на диван*). Или там. (*Жест в сторону спальни.*) Со мной.

Резкий, похожий на полицейский, свисток чайника.

(*Продолжая из кухни.*) Я в целом не против. Только мне некогда. Я человек занятой! Салатику еще хочешь? У меня есть другой! «Мехико Лайтс!» Так что возьми мои документы и сходишь куда надо.

Сема. Как же без вас?.. разве можно?..

Эликс выходит из кухни. В одной его руке чайник, в другой — блюдо с крупными ломтями красных, желтых, оранжевых плодов, красивых, как на картине Гогена.

Эликс (*с мальчишеской важностью*). Сказано! Я договорюсь. И потом: тебя ж на работу надо устраивать. Ты кто по специальности?

Сема. Я... так сказать... имею дело с литературой.

Эликс. В смысле?

Сема. Ну, по образованию филолог... А вообще...

Эликс. Филологи — это которые со славистами тусуются, что ли? Фарцовщики в смысле?

Сема. Ну, это не так фатально... Филология в большей степени касается языка... Да вы ешьте, ешьте... Да. Язык до Киева доведет.

Пауза.

(*Себе: неожиданно трезво.*) И много-много дальше.

Эликс. А!.. Ты небось учебники по русскому языку пишешь?

Сема. Примерно.

Эликс. Что?.. (*Изображая, что с ужасом догадывается*). Еще хуже?..

Сема. Гораздо.

Эликс. Та-а-ак. Понял. Хорошая профессия.

Пауза.

Стихи или проза?

Сема. Стихи.

Эликс. Та-а-ак... Кранты, что называется. «Drova», — как говорила моя бывшая возлюбленная, специалист по украинским вареникам XIX века. Ну, так, может, прочтешь чего-нибудь?

Сема. Да я сейчас как-то мало уже что помню... из старого... А новое все в работе...

Эли к с. Да ла-а-адно, брось ты, Семен! Хорош ломаться!

«Семен!! Хор-р-рош ломаться!!» — попугай свою службу знает.

Се ма. Ну... я п-п-прочту т-т-тогда с-с-с-с... с-с-с-с-с... с-с-стихотворение, которое я написал в ч-ч-четырнадцать лет.

Эли к с. Валяй.

Се ма отодвигает тарелку. Сильно сцепляет на столе свои кисти.

Се ма. День был просто четверг, просто тот же четверг, что другие, за окошками слякоть цвела, и не предугадать было вяло бредущим по кругу, что эти круги и есть та самая, прочих главней, благодать.

Бесконечный вокзал источал аромат преисподней.
Отъезжающие оставляли друзей в дураках.
Послезавтра приравнено к позавчера и к сегодня.
На распиле Земля, точно ствол, в бесконечных кругах.

Обычная для таких случаев неловкость.

Эли к с (*исключительно от конфуза*). А еще... чего-нибудь такое... есть?

Се ма (*исключительно по глупости*). Ну, так... По мелочам... (*Искусственно покашливает. Вскакивает. Садится. Вскакивает.*)

Моя страна — гигантская могила
Для всех, кто был и не был друг и брат.
А Сеятьель лишь тем и виноват,
Что семя к птицам в глотки угодило,
Без всякой пользы в них перебродило,
И улетели птицы на закат.
И археолог, тшась культурный слой
Сыскать, отковырнет лишь перегной,
Но польый, не рождающий траву.
Пройдут века во сне, как наяву.
Настанет срок Вселенского Потопа.
И наши души из небесных окон
Засмотрятся, как льет, и льет, и льет...
Потом подросток накопать червей
Придет на берега страны моей,
Чьи горы утрамбованы по дну...
Он удочку закинет в тишину
И не по-русски вскрикнет, что клюет.

Эли к с. Да уж... Точнее не скажешь.

Пауза.

Это все прекрасно, парень, но работать-то все равно надо. Жрать же ты что-то должен. За стихи, как я смеаю, не до фига платят.

Се ма. Я сам плачу.

Эли к с. Так. Ясно. Ну что... Есть вариант. Устраиваю тебя в теплицу. (*Добродушно.*) Ты же у нас тепличный...

Се ма (*взрываясь*). Я?! Тепличный?!

Эли к с. Да ладно, ладно... Я сам в теплице работаю. «Овощи и цветы — круглый год».

При последней фразе Сема цепенеет. Затем вскакивает и устремляется к своей сумке.

Отрывочные реплики вроде «Идиот!», «Болван!», «Как я мог?» и т. п.

Сема (*протягивая Эликсу букет*). Вот!! Это вам!!

Эликс. Ты чё, мужик?! сбрендил? куда мне?

Сема. А мне куда?

Эликс. А куда мне?

Сема. Нет, мне действительно некуда! Я же не живу нигде! Тьфу ты, при чем тут! Я же вам нес!

Эликс. Ах, ну да. Ты же не живешь нигде. Так мы же договорились, что ты здесь будешь жить. (*Забирает букет и держит как веник.*)

Сема. Да это не обязательно. Я найду себе что-нибудь... Мне лишь бы документы... Фиктивно...

Эликс. Зациклило тебя на документах! Документы будут. Тебе что, у меня не нравится?

Сема. Да как-то... стеснять вас...

Эликс. Ничем ты меня не стесняешь. Можешь спать здесь, на диване. А можешь там, со мной. (*Испытующе смотрит.*) Как больше нравится.

Сема (*делая вид, что не замечает «альтернативы»*). Ну, может быть, пару ночей... Разве что перемогнуться...

Эликс. Да ты уж перемогнись!

Бежит в кухню; далее — сквозь шум наливаемой воды.

Сделай божескую милость! Ну что, лады?.. Договорились!

Выходит из кухни с вазой в руках. Ногой открывает дверь, что слева от выхода в коридор.

За ней оказывается золотистая коробочка спальни, почти целиком занятая широченной кроватью.

Кровать застлана персикового цвета шелковым покрывалом. Зеркало у ее изголовья, размером в саму кровать, незамедлительно удваивает происходящее.

Ставлю цветы на твой прикроватный столик, май дарлинг!..

Прикатывает в спальню пылесос, деловито закрывает за собой дверь.

Мерзкое, с завываньем, гудение. Некоторое время мы слышим только его.

Сема (*себе*). Жизнь упала, как зарница... как в стакан воды ресница... изолгавшись на корню... Никого я не виню.

Эликс (*вынося пылесос куда-то в коридор*). Ну что? Обмыть бы надо нашу помолвку-то. (*Из коридора.*) А, Семен? Вздрогнем?

Сема. Что вы, что вы, зачем? Я не пью... Да и фиктивный брак обмыть — это как-то...

Эликс. Брак наш фиктивный обмоем эффективно!..

Сема. Пожалуйста, закончим этот разговор!.. И поздно уже...

Эликс. Не, мужик, надо догнаться. А ты чё, тоже предпочитаешь с утра?

Сема. О чем вы?

Эликс. Мой девиз: «Выпил с утра — весь день свободен».

Сема. Пожалуйста, перестаньте!

Эликс. Фу-ты, какие мы капризные!.. и нервные!.. Или ты зашитый, мужик?

Молниеносно приносит из кухни бутылку виски и рюмки.

Сема (*окончательно сбрасывая оцепенение*). Мне некогда. Я должен идти.

Эли к с. Ну, по чуть-чуть...

Се ма. Я, к сожалению, тороплюсь. Но я вам позвоню. Спасибо, конечно, за вашу готовность помочь...

Эли к с. То есть как «тороплюсь»? Как «позвоню»?

Се ма. Ну, насчет регистрации.

Эли к с. Так ты думаешь, я вслепую, что ли, жениться буду? Без примерки?

Се ма. Вслепую?.. Жениться?..

Эли к с. Я ж тебя и не узнал еще как следует. В смысле, «не Познал». Читал Библию? «...И вошел он в жену свою; и Познал ее». С большой буквы «пэ»!.. Так что давай, в натуре, посидим, пообщаемся.

Се ма. Я должен ехать... Мне срочно надо в Трентон.

Эли к с. Что ты там забыл?

Се ма. Это мое дело.

Эли к с. Милая девушка, так не пойдет. Я же не требую, чтобы вы отдали мне свою невинность до обручения. Это было бы слишком нестандартно по нашим временам. Нет, этого я не требую. Я все-таки джентльмен и, кроме того, в девушках более всего ценю именно скромность и чистоту. Однако, будучи невестой — порешим на этом? — вы не можете отказать вашему жениху в святом праве поцеловать вас в щечку. *(Делает попытку.)*

Се ма *(отшатываясь)*. Да вы с ума сошли!

Эли к с. Не понял.

Се ма *(твердо)*. Я говорю, вы сошли с ума.

Эли к с. Погоди-погоди... *(С неподдельным возмущением.)* А ты, мужик, видно, думаешь, что я импотент?!

«Я импотент!.. Я импотент!.. Я импотент!..» — что-то в попугае заклинило не на шутку.

Се ма. Ничего я не думаю! Только бы мне еще и думать про вашу импотенцию!

Эли к с *(угрожающе)*. Про какую еще импотенцию?!

Се ма. Ну, потенцию. Один черт.

Эли к с. Нет, не один. Далеко не один! Ты что, вообразил, что я тут благотворительностью, что ли, на хер, занимаюсь?!

Се ма. Мне, по крайней мере, вас именно так и характеризовали.

Эли к с *(не слушая)*. Койко-место ему, видите ли, в ночлежке обеспечить, бесплатный гороховый супчик да плюс еще легальные документы в виде экстера-сервиса!! Может, тебе еще, парень, белый «кадиллак» с личным шофером?! Так, что ли?! А может, для начала кусок мыла от блох?!

Се ма. Я у вас никакого койко-места не просил!.. *(Задыхаясь от возмущения.)* Я вообще... я не просил!.. как вы можете... я...

Эли к с. Ах, он не просил! Он не просил! Подумаешь, какой он гордый! Аскет тоже нашелся! Ишь ты, Диоген долбаный!..

Пауза.

Мне, кстати, Зинаида насчет тебя еще вчера звонила. Так что я о твоих потребностях и возможностях имею честь иметь понятие уже в течение двадцати четырех часов.

Се ма. Это уже не имеет значения. *(Берет сумку.)* Я ухожу.

Эли к с *(быстро)*. Ты мне когда позвонишь?

Се ма. Я вам не позвоню.

Эли к с *(загораживая выход)*. Не позвонишь? Почему? Я что, не живой человек? Что я такого тебе сказал? И что сделал? Ты вообще, может, к Иисусу Христу в гости шел?

Се ма. Я шел к человеку, которому в свое время очень серьезно помогли. И я надеялся, что он отнесется ко мне так же.

Э л и к с (*не справляясь с дыханием*). Что ты понимаешь под «помогли»?

С е м а. Я говорил. Американка заключила с вами фиктивный брак.

Э л и к с. Что?! Фиктивный брак?! Фиктивный брак?! Сволочь! Ах ты сволочь! Что бы ты понимал в фиктивных браках! Ох ты гнусь вонючая! Слушаешь, гад, всякое ботало! «Фиктивный брак»!.. Ишь ты, «фиктивный брак»!..

Распахивает ногой дверь в спальню, — с размаху сев на кровать, обхватывает голову руками.

Это любовь была, ты понял, урод?! Лю-бовь!! Это была любовь!!

«*Это была любовь!!*» (Если глумление по природе своей может иметь лирико-элегический оттенок, то попугай воспроизводит его в точности.)

Ах ты сволочь! Щас вы оба у меня!..

Хватает со столика вазу, подлетает к Семе и, не дав ему опомниться, с размаху опорожняет ее тому за шиворот. Сема, в миг мокрый и осыпанный цветами, похож на монумент самому себе, который не только орошен утренним шлангом дворника, но также посещен подневольными школьниками во главе с учительницей литературы. Эликс между тем олицетворяет скульптуру «Бульжник — орудие пролетариата» в последующем ее жесте: он резко запускает вазу в самый верх затемненного угла. Звон осколков заглушает падение чего-то мягкого, массивного и безгласного.

С е м а (*себе*). Какая глупость... Боже, какая глупость...

С сумкой на плече устремляется к выходу, но Эликс мгновенно перекрывает дорогу. С видом «вам же хуже» Сема юркает в правую дверь. Мелькнувший водосливной бачок проясняет роль этого помещения.

Э л и к с (*дергая дверь туалета*). Открой, дефективный!

С е м а (*спокойно и дерзко*). Я справляю свою естественную нужду.

Э л и к с. Ну, справляй, справляй. Справишь — тогда поговорим.

Направляется к телефону. На полпути останавливается. Поворачивается и выходит в коридор. Возвращается с пылесосом. Подходит к туалету и тихо, абсолютно бесшумно, продевает длинную металлическую трубку в ручку двери. То есть теперь эта дверь, что распаивается вовнутрь, заложена на импровизированный засов и открыться не может. Довольный, Эликс вновь направляется к телефону. Долго роется в телефонной книге. Наконец снимает трубку и набирает номер.

(*Тихо*.) Hallo!.. Would you tell me, please, when does the bus to Trenton leave today?

Пауза.

Okay. Thank you very much! Bye!

В туалете спускают воду.

(*Громко*.) А туалет-то у меня, в отличие от общественного, абсолютно бесплатный и, кстати сказать, вдохновляюще чистый. Еще один плюс в пользу совместной жизни.

С е м а. Я выйду, если вы дадите слово, что не будете мне препятствовать покинуть ваш дом.

Э л и к с. А если не дам?

С е м а. Тогда не выйду.

Э л и к с. Девушка, вы не логичны. Категорически не желая здесь жить, вы собрались навек поселиться в моем нужнике. Как вас понимать?

С е м а. Уж лучше это.

Эли к с. Но ты ж на автобус опаздываешь, едреный корень!

Се ма. Да! Именно так! И вы не смеете меня задерживать! У меня важное дело в Трентоне!

Эли к с. А никто тебя и не держит, красавица. Выходи! Слово джигита.

Слышен щелчок задвижки. Толчки.

Се ма. Вы меня закрыли?!

Эли к с. Ну и закрыл, ну так что? Подумаешь, кавказский пленник. Княжна Мери, понимаешь ли.

Се ма. У меня автобус через полчаса! Вы не имеете права! (*Колотит в дверь.*)

Эли к с. Тренируйся, тренируйся.

Се ма. Я вышибу дверь.

Эли к с. Попробуй.

Грохот кулаков и подошв; подначивающий комментарий Эликса: «Молодец!», «Ну, еще!», «Еще немного!» и т. п.

Се ма. Гад!! Ну гад же!! У меня автобус уходит через полчаса!!

Эли к с. Правда, что ли?

Се ма. Конечно, правда!

Эли к с. Поклянись.

Се ма. Клянусь!

Пауза.

Не слышите, что ли? Клянусь.

Эли к с. Девушка, а ведь вы на поверку вовсе не такая честная. И, скорее всего, потеряли вашу драгоценную невинность уже давно. Так что как жених я имею все основания быть сильно разочарованным.

Пауза.

Автобус на Трентон ушел пять часов назад. Другого сегодня нет. И вы это отлично знали. Если вообще собирались в Трентон.

Се ма (*устало*). Открой, дурак.

Эли к с. Ну, вот мы и на «ты». Наконец-то. Щас выпьем на брудершафт. Щас-щас...

Потирая руки, устремляется в кухню. Вбегает назад с бутылкой шампанского и бокалами.

Ставит все это на стол.

Ах да. Надо ж тебя как минимум выпустить. Лады. Обещай только, что не сделаешь ноги. И без дураков! Обещаешь? Я ведь с тобой, чудак, по-хорошему.

Начинает осторожно открывать шампанское.

Се ма. Обещаю.

Эли к с. Поклянись девичьей честью.

Се ма. Да иди ты!

Эли к с (*добродушно*). Ладно, ладно... Уж и пошутить нельзя.

Се ма. Если сию секунду не откроешь, я... я не знаю, что сделаю!

Эли к с (*оставляя бутылку*). Иду!

Дальнейшее стремительно. Эликс рывком выдергивает трубку пылесоса, дверь распахивается, — мы едва успеваем увидеть Сему стоящим на унитазах: в ту же секунду

ду он выхлестывает в лицо противника сильной струей из какого-то баллончика. Струя на голове Эликса вмиг образует шапку густой белоснежной пены. (Возможно, Сема просто употребил моющее средство, но в данном контексте это выглядит как его авторский вариант некоего игристо-шипучего напитка.) Пока неприятель ослеплен и дезориентирован, Сема успевает схватить ворох (заранее размотанной и разорванной) туалетной бумаги и эту шуршащую кипу нахлобучить ему поверх мыльной пены. После чего, юркнув где-то понизу, он скрывается из виду. Мычание Эликса. Затем тишина.

На столе выстреливает шампанское.

Сцена 5. ПОГОНЯ

ДИСТАНЦИЯ А

Вечерняя улица.

Бегущий Сема.

В нескольких метрах сзади — настигающий Эликс.

Оба они, не сговариваясь, стараются не привлекать внимания пешеходов. Слишком уж эксцентричен вид каждого даже в отдельности. Сема весь мокрый и к тому же вспотевший, так что затеки воды на рубашке и брюках кажутся следами от ручьев пота, что настораживает вдвойне: скорость улепетывания, видно, прямо пропорциональна тяжести преступления. Эликс уже успел стереть, а отчасти и смыть пену, но она тоже оставила мокрые следы на его рубашке, причем сзади так и болтается клоч туалетной бумаги, который он не замечает.

Оба стайера инстинктивно чувствуют, что лучше им свою связь не проявлять никак. Поэтому Сема не оглядывается, а Эликс не издает ни звука. Когда Эликс оказывается наконец прямо у плеча Семы, вид состязания меняется. Теперь это спортивная ходьба, то есть та разновидность движения, когда снижение скорости ведет к поражению, а чрезмерное увеличение — к дисквалификации. Здесь очень важно выдержать меру. Может быть, поэтому, от греха подальше, оба участника держат руки в карманах.

Эликс (*с тихой яростью*). Стой! Стой, чумовой! Да я бить не буду! Мне два слова сказать! Два слова!

Сема. Знаю твои два слова! Я полицейского позову!

Эликс. Да не нужен ты мне, идиот! На черта ты мне сдался! Я пошутил, дубина! Пошутил!

Сема. Дурак ты! И шутки твои дурацкие!..

Эликс. Да у меня баб, если хочешь, навалом! Тоннами, понял! Баррелями! Стой, дьявол! Стой! Ты мне на хрен не нужен!

Сема. Ага! А чего прешься?

Резко отрывается, и вот его спина уже вдалеке. Крики Эликса: «Стой! Стой, гад!» и т. п. Теперь он решается кричать, потому что Сема перешел на бег, — у Эликса, к несчастью, есть все шансы так и остаться холостяком.

ДИСТАНЦИЯ В

В безлюдном переулке мы видим Эликса, всецело погруженного в поиск. Очевидно, Сема, внезапно исчезнув из виду, свернул куда-то сюда. Эликс теперь не подает звуковых сигналов, так как понимает, что Сема, наверное, прячется.

В переулке темно.

Внезапно Эликс спотыкается и, пролетевши вперед, грузно валится на тротуар. Набор характерных междометий и обценных фразеологизмов артикулируется в типовом для такого случая объеме. Одновременно с ритуальным спичем Эликс ощупывает вредоносный предмет. Им оказывается Семина сумка. Это открытие заставляет исследователя стремительно сесть. В ту же секунду он видит хозяина сумки. Тот сидит, затаившись, практически рядом, за бампером черного «бьюика».

Эликс. Ну что? Укатали-таки Сивку крутые горки?

Сема. Дурак. У меня что-то с ногой не то.

Эликс. Где?

Се ма. Здесь. Голеностопный сустав. Черт! Вдруг перелом?

Эли к с. Дай-ка взгляну. (*Ощупывает ногу.*)

Се ма. Оооооо!!!

Эли к с. Все-все-все. Потерпи... Поверни сюда. Так больно? А так?.. Теперь сюда. Как здесь?.. А здесь?

Се ма. Оооооо!!!

Эли к с. Не ори! Нет у тебя перелома. Сейчас потерпи. Ровно одну секунду. Я потяну... Хоп!

Се ма. Оооооооооо!!!

Эли к с. Вставай.

Се ма неуверенно встает. Делает несколько пружинящих движений.

Стоишь? Ну, можешь дальше от меня драпать. С технической точки зрения это теперь возможно.

Пауза.

А лучше давай посидим. У тебя курить есть? Я свои дома оставил. Так за тобой, гадом, погнал! Вон, в одних подштанниках... (*Скорбно демонстрирует.*)

Се ма (*садится*). Нет у меня. Я не курю.

Эли к с. Ну, что ты прям как неродной... как нерусский, ей-богу!..

Се ма. Я и есть нерусский.

Эли к с. А меня устраивает. У тебя там (*стучит себе по лбу*) классно фурчит. Я сроду еще дурака еврея не встречал.

Се ма (*великодушно*). Бывает.

Эли к с. А меня, я говорю, устраивает. Если уж жить с кем-то, так лучше уж с умным. Знаешь пословицу? «Лучше от умного ненависть, чем от дурака любовь». Вот. Русская народная.

Се ма. При чем тут «жить»? Я с вами жить не буду. Ни под каким сомсом. (*Пытается встать.*)

Эли к с (*хватает его за руку*). Да стой ты!.. Опять он на «вы»!.. Ты думаешь, я голубой? Ох, если бы! У меня, недоумка, жена была. В стольном городе Мелитополе. Законная, так сказать, супружница, чтоб ей расти, как цибуле, головой в землю...

Се ма. Да какое мне дело?

Эли к с. Нет, ты послушай! Трудно тебе, что ли, послушать? Она у меня была «хорошая». Стирка, вязанье, готовка, все такое. И вдобавок она была «мудрая». То есть она всегда точно знала, где что лежит и стоит. На какой такой полочке. Не только предметы, а вообще... Понятия... чувства... все такое. И где, на какой полочке все это стоять будет. Хоть тебе через миллион лет. Вообще-то она не думала. Она это не умела. Она, знаешь, ведала. Знаешь, как это у самок бывает. Ни тебе страстей, кроме, конечно, постельных, ни сомнений, кроме как по части месячных. Но ей же надо размножаться? Надо. Вот у нее все и сведено, как у тараканихи, к простейшей и незыблемой репродукции. Даже если она не брюхата. Все поведенческие реакции из того же места. Жена, мать и, кажется, член профкома. В народе это называется «мудрость». Такой вот диагноз. От слова «муды».

Се ма. А твой диагноз как в народе называется?

Эли к с. А мой диагноз в народе называется «депрессия сенестопатическая с вегетативными и соматическими расстройствами».

Се ма. Это у тебя-то?

Эли к с. Это у меня-то.

Се ма. И хочешь сказать, жена виновата?

Эли к с. Жена не виновата. Жена только часть херового мира. Но на жене он держится прочно. А на чем же еще ему держаться? Этот херовый

мир стоит на мясе. Жена есть мясо. Единый и неделимый кит. А депрессия — ну, это психофизическая данность. Как цвет глаз. С ней маешься еще у мамы в утробе.

Се ма. Да ты клинический женофоб.

Эли кс. Неправда. Я как раз по жизни страшнейший женофил. Постоянно в процессе шерше ля фам. И в то же время я девственник. Ведь я не встретил ни одной женщины. Я встречал только самок, а это не в счет. У, какая страшная вещь человечья самка! Ни философия, ни религия человечьей самке не впрок, хоть бы она водворяла свое седалище в аудитории лучших университетов. Все силы человечья самка тратит на удержание возле себя самца. Для этого она, корова, поочередно то слезы льет, то ноги раздвигает. Боже, какая мерзость! Как я хотел бы встретить действительно женщину!..

Се ма. Мне кажется, я встретил. Она была гениальная скрипачка. Сама как скрипка. Не годилась для бытового употребления. Настоящая женщина.

Эли кс. Видишь, мы это одинаково понимаем. А ты говоришь... Знаешь, кстати, почему седина делает мужчину «интересным», а бабу, в основном, просто потасканной? А потому что человечья самка — это мясо, мясо и еще раз мясо, а мясу со временем свойственно протухать.

Се ма. Ничего мы не одинаково понимаем. Говоришь одно, а с американкой связался. Говоришь, у тебя с ней любовь была, а теперь: не встретил женщины.

Эли кс. Она просто более всех была приближена к идеалу. Ну, как, например, лес иногда раем кажется, знаешь? Она красива была и любила красивое. А некрасивое не любила. И не принимала. Отсюда все последствия... Настоящая женщина себе это может позволить.

Се ма. Это верно.

Эли кс. Красивых женщин катастрофически мало. А размножаться, к сожалению, надо всем. Так что нет таких унижений, на которые не пошла бы человечья самка для своего самоутверждения. Ей надо себе доказать, что она такое же мясо (по крайней мере не хуже), какое заполняет весь наш крупноблочный барак, то есть какое было у этого самца до нее и какое, безусловно, будет после, если она, конечно, не положит свою жизненку на то, чтобы его, бедолагу, удержать. И ведь подумай, разве человечья самка простила бы, скажем, другую самку, если б та однажды сварганила хотя бы сотую долю той подлости, что с легкостью ненаказуемого животного постоянно позволяет себе самец? А вся-то разница в сакральной затычке для черной дыры. Похоже, хомо устроен гораздо механистичней скромняг, не имеющих мозга: в случае с хомо контраст между мифологическим образом высшего существа и гнуснейшим (в реальности) биологическим автоматом разителен. Боже мой! Знаешь, я читал, что даже самка таракана имеет такие понятия, как достоинство, гордость, представления о самооценности. Да-да, ты не смейся! Я правда читал. Причем у нее это не результат уроков литературы с анализом тургеневских девушек, у нее это в генах заложено. Слюнтяй самец еще лишь задумывает ей подлянку завернуть, а она уже отползла на расстояние, в тысячи раз превышающее размеры ее нежного тела. Вот так природа заботится о сохранении тараканьей породы. Потому как от союза размазанной в дерьме самки и бесхребетного самца здоровое потомство родиться не может. Так что у тараканьей самки эта разумность записана в генах. И потому тараканья порода так сильна, что выдерживает запредельную радиацию. Ну скажи, почему человечьей самке можно плевать в глаза столько, что дельта реки Амазонки бы заболотилась, а она знай свое мясо под тебя подкладывает? За кого ее считать после этого, да и себя-то кем чувствовать? Вообще вся эта мерзость, в которую она вовлекает самца, вся эта регулярная череда скандалов и соитий, конечно, и есть главный клейстер семьи, который, в

качестве общего преступления, надежно связывает партнеров до самого гроба. А в промежутках между соитиями и скандалами человечья самка, как ее книжки учили, пытается изображать из себя (набивший партнеру оскомину) «мыслящий тростник», и все это, разумеется, коряво, беспомощно, смехотворно, практически с нулевой продуктивностью, однако реплики она подает регулярно, — знаешь, такие, из репертуара любительского театра: «Я уйду! Я от тебя уйду! Я уйду!» Эти реплики не то что бедный муж, а и все соседи наизусть знают. За столько-то лет. Ну и куда она уходит? В другую комнату. Как сказал Антон Павлович Чехов.

Се ма. Ты что, никак, Чехова читал?

Эликс. Нет, картинки смотрел. В Центральной библиотеке города Мелитополя. А как человечья самка переходит в фазу жены? О, такую откровенно энтомологическую метаморфозу даже не всякое насекомое претерпевает. Никакой тебе куколки-бабочки, про это и думать забудь. Снова мясо, без всяких тебе околичностей, сидит и тупо высиживает свою рабью судьбу. Тут очень важно пересидеть конкуренток, — пересидеть всех, выказывая и подтверждая ежечасно при том фантастическую свою небрежность. Таковы условия соревнования. В финал выходит та пригодная для будней многотерпеливица, коя, ловко комбинируя коготки и покорность, выкушала максимум экскрементов своего потенциального опылителя. Конечно, самые красивые, яркие, обольстительные особи отпадают на первых ступенях. В фазу жены входят наиболее размазанные, наименее прихотливые самки из рода хомо. То есть далеко не самые перспективные по части улучшения породы. Какое потомство может родиться от такого противоестественного «естественного отбора»? Поэтому имеем то, что имеем. У тараканов не так! И, заметь, человеческой самке легко заниматься пересиживанием наименее утяжеленных конкуренток, ведь она целиком состоит из мяса, даже если костиста, как вобла, и плоска, как доска. Объем для души и объем для мозга у нее целиком забит мясом. В сочетании с «кротостью», терпением и остойчивостью зада это дает нам гастрономически безупречную говядину. Кушать люблю, а так нет. В природе мужика, даже самого заземленного, все-таки присутствует некое эльфообразье: опылил и вспорхнул, до следующего опыления. Чем-то там он еще отдельно от этого занят. У человеческой самки все нацелено на генерацию мяса, даже если (например, вследствие дефекта репродуктивной системы) она производить его не может. На все твои аргументы у нее один ответ: «Но ведь это приро-о-ода...» При этом она делает губы бантиком, многозначительно подкатывает глазки и тычет пальчиком промеж ног. И почему «природа» сосредоточена у человеческой самки на таком ограниченном участке, науке неизвестно. А все, что выходит за границы этого участка, по ее глубокому убеждению, уже не «природа» и, разумеется, не от Бога. Когда она попискивает и шипит: «Душа, души, душе, душу, душой, о душе», — имеется в виду именно этот участок. Помню, одна мелитопольская баба (с грудями, губами, приплодом, абортами) любила изрекать: «Раз орган дан Богом, он должен работать». Ух, ты бы слышал это животное «г» из самых глубин ее глотки! О, как монументально она все это произносила! Как значительно вздымала брови! Будучи ребенком, я ничего не понял. Если речь шла о любом органе, то почему в этом списке отсутствует мозг, а если у нее только один орган — «орган», а все остальное — не орган, то получается, что ее голова, помимо ношения бигуди, создана исключительно на то, чтобы обеспечивать «орган» бесперебойной работой. Одна программа, один файл, одна кнопка включения. Все остальное — это бантики и обертки, чтобы мужик-дуропляс еще проще купился. То есть ее внешняя вовлеченность в «сферы» (духа и мысли) есть либо путь завлечения самца, либо защита от него же (на случай, если он не прельстится), либо «приличное» убивание времени при его, самца, неимении. У тараканов не так! Доказано, что самка таракана имеет тысячи разнообразных и независимых

интересов и лишь ничтожная часть их направлена на репродукцию. У человеческой самки собственной судьбы нет вообще. Она сама, с наслаждением, ставит себя в подсобную позу. Несть предела извращениям человеков! Ноги враскорячку, хвост набок, руки в картофельной шелухе, ну, а глазками пытается изобразить Джульетту. Это все равно что жонглировать одновременно одиннадцатью табуретками, зажимать задницей горящий фитиль, — а в искусственно белых зубах, с улыбочкой, намертво, держать, скажем, испанскую розу. Ты когда-нибудь жил с дрессированной коровой? Которая, для того только, чтобы ее покрыл самец, корчит из себя то грациозную лань, то кроткую горлицу, то таинственной дриадой прикинется, а то, глядишь, чуть ли не пантеру выдрючивает?

Сема (*мрачно*). Разумеется, жил.

Эликс. Несть предела человеческому уродству. Самку рода homo, из вида «жена» (даже если она еще не удостоилась чести быть узаконенной), легко распознать по лицевой части ее головы. Характерно выражение тотальной раздавленности, огромного напряжения, хронической уязвленности и неистребимого, идущего на автopilоте, притворства. Ну, прибавь еще отпечаток вкусовых ощущений существа, которое ошиблось бочкой и покорно сожрало изрядную емкость дерьма, чуть приправленного чайной ложечкой какого-то сахарозаменителя. О!.. о!.. И чем она держится за скотскую свою жизнь? Какими такими крючками и присосками? На языке Арины Родионовны даже назвать тошнотворно, а латинских эвфемизмов, к сожаленью, не ведаю. Еще нижние ее конечности, в верхней своей части, зело для массового мясовоспроизводства приспособлены. Ух, нет ничего страшней, чем ляжки человеческой самки! Удушующее, влажное, жадно пожирающее тебя мясо! Мертвая хватка, потому и воняет смертью. Да и мы-то хороши. Знаешь, это чувство, когда враг уже вроде повержен, и вот тут он на свою голову начинает пощады молить? Так-то и ярости-то к нему уже вроде нет, прошла, а как он молить начнет, вот тут-то и накатит тошнота такая, что, кажется, щас так бы червя этого и удавил! так бы и размазал каблуком, чтоб кишки брызнули! Вот это ж и с ней, с самкой. Нет бы ей, твари, как ее в дерьмо-то по уши окунешь, взять бы и характер хоть раз проявить, стукнуть по столу кулаком да и уйти к чертовой матери, так она еще тебе тут молить-скулить начинает! Ооох! Ну как тут сдержаться? А ведь сдерживаешься-таки в конце концов-то. Подумаешь: ну куда новое-то искать, хлопотно, а тут все тебе готово — всегда и в любом количестве. А потом, глядишь, она тебе еще суп на завтра сварит...

Сема. Ты говоришь толково, но сомневаюсь, что искренне.

Эликс (*не слушая*). А моя американка меня не удерживала. Это самки пытаются держать намертво. Знаешь, я думаю, если хотя бы сотую долю тех усилий, что человекья самка тратит на удержание возле себя самца, она пустила бы на что-нибудь путное, ну, например, на искусство, собственное развитие или хотя б созерцание, мы, глядишь бы, и жили в человеческом обществе.

Сема. Это все так, но ты-то, в частности, брешешь. Я так смекаю, понравиться мне хочешь? Не работает. Видно невооруженным глазом: разглагольствуешь ты красиво, симулируешь индивида с притязаниями, а сам готов трахать все, что движется.

Эликс (*задохнувшись*). Я?!

Сема. И знаешь, что тебе ничего за это не будет. Тебе как психу хо-рошо! Закон на твоей стороне.

Эликс. Я — псих?! Я — псих?! Депрессия — это природное достояние интеллигентных людей, чтоб ты знал! Интеллектуальной элиты! Я к нему, понимаешь, с доверием, а он... Ну, козззел!

Он даже не успевает сделать угрожающий жест, а Сема уже на другом конце перелука.

Видно, как костоправ Эликс оказался эффективней, чем как оратор.

Стой, дурак! Думаешь, я самок ненавижу, так мне мужик нужен?! Стой, чума! Есть мужики хуже самок! Я не голубой! Я не женоненавистник! Я просто мизантроп! Нормальный мизантроп! Стой!! Да стой же ты!! Стой!!

ДИСТАНЦИЯ С

Ночь.

Бутафорская, сбрызнутая лунным мелом листва.

Скамейка. Резкий свет фонаря.

На скамейке Эликс. Лицо его в искусственном свете мучнисто-белое, клоунское, злосчастное.

Эликс. Пожалуйста. Я же знаю, что ты здесь. Я это чувствую. Как бы я чувствовал это, если б тебя не было? Так что я это не чувствую, а знаю. И хватит меня дурить. Покажись. Ты решил прятаться? Для чего? Чем я обидел тебя? Чем я могу тебя обидеть? Разочаровать тебя больше при всем моем желании я уже не могу. Ты все и так знаешь. Ты хочешь водить меня за нос? Зачем? Давай покажись. Это, в конце концов, недемократично: ты меня видишь, а я тебя нет. Хоть камнем в меня запусти, чтоб я знал, что ты тут!.. Ну! Ну же! Ты что, хочешь, чтоб я ноги до колен себе стер, за тобой бегая?! Тоже мне, цаца! Откликнись же наконец, гад! Ну пожалуйста!..

Сема (*невидимый, из темноты*). От гада и слышу.

Эликс. Что?! Ты где?!

Сема (*оттуда же*). Сидеть. Я крикну полицейского.

Эликс. Еж тебя за ногу!..

Сема. Вот именно. Вашими молитвами. Привычный вывих голеностопа.

Эликс. Так давай я...

Сема. Сиди, мизантроп! Сексуальный маньяк. Я сам... сам... Оооооооо!!!

Эликс. Сейчас точно полицейский придет. Долго ты со мной из куста гуторить собрался? Вылазь давай! Подумаешь, Саваоф.

Сема. Ух ты, какие мы образованные. Просто страсть.

Эликс. Ты там голеностоп тыр-пыр и на место, а я свои костыли до коленок стер. Куда я теперь? Хоть ползи.

Сема. Плевать мне на твои колени и прочие части. Думал меня на жалость взять своими депрессиями? У меня своих хватает. У меня депрессия непрерывная.

Эликс. А говорил, кто страдал, тот больше сочувствует ближнему.

Сема. Мало ли, что я говорил. Ты слушай больше. Тем более ты и сам брешешь не слабо.

Эликс. Где это я брехал?!

Активный шорох в кустах. Удаляющийся треск веток. Дальше. Еще дальше.

Стой! Что это я тебе сбрехал? Да стой ты, гад! Сто-о-ой!! (*Вскакивает.*)

Сема (*оставаясь невидимым*). Стоять. Немедленно зову полицейского. Попытка изнасилования.

Эликс. Не докажешь.

Сема. Ну, ограбления.

Эликс. Да у тебя денег нет.

Сема. Вот потому их и нет.

Эликс. Так у меня их тоже нет!

Сема. А ты их уже спрятал. И теперь вот вернулся насилловать.

Эликс. Да-а-а. Куда уж мне против писателей.

Пауза.

Может, все-таки сделаешь милость, скажешь, что именно я тебе набрехал?
Мне с брюхом-то трудно за тобою гоняться.

Се м а. Ничего не набрехал. Иди ты знаешь куда!..

Пауза.

То тебя бросают в аэропорту как последнюю собаку... Да нет, собак здесь так не бросают! А то любовь у него, видишь ли, была!.. Подумаешь, Тристан!..

Э л и к с. Чего-о-о?

Се м а. Да ты, елки, правду сказать хоть раз можешь?

Э л и к с. Какую тебе надо правду?

Се м а. Тебя правда бросили в аэропорту Кеннеди? Или у вас была «а true love»?

Э л и к с. У нас была «а true love».

Пауза.

И меня бросили в аэропорту Кеннеди.

Пауза.

Се м а (*ядовито*). И теперь ты готов жить с кем угодно.

Э л и к с. Ты!.. Ты!..

Прыжок из светового круга. Мешанина междометий. Удвоенный треск веток...

Fade out...

ДИСТАНЦИЯ D

Все равно где.

Э л и к с (*невидим, лишь голос*). ...то тогда почему? Человек ты или нет? Ишь ты гордый какой! Почему? Почему, Семен? Тебе противно?

Пауза.

Тебе противно мое имя, я тебя спрашиваю? Отвечай!.. Почему ты не можешь назвать меня по имени? Тебе не нравится «Александр»? Ну, зови Эликс... Ну?.. Семен!..

Пауза.

А мне твое имя нравится. Очень нравится! Ну, можешь звать Санек... Или Сашка... Просто Сашка! Кстати, это лучше всего... Семен!.. Скажи: Сашка. Пожалуйста, Семен! Ну, чего тебе стоит, гад!..

Пауза.

Почему ты молчишь?

Се м а (*невидим, лишь голос*). Дурак!! Дурак!! У-у-у-у, дур-р-рак!! Дебил!! Идиот!!

Э л и к с. Ты... ошалел?.. Ты что?! что?! что такое?!

Се м а. У меня сына так звать, понял?! Сына, в Москве!! Сына, понял?! Сына, дурак!! (*Истерика.*)

...Видение механического попугая. Громадный, пыльный, видимо, мертвый, занимающий весь экран, он тяжело завис между небом и землей. Нарастающий ветер без пользы треплет его тусклые, давно отцветшие пе-

рья. На земле ночь, но в точке попугая времени нет. Ровный синий свет, бестелесной пустотой, неизменной и страшной, окружает его странное тельце. Ветер, треплющий пыльные волоски, не есть воздух. Это вещество снов, движущее также целлулоидную ленту в темноте кинозала. Лента бежит быстро, попугай крутится, как на вертеле, не падая, не взлетая, в одной точке, ныне, присно и во веки веков, теряя перья, перьев не теряя, и этот кошмар заданного, абсолютного, нерасторжимого двуединства движения и бездвижности в одной точке, в одной точке, в одной точке может быть преодолен только сверхчеловеческой сменой ракурса.

Но именно это и делает кинокамера.

ДИСТАНЦИЯ F

Странное место.

Пустырь?

Скамейка и урна для мусора. Строение, напоминающее гараж. Цивилизация возможна, но, в пределах видимости, отсутствует. Житель Нью-Йорка вполне мог бы предположить (и оказаться прав), что метрах в семидесяти отсюда располагается роскошный отель с ресторанами под водой и над облаками, но для новичка это место кажется входом в ад, — он столь же очевиден, как вход в метро. На скамейке, спиной друг к другу, сидят нахохлившийся Сема и растерянный Эликс.

Эликс. Ты...

Сема. Отстань.

Эликс. Я...

Сема. Иди ты знаешь к какой матери!!

Приближающиеся шаги. Явление субъекта.

Субъект (*Эликсу, по-русски*). Коку надо?

Эликс (*Семе, машинально*). Коку хочешь?

Сема (*машинально*). Давай.

Эликс (*субъекту*). Сколько?

Ответ жестом.

Эликс (*на полпути в карман*). Шит! Лопатник-то дома!..

Сема (*в пространство*). Я тоже пустой.

Эликс. Он в Трентон собрался!..

Субъект (*вмиг оценив ситуацию*). Возможны варианты. (*Подсаживается к Эликсу и шепчется с ним.*)

Эликс (*прямой перевод Семе*). Берем сейчас. Завтра платим вдвойне. Часы в залог.

Сема (*в полной прострации*). Как хочешь.

Эликс (*субъекту*). Идет. (*Снимает и протягивает ему часы. Эксчейндж.*) Вот и ладушки. (*Семе*). Держи.

Субъект растворяется во тьме.

(*Хвастливо.*) Видал? Других бы он шмальнул, и с концом. Он же при пушке был, ты не рассек? А с нами такой культурный товарообмен по Карлу Марксу. Плюс экстра-сервис!..

Сема (*двумя пальцами держа пакетик*). Что это?

Эликс. Ты просил? Здесь восемь порций. Крендель зуб дал, продукт чистейший, без дурилки.

Сема. Чего-о-о?! Я кока-колу просил! Я пить умираю! Господи! (*С отчаяньем глядя на пакетик.*) Это кокаин, что ли?!

Эликс. Контуженый ты, нет?! Или косишь?! Ты что, думал, это конфеты «Белочка»?!

Сема. А иди ты знаешь куда!! (*Раздавливает пакетик каблуком.*)

Субъект (*выныривая из тьмы*). Не, ребята, мы так не договаривались. Если вам не по кайфу, я так смекаю, вы завтра платить не будете. Деньги сейчас.

Эликс. Завтра.

Субъект. Сейчас. У вас, господа, настроение слишком не стабильное. Один остается в залог. Сейчас.

Эликс. У меня дома сегодня таких денег нет. И на счете нет. В смысле — сегодня.

Субъект. Мне по хрену. Хотя, в принципе, можно натурой. Я сегодня добрый. (*Эликсу деловито.*) Можешь свою подружку нам дать на вечер. В плане моральной компенсации. (*Семе, ослаблясь.*) Отработаешь, девочка?

Междометия и прочие звукосигналы оскорбленной стороны. Попытка ответного оскорбления (действием). Явное превышение мер самообороны со стороны субъекта. Пистолет. Он такой настоящий, что кажется игрушечным. Субъект говорит «бах!», и Сема падает. Одновременно из тьмы возникают люди Субъекта. У них на круг суммарно шесть кулаков и столько же тяжких, битюгами, ботинок. Эликс, одинокий и безоружный, вступает в схватку с превосходящими силами врага. (За деталями перегруженный автор отсылает к кинолентам серии «Школа точных боевых искусств».)

Сцена 6. ОКНО

Казарменное помещение.

Путешественник, «у которого больше чувств, чем денег» (сентенция из рекламы туристического агентства), вынужденный любитель международных автобусов и хитч-хайка, легко распознает в нем youth hostel. Койки в два этажа, числом двенадцать, аскетические постели, перевернутые вверх дном, простыни, свисающие кое-где с верхних кроватей и служащие полами для нижних, разбросанные повсюду торбы, торбочки, полуоткрытые спортивные сумки, джинсы вперемешку с распакованными спальными мешками, кроссовки, пластиковые бутылки с водой и т. д.

Сейчас в коллективной спальне никого нет. Камера следует в душевую. Спinoй к зрителям, лицом к круглому зеркалу, висящему над умывальником, она обнаруживает Сему. Однако не всякий взялся бы это утверждать, так как не всякому была бы сильной идентификация данного существа с означенным персонажем. По плечу такая задача пришлось бы, пожалуй, лишь судебно-медицинским экспертам, набившим руку на протоколировании побоев (и различающим в синяках такие нюансы оттенков, кои не были доступны даже художникам Возрождения).

Однако, как ни печально, это действительно Сема. Доказательством служит хотя бы выражение его глаз, с которым он пылливо и неотрывно смотрит прямо в глаза своему зазеркальному двойнику, — выражение, своей предельной безжалостностью столь характерное для поэта. А мы, вслед за камерой, замороженно подглядываем за этим безмолвным, тайным, очень интимным сличением сущности и оболочки. Есть что-то гипнотическое в таком — безусловно, сакральном — зрелище, и смотреть на него хочется вечно, как на воду или огонь. И (сбавим патетику) тем паче это зрелище любопытно, что в нашем-то случае, то есть в случае Семы, некоторые части лица далеко отклонились от своей анатомической нормы.

Его разбитые, чудовищно набухшие губы вытянуты словно бы бесконечным «у-у-у-у-у-у-у-у» далеко вперед и, загибаясь наружу, на манер багровоцветочного венчика, сильно напоминают, помимо того, милицейский матюгальник. Веки его огромны и тяжеловесны, как у Вия, зелены и

печальны, как у земноводных. Нос сильно ассиметричен, в стиле Пикассо, а красно-зеленая гамма подбородка и скул выдает влияние Матисса. В целом его физиономия являет собой любопытный шедевр постимпрессионизма, но, видно, все равно там есть еще над чем поработать, потому что Сема, прервав оцепенение, принимается задумчиво прикладывать к разным частям своего лица тряпочку, то и дело смачивая ее в некоей жидкости, перелитой для удобства из аптечного пузырька в пустую пепельницу.

На протяжении этого и предыдущего процессов из коллективной опочивальни, через открытую дверь душа, доносятся голоса с учебной кассеты. Звуки исходят из Семиного диктофона. Он лежит поверх вещей в его расстегнутой спортивной сумке.

Первый голос (*здесь и далее: напористое мяуканье нативного владельца американского паспорта*). You didn't bring all the necessary documents, that's why they closed your case.

Второй голос (*здесь и далее: очень наигранная, конторского образца бесстрастность жителя восточных деспотий*). Вы не принесли все необходимые документы, вот они и закрыли ваше дело.

Первый голос. You can apply for a fair hearing.

Второй голос. Вы можете обратиться в суд.

Первый голос. Or reapply.

Второй голос. Или подать прошение снова.

Первый голос. I can do any kind of job.

Второй голос. Я могу работать кем угодно. (Я могу выполнять любую работу.)

Камера скользит по исковерканному лицу человека — перед зеркалом, в зеркале. Мир тут и там одинаков. Куда же бежать?

Камера снова в казарме. Голые стены. Сиротство брошенных на полу вещей. Будто тут потерпел катастрофу космический корабль. Мы видим его обломки. А пришельцев нет.

Исчезли? Или не были вовсе?

За стеклом, на планете Земля, дождь.

Первый голос. This is Mister Smith, he will be your manager.

Второй голос. Это мистер Смит. Он будет вашим начальником.

Первый голос. Nice to meet you!

Второй голос. Приятно познакомиться!

Первый голос. Are you happy with your salary?

Второй голос. Вы довольны вашей зарплатой?

Первый голос. They pay the minimum.

Второй голос. Они платят минимум.

Сема, по-видимому закончив совершенствовать свой экстерьер, подходит к окну. Ливень листья срывает, смывает, и природа про нас забывает, избирая новейший каприз. Всех примет и обличий лишая, ливень глину опять размешает, забракует эскиз. Белый ливень! Как ширма в больнице. И запрет за нее заглянуть. А за ней что-то тайное длится. Там кому-то мешают заснуть. Раствориться, забыться. Затопи нас целебной отравой, праздный сеятель, знахарь блаженный. Истоци, как валун стосаженный, нашу память, пусть новые травы по веселому, новому праву прорастут на полянах Вселенной... Он не слышит. Сквозь рев многотрубный льет и льет и ладони нам студит... И что было, что есть и что будет с равнодушьем целительно-мудрым дождик смоем, природа забудет.

Первый голос. I don't make shit!

Второй голос. Я ни хрена не зарабатываю!

Первый голос. How do you get alone with your manager?

Второй голос. Как вы ладите с вашим начальником?

Первый голос. Are you tired?

Второй голос. Вы устали?

Первый голос. I wonder how can you handle it?

Второй голос. Я удивляюсь, как вы это выдерживаете?

Ливень стихает. Сквозь истончившуюся его ширму становится виден человек, стоящий напротив youth hostel'a. Задрав голову, он с пристальным беспокойством шарит глазами вдоль его окон. Это Эликс. Физиономия его, даже на дистанции, сквозь стекло и дождь, богата той же попугайской палитрой, как и у Семы. Будто они земляки по некой резервации Нового Света... Увы! Племя неизбежно вымирает, и трудно сказать, какие доказательства в недалеком будущем смогут подтвердить сам факт его существования. Найдутся ли эти подтверждения вообще?

Над головой Эликса торчит большой ярко-желтый зонт. Поглощенный поиском и ожиданием, Эликс держит зонт как-то по-клоунски криво. Холодная вода стекает ему прямо за шиворот.

(Фильм пятый, и последний, в следующем номере.)



РАХИЛЬ БАУМВОЛЬ



«ПРЕД ГРОЗНЫМ ЛИКОМ СТАРОСТИ СВОЕЙ...»

Жизни, которую прожила Рахиль Баумволь, хватило бы на три судьбы.

Она родилась в Одессе во время первой мировой войны. Ее отец Иегуда-Лейба Баумволь был известным еврейским драматургом, режиссером и создателем еврейского профессионального театра. Когда в 1920 году он переезжал со своей труппой из Киева в Одессу, его — на глазах жены и маленькой дочки — расстреляли белополяки. Мать с дочерью перебралась в Москву, но вскоре девочка тяжело заболела, — «от ушиба, который получила, когда белополяки выбросили меня из вагона» (цитирую «Автобиографию»), «и три года пролежала в гипсе».

«Большевики спасли меня от смерти, — напишет потом Рахиль Баумволь, — и я была яркой большевичкой. Рисовала пятиугольные звезды, а также шестиугольные, еврейские, — потому что большевики любят евреев и дадут нам страну, которая будет называться Идланд. В голове у меня была путаница и продолжалась долгие годы...»

В пять лет Рахиль Баумволь стала сочинять стихи и, болея, диктовала их матери, а мать записывала стихи в школьную тетрадь в клетку. Страницы этой тетради, где рядом со стихами — милые детские рисунки, факсимильно воспроизведены в книге Р.Баумволь, изданной уже в конце 70-х годов в Израиле.

Когда девочке было девять лет, цикл ее стихотворений появился в еврейском журнале в Париже. С тех пор стихи Рахили Баумволь печатались в различных детских и молодежных журналах, а когда ей исполнилось шестнадцать, вышла ее первая книжка.

Училась Рахиль Баумволь во 2-м МГУ на еврейском отделении литературного факультета и оканчивала его вместе с поэтом Зиновием Телесиным, который стал ее мужем.

Вплоть до 1947 года, когда в Москве вышла ее последняя книжка на идиш, она могла ощущать себя еврейским поэтом, который говорит со своим читателем на родном языке без посредников. Но с началом антисемитской кампании, когда в Москве закрылось еврейское издательство «Дер Эмес» («Правда»), Рахиль Баумволь оказалась на распутье.

«...Литература на идиш перестала выходить, да и по-русски печататься писателям евреям стало почти невозможно. Я стала писать для детей, а также переводить. От литературы мы с мужем не ушли, и, думаю, это нас спасло морально. Мы голодали, но когда писали, обо всем на свете забывали. Нашлись хорошие люди, которые давали „негритянскую” работу... Каждый день кого-то из еврейских писателей, да и не только еврейских, увозил „черный ворон”. Каждый день мы ожидали ареста...»

Однако чаша сия миновала Рахиль Баумволь. И если она не могла публиковать свои стихи на родном языке, то, спустя какое-то время, получила возможность печататься по-русски: и сама писала на русском и ее переводили. Среди тех, кто переведил стихи Рахили Баумволь, — Мария Петровых и Анна Ахматова, Александр Кочетков и Вера Потапова, Рувим Моран и Вера Инбер, Елизавета Тараховская и Татьяна Спендиарова... Так и составлялась книга ее лирики — стихи в переводе и без перевода.

Одна за другой выходили и ее детские книжки. Видимо, детское начало в ее даровании было так же свежо и сильно, как взрослое. Недаром Рахиль Баумволь одинаково свободно сочиняла «Сказки для взрослых» (так называлась ее книга, которую я не-

когда рецензировал в «Новом мире») и сказки для детей («Синяя vareжка», «Под одной крышей» и другие книжки).

Не удержусь от того, чтобы привести две совсем короткие ее сказки — из той и другой ипостасей. Взрослая, «Рецензия на весну»: «Самая первая рецензия на самую первую весну, написанная самым первым критиком, была отрицательная. Мол, сыро, сумбурно и неустойчиво. Однако весна не перестает издаваться и переиздаваться с большим успехом». И детская, «Огурец и капуста»: «Однажды кочан капусты и огурец пошли вместе купаться на реку. Огурец сразу бросился в воду. А кочан капусты как стал на берегу раздеваться — раздевался до самого вечера. Огурец дождался его в воде и от холода весь покрывлся пупырышками».

Стихотворения, как и сказки Рахили Баумволь, — это чаще всего развернутые метафоры, совершенно незатасканные, оригинальные, найденные впервые. В них сочетается наивность взгляда и удивление, дающие поэтический сплав, в котором замешаны и юмор, и лукавство, и улыбка.

Наверное, еще поэтому Рахиль Баумволь сочиняет афоризмы, в духе Ежи Леца или Эмиля Кроткого, и называет их «маковыми росинками». Однако эти «росинки» отнюдь не безобидны, и все они вроде таких: «„Обнимать — еще не значит любить”, — сказал кролик, уворачиваясь от объятий удава». «Мифологическое чудовище: коммунизм с человеческим лицом»...

Преодолев самое страшное время, Рахиль Баумволь существовала бы в советские годы и дальше, выпускала детские и недетские книжки, а на детском радио звучали бы ее новые «Сказки доброй подушки», но в начале 70-х годов всё оборвалось: она и Зиновий Телесин подали документы на выезд в Израиль. И немедленно были выброшены из Союза писателей, а в секретном приказе начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати (цензорского ведомства), выпущенного «Дсп» (то есть «Для служебного пользования»), объявлялось, что отныне все ее книги подлежат изъятию из продажи и изо всех библиотек страны.

Еще раньше, до отца с матерью, в Израиль эмигрировал сын Баумволь и Телесина, математик Юлиус, которого за бурное распространение ходивших по рукам диссидентских писем и заявлений прозвали «королем самиздата»...

Почти тридцать лет Рахиль Баумволь живет в Израиле. Она, как и Зиновий Телесин, получила там заслуженное признание, хотя по-прежнему пишет на идиш, а не на иврите, который считается на обетованной земле языком главным. Но ее книги выходят и на иврите, и на идиш, и даже по-русски. В числе этих изданий есть совсем неожиданное — лингвистическая работа «Идиоматические выражения».

Уже в преклонном возрасте Рахиль Баумволь продолжает писать лирические стихи, сочинять сказки и афоризмы. Увы, несколько лет назад ее подкосила смерть мужа, с которым она прошла рука об руку всю сознательную жизнь. Ему, Зиновию Телесину, и посвящены самые пронзительные строки ее лирики, и по ним видно, как глубока ее печаль, которая, как всегда у подлинного поэта, перелилась в стихи.

Владимир ГЛОЦЕР.

* *
*

Мы растеряли всех своих друзей.
Нас не зовут и к нам не ходят в гости.
Одни вдали, другие на погосте,
А третьи сделались от жизни злей.
Единственный мой уцелевший друг!
Покуда ты со мной, роптать не смею.
Твой образ день и ночь в душе я грею
И проклиная тяжкий твой недуг.
Мне для тебя ничто не тяжело.
Ты для меня всегда желан и молод.
Но вот тебя объял болезни холод,
Тебя как будто снегом занесло...

И крик немой нутро мое сверлит:
— Знакомые, прохожие, соседи,
Пусть кто-нибудь зайдет или заедет...
Пускай расскажет, спросит, на шумит...

Судьба вороньи крылья распростерла.
Молчит дверной звонок и телефон.
А если слышен звук, так это стон.
Тупая тишина берет за горло.

Старость

Пред грозным ликом старости своей
Стою беспомощным ребенком.
И голосом, испуганным и тонким,
Молю ее: — Не бей меня, не бей!

Она глядит из зеркала, страшна,
И я руками, словно от удара,
Стараюсь заслонить лицо. Но кара
Ждет неминуемо. А в чем вина?..

* *
*

Свет над родительским столом
С годами ослепительней.
Я залетевшим мотыльком
Кружу вокруг родителей.

Давно их нет, а я кружусь,
Коснусь волос украдкой,
На миг единый задержусь
Над поседевшей прядкою.

Блестят стаканы, крепок чай
И ложечки разложены.
О скатерть шлепнусь невзначай —
Родители встревожены:

«Откуда мотылек зимой,
И чье это дыхание?..
Откуда мы?! Наш век земной —
Одно воспоминание...»

Вдруг исчезают чай и стол,
Кромешной тьмы пронзительность,
Лишь бьется мотылек об пол,
Ожегшись о действительность.

Комод

Нет на комоды больше моды.
Сейчас никто их не поймет.
Но сердцу моему сквозь годы
Так много говорит комод!
На нем подсвечники стояли,
Стоял ларец, семьей храним,
И зеркало в резном овале,
Расческа в щетке перед ним.
Невестки, дочери и внучки
Держали в нем свое шитье.
У ящичков блестели ручки,
Сверкало в ящиках белье, —
И не синтетика чумная,
А чистый лен и полотно.
И, простыни приподнимая,
Там что-то прятали на дно...
Оттуда бабушка, бывало, —
В ее глазах всегда печаль —
С таинственностью вынимала
Свою узорчатую шаль.

Мой зонтик

У друзей я забыла свой зонтик.
И вот
Он опять у меня,
Но какой-то не тот...

Его не было дома
Неделю всего,
Но уже изменились
Повадки его.

Там, где был он,
Всегда молодежи полно,
И весь вечер сияет
Большое окно.

Там, зонта не беря,
Ни минуты не ждя,
Выбегали на дождь,
Приходили с дождя.

За неделю упруге стал
Купол зонта,
Стала ручка
Особенно как-то крута.

Раскрывается
Нетерпеливым рывком
И плывет
Над моим поседевшим виском...

После дождика
Мы с ним вернулись на днях.
Был он грустный такой.
И заплакал в сенях.

Монолог пожилой женщины

Какими долгими бывали дни!
Потом пошли недолгие недели,
Но годы торопиться не хотели,
Полны событий, медлили они.
И отличался друг от друга год,
И врезывался в память месяц каждый.
Ведь ничего не повторялось дважды,
А изменялось, двигаясь вперед.
Так было расчудесно узнавать!
Любая новость для души находка.
И по местам все расставлялось четко
И радовало снова и опять.
Потом пошло все проще и быстрее,
Заскрежетали годы как вагоны.
Но я еще не поняла урона
И не отказывалась от затей.
Я как щенок обнюхивала жизнь,
То льнула к ней, то ей навстречу мчалась,
Не слыша, как она, сердясь, кричала:
— Всё ты выдумываешь, отвяжись! —
И понемногу стало всё не так.
А годы — годы скорость набирали,
Взбесились, закружились, замелькали,
Десятилетиями умчались в мрак.
Вот наступило (как не наступить!)
Последнее, возможно, пятилетье.
Да где ж снотворные таблетки эти!
Нашли? Спасибо! Чем бы их запить?

* *
*

Как дорогую смятую картину,
Я расправляю прошлое в уме.
Служу осторожно паутину,
И что ж, куда я взор ни кину,
Чего-то не хватает мне.

Так ярки и свежи еще местами
Штрихи и краски отошедших дней!
Я с легкостью врываюсь в них глазами.
Они бросаются навстречу сами.
Но с ними рядом мрак еще черней.

О, сколько там разбито, позабыто,
Убито! Сколько не могло расцвести,
Попало под колеса, под копыта,
Густой смолою времени залито
И о себе подать не может весть.

Я выбираю точку наудачу, —
Она жила у памяти в тени, —
Там я и ты, и целый мир впридачу.
Немыслимые прожитые дни!
Я погружаюсь в них. Нет, я не плачу.

* *
*

Мне под утро снилось море —
Только небо и вода,
Бесконечные, как горе,
Что приходит навсегда.

Небо, море цвета стали...
Только вспомнить не могу,
Был ли берег, и едва ли
Я была на берегу.

Февраль 1999.

Иерусалим.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ

*

АМЕРИКА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Записки натуралиста

Странности

Все полтора часа занятия студенты сидят передо мной в бейсбольных кепках. Штукатурка, что ли, на плешь насыпется? В тренажерном зале толкают в ней штангу, каждый раз задевая перекладной за козырек. А играя в баскетбол на улице, поворачивают козырьком назад, чтобы не мешала.

Вообще у американцев какая-то непропорциональная оценка потребности в одежде. Всю зиму многие так и ходят в шортах, только куртку дутую сверху накинута. А чуть выпадет снег — выйдут отгрести его от ворот в шерстяных масках с вырезами для глаз, как у полярников и террористов. Я и сам к шортам незаметно привык, стал в них и дома, и на занятия ходить. Удобно оказалось — продувает, коленки не вытягиваются.

Обожают экипировку. Чтобы она точно соответствовала проводимому занятию. Доехать на велосипеде километр по тихой улице — наденет шлем, повышающие скорость рейтузы. Выйдет покататься на роликах у дома, едва ноги переставляет — полный набор: обтягивающий костюм, шлем, щитки на руках и ногах, горнолыжные затемненные очки.

Босиком в спортзале ни один не ходит. Обязательны кроссовки. Даже тапки не пойдут. Кроссовки желательны побольше, с бортиком. Носят их нараспашку, незашнурованными — для вентиляции, нога внутри так и пылает.

Целомудренные. Плавал в университетском бассейне в обычных шерстяных узких плавках, которые у меня пятнадцать лет. Пригляделся, уяснил, что так — просто неприлично, вызывающе. Должны быть широкие спортивные трусы до колен. В них многие ребята и в сауне сидят, стесняются, под душем только оттопырят.

Хай! Бай!

Пожалуй, к манере общения русскому труднее всего привыкнуть в Америке. Никак не могу ухватить эту манеру. Внимание и в то же время безразличие. Я или начинаю брататься, или остаюсь нелюбезно немногословен. Когда пытаюсь изобразить их любезность — тянет что-то вроде расшаркаться и раскланяться, в стиле восемнадцатого века.

У них чем ближе человек, тем меньше восклицаний при встрече-прощании. У нас наоборот: чем ближе — громко, чужому — сдержанно. Такие вос-

Журнальный вариант.

Туробов Алексей Львович родился в 1957 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ и аспирантуру Института философии Российской академии наук, кандидат философских наук. Провел год в США как преподаватель университета. Совмещает практическую работу в области государственного права с занятиями литературой. В «Новом мире» (2000, № 3) в соавторстве с Е. Князевой опубликовал статью «Единая наука о единой природе».

торженные интонации у меня просто голосовые связки не воспроизводят. «Oh!! Fine!! Good!! And you??» С приписком даже.

«Хай!» при приветствии я тоже еле из себя выдавливаю. Какое-то вялое гавканье. То ли дело наши «Привет!» и «Пока!». Крепкие, энергичные слова.

В рукопожатии есть свои отличия. Наши мужики часто здороваются за руку как-то сбоку, сприсядки, заговорщицки. В школе у нас называлось — «Держи краба». А эти прямо стоят, далеко тянут выпрямленную руку, прямо смотрят в глаза.

Оптимисты

— How are you doing? (Как у вас дела?)

— Oh, thank you, I'm fine! And how are you? (О, спасибо, прекрасно! А как вы?)

— Oh, thank you, I'm just fine! (О, спасибо, просто прекрасно!)

— Good! (Вот и хорошо, что все хорошо!)

Встретились и разошлись.

Как-то я пожаловался соседке по кабинету, веселой преподавательнице испанского, что эта бессмысленная перепевка действует мне на нервы. Нельзя ли ритуал немножко подсократить?

— Э нет! — отвечала она. — Меня еще мама в детстве учила: «Не забывай сама спрашивать в ответ: „And how are you?“ А то будет невежливо».

С тех пор я, сталкиваясь с соседкой в коридоре, хитро смотрел на нее, дожидаясь ее приветствия и в ответ спрашивал: «And how are you?» При этом особо ударял на «you», как скажут в магазине или автомастерской, когда клиент покровительственно поздоровается первым: мол, мы-то что, вот вы-то как?

Передача была по ТВ в прямом эфире, как выпутываться из долгов. Звонит зритель, обращается к ведущему:

— Как вы?

— Прекрасно! А как вы?

— О, спасибо, просто прекрасно!

— В чем вопрос?

— Да я тут потерпел банкротство... Тяжко. Такое чувство, что весь мир ополчился против меня.

У нас если отвечает на вопрос: «Как дела?» — «Прекрасно!» — значит, нечестным трудом живет или не работает. Значит, продавщица ворует или чиновник взятки берет. А если «Потихонечку» — значит, работага.

А для них «Потихонечку» (Little by little) — значит, что-то задумал нехорошее, скрывает, что-то на уме. Под других копает. А если «Fine!» — значит, на других не глядит, своим доволен.

Правило общения

Важнейшее правило американского общения — «Be articulate!» (Будь выраженным!)

Это значит, попав в общество, не кукуйся, не отсиживайся в углу, не изображай из себя умника. Если нечего сказать — все равно говори. Если кажется, что тут не с кем говорить, — подходи к кому-нибудь и что-нибудь говори!

Исходящие от тебя звуки должны быть громкими, отчетливыми. Желательно, чтобы их вообще было побольше. Мямленью тут нет места. Неприемлемо хихикать и испускать всепонимающие тонкие полуулыбки. Надо только громко и отчетливо смеяться: га-га-га!

Нет места публично выставленному духовному томленью, переливам психологии. Люди хотят иметь о тебе ясное и простое представление, и ты дол-

жен помочь им в этом. Не лишне рассказать о своем прошлом, о своем background (подоснове), — это поможет лучше понять тебя. Желательно вообще составить о себе краткую легенду, чтобы не отцеживать каждый раз из всей своей жизненной истории три-четыре значимых для других момента.

Не стесняйся открыто говорить о своих планах и намерениях, даже если они корыстные. Тебя поймут, тут все такие.

Барьер

Всякие наши прошлые фразочки типа: «Врага надо знать в лицо» — оправдание слушания «Голоса Америки». Отсюда наша ухмыльчатость, себе на уме и, в общем, испорченность. Выражается глазами вниз и такой всепонимающей, всепрощенческой улыбочкой. Отпечаток на трех поколениях.

А у них своя испорченность, заметная для нас. Наивное, прямое, иногда довольно пламенное отстаивание чего-то, прямой взгляд, прямой ряд зубов и губ (у нас — змеиный, лисий), но и — барьер как бы перед лицом у каждого стеклянный: поговорили — и хватит, у каждого свои дела.

Взгляд этот прямой устремлен через тебя на его (свои) дела, к которым он сейчас же рванет, сказавши тебе: «Take care!» — и показавши пятерню пальцами вверх.

Бумажки

Россия: закон торможения бумажки. «Бумаге ноги требуются».

США: закон ускорения бумажки. Как круги по воде: стоит заикнуться — спешат исполнить. Если просьба в пределах достижимого — сделают, и ничего ходить проталкивать не надо. Но если уже за водоразделом возможного — никакие ноги не помогут.

(Проверил на нашей университетской администрации — заказал компьютер с русским шрифтом. Прислали через месяц, прямо с завода.)

Доверчивые. Контракт на год подписали (а весь контракт-то: факс, на котором сначала президент университета поставил свою приглашающую подпись, а потом я свою соглашающуюся), просвещать молодежь на трибуну выпустили, а ни университетского, ни кандидатского диплома никто так и не спросил. Пишет про себя Туробов, что он PhD, — значит, такой и есть.

Чековая книжка

Взяв в продуктовом что-нибудь к обеду, доставал новенькую чековую книжку и с удовольствием вписывал в очередной листок: «Уплатить по предъявлению магазину „Марш” \$ 4.56 — четыре и пятьдесят шесть сотых доллара», — ставил подпись, вырывал и протягивал кассирше. Причем в кармане имелось достаточно наличных. В кино насмотрелся, что ли? Там все американцы выписывают друг другу чеки, попыхивая сигарой.

В сущности же мои действия выглядели смешно и даже подозрительно. Выписка чека на четыре с половиной доллара означает, что человек сидит на бобах, дожидается полочки и рассчитывает, что, пока чек дойдет до банка, деньги как раз и придут. А может, и того хуже — что чековая книжка осталась, а счет уже закрыт.

Потом перешел на кредитную карточку. Выбрал VISA, самую универсальную. В ходу еще карточка American Express, но она считается удобнее для тех, кто часто ездит за границу. Потолок кредита дали тысячу долларов — половиной месячной зарплаты. Единственное условие для получения — наличие рабо-

ты. Есть банки, которые соглашаются выписать кредитку и без наличия регулярного дохода, но под крупный денежный залог тысяч в пять долларов.

В обязательном порядке нужно еще и завести карточку социального страхования. Ее номер, прописанный во всех компьютерах, по сути, заменяет американцам все наши так называемые «паспортные данные».

Вообще, кредитная карточка тоже не нужна. Только затягивает в покупки. Собственно кредитом, то есть рассрочкой платежа, я так ни разу не пользовался. Но во многих делах карточка служит как бы подтверждением состоятельности. Например, машину без нее в прокат не дадут. Да и просто потратить удобно: сунул кассирше, она там возится, а ты стоишь посвистываешь.

Быт

Хорошо, когда в жилище два этажа. Я никогда так не жил. Возникает дополнительное чувство защищенности. Как в башне замка. Стоит внизу незнакомец, а ты его незаметно наблюдаешь сверху, можешь облить кипятком или варом.

Но здесь появляется и некоторая таинственность. Идешь в темноте наверх по лестнице, и, пока не доберешься до выключателя, немножко страшновато. На этом у американцев построены многие фильмы ужасов. Что-то страшное ожидает наверху за дверью.

Пооглядевшись вокруг, вообще перестал входную дверь запирают. Зачем? Трата времени и ключа. И машину не запирает. Один раз только из пепельницы в ней мелочь выгребли, а так за целый год — ничего. Но такая идиллия, конечно, только в маленьких городках.

Однажды в гостях спросил: сколько у вас в доме комнат? Стали пальцы загигать, так точно и не выяснили. А дом вполне обычный. Официально считаются только спальни. Покупают «дом с двумя спальнями», «дом с тремя спальнями». Остальное все привесок. Где уж тут про жилой метраж спрашивать, потребный для постановки на учет.

У меня спален две. Дом представляет собой цельное здание, но с отдельным входом и маленьким огороженным двориком с обратной стороны у каждого. Берут за такое удовольствие 400 долларов в месяц. По-божески, поскольку дом принадлежит университету.

Рукомойники тут дурацкие. Краны толстенные и очень короткие, как грибы-боровики торчат. Когда руки моешь, все время тыкаешься изнутри в раковину. Особенно противно в общественных туалетах. То ли дело наш добрый длинный сосок — из него и попьешь, под ним и холку смочишь.

Еще унитазы. У нас отход плюхается на керамику, откуда смывается водой. Ну, в крайнем случае подтолкнешь щеточкой. У них иначе. Вода постоянно стоит в чаше. При спуске она водоворотом уходит вниз, а новая сразу натекает сверху. Вроде бы чисто плотнее. Но попробуйте-ка бросить в воду что-нибудь тяжелое. Будет всплеск. Он-то каждый раз бьет в вас снизу. Некоторые привстают, другие уж не знаю как, всю жизнь мучаются.

Дверь в туалете мы закрываем после пользования. А они, наоборот, открывают для проветривания. Вот вам и разные национальные характеры. Правда, у них кондиционеры тут же вытягивают. А у нас с кондиционерами-то не богато.

В городке нашем нет голубей, они не клюют мусор и хлеб — их никто не бросает. Не бегают так просто кошек и собак. От этого впечатление какой-то мертвости на улицах. Под стоком раковины у меня на кухне — рубящая машинка для мусора. Бросаешь туда, в отверстие раковины, всякую дрянь, объедки, даже кости — измельчает и уносит с водой. Раз в неделю только, по средам, вынесешь утром мусор в пакетах — картонки и бутылки, — выставишь у проезжей части. Оранжевые мусорщики подъедут, заберут.

Открытие

Приехал в университетскую прачечную сдать белье и решил дополнительно попросить пододеяльников (я был как бы на их снабжении). Пододеяльников в прежнем комплекте почему-то не оказалось. самого главного слова — «пододеяльник» — я не знал, поэтому стал объясняться жестами:

— Конверт такой, в него вкладывается одеяло.

— А! Нет-нет, у нас в Америке такого нет.

Маленькое этнографическое открытие: Америка не знает пододеяльников!

А действительно, они им и ни к чему. У них постель настилается иначе. Кладется одна простыня, на нее вторая вместе с одеялом. Края зажимаются по периметру между матрасом и остоном кровати. Получается как бы кокон. Удобно — одеяло не сползет, в бок не надуется, простыня не сморщится.

Марихуана

Парень, у которого я впервые, неопытный, заправлялся на бензоколонке, меня запомнил, каждый раз потом приветливо махал рукой, когда я проезжал мимо. Голубые глаза и пшеничные усы делали его похожим на украинского хлопца, только не едящего сала и не пьющего самогонки.

Жил он совсем рядом — снимал скромный белый одноэтажный домик вместе с матерью, молодой женой, по-нашему — пэтэушницей, и бельчонком в коробке. Подрабатывал еще и починкой и продажей старых автомобилей.

Как-то я побывал у них и обмолвился без всякой задней мысли, что вот бы попробовать марихуаны — легендарного снадобья американской молодежи.

А через пару дней хлопец сам неожиданно зашел ко мне и так хитро на меня смотрит. Достает из пачки сигаретку потоньше обычной.

После пяти затяжек у нас началась довольно странная беседа. К тому моменту, когда Майкл переходил ко второй части предложения, я успевал забыть, в чем заключалась первая. Потому что его предложение на середине перебывала моя собственная мысль. Но мысль, дойдя до середины, сама куда-то исчезала. Может быть, потому, что я начинал вслушиваться в первую часть нового предложения Майкла.

Мы были похожи на людей, которые по очереди на секунду засыпают, а очнувшись, пытаются подхватить нить беседы. От беспомощности собственного мыслительного аппарата мне было ужасно смешно.

— Слушай, — поделился я с Майклом впечатлениями, — я бы сделал лозунгом марихуанокурения вопрос: «Так о чем мы сейчас говорили?»

— Похоже, — согласился он.

Потом уговорил меня ехать на его машине за тридцать километров смотреть водопад, где он всегда рыбачит. Доверился, механик все же.

Средний класс

Всю субботу — противный стрекот и гул с двух сторон. Сосед слева стрижет свою лужайку машинкой, соседка справа — трактором. Мне кажется, им просто нечем заполнить свой досуг, от тоски. А тут: трактор есть, куплен, конечно, тщательно отобран при покупке по характеристикам, чертам — надо их и использовать. Ну и физическое упражнение — машинка кило двадцать весит: туда ее, сюда, рядками. Запах травы приятный (правда, если слишком сильный — довольно противный, травного сока).

Да мощный трактор у бабы — примерно как самолет реактивный в полукилометре рычит. Начали в десять, закончили в четыре. Не то чтобы поко-

пять. На участках ни деревца, ни кустика. Все-таки средний класс — пижоны во многом.

Был в гостях у одного профессора в Кентукки. Большой участок земли при доме, примерно с наших тридцать соток. Участок весь лысый, одна трава бобриком. Только посередине участка — островок кустов и деревьев. А внутри островка скрыт маленький милый огородик.

Стал допытываться — и вытянул у коллеги подтверждение своим догадкам.

Они просто стесняются копать в земле на глазах у соседей. Как-то неловко: нет денег, что ли, съездить в магазин пучок редиски купить? А если деньги есть и все равно копаешься — значит, времени у тебя лишнего полно, значит, списан ты в отставку и никому не нужен. Неудобно в обоих случаях.

Жирные

В Америке очень много жирных. Заметно больше, чем у нас. Американская жирнота особая — рыхлая, трясущаяся, выпирающе-бугристая. В Москве иногда увидишь со спины такого, обгонишь — точно, американец.

Главные калории идут от сахара. В литре кока-колы его 8 кусков! И все остальное в Америке — колбаса, пицца, хлеб, соки — тоже сильно переслащено. Сразу заметно для непривычного европейского рта.

Американская жирность и более скороспелая, растущая как на дрожжах. Типичная, десятки раз во всех уголках Америки виденная сценка. Из машины, немывтого джипа с открытым кузовом, вываливается тройка. У мамыши толстенный зад, она переваливается как кряква, на ней широкая, скрывающая формы блуза-малахайка и клешеные брюки. Папаша — в красно-черной клетчатой ковбойке и бейсбольной кепке. Живот нависает над туго затянутым ремнем, но до стадии нарушения обмена веществ, как мамаша, еще не дошел. Видно, много трудится у себя на ферме или фабрике. Вслед за ними уже распухающий, как парниковый огурец, детка-гинейджер. В незашнурованных кроссовках, бейсбольной кепке козырьком назад, с пакетом чипсов под мышкой.

Идут отовариваться на неделю. Через двадцать минут (хватает быстро, почти не глядя, заранее знают, что и на какой полке брать) выкатят две тележки всяких Corn Dogs, Turkey Franks, Bud Light, Kit-Kat... Америка пойдет воспроизводить себя.

Гамбургер

Разнообразие в американской еде достигается больше за счет формы, чем содержания.

Поджарят котлету на гриле — это бургер. Положат котлету между двух половинок булки — это гамбургер. Положат туда еще полоску безвкусного белого сыра — это чизбургер. Положат вместо него столь же безвкусный, но оранжевый сыр «Чеддер» — будет уже «Чеддер мелт».

Сэндвич обретает название «Sub» (сокращенное от submarine), когда делается из булки в три раза длиннее обычной. В самом деле похожа на подводную лодку.

Двойной гамбургер я бы вообще сделал символом Америки.

В нем отражается сразу все: и американская страсть громоздить, воздвигать, и американская практичность (ведь в лице одной порции съедаешь как бы сразу две), и американская дурь, проистекающая частично из практичности.

Вы когда-нибудь ели двойной гамбургер? Он просто не влезает в пасть! Котлеты и луковые кольца выскальзывают, соус по пальцам течет, щеки измазаны. Куда удобней съесть последовательно два одиночных — так нет же!

А Россию назову страной пирожков. В пирожке тоже богатый смысл. Неприхотливость русских. Пирожок можно мять, греть, с собой таскать — ему все ничего. Национальная страсть подмухлевать. Я все мечтаю встретить пирожок, где начинки больше, чем окружающего теста. Наконец, русская доверчивость. Берешь пирожок, а ведь не знаешь, что там внутри, веришь в лучшее.

Правда, оплот гамбургеров, ресторан «Макдональдс», происходит из Канады. А слово «гамбургер» — от названия города Гамбург. Но двойной гамбургер есть все-таки произведение Америки.

Говорят, есть и тройные гамбургеры.

Надуриловка

Покупаешь, например, кукурузные хлопья к завтраку. Читаешь на боку коробки: «Калорий на порцию: 260. Сахара на порцию: 14 г».

Сколько же составляет эта порция (serving)?

А по-разному. В коробке одной фирмы она определена в $\frac{1}{2}$ чашки, или 55 граммов, в другой иначе. А если чашка у меня большая, нестандартная? Вот и стой у прилавка, чеши в затылке. Под видом услужливости — мол, и на порции уже для вас поделили, вам и думать не о чем — наводят тень на плетень. Каждый хочет выставить показатели своего продукта получше. У нас честнее: все меряется на 100 граммов.

Зато на каждой упаковке проставлен холестерин (они его зовут «холестерол»). У нас про холестерин мало кто и знает, он фигурирует только в специальных медицинских анализах, а здесь почти каждый его скрупулезно высчитывает. Пять лет уже не ел пиццу коллега Джим. Врачи не велят — огромный холестерин в крови. Еще две пиццы — и он в могиле.

Кофе

Американцы встают рано, в семь тридцать может уже начинаться работа или учеба. В такую рань и есть ничего не хочется. Многие поэтому ограничиваются просто чашкой кофе.

Когда-то в Красноярске, в командировке, в рабочей столовой видел завтрак: тарелка жирного борща до краев, две котлетки с вермишелью, чай с пятью кусками сахара и белой булкой, стакан водки. Чудовишно.

Кофе на работе пьется непрерывно. Черным и горьким — без молока, сахара или печенья. В каждой комнате стоит кофейная машина, в стеклянном кувшине (карафе) всегда есть горячий.

Я думаю, кружка кофе, постоянно подносимая ко рту, им заменяет сигарету. Курильщики сейчас — везде изгой. В университете выскочат на перемене на улицу, на ступеньки, потянут — человек пять на весь корпус гуманитарных наук. Для них даже урны не предусмотрено. Кто куда окурки прячет. Процент курильщиков среди студентов, наверное, близок к проценту гомосексуалистов или социалистов.

А почему у нас на службе раньше непрерывно пили чай? А делать было нечего.

US ассорти

Долго охотился за настоящей соленой сельдью. Берешь баночку исландской копченой в горчичном соусе — сладкая и в укусе. Берешь баночку норвежской в перечном соусе — сладкая и в укусе. Ну вроде бы свои, европейцы, могли бы нормально сделать?

Однажды нападаю: «Филе сельди в сметанном соусе». Развесная, дорогая, нежно-палевого цвета — точь-в-точь наша! Я так долго кручу головой у блюда на прилавке, что продавщица дает мне, против правил, попробовать.

Сладкая оказывается, гадина!

— Селедка должна быть соленой! — безнадежно поучаю я продавщицу. Она растерянно улыбается и пожимает плечами. Что толку, у нее другой кислотно-щелочной баланс.

Воздушную кукурузу делают дома сами. Кладут на сухую сковороду сухие зерна, сковороду раскаляют и прикрывают сверху крышкой. Зерна начинают лопаться со щелчком и подпрыгиванием, вспениваться и застывать. Так неделями кормились в походах доколумбовские индейцы.

Картошку любят печеную и едят ее прямо с кожей. Разрезают картофелину пополам и намазывают на половинки изнутри сметану или сливочное масло.

Любят большие тяжеловесные белые тарелки, по размеру близкие к подносу, — чтобы кусочек разложить как следует. Никогда почти не пользуются ножами, только вилкой, которую держат в правой руке, даже в официальной обстановке.

Вилкой едят арбуз, разрезав его пополам. Апельсин выковыривают ложкой из кожуры.

Хлеб холодный и не станут есть — он для них все равно что для нас сырая рыба. Разогревают в тостере.

Зато жидкость любую питьевую обязательно подмораживают. Как-то были в гостях, просим, чтобы сок был не холодный — не из холодильника, у дочки горло болит. Такого не оказывается. Дают эмалированную мисочку, в ней приходится подогревать. Смотрят на нас как на идиотов, как будто мы бензин собрались пить горящий.

В ресторане быстрой еды «Пондероза» (хорош тем, что за пять долларов попадаешь внутрь и можешь там хоть умереть от ожорства) просим подносильщицу воды безо льда.

— Как-как?

— Воды безо льда, просто запить, стаканчик!

Приносит все-таки лед без воды.

Полдня могут таскать с собой баночку или бутылочку с каким-нибудь цветастым синтетическим пойлом, попивая по чуть-чуть. Жажда замучила — так выпей сразу, а если жажды нет, зачем таскать? Ладно, будем считать, такие хотят пресечь появление жажды на корню. Любят непрерывно чем-то хрустеть (чипсами, конфетками, соленой соломкой, жареной картошкой) — чтобы пресечь в зародыше и вредное, толстящее чувство аппетита.

Нью-йоркская сценка: девушка на велосипеде, резкий поворот прямо в прорезь встречных машин, на голове шлем, в руке на отлете — банка кока-колы. Как будто через минуту всю воду отменят.

Стакан виски и лед закусить, пожалуйста

У русских известная доза: бутылка водки на мальчика, бутылка вина на девочку. Что же является нормой для американца?

Ответ я нашел в брошюре «Сколько крепких спиртных напитков нужно для вашей вечеринки». Брошюрка бесплатно раздавалась в одном из винных магазинов нашего городка — в Andy's Liquors. (Для справки: винных в Гринфилде — три, церквей, согласно адресной книге, — двадцать шесть.) «Для предобеденных коктейлей на четырех человек, — значилось там, — 8 — 12 порций (drink) (необходима одна бутылка). Для вечеринки в целом: 12 — 16 порций (необходима одна бутылка)».

Сколько составляет сам «дринк», точно не установил никто. Хотя именно из этой мерки исходит полицейский запрет пить не больше двух порций («дринков») за рулем. Примерно можно вычислить, что порция составляет 40 — 50 граммов крепкого. Стало быть, американцу на весь вечер нужно около 150 граммов.

Еще есть понятие «shot» («залп»). Оно примерно соответствует нашему «остограммиться». То есть хлопнул — и побежал. Как-то я спросил у бармена, сколько это. Оказалось, ничего субъективного тут нет. «Залп» равняется одной жидкой унции, то есть 29,5 грамма. Даже стаканчик есть железный мерочный.

Так что «двойное виски», которое заказывают американские гангстеры в промозглую погоду, — это всего-навсего 60 граммов. Хлипкие какие-то гангстеры. Нормальную нашу дозу — «пятерную водку» — в Америке и выговорить-то неприлично.

Со спиртным в Америке отнюдь не такая вольница, как у нас. Перебрал в субботу — в воскресенье переходит на воду. Винные магазины открыты, но спиртное в них продавать не разрешается. В одних штатах — весь день, в других, более либеральных, продают начиная с полудня.

По рядам американской молодежи ножом проходит цифра 21. У кого возраст меньше, тому пить запрещено. Причем к запрету относятся вполне серьезно. Несовершеннолетний паренек-кассир в магазине, чтобы среди прочей снеди пробить за бутылку вина, подзывает к себе другого, старшего по возрасту кассира.

В нашей Индиане все крепкое продают в специальных винных и в аптеках, а в обычных супермаркетах — только пиво и вино. Будучи в Нью-Йорке, спросил в аптеке на Бродвее, по привычке: «У вас есть liquors (крепкие напитки)?» (Не путать с ликером — liqueur.) Посмотрели как на дурака. Другой штат — другие порядки.

Здоровенные флаконы рома и виски стоят в аптеке рядом со всякими примочками и пульверизаторами — трехлитровые, запыленные. Ни разу не видел, чтобы кто-то брал. Кто же их, в самом деле, выжирает? Все в основном пиво тянут связками. Связки по шесть или по двенадцать банок значительно дешевле. Шесть банок вместе могут стоять как одна-две одиночных.

Самое популярное пиво — Bud Light. Оно слабое и водянистое. Сколько в нем градусов, понять трудно — на американских пивных банках и бутылках градусы никогда не ставятся. Зато бутылки очень удобно открывать. Железные пивные крышки на вид обычные, но с резьбой внутри, повернул — она хлопнула и открылась.

Существует особый тип пива — Malt Liqueur. Malt считается напитком убойным и особо славится у бездомных негров. Это недодержанное пиво, типа сусла, более сладкое, густое, крепкое и вредное. Напоминает полюбившегося москвичам «Белого медведя» или «Амстердам».

Сухое вино обычно присутствует на вечеринках вместе с пивом и лимонадами, но вообще у населения не в особом почете. Калифорнийское сухое хоть и дешево, доллара три за бутылку, но считается невысокого качества. А импортное, французское и итальянское, сразу подсакивает в цене долларов до семи — девяти.

Есть зато милое и простое изобретение для простых людей — виноградный или яблочный сок, смешанный со спиртом. Называется «20/20» и продается в прямоугольных стеклянных фляжках, крепостью 18 градусов. Оно не столь приторное и липкое, как наш портвейн, а шибает будь здоров. Уверен, «20/20» стал бы у нас народным напитком.

В любом магазине, как матрешки, стоят в ряд бутылки одного напитка, но в разных дозах. Они все кратны «ноль семи»: галлон (три и семь десятых литра), полгаллона, ноль семь, триста пятьдесят и так далее, до исчезающе малых величин. Очень удобно.

В целом на людях — в ресторанах, в гостях — американцы пьют мало. Стараются не пить. Никто не запрещает, даже косо не посмотрят, но все же есть стереотип: нежелательно показать, что пьешь. Как раз наоборот у нас — нежелательно показать, что не пьешь.

Из университетской газеты: «В общенациональном масштабе в среднем 24,5 % всех студентов пьют по крайней мере раз в неделю. В нашем университете эта цифра составляет 85%. Маленький университет, неширокий круг об-

щения. Что студенты предпочитают пить: 71% — пиво, 28% — коктейли, 12% — крепкие спиртные напитки, 14% — вино».

Полиция

Впервые попался полицейскому. Превысил скорость.

Когда вдруг в темноте за спиной начинают сверкать мощные красно-синие мигалки, требующие съехать на обочину, возникает паническое чувство: так это мне?!

Но выходить из машины и бежать кланяться назад не надо, это даже запрещено. К тебе подойдут, встанут слева за плечом, посмотрят бумаги, потом, если надо, пригласят в полицейскую машину.

Первого попадания я специально ждал. Хотел проверить свои водительские права. Красную книжицу с юношеской физиономией двадцатилетней давности и единственными латинскими буквами «SU» среди корявых русских надписей чернилами от руки следовало давно сменить на новые права в форме пластиковой карточки.

Полицейский в книжицу посмотрел, ничего не понял, сверил только по рации номер, нет ли в черном списке, и вернул (штраф в 60 долларов выписал, как положено). Выходило, в Америке права мои действовали! Вот какая страна Америка!

Их полисмены тоже толстые, замедленные. Но у них животы как-то вверх ремнем подпираются, а у наших как-то вниз обвисают. Форма старая, с сюртучком цвета маренго, делает наших женообразными.

Мигалки в России красно-синие — только у правительства, а у милиции и «скорой» просто синие, второй сорт. У американцев — наоборот. Уважение к полиции и «скорой».

Как у всех

Возьмите среднее арифметическое от наших садовых домиков конца 50-х, выкрасьте их в белый цвет — и вы получите дом семьи lower class, то есть бедных. Таких у нас в Гринфилде несколько кварталов.

Без крыльца и веранды, с парой глядящих на улицу занавешенных окошек, с вросшим в землю автомобилем, который хозяин мечтает когда-нибудь отремонтировать и продать, с грудой прислоненного к задней стене хлама, потому что гаража или сарая, куда все это спрятать, нет. Такой дом напоминает обустроенную керосиновую лавочку.

Но внешне все прилично. Трава стрижена, мостовая не загажена, качели во дворике качаются, глиняный гномик стоит. Над входом, как почти у всех, реет американский флаг.

Дом на колесах

Если едешь целый день по большим шоссе, встретишь не менее десятка необычных кавалькад. Спереди и сзади два коротких грузовичка с предупреждающей вывеской на крыше: «Негабаритный груз». Между ними — тягач. Тягач тянет дом на колесах. Дом длинный, белый, в ширину занимает целую полосу, и обгонять его приходится с опаской.

Человек или купил новый дом, или переезжает со старым на новое место. Приедет, снимет колеса, закроет кирпичами щель между полом и землей, подведет свет, газ и воду, поставит рядом автомобиль — и заживет себе. Оформив, конечно, аренду занимаемой земли.

В таком доме есть все, что и в обычном, включая ванную, кондиционирование воздуха, спальню, разве что нет второго этажа и подвала.

Поживет человек хоть год, хоть три, найдет новую работу или просто найдет ему в здешних местах — приставит он колеса, расплатится по счетам, наймет тягач и уедет. Останется только утоптанная им и его детьми лужайка.

И человек этот — вовсе не деклассированный элемент, а перевозной дом не так уж дешев. Конечно, вполне богатый вряд ли его купит. Но молодым и малосемейным он к лицу. От дома — керосиновой лавки, хоть по цене он в той же категории, веет обреченностью. Если такой купил, значит, окончательно обозначил свое место под солнцем. А дом на колесах, хоть и отдает бродяжничеством, говорит, что человек на себя еще не плюнул, что он верит в лучшее.

Почти американец

Асфальтовая стоянка в тридцати метрах от моей входной двери. Но иногда я люблю подогнать машину поближе, прямо под окна, на траву. Надо только, чтобы трава была сухой, не раскисла от дождя. Иначе можно повредить ее покров. Бордовый, с серебристым отблеском Cutlas Calais красиво смотрится на темной зелени лужайки. Бордовое на темно-зеленом. Мой автомобиль из моего окна на моей лужайке.

А когда мне надо опустить письмо в почтовый ящик, я не хочу тянуться в противоположное окно машины. Поэтому допускаю маленькое нарушение. Быстренько выезжаю на встречную полосу, по этой улице все равно никто не ездит, и спокойно опускаю письмо в желтый ящик из окна левой рукой.

На стоянке у магазина я проделаю и два, и три, и четыре круга, пока не найду самого близкого ко входу места. Почему это я должен идти издалека? Почему это я должен забрызгивать себе брюки? Пусть неудачники забрызгивают себе брюки.

Студенты

Американские студенты мало читают. Когда на заседании кафедры я объявил, что потребую от своей группы прочитать целиком «Братьев Карамазовых», коллеги мне просто не поверили. Для них это все равно что рядового школьника на уроке физкультуры заставить пробежать десятикилометровую дистанцию. А курс был специально по русской литературе.

Два-три человека прочитали. Другие объявили, что на это у них нет времени и сил, и просили перейти на выдержки. Что в итоге и пришлось сделать.

Зато студенты очень много пишут. За четыре года учебы в нашем университете им надо прослушать не менее 31 курса — десять из них в главной избранной дисциплине (major), остальные по свободному выбору. Каждый курс включает три проверки — промежуточный экзамен, домашнее сочинение и экзамен конечный. Из всех трех выводится общая оценка. А — высшая, А с минусом — пониже, В — примерно соответствует четверке и так далее. Все проверки, почти без исключений, — письменные. Сочиняешь два-три вопроса, из которых разрешается выбрать, и группа весь урок скрипит над ними в аудитории или уносит для подготовки на неделю домой. Зато никакого субъективизма, все можно проверить, обсудить и, если до того дойдет, оспорить.

Объявлять оценки при всех не полагается, кого-то этим можно задеть. Нельзя при всех хвалить и ругать — учеба каждого считается его индивидуальным делом. Все обсуждается с глазу на глаз во время приемных часов в профессорском кабинете. В конце концов профессор — наемный работник его, студента, посредником чего выступает администрация.

В нашем частном и довольно дорогом учебном заведении студент платит ежегодно 13 тысяч долларов за обучение и еще 4 тысячи за проживание и пи-

тание. За такие деньги он имеет право требовать внимательного личного подхода. Правда, 60 процентов всех студентов официально получают финансовую помощь в той или иной форме.

На одного профессора у нас приходится в среднем всего двенадцать студентов. По сути, это означает камерную атмосферу. В государственных университетах такое соотношение в несколько раз больше. Аудитории там обычно переполнены, к профессору не пробиться, но зато плата за обучение значительно ниже.

И работу после частного престижного колледжа выпускнику получить легче. Конечно, никто не считает, что если ты больше заплатил, то ты умнее и способнее. Сказываются все обстоятельства вместе. Качество образования, нацеленность на карьеру (готов вложить в образование большие деньги — значит, готов и работать с такой же отдачей), способность отвечать сам за себя, иметь дело напрямую с руководителем, а не прятаться в толпе однокурсников, да и просто соображения элитарности.

У студентов каждого года обучения свое полуофициальное прозвище: freshman (новенький), sophomore, junior, senior. Уже в период junior студенты начинают искать работу. В определенные дни в университет приезжают представители заинтересованных компаний и учреждений. Студенты ходят к ним на собеседования, называемые «интервью». Или же сами студенты ищут работу по объявлениям и ездят на интервью, часто в другие штаты. Просто получить ответ от фирмы на письмо (девять обращений из десяти остаются без ответа) и тем более быть приглашенным на интервью — крупное достижение. А найти работу по специальности сразу после университета — огромный успех.

Если видишь, что студент явился вдруг на занятие в строгом костюме с галстуком вместо извечной майки и бейсбольной кепки, выглядит бледней и рассеяней обычного — все ясно: после занятия идет на интервью.

Обязательно требуется составить о себе curriculum vitae — «описание жизни» и рассылать всем, кому только можно. Что и как там написать, чем привлечь к себе внимание, как вести себя на интервью — по этим вопросам пишется неисчислимое множество пособий, и потребность в них не ослабевает.

Чем может похвалиться двадцатилетний юноша, мало что успевший в жизни сделать и повидать? Кроме хороших оценок и результатов тестов, которые фирмы не пропускают мимо внимания, желательно подчеркнуть свою высокую общественную активность. Ездил за границу, помогал ухаживать за больными в Сальвадоре или Гватемале — плюс; значит, легок на подъем, с широким кругозором, не боится черной работы.

Рекомендуется указать и на членство в спортивной команде или в студенческом совете. И тем более на руководящую роль в них. Пусть пока ты руководил только расстановкой коек в общежитии или отчитывал провинившегося, перебравшего лишнего собрата студента. Фирма быстро вычислит по этим признакам нужные ей задатки. Начальник — он и со студенческой скамьи начальник.

Профессора

Перед каждым курсом профессору требуется составить «силлабус» — письменный обзор курса с требованиями к студентам, последовательностью прохождения материала и экзаменов, литературой. Странно, что студенты вплоть до первого занятия обзора так и не видят. Курсы им приходится выбирать из большого списка просто по краткому названию.

А на предпоследнем уроке сами профессора держат экзамен. Для младших, не укоровившихся в университете преподавателей он обязателен после каждого прочитанного курса. Но и для профессоров с постоянным местом (tenure) проверка проводится каждый третий семестр.

Студенты выставляют профессорам в специальном вопроснике оценки по разным показателям. Показателей шесть: преподавание, планирование, стимуляция, поддержка материалами, помощь, уважение. Дополнительно можно высказать замечания и пожелания в свободной форме. Собрать листки приглашают коллегу. Он вкладывает их в конверт, заклеивает его и сдает в деканат. Подписей, конечно, никаких не ставится. Но при желании листок особо навредившего тебе студента можно потом опознать по почерку — настолько примелькиваются за полгода их тетради.

Недели через две получаешь из деканата все эти листки и распечатку, заполненную цифрами с точностью до тысячных долей. Напечатанный в строке плюстик — ты сильнее других профессоров, минусик — слабее, ноль — на общем уровне. Через несколько лет, когда встанет вопрос, дать ли тебе постоянное место в университете, кипа этих листков станет решающей в твоей судьбе.

С получением постоянного места происходит и резкая прибавка в зарплате. В среднем по США в частных университетах с пятилетним сроком обучения зарплата «полного профессора» — 80 тысяч долларов в год без вычета налогов. Доцента (associate professor), не имеющего tenure, — 53 тысячи, ассистента (assistant professor) — 45 тысяч. В государственных университетах «полные профессора» получают в среднем 63 тысячи долларов. Еще ниже их зарплата в четырехгодичных колледжах: в частных она составляет 54 тысячи, в государственных — 48 тысяч долларов.

Для сравнения: квартиру с мебелькой в наших местах можно снять за 500 долларов, питание обходится около 200 долларов на человека, аренда машины в месяц — 350 долларов. А уже за 80 тысяч можно приобрести небольшой уютный домик.

Грызня вокруг постоянных мест на кафедре — обычное дело. Нередко доходит до суда. Излюбленный аргумент тех, кому в месте отказали, — дискриминация. Дискриминация как черного, как женщины, как марксиста... Или даже обратная дискриминация как белого, когда неграм официально предоставляется преимущественное право при поступлении, а белые отодвигаются во вторую очередь.

Но уж если ты постоянное место получил, уволить тебя не имеют права до самой пенсии, кроме редких исключений. Помимо ежегодного отпуска через каждые семь лет ты освобождаешься на год от всех занятий и можешь ехать куда глаза глядят, с полным сохранением зарплаты.

Смелая Джоан

Общественный ужин в университете по торжественному поводу. Двести человек, весь профессорский состав. Накрытые столы. Прохаживаются в ожидании парами и тройками. Вдруг, как по общей команде, перегруппировываются в кружки у своих столов. Стоя в кружке, надо сложить руки ниже живота, склонить головку, прикрыть глаза, постоять так полминуты — помолиться — и потом только сесть.

Я в кружок встаю, но руки не складываю и голову не склоняю. Поэтому вижу, что головку не склоняет еще Джоан. Наоборот, она поджимает губы и слегка подтоптывает ногой, как делают, когда приходится переждать какую-нибудь привычную глупость другого. Мы с Джоан понимающе переглядываемся. Молодец, Джоан. Но лучше бы с этим делом тебе поосторожней.

А что бы я сам стал делать, если бы надо было бороться за постоянное место, за то, чтобы оставили? Не знаю, стал бы, наверное, выть по-волчьи.

У нас «бог» произносится горячечно, глазами долу. А у них «бог» (god), у проповедников, — как индюки самодовольные задирают зобы вверх — протяжно, с оттяжкой: га-а-ад!

**Они все понимают,
только по-русски ничего сказать не могут**

Удивление иногда у встречных: откуда такое у меня произношение? Стараюсь говорить по-английски, избегаю по-американски, но рот у меня вклеен как у русского.

Спросил у американки: «А как русская речь звучит для постороннего уха? Я-то не могу со стороны послушать». Она похлопала слегка надутыми губами: «Ап-ап-ап».

А для меня американская женская речь похожа на колыхание жестяного листа, которым кроют крыши. Мужская — на карканье зазнавшейся вороны. Британский английский звучит благородной икотой.

Русский язык хорош для сюсюканья — в буквальном звучащем смысле: «У, ты мой сисисюсенький...» Английский — для мурлыканья гнусоватого: «Noney!» (Мильй!)

И ругнуться-то не могут толком. Вся их ругательная энергия уходит в «фак-фак-фак!». «Shit» (дерьмо) приличной публике сказать неудобно, поэтому в разговоре меняют на «шют». «What the hell!» (Какого черта!) на «Уот зе хек!». «Oh, God!» (О, Боже!) на «О, гош!». Чтобы не поминать имя Господа всеу.

Только живя за границей, видишь, насколько гибок, податлив язык. У самого себя начинаешь замечать оговорки, не те ударения, английские мысли, вплетенные в русский фон. У русских эмигрантов, особенно их детей, вырабатывается отвратительный жаргон. «Виндовки не пинтованы» — означает «Окна (рамы) не покрашены». Я зарекся говорить: «Давай возьмем айс-крима» — или что-либо подобное. Если так держаться, язык, наоборот, очищается. Газет ведь не читаешь, телевизора не смотришь, сора словесного не выпитываешь.

Запретная любовь

«Какой у вас хороший пиджачок», — замечает Сара, слегка касаясь его. Действительно, хороший пиджачок. Темно-синий, твидовый. Обычно хожу на уроки в чем попало, почти как дома, на машине-то ехать одну минуту, а тут принарядился.

Сама Сара любит сидеть на уроках в пышной пуховой осенней куртке, накинув ее на плечи. Зябнет, что ли. Активно выступает, не стесняется. Как-то сравнила национальный вопрос в России с поползшей петлей в свитере. Молодец, смыслит. Но с понтом — свитер. Известно, что бабы больше всего боятся поползшего чулка.

Личико у Сары милое, под курткой скрывается неплохая фигурка в джинсах. После урока она неторопливо уходит одна, без приятеля или подружки.

Я чувствую, Сара не прочь. Да и мне нравится Сара. Пусть есть девушки получше, но они ходят где-то, а эта — вот, сидит за партой и смотрит на тебя.

Есть только два экстраординарных основания для увольнения профессора, объяснял мне коллега Боб. Взятки и романы со студентками. Даже добровольные со стороны последних. Взятки вряд ли кто берет, и так зарплата большая, а по второму пункту за профессурой ведется буквально охота. Сейчас у них общенародная кампания против sexual harassment на учебе и работе. Не так взглянул, отпустил словцо — все, «половое домогательство». Университетский суд чести — и ты кончен.

У нас это называлось «аморалкой», а здесь называется нарушением integrity — целостности. Хорошее, более точное слово. Ведь никто не говорит, что близость со студенткой нарушает какой-то категорический императив. Просто ты вынужден скрывать, что у тебя была близость. Значит, ты расколот на две части: открытую для всех и скрывающую. Значит, в тебе потеряна «целостность».

Так что нет, Сара. Ничего у нас не получится, Сара. Так и будем ходить, друг на друга поглядывать. Я до приезда жены, ты до зимних каникул.

Это же деревня. Нам даже ландшафт местности мешает. Плоские стриженные лужайки с толстенными, ничего не скрывающими деревьями, оголенные пуританские дома без садов и заборов.

Правда, будь тут мой прежний коллега и приятель Анискин Олег Андреич, он бы сдружился с тобой прямо в классной комнате. Ну вот пусть приезжает и попробует.

Ребята и девочки

Считается, что американские студенты очень развязны, с профессорами запанибрата. Я бы не сказал. При мне ноги на парты никто не задирал, меня по спине не хлопал. Нормальные, обыкновенные ребята. Тянут руку, не шумят. Банку кока-колы или минералки только поставят перед собой, сидят потягивают, как скворушки, весь урок.

У студентов и с половой жизнью, мне кажется, не очень. Какие-то все бесполое на вид. Парочек, чтобы присели на скамейке, поцеловались, я не видел просто ни одной. Все куда-то бредут по лужайкам сами по себе, как муравьи.

У нас в МГУ на курсе были девушки — все-таки как-то принарядятся, запахом волнующим от них пахнёт, портвейна за компанию выпьют. А тут — кроссовки, шорты, майка, бейсбольная кепка — униформа. В баскетбол попрыгали, тренажеры потягали, в душе омылись — и по своим девчоночьим и мальчишечьим общезитиям. Живут раздельно, в «братствах» и «сестричествах», которые называются буквами греческого алфавита, например, «Тета-тета-каппа».

Баскетбол — культ американской молодежи. Баскетбольная сеточка, одна, без поля, без противника, висит на шесте почти в каждом дворе. Попасть мячом десять, двадцать, тысячу раз в манящее круглое отверстие — экстаз американского подростка. Так он готовит себя к будущей схватке за успех, проигрывает ситуацию упоения победой.

После 23.00 гости противоположного пола обязаны очистить чужое общежитие. Ребята спят все в одном зале, человек по тридцать, на трехъярусных полатах, в спальнях мешках, с распахнутым окном — как-то я был в гостях. Полезно, конечно. У каждого есть еще и место в комнате, обычно она на двоих, но ее стараются оставить свободной для занятий или развлечений.

Жить на отшибе в городе не полагается, университет может это позволить только в порядке исключения. Да никто и не рвется — скучно.

Любовь в маленьких городках крутят вдали от людских глаз — в мотелях. Целый набор удовольствий: в пятницу вечером романтически уехать с девушкой миль за сто, по пути дрыгать ногами от музыки, заплатить тридцать долларов, оставить машину, выпить пива, посмотреть телевизор, провести ночь, обтереться хрустящим полотенцем, в субботу до обеда заехать в расположенный по пути Диснейленд или парк бизонов, угоститься пищей и мороженым — и домой, за уроки.

Для всего этого нужно главное — машина. Поэтому половая зрелость связывается в сознании американского подростка в первую очередь с доступом к машине. Любовь к машине, любовь в машине, за любовью на машине — здесь целый американский комплекс.

Рождество

Перед Рождеством пригласил к себе домой Джим, заместитель декана по учебной части. Собралось человек пятнадцать. Видимо, те, кто ему близок по личной или служебной линии. Его секретарша с мужем, например. Тут у них без чванства.

Выпили чуть-чуть сухого, поужинали, заходя на кухню и прихватывая кто что хочет.

Затем началось главное. Гости расселись по софам в гостиной. Джим сел за рояль, водрузив перед собой толстую книгу рождественских хоралов. Стали петь. Да хорошо, слаженно, в слова даже не заглядывая. Видимо, уже не первый год так развлекаются.

Допоют один, решают, какой следующий.

— Давай двадцать пятый!

— Ой, нет, не потянем, у нас мужских голосов мало. Лучше тридцать первый, а потом пятидесятый, там, где «Господь сошел с Сиона».

Часа два пели без перерыва. Я пораскрывал губы на одном месте только — где надо петь единственное слово «Аллилуйя!» во все возрастающем тоне.

У нас бы в подобном случае ужрались и пели «Ой, мороз, мороз!».

В центре кампуса вдоль всех дорожек выставили в два ряда бумажные пакетики, а внутри свечка. Вечером зажгли. Километра два-три общей протяженностью. В честь выступления рождественского хора. (А еще только 7 декабря, две недели до Рождества.)

Думал: каким придуркам охота была ходить и расставлять? А утром смотрю — работник на маленькой машинке, шириной не более человеческих плечей, едет по тротуару и подбирает.

Не удивлюсь, если эта машинка называется машинкой для собирания рождественских пакетиков со свечками.

Местная гостиная под Рождество построила в фойе целый домик из пряничного хлеба, шоколадных плиток и конфет. С окнами и дверями, в полный детский рост. Лазай, отламывая и ешь.

Одна при мне проходила, прошипела: «Люди во всем мире голодают, а эти не знают, что уж придумать...» Активистка.

Они очень любят Рождество со снегом. А снег-то у них в это время редко бывает. Приходится налегать на вату.

Купи! Купи!

Я у нас никогда не видел в продаже половых тряпок. Они у всех как-то сами собой берутся. А тут — есть, разные, на выбор, подороже, подешевле.

Камины топят дровами. А дрова покупают упакованными в целлофан, в универмаге. Там же, где телевизор и проигрыватель, с которыми у камина отдыхают. И каминные не простые — закрываются герметичной огнеупорной прозрачной дверцей, для лучшего сгорания. И дымок-то не понюхаешь.

«Shopping» у них слово — как будто это какое-то натуральное физиологическое отправление (bleeding — кровотечение, digesting — переваривание). В продуктовом магазине Kroger деткам при выходе наклеивают на рубашечки круглую липучку со смешными рожицами и надписью: «I've been Krogering». Все равно что для посетивших ГУМ: «Я гумил».

Говорят — он окружил себя вещами. А я скажу еще — он подружился с вещами. Но это будет другое. Подружиться можно, например, со старой полуразвалившейся настольной лампой, с кепкой, которая подседа, а ты вставил в нее бутылку, растянул и снова ходишь.

Американцы в массе своей окружают себя вещами, но с ними не дружат. Они их или скоро продают, меняют на новые, или, если испортились, выбрасывают.

«The more you buy, the more you save!» (Чем больше покупаешь, тем больше экономишь!) Реклама по ТВ. Ну, по-своему правильно. На десять долларов покупок — экономия доллар, на сто долларов — экономия десять.

Выходим из супермаркета. «Я сэкономил на купонах шесть долларов», — с гордостью говорит коллега. (Книжечки купонов лежат при входе, каждую не-

делю обновляются. Вырываешь по перфорации на выбранный товар, протягиваешь в кассе при оплате и получаешь немножко скидки.) А зачем ему всей этой дряни? Если бы не было позыва сэкономить — вообще не покупал бы, и в голову бы не пришло купить салфетки Sayers, которые на этой неделе дешевле на двадцать центов.

Christmas Sale. Рождественская распродажа.

Свистопляска начинается сразу за Хеллоуином, днем страшных розыгрышей — 31 октября. Разгар ее в середине ноября, на День благодарения. А за неделю до Рождества на стоянках перед магазинами не пробиться.

Каждый год люди надрываются: что бы еще такое подарить родне? Что бы еще такое выдумать? Магазины и реклама тут как тут, подзуживают:

Достоинo встретим Рождество Христово!

Терпеть не могу стадного рождественского подаркодарения. Вообще подарков, когда их положено дарить. Бантики, горы оберточной бумаги, сладенькие улыбочки. «Подарили, что не нужно...» «Мой-то на пятнадцать долларов дороже...»

Купи! купи! купи!

А вот и не куплю!

Мещане

Я все думаю: что мне не нравится в Америке? Вроде все как у нас — за исключением мелочей, которые не поживешь — не объяснишь. А вот: в них я вижу и нашу, общую, только у них особо развитую черту — мещанство. Довольство, бурление по мелочам и глушение серьезного — это и не нравится.

Американцы — это успешно осуществляемая и лелеемая идея мещанства. Они все озабочены, как бы потребить получше, поудачнее. Зубы у них так хороши — чтобы потреблять.

Критика Запада нашими коммунистами провинциальна, но в ней есть от правды. Запад душит дух в удовлетворении. Наши хоть губили, угнетали людей, но, как обратная сторона, все-таки сохранялся дух в страдании. Нехватки бодрят дух, держат его в неуспокоенности. А эти находятся в успокоении, пережегаемом икотой — от геев, абортотворцев (искусственно раздутых католиками проблем), налогов и прочей мелочи.

Сию как-то после выездной лекции в столовой со студентом и студенткой, спрашиваю:

— Что вам не нравится в Америке?

— Ну... — парень думает, неуверенно: — налоги.

Девчонка кивает:

— Налоги.

— Так вы еще не работали?

— Летом подрабатывали на сборке фруктов. Зарплата две тысячи в месяц — тридцать процентов вычли.

От горшка два вершка, а туда же, общая песня — «таксы» задавили. Что, больше ничем нельзя недовольным быть? А кто вас от захватчиков охранять будет? От возмущенной бедноты?

Это я называю: «закон заполнения досуга». Или «закон заполнения забот до объема всего мозга». Понаблюдал как-то за собой во время отдыха на юге: по сравнению с городской служебной жизнью — полное безделье, а все равно голова полна забот, расчетов, построений: то купить, туда успеть... Так и здесь: «Нет новым налогам!» А разница-то — всего десять долларов в год на человека. Но это не «с жиру бесятся». Просто общество, как организм, ищет баланс протеста и довольства и находит его в подходящем, имеющемся. Раз нет больших проблем, берет и мусолит маленькие.

Покупатель прав

Первой вещью, которую я вернул, стала туристическая палатка. После дикого отдыха во Флориде она мне была больше не нужна. Объяснение я нашел — промокает под дождем. Она и правда промокала.

Тогда я еще искал объяснения. Потом выяснилось, что объяснять ничего не надо. Не подошло, и все. Главное, сохранять чек и покупать в универмагах одной большой сети. Лучше всего в Wal-Mart.

С обменом я постепенно вошел во вкус. Купил брюки — сдал. Купил ботинки — сдал. Купил другие ботинки — сдал. Развернулся на фотоаппаратах — искал подходящую модель.

Взял «Кодак». Позарился в основном на две бесплатные пленки и батарейку. Потом решил, что фирма «Кодак» сильна по части фотохимии, а не оптики. Сдал. О пленках и батарейке никто и не спросил.

У «Никона» не оказалось системы «антикрасный глаз». Глаза у снятых при вспышке родных получались волчьими. Сдал. Взял «Олимпус». Съемка показала, что четкость могла бы быть и получше. Сдал.

«Кэнон» взял, чтобы испытать, что такое «инфракрасный автофокус». Четкость оказалась хорошая. Но не было объектива «zoom». Приглядел другой «Кэнон», у которого он был. Правда, здесь почему-то не было чехла с веревочкой, как у первого. Сдал первый «Кэнон», присоединив ко второму его чехол. На том я удовлетворился, и эпопея кончилась.

Похвалился в компании американцев своими манипуляциями. Они одобрительно посмеялись. «Это что! — заметил один. — Я как-то елку живую умудрился сдать после Рождества».

Приторные

Заметил, что мне как-то тягостно ходить в магазин, даже за мелкими покупками. Потом понял: ужасно не хочется искусственную улыбку перед продавцом изображать. А это обязательно. То есть предполагается. Если нет — ему-то все равно, а сам чувствуешь себя unfit — «невписанным». Что неприятно, убеждай не убеждай себя в глупости условностей.

Как хороши русские злые продавщицы. Берешь у них полкило «Подольской»...

В магазинах покупатели, проходя с каталками даже в полуметре друг от друга, говорят взаимно: «Excuse me!» (Извините!) Не за то, что задел, а за то, что мог бы задеть. Или заслонить обзор на полку. Очень уж слащаво выглядит. Так и хочется кого-нибудь каталкой стукнуть. И еще друг другу дверки придерживают при входе-выходе. Обернутся и так ласково улыбаются. Убил бы.

Продавщица отрывает чек, протягивает, глядит в глаза и произносит: «Thank you». Впечатление противоестественности — глаза должны концентрироваться на кассовом аппарате, цифрах, а тут переводит взгляд, ищи лицо. Удовольствия от такой вежливости не получаешь, впечатление заводной игрушки. Но ей велено.

Сначала я тоже отвечал: «Thank you». Хотя сомневался. Потом прислушался: некоторые молчат в ответ, а большинство говорит: «You are welcome» (Пожалуйста). Так я понял, что купить для них — это сделать одолжение.

Хотя вообще это неправильно, что продавцы говорят покупателям «спасибо». За что? Это человек должен сказать «спасибо». За то, что нашел еду, что еда еще есть, что он еще есть, что есть еще люди, которые продают еду.

В нормальных магазинах обычно спрашивают: «How are you doing?» (Как дела?) Ответил: «Прекрасно» — и отъезжал. А в обувном Pickaway Shoes выпендриваются: «How are you this morning, folks?» (Как вы сегодня утром, ребята?) И это не импровизация, в любом другом Pickaway Shoes за сотни миль от-

сюда вас встретят тем же. Еслиходишь днем, то: «Как вы сегодня днем, ребята?», вечером: «Как вы сегодня вечером, ребята?»

Слушай, должен я еще голову ломать, как я сегодня вечером в отличие от утра. Понятно, это пустая форма. Тебе ответ и не нужен. А если не нужен, то и не выделяйся. Да еще у полок не дают спокойно постоять. Всего-то две туфли в три ряда, а лезут. «Могу я вам помочь?» — «Чем ты можешь помочь... Наличием нужных ботинок, которых нет?» — «Хорошо, если я понадобится, то кликните». — «Да уж кликну, соображу».

Под конец мы с женой вообще стали огибать стороной этот обувной. «Слушай, туда не ходи, а то снова начнут спрашивать, как ты себя сегодня чувствуешь».

Garage sale

Garage sale — гаражная распродажа. Аналог нашим барахолкам. Только в Америке каждая семья устраивает у себя дома свою. Когда решат от хлама поразгрузиться, дают в субботней газете объявление, расставляют на лужайке или в гараже столы и ждут гостей.

Но хлам выставляют самый бестолковый. Какие-то замусоленные медвежата, хлороформные скляночки, допотопные кофемолки. Если джинсы, то обязательно на недоростков. Усыхают они, что ли? Куда же девается все это великолепиие из универмагов?

Однажды ходил-ходил — одна дрянь. Присмотрел хоть что-то — садовые секачи на стенке. Думаю, для дачи в Россию увезу. «Э нет, — говорит, — это не продается, это мои».

Хозяева делятся на два типа. Одни продают от тесноты, от того, что все у них забито, и готовы задаром отдать, лишь бы избавиться. Другие хотят поиметь за своих тертых медвежат еще и прибыль. От таких надо отворачиваться и молча уходить.

Но дело не столько в деньгах. Garage sale — это форма общения. Так же просто домой к кому-нибудь не зайдешь. Для многих в провинции единственное развлечение в субботу — составить по газетным адресам маршрут и колесить до обеда по округе с разбросом километров в семьдесят.

Щедрый доктор

Жена перестает жевать и языком нащупывает что-то во рту.

— Кажется, зуб треснул...

Я заглядываю на место происшествия. Зуб треснул почти пополам. Видно, пломба ослабла от времени.

— Пока не болит. Может, до Москвы дотянем? Всего полгода. Я одной стороной буду есть... — протягивает она.

В ситуации много злого юмора.

Во-первых, это ее самый первый завтрак в Америке. Вчера я привез ее с дочкой из Нью-Йорка, ехали всю ночь. И вот в прекрасное утро, с новыми для Лены запахами кофейной машины и поджаренного хлеба, с холодильником, набитым к ее приезду пищей и всем прочим — жевать бы и жевать, — ломается зуб.

Во-вторых, обо что ломается зуб? Зуб ломается о символ американского завтрака — о сереал, смесь из овсяных хлопьев, орехов и изюма. Правда, потребляли мы смесь сухой, и в этом было все дело. Полагалось заливать ее молоком. Но раскисшие крошки в остатках теплого сладкого молока... Как такое могут терпеть американцы? («Ты что, это же самое оно! — возразил как-то знакомый. — С детства помню: допьешь самый остаточек из чашки — хка-а!»)

Клиника доктора Болен. Оказывается, это сам доктор Болен с двумя сестрами. Лена даже не полусидит, а лежит в кресле вверх лапками, как попавшийся жучок.

— Дело серьезное. Я поставлю временную пломбу. Когда с каникул вернетесь? Ну, на месяц хватит. А потом коронку нужно ставить.

— А сколько такая коронка будет стоить?

— Сейчас трудно сказать. Меньше пятисот долларов вообще не бывает.

— А на полгода без коронки никак не хватит? У нас ведь там, в России, бесплатная поликлиника. Специально же все залечили, когда сюда ехали! А тут на тебе. Американский зубной врач, да еще без страховки, да еще коронка нужна... Страшнее не придумаешь.

Это досадую я, Лена лежит с открытым ртом.

Болен слушает сочувственно.

— Нет, коронка обязательно нужна, а то опять развалится. Вы приезжайте, мы что-нибудь придумаем.

Через двадцать дней мы снова у Болен. Лена уходит ставить коронку, а я обращаюсь к сестре в окошечко:

— Сколько с нас?

— Сто долларов. Можете заплатить потом, чеком, как угодно.

— Это, значит, за что? За материал? Или какая-то скидка?

— Да нет, доктор сказал, что с вас просто сто долларов.

«Что же, я такая сволочь, что не могу бедному русскому даром зуб залечить?» — решил, наверное, он. Мы дали ему возможность почувствовать себя человеком, а не хищником, кем здесь принято считать всех врачей.

— Этот зуб еще вас переживет! — говорит Болен на прощание. Судя по произношению, он англичанин и шутит с английским юмором.

Я сначала хочу отблагодарить Болену через местную газету. Но потом раздумываю. Неизвестно, как это еще для него откликнется. А, скажут, так он добренький...

Акции

Дочка кричит: «Только не акции!» Ей хочется смотреть мультфильмы.

Но я с утра усаживаюсь перед телевизором и обреченно включаю «зловещую строку». Так я прозвал синюю ленту, по-английски ticker tape, которая в 9.30 начинает ползти вниз экрана по бизнес-каналу CNBC.

Всего у меня по телевизору 38 каналов, включая канал погоды, два канала спорта, два канала фильмов, канал CNN — чисто новости, два канала парламентских заседаний, научный канал «Discovery», детский канал мультфильмов, подростковый канал, канал продаж по телефону. По примеру большинства американцев и я успел подхватить вирус zapping — беспрерывного скакания с программы на программу с помощью палочки дистанционного управления. А от рекламы научился защищаться кнопкой «Mute» (без звука).

Итак, с замиранием сердца жду, когда появится какой-нибудь из моих символов. Проплывает странное для непосвященных сочетание букв и цифр: KCS 27 1/4 100s. Дух захватывает от радости. Минуту назад кто-то на нью-йоркской бирже купил сто сотен акций нефтяной компании KCS по цене 27 долларов 25 центов.

Сто сотен — много, и на доллар выше вчерашнего. Может быть, отчет квартальный хороший вышел? Или новость про нее хорошая? Или кто-то из телевизионных комментаторов компанию похвалил? Тут ведь все на слухах, субъективно. Да гляди: уже 28! 28 1/2! Расхватывают! Месяц была в упадке, всего извела, а тут пошла!

Я еду в продуктовый и заглядываю в сегодняшнюю «Уолл-стрит джорнел». Так я делаю почти всегда — заглядываю, а не покупаю. Даже знаю, какую страничку сразу открывать и в какое место глядеть. Как будто так рассеянно

между покупками заглянул человек наугад и отложил: «Ой, тут какой-то темный лес!»

А для меня совсем не темный лес. Глаз быстро схватывает нужные цифры. Точно, отчет хороший сегодня напечатан. По сравнению с прежним кварталом прибыль увеличилась в два раза.

Теперь я не отрываю глаз от экрана. Дойдя к обеду до 30 1/2, акция откачивается к 29. Начинаю паниковать.

«Лучше синица в руках, чем журавль в облаках. И так на мои двести акций выигрыш тысяча долларов. Почти отыграны прежние потери». — «Ой, Леша, не суетись. Это только первый день... Она может расти еще неделю или две...»

После обеда нервы не выдерживают. Я снимаю трубку и звоню своему брокеру тут же в Гринфилде: «Продать за 30 или лучше».

Сейчас посланный им факс понесется в Нью-Йорк, прямо на биржу, на Уолл-стрит. Его возьмет представитель брокера, произведет непонятные движения пальцами — и акции уплывут к кому-то, кто будет держать их еще полгода, в ожидании следующего роста. А на моем счете у брокера появится чуть меньше шести тысяч, потому что он еще берет комиссию.

Самих ценных бумаг с вензелями я и в глаза не вижу, все делается по телефону, по электронике.

Мне кажется, что я даже замечаю, как на ленте проходит моя собственная сделка. Звоню от брокера: «Продано за 30». Завтра в конверте придет формальное подтверждение.

Я снова еду в продуктовый. Беру испанское шампанское в черной бутылке за 6.99, консервированных устриц, крабовое мясо, свинину «баттерфляй» (тонко-тонко отбитый кусок в форме бабочки), арахис в шоколаде, ананас. Жалко, у меня ванна мелкая, до щиколотки, только постирать. А то бы сидел в ванной и ел ананасы в шампанском.

В 17.00, как раз по закрытии биржи, ежедневно подлинные «Новости» из России (их пускают по парламентскому каналу). Знакомый диктор с тощей шеей и оттопыренным ухом, русская речь, правда заглушенная переводом. Какие-то люди в темном, в шапках... Чего-то хотят... Толпа, чего-то протестуют... Как это у них называется? «Чара»? «Гермес-Финанс»?

А через неделю я избегаю смотреть на голубую ленту. Режет как ножом по сердцу: KCS 41 3/4 10s. На неполученную выгоду можно было купить триста бутылок испанского шампанского или подержанный автомобиль. Говорил же себе — подожди, не спеши!

На фронтонах всех бирж мира надо написать: «Но кто же знал?»

Соратник

— Спиртное везете?

— Нет.

— Проезжайте.

В багажнике стоит-таки коробка «Будвайзер» о двенадцати банках. Да зачем из-за такой ерунды привлекать внимание таможни. Везу гостинец другу Бобу. Боб постарался, организовал мне в Торонто лекцию. Пиво в Канаде дороже раза в три, чем в США. За счет дорогого спиртного оплачиваются социальные нужды.

Как пересечешь границу, скорость на дорогах снова начинает мериться не на мили, а на километры. Это поначалу раздражает. «Черт, понаписали тут... 100 километров в час — это сколько же будет по-нашему?»

К Америке у канадцев отношение особое: смесь зависти и самоуспокоения. «Да, выбился сосед в люди... В сущности, случайно, что не мы, а он. Да так оно и лучше. У них расизм, стреляют, а у нас вон как все спокойненько».

Сказывается еще и вечная обида французов на англичан, что не они вышли в мировые лидеры. Франкоязычный Квебек находится в состоянии перманентного отделения от всех других, как жена, которая каждый раз при ухудшении настроения заявляет мужу: «Все, ухожу! Ты мне жизнь заел!»

Лекция моя устроена по какой-то почетной линии. Потому афиши, пятьсот человек пришло. Торжественно обставлено: сиденья по трем сторонам вдоль стен, колонны, как в школе на выпускном балу, для меня стойка дирижерская. На грудь микрофон прицепили, чтоб свободней себя чувствовать, жестами показывать.

Хлопали. Подходили потом, хвалили. Свидетельство почетное дали под стеклом. Чеком — тысяча двести гонорара.

Поднялись со свитой на часок в профессорский клуб. Хуже нет, когда измотан лекцией, а еще надо потом что-то вежливо вякать. Членство в клубе на год стоит 200 долларов. А еды со шведского стола разрешается набирать всего одну тарелку. Наложить можно много, но получается все вперемешку. Соленая рыба с куриной ножкой лежат под спагетти, горку венчает кекс и кусочки ананаса... Во время еды милый, болеющий за все русские дела Боб, увлеченный беседой, механически помешивает в своей тарелке вилкой, так что получается совсем уж равномерная масса.

Вечером у него дома обмываем лекцию моим пивом и его «Водкой выборовой». Традиционно каждый американец, поживший в России (канадцы любят себя называть «североамериканцами»), имеет историю, как он напился. А наутро, конечно, страдал. Боб учился в Ленинграде, жил в общежитии. Обменялись воспоминаниями о Васильевском острове. Я, зная почти ответ:

— Ну что, выпивали, конечно?

— Да. Раз даже заболел. Ребята напоили. Пили спирт. Плохо было.

И сейчас Боб по-детски спрашивает:

— А похмелья у нас назавтра не будет?

— Будет, Боб, будет! Наливай!

Его жена уже давно спит, немножко мной недовольна за совращение мужа. А с кем ему еще тут отпиться? «Я, — говорит, — когда Горбачев пропал во время путча, ужрался донельзя. Так переживал».

Перед сном у Боба при любых условиях — прогулка. Маршрут один: описать энергичным шагом квадрат по периметру квартала и выкурить за это время сигарету.

С распахнутыми куртками мы премя навстречу канадской пурге по третьему квадрату, изгоняя алкоголь. Под конец Боб отшелкивает непогашенный окурочок на соседскую лужайку. Дерн ее исключительно ровный, специально купленный и разложенный, как ковер в квартире.

— Боб... У вас же чистый район, кругом буржуазия. Разве так можно?

— Можно.

Боб — левый интеллект, втайне борющийся с потребительским образом жизни. Помимо окурочков, которые он, оказываясь, тайком рассыпает по соседским лужайкам, борьба выражается в упорном сохранении старого джипа-«чероки». Джип действительно широк и вместителен, теперь таких не делают. По меркам коллег-профессоров, такое старье было пора продать лет десять назад, чтобы не позорить университетскую автостоянку. Но поскольку у Боба еще две машины и дом во Флориде, джип ему спускают как чудо-чество.

Прощай, соратник! Я возвращаюсь в оплот мирового империализма.

Каждого въезжающего на машине из Канады в США пограничник встречает вопросом: «Где вы родились?» Соврать кажется легко, можно выбрать любую заветную точку континента. Даже хотелось бы пофантазировать. Но одно слово способно загнать в тюрьму за сообщение ложных сведений. Вместо ответа я молча протягиваю красный паспорт с названием государства, просуществовавшего в три раза меньше США.

Крыша глобуса

Опрос в «Нью-Йорк таймс» среди американцев. Если не думать о деньгах, какое место на свете хотели бы больше всего посетить?

15 процентов — Гавайи, 8 процентов — Европа. К остальному нет интереса.

Моя студентка Триши: американцы ей кажутся интересными, яркими, свободными. А все иностранцы — тусклые, заикленные. Точно как они — нам.

9.00. CNN, «Мировые новости».

Не новости, а хрен знает что: кого-то пристрелили, кролик откусил младенцу ухо, Клинтон что-то заявил, плюс повышение налогов, плюс как голливудская звезда достигла успеха.

И все это в США. Где про мир-то, про Россию?

В Америке появляется ощущение неоткрытости, замкнутости пространства, крыши мира. Отсюда ехать уже некуда с тем же чувством, с каким едешь в Америку. Не из Америки мир кажется обширным, загадочным, недостижимым. Из Америки — как на древних картах: плоским, замкнутым, насквозь ясным и тем неинтересным. Потому что ты в центре его.

Этим американцы несчастней нас. У них не может быть мечты уехать в Америку. Заработать там много денег и кардинально поправить свои дела. Им некуда двигаться дальше. Они у потолка.

Вместо Америки, правда, у них есть своя мечта — Калифорния. Но это другое. В Калифорнии все то же самое, просто поселяются там уже удачливые. Ну а мечта выиграть миллион — это всеобщее, это страсть по Америке не заменяет.

Душа

Фальшивые американцы люди Но по-детски как-то фальшивые, без злого умысла.

Общительные... А общаться-то им особенно и не о чем.

Только иногда, на вечеринке, нацелишься на кого-нибудь, начинаешь сам допрашивать, в душу лезть. Им непривычно. Границы переходит. А стаканчик уже врезал. Все нипочем.

Как звуковой диапазон голоса, у американца: го-го-го. Так и диапазон души разный у русского и американца, вообще западного.

У них все социальные категории, градации четче обозначены. У нас эти градации, образы размытые, туманнее, взаимопереходят. Этим русские и симпатичны бывают, но и непонятны для Запада.

У нас выпил — пьянь подколодная, протрезвел — солидный человек, руководитель. На садовый участок приехал — обыкновенный хозяйчик-хлопотун в телогрейке. У такого и образ колоритнее, ему и самому интереснее жить. А тут образы, рамки вокруг них ярче, узнаваемей, но третьего измерения нет. Они плоские — и выглядят так, такие и есть.

Чудинки им не хватает! Все лощеные, улыбаются. А не хватает именно русского чудачества. Откуда берутся чудачки? Зреют в своей скорлупе, скрытно, носят все в себе. Изнутри рост прет, а выразиться нет возможности. От этого появляются концентрированные, своеобразные, с множеством отростков природы.

Американцы молодые — как раздутые, быстро и неестественно взрощенные тепличные огурцы. Безвкусные и маловитаминные, хотя и обтянутые в целлофан к продаже. Наши же мужички бывают — скрюченные, перекошенные, горькие, колючие — но натуральные огурчики.

Американцы как тип, как нация — хорошие, как личности — ни то ни се, сладковатые. Америка интересна как идея, как организация и неинтересна как люди. Русские, наоборот, как тип — противные, но лично — приятно-забавно-занимательные.

Вообще народы я делю на битые и не битые. Американцы — не битые. Этим, а не гамбургерами, трудолюбием и прочим они отличаются от нас. И от немцев тоже.

Разумный мир

А взглянуть глазами самих американцев — весь мир как водопровод: взял да починил сам. Если царь, коммунизм не нравится — так скинь. А то (претензия к нам) загонят себя в свои переживания: царь — не царь, революция — не революция... Вот мои мультики, моя баскетбольная сетка, пикник с котлетой и кола-колой.

Американский антитоталитаризм происходит тоже из их стремления к нивелировке, похожести. Как! Какой-то правитель мнит себя более знающим, имеющим больше прав! Не позволим, не дело это. Ну-ка будь как все.

Ведь и фашизм, и большевизм были экспериментаторством — по духу, шаг в сторону от мещанства. Это и не простили.

Спорим с советологом. Американский аргумент: американец возьмет отвертку и сам починит, если туалет в советской гостинице сломан.

Мой аргумент: да, но это не от предприимчивости американцев и лениности русских. У американцев представление, что мир изначально упорядочен и некоторые отклонения можно привести к порядку. У русского, наоборот, что мир общественный — чужой, беспорядочный, там что чини, что не чини — пропадет.

Свобода

Лето, Бруклин, с километр от Брайтон-Бич по побережью. Пустой пляж, океан, мокрый песок, за ним пустыри, вдалеке коробки-дома.купающихся после дождя ни одного. Через каждые пятьдесят метров на помостах — спасатели в люминесцентных красных куртках. Снаряжены, с биноклями. Далеко тянется их ленточка, нигде так просто не поплаваешь. Сидят, ждут, кто-то от скуки книжку читает. Спрашиваю:

— Докуда заплывать можно?

— Вон до той линии.

— До какой — не понимаю?

— Ну, мне отсюда видно. Если заплывут, я в свисток свистну.

Свобода. *Laissez faire*.

Смирительная рубашка

Они уже отгуляли свое, отбуйствовали. В прошлом веке — во времена Дикого Запада, в 30-х годах нынешнего — при гангстерах. Поняли, что так дело не пойдет, что надо сдерживаться. Надели на себя смирительную рубашку. И закалились.

Казино в узде, разрешены в не многих штатах. В Неваде, где расположен Лас-Вегас, разрешили, чтобы как-то поднять штат из скалистой дикости за счет налогов с игорных доходов. Да и от людских глаз он подальше, спрятан со всех сторон горами. В соседней Калифорнии можно встретить вывески «Казино», но это лжеказино, там люди заняты всего лишь упорядоченной игрой в карты. Около Чикаго есть речные казино — на пароходике, который отходит часа на два, на сеанс, и снова пристает. Считается, что на реке, разделяющей штаты, злачное заведение как бы ничейное, никому за него не стыдно. Да и ставки строго ограничены — не более 25 долларов за фишку, чтобы не зарывались.

Остались пистолеты — можно легко и недорого (от 60 до 200 долларов) купить настоящий огнестрельный, надо только предъявить удостоверение личности. Но поди выстрели — по судам затаскают. Один стрельнул в грабителя — тот по уголовной линии получил срок, зато по гражданской выставил

встречный иск — пулей повреждена моя коленка, потерял работоспособность, плати содержание по гроб жизни.

За словоупотреблением приходится следить. Хочется сказать по-простому: «негр», а не моги. Соблюдай «политическую корректность». Иначе сочтут за расиста, мракобеса, а то и в суд потянут. Сказать и «черный» нельзя, надо — «афроамериканец». Нельзя «индеец», надо — «коренной американец». Вот «белый» сказать почему-то можно, хотя надо бы «евроамериканец». Опять-таки дискриминация. Непонятно только, против кого. Они уже запутались в своих щепетильностях.

Голых по телевизору вырезают. Один раз только в мотеле во Флориде глубоко за полночь наткнулся на откровенный порноканал — откуда он взялся? Может, хозяйева-индейцы просто для гостей крутили? А так нигде — ни-ни, и не надейся. Разве что кафе разрешены, где бабы на постаменте вокруг железного шеста вьются и себя по задам хлопают, а мужики смотрят. Строгости и с алкоголем, за наркотики наказывают даже за употребление...

А мы, русские, как раз сейчас и гуляем. Наше время пришло. Дикость, разгул, полное раскрытие всех гулятельных сил. Потом, наверное, тоже смирится.

Ровесник

Окошечком почты заведует симпатичный подтянутый мужчина с усами. По виду лет под сорок. Стоя в небольшой очереди, я с удовольствием наблюдаю за почтарем. Работает он споро, с ответственным видом и с каким-то подъемом. Ясно, что происходящее ему нравится — он не задерживает посетителей, ловко время от времени набирает что-то на компьютере, точно дает сдачу.

У нас люди в почтовых окошечках другие — чаще всего женского пола, расплывшиеся, замедленные. Вид у них такой, как будто они хотят показать, что им все это на фиг не нужно, что они здесь временно, случайно, что они заслуживают большего.

Глядя на усатого, я невольно сравниваю своего почти ровесника с собой.

«Согласился бы я поменяться с ним жизнями? — спрашиваю себя. — Ведь будешь американцем!»

И отвечаю себе: «Нет».

Я залетный, пожить в Америке для меня — приключение. Приехал и уеду скоро. Будут потом еще какие-нибудь приключения. А он так и простоит здесь год, три, пять, всю жизнь.

Придя к такому выводу, я проникаюсь даже сочувствием к работнику. Хотя и у него, при взгляде на русский адрес на толстом многосодержащем конверте, мелькает, наверное, сочувствие ко мне.

До свидания

В аэропорту Кеннеди разрезаю ножницами кредитную карточку VISA, половинки вкладываю в конверт. Без нее не дали бы напрокат машины, на которой добрались из Индианы в Нью-Йорк, поэтому и держал ее до последнего момента. На заранее подготовленном листке написано: «Карточка мне больше не нужна в связи с отъездом обратно в Россию. Полагаю, за мной долгов не числится. Спасибо».

Предыдущую ночь пришлось поволноваться, кружа по Бруклину в поисках мотеля подешевле. Нашелся такой — подешевле: с темным фойе, мрачной негритянской физиономией за толстенным бронированным окошком, еле держащимся крючком на двери, отвратительной желтой простыней, колючим солдатским одеялом. Всю ночь не спал, выглядывал в окно: боялся за машину.

Утром, при свете, у регистратуры на стене обнаружилась табличка: «1 час — 7 долларов, 2 часа — 10 долларов, ночь — 30 долларов». Прощальную американскую ночь нам с женой, четырехлетней дочкой и семнадцатью тысячами долларов в карманах довелось, оказывается, провести в негритянском почасовом борделе.

Напоследок в зале ожидания покупаю в ярком киоске газету «Уолл-стрит джорнел». Мне нравится сидеть с ней закинув ногу на ногу, разбираться по старой памяти в таблицах акций и на самом деле что-то понимать. Непривычно, что вокруг скапливается уже так много русских...

В иллюминаторе мелькают и скрываются очертания Нью-Йорка. Год назад, впервые завидя их с высоты в июльском золотистом мареве, я чувствовал себя Колумбом.

Почему-то русское написание слова «Нью-Йорк» очень напоминает его силуэт. «Н» и «Й» — это небоскребы, черточка между ними — мосты над проливами. В английском слове New York ведь нет черточки. И вместо башенок у него какая-то рюмка. То же самое со словом «Москва». Прямо видишь Кремлевскую стену и бублики. Но это, конечно, совпадение.

Учителя

Один из курсов у меня назывался «Проблемы морали в русской литературе». Изучали Достоевского, Толстого и Солженицына. По первым двум писателям был промежуточный экзамен. А к конечному экзамену, 17 мая, я придумал такой вопрос: «В „Раковом корпусе“ Солженицын описывает людей, стоящих перед лицом смертельной болезни. Каковы различия в их отношении к болезни и лечению; какие моральные сдвиги и изменения во взглядах на жизнь они испытывают? Какому герою вы лично симпатизируете?»

Сюзи Тизман на трех страницах прилежно разобрала персонажей, а под конец вдруг пишет: «У меня у самой смертельная болезнь. Но хотя я и страдаю, я нахожусь в привычной обстановке, с друзьями и людьми, которых люблю. Я не оторвана от них. Я по-прежнему продвигаюсь к чему-то в жизни. Я получаю хорошее образование и в целом счастлива».

Хотел сначала у подружки ее спросить, что с ней такое, да передумал. Неудобно. Тихая такая девочка, симпатичная, латиноамериканского какого-то происхождения. И чему я ее мог научить?

Май 1998.



ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ



ГОРОД МЕРТВЫХ И ГОРОД БЕССМЕРТНЫХ

*Об эволюции образов Петербурга и Москвы в русской культуре
XVIII — XX веков*

Мы знаем, что Петербург изначально был замыслен как воплощение преемствовавшей европейскую мысль с ренессансных времен идеи «правильного города». Очевиден изначальный внутренний спор с Москвой — городом «русским» и «естественным». Спор был тем острее, что Москва как столица единственного «правильного», православного государства претендовала на всемирную исключительность. Петербург тоже (пусть поначалу робко) претендовал на нее, но по другим причинам. Само название города, очевидно, бросало вызов концепции Третьего Рима («городом Святого Петра» может быть лишь Рим; в данном случае перед нами новосозданный Рим, по московскому счету, четвертый, тот, которому *не быть*).

В «эпоху дворцовых переворотов» этот спор двух столиц наполнился конкретным политическим содержанием: не случаен перенос столицы в Москву в период правления умеренно консервативных сил при Петре II и возвращение ее в Петербург после победы радикалов из «ученой дружины» и установления единовластия Анны Иоанновны. Поразительно, однако, что — при том, что «ученая дружина» сплошь состояла из писателей — в произведениях Феофана Прокоповича или Кантемира (и позднее — у Ломоносова и Сумарокова) это противостояние городов никак не зафиксировано. Более того, Москва для русской литературы середины XVIII века как значимый, семантически наполненный локус вообще не существует. Петербург (например, в стихах «Похвала Ижорской земле...» Третьяковского, 1752) противопоставляется чему угодно — тут и «авзонских стран Венеция, и Рим», и «долгий Лондон», и «Париж градам как верьх, или цапица» (противопоставляется как копия оригиналам — но как копия, которой суждено оригиналы превзойти и самой стать «образом» для других городов). Однако при этом русский опыт градостроительства и городской жизни не упоминается, не вербализуется; тем самым молча подразумевается его неактуальность, невозможность его использования в новой столице. Петербург не просто спорил с Москвой, не просто заживо претендовал на ее наследие — он, сознательно или нет, отрицал ее, объявлял как город несуществующий, уравнивал с миром дикой природы, которую надлежало укротить и вовлечь в круг цивилизации.

Разумеется, в реальности все было гораздо сложнее. Те, кто на самом деле строили Идеальный Город в устье Невы (в отличие от тех, кто лишь осмыслял и описывал строительство), никак не могли уйти от московского влияния — как на подсознательном, так и на сознательном уровне. Уже в 1720-е годы

Шубинский Валерий Игоревич — поэт и критик. Родился в 1965 году в Киеве. В 1986 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт. С 1984 года выступает в печати. Публиковался в журналах «Континент», «Вестник новой литературы», «Звезда», «Октябрь», «Арион» и др.; в «Новом мире» — впервые.

молодой Растрелли, устав от сухости петровской архитектуры, делает в Москве обмеры пышных церквей «нарышкинского барокко». И не случайно именно Москва вплоть до 1770-х годов упорно продолжает строить барочные церкви — в противовес ставшему с момента воцарения Екатерины II официальным неоклассическому стилю и в ожидании молодого поколения архитекторов, которые выбирают именно «старую столицу» для осуществления своих не вполне вписывающихся в государственную эстетическую политику фантазий. Баженовские проекты Большого Кремлевского дворца и особенно комплекса в Царицыне, казаковский Петровский дворец — все это слишком откровенно противостоит аскетически строгим фасадам Кваренги и Старова, чтобы могло быть сведено к различиям индивидуального стиля. Сущность идеологического спора становится яснее, если мы вспомним о масонстве Баженова и о том, что Новиков именно в это время переносит свою масонскую издательскую деятельность из Петербурга в Москву. Основание Московского университета в 1755 году создает почву для осмысления старой столицей своего нового места в интеллектуальной жизни империи. Москва впервые, еще робко, примеряет роль «испытательного полигона», где формулируются альтернативные политические, социальные и философские идеи. Не случайно самое резкое оппозиционное сочинение XVIII века называется «Путешествие из Петербурга в Москву».

Но это противостояние еще не могло быть адекватно выражено на вербальном уровне. Москва, переставшая быть Третьим Римом и полвека переживавшая связанный с этим шок, уже начинает формировать свой новый «миф» — но, как и вся «внутренняя Россия», он еще не имеет слов, чтобы высказать себя в рамках культуры Нового времени. XVIII век — это монолог Петербурга. Столица — и только она — «говорит» в литературе (прежде всего в поэзии) той поры, но ее речь распадается на два почти не соприкасающихся между собой голоса: с одной стороны, воспеваются (все более однообразно) территориальный рост Петербурга, пышность его дворцов, развлечения двора; в то же время именно в связи с молодой столицей начиная с 1760-х годов в поэзию проникают колоритные до грубости описания быта социальных низов. В кабаках града Петрова «дружатся, бьются, пьют, поют» герои од Ивана Баркова, здесь дерутся его «кулашные бойцы»; придя из Торжка в столицу, становится героем ирои-комической поэмы офицера-семеновца Василия Майкова буйный ямщик Елесь. Настоящая энциклопедия жизни петербургского мещанства — «Стихи на качели» и «Стихи на семик» Михаила Чулкова. Петербург существует «вместо России», но в то же время концентрированно выражает Россию, втягивая ее в себя. Петербургом ограничивается поле обзора культуры. Любое явление — элитарное или низовое — должно попасть в это поле, чтобы быть увиденным (описанным, зарисованным). Не случайно в культуре сентиментализма, принесшей противопоставление Города как воплощения порочной цивилизации — и «естественной жизни», в роли Города выступает Петербург, а в роли «естественного мира» — городские окрестности (подмосковные в «Бедной Лизе»)¹.

Эстетический и идеологический конфликт двух столиц становится предметом осмысления в русской литературе лишь на рубеже XVIII — XIX веков. Это не случайно: ведь именно в это время стала возникать целостная петербургская городская среда, какой мы привыкли ее видеть. И именно в это время

¹ Стоит вспомнить один из очень немногих в это время резких выпадов против Петра Великого, принадлежащий княгине Е. Р. Дашковой: «Из мелкого тщеславия заслужить славу создателя он торопил постройку Петербурга самыми жестокими средствами... При Екатерине II город увеличился в четыре раза, здания стали намного роскошнее, и все это без насилия, поборов, не вызывая никаких неудовольствий». Ненавидящая Петра Дашкова не сомневается, однако, в необходимости строительства Петербурга и нахождения там столицы — ей не нравятся лишь *средства*.

появляются первые описания Петербурга как цельного феномена. «Надобно видеть древние столицы: ветхий Париж, закопченный Лондон, чтоб почувствовать цену Петербурга. Смотрите, какое единство, как все части отвечают целому, какая красота зданий, какой вкус и в целом какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями!» (К. Н. Батюшков, «Прогулка в Академию художеств», 1814). Сравним батюшковское же описание Москвы: «Против зубчатых башен древнего Китай-города стоит прелестный дом самой новейшей итальянской архитектуры; в этот монастырь, построенный при царе Алексее Михайловиче, входит какой-то человек в длинном кафтане, с окладистой бородою, а там к бульвару кто-то пробирается в модном фраке; и я... тихонько говорю про себя: „Петр Великий много сделал и ничего не кончил“». И в то же время: «Тот, кто, стоя в Кремле и холодными глазами смотрев на исполинские башни... не гордился своим отечеством... для того чуждо все великое... тот поезжай в Германию и живи и умирай в маленьком городке, под тенью приходской колокольни...» («Прогулка по Москве», 1812). Итак: атрибуты Петербурга — новизна (существование в настоящем), гармония, единство; Москвы — разновременность (то есть существование не в «прошлом», а вне исторического времени), разнотильность и в то же время — величие.

Батюшков гуляет по Москве непосредственно накануне Пожара, который, как известно, *способствовал ей много к украшенью*. Формирование петербургской городской среды, по существу, завершается в 1820 — 1830-е годы созданием огромных ансамблей России. Можно сказать, что пространство центральной части петербургского левобережья превратилось в один огромный Дом, в котором уже ничего невозможно построить или разрушить, не взрывая сложившуюся целостность. Но если тысячи граждан живут в общем Доме, то в представлении людей начала XIX века этот дом может быть лишь казармой. Это во многом объясняет восприятие современниками и потомками — вплоть до начала XX века — образцовой, с нашей точки зрения, архитектуры александровской эпохи. («Первая четверть XIX века отличалась повсеместным оскудением архитектурных талантов. Господствовал упрощенный, лишенный фантазии стиль, с однообразными колоннами, тяжелыми и бедными карнизами... Печать этого бедного стиля ложилась на все постройки, снижая красоту и величавость общего облика города...» — В. Г. Авсеенко, «История города С.-Петербурга...», 1903). Окраину Петербурга по-прежнему заполняли деревянные дома. Но эти дома были встроены в специфически петербургскую систему «перспектив» и «линий» (не говоря уж об *улицах-ротах* в Сименцах); да и населяли их (в огромной части) не оседлые, косо-благополучные мещанские семьи. Собственно, Петербург был городом бессемейных людей. Специфический гендерный состав его народонаселения (в 1800 году мужчин 70 процентов, женщин 30 процентов) практически не меняется до конца столетия. Почти половина двухсоттысячного (на конец XVIII века) населения столицы находилась на государственной службе, а вторая половина либо занималась обслуживанием первой, либо работала на государственных предприятиях (скажем, судоверфях). Не только солдаты, но и офицеры, и мелкие чиновники были по большей части холостяками. И крестьяне-питерщики, и немецкие ремесленники приходили в Петербург в одиночестве и с пустыми руками. Они не имели в городе ни семей, ни недвижимости. Зачастую у них было и то и другое *вне* Петербурга; в конце концов, огромная, причем все возрастающая² часть населения столицы принадлежала к крестьянскому сословию («русский житель деревни, занимающийся отхожими промыслами в городе, оставался в правовом отношении „крестьянином“» — М. Вебер, «Город»). Две трети населения формально состояли в сельских общинах, были связаны круговой порукой при выплате оброка (если они были крепостными) и податей (в любом

² По данным Н. В. Юхнёвой, среди русского населения столицы крестьяне (по сословию) составляли в 1869 году — 35 процентов, в 1881-м — 43 процента, в 1890-м — 57 процентов, в 1900-м — 66 процентов и в 1910-м — 71 процент.

случае). «Городской общины» в том смысле, который придает этому понятию Вебер, в Петербурге не было. Именно существование такой общины-коммуны отличает, по Веберу, западный город от восточного — и, конечно, Петербург был в этом смысле вполне восточным городом. Но понятие «петербургского единства» все же существовало. Петербуржцы становились петербуржцами не потому, что входили в ту или иную городскую корпорацию, имели общий суд и выбирали органы городского управления. Их объединяло другое: они, от генерала до лакея, от православного священника до баварца-сапожника или тирольца-шарманщика, были в большей или меньшей степени вовлечены в мир «столичной» культуры. Дело, конечно, не в том, что в «нерусском» городе брили бороды и предпочитали чаю кофе. Задействованность личности в имперском проекте и ее относительная исключенность из родового порядка давали ей значительные возможности самореализации в рамках «общего дела» (в понимании Рылеева или Бенкендорфа — не так уж важно). Поэтому, кстати, декабризм, нацеленный на непосредственные действия в общественной сфере, дал такие богатые всходы в Петербурге и столь скромные — в Москве.

В то же время послепожарная Москва (ее центральные улицы) застраивалась барскими особняками. В прежнем виде восстановился и московский «попад» — деревянное купеческое Замоскворечье. В результате возникла «грибоедовская Москва» и несколькими десятилетиями позже получившая отражение в литературе «Москва Островского» — миры при всем своем различии внутренне родственные: их бытие было подчинено родовому, семейному началу, физиологическим, природным жизненным циклам, не зависящим от исторического времени. Москва Грибоедова — город барский, город семейственный (даже чиновничьи карьеры, как, к примеру, карьера Молчалина, делаются через семейные отношения, служебные вопросы решаются внутри барского домовладения, *особняка*, особняком существующего, внеисторического). Это город женский, где мужчина — «мальчик, слуга». Москва «Онегина» — «ярмарка невест». В этом городе время не идет, здесь все еще длится восемнадцатый век, утративший черты конкретной эпохи и ставший вечностью, здесь пожилые дамы — «фрейлины Екатерины Первой», у них «все тот же шпигц, все тот же муж» и только «дома новы». Москва как сообщество людей, как образ жизни неизменна, она легко переносит разрушение и восстановление зданий. Если для Батюшкова главным свойством московской городской среды была разностильность, то пожар 1812 года высветил еще более важное свойство московского архитектурного ландшафта: легкую взаимозаменяемость его составляющих, их несущественность, слабое влияние на «душу города».

Москва как город родовой была более аристократична. Петербург как «город-казарма» — более демократичен. Вспомним противопоставление пышных «обедов» московских богачей и «немудреных пирушек» поэтов (живущих на съемных квартирах и служащих в мелких чинах) «в углу безвестном Петрограда» (*там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком*) в «Пирах» Баратынского. Двадцать лет спустя, в 1840-м, тот же Баратынский, характеризуя Лермонтова, с которым его познакомили, пишет жене: «...что-то нерадушное, московское». Баратынский мыслит категориями своей юности. Москва навсегда осталась для него городом чванливых вельмож. *Нерадушное* — то есть чуждое братскому духу бедных³ и (еще) нечиновных юношей, не имеющих семей и недвижимости, служащих империи или строящих против нее заговоры, но в любом случае вовлеченных в ее напряженную жизнь. Можно, если угодно, называть это братство «казарменным».

Между тем Москва простонародная была городом частных домовладений. По словам В. Г. Белинского («Петербург и Москва», 1844), «у самого бедного москвича... любимейшая мечта целой его жизни — когда-нибудь перестать ша-

³ «Бедность — один из определяющих символов петербургской культуры» (Ю. М. Лотман, «Беседы о русской культуре»).

таться по квартирам и зажить „своим домком”», тогда как петербуржец по природе своей — жилец съемных квартир и «меблирашек». В Москве «езде семейство, и почти нигде не видно города». Петербургский многоквартирный дом — это «Ноев ковчег... где есть... и кухмистер, и магазины, и портные, и сапожники, и все на свете». Но дом этот (в отличие от частного домовладения, единственного в своем роде) многократно повторяем, лишен (для его временного жильца) индивидуальных черт и потому неотделим от Города, который тоже представляет собой гигантский «ковчег». И здесь мы подходим к самой сути петербургского городского мифа.

Возникновение «черного» варианта этого мифа, отразившегося у Гоголя, Достоевского, Некрасова, имеет очень точную историческую дату: это 7 ноября 1824 года, Великий Потоп, антитеза Великого Пожара. Как известно, наводнение — событие само по себе трагическое — вызвало множество слухов; назывались огромные цифры погибших (до 3000 человек — по официальным же сведениям погибло 208 петербуржцев). Общеизвестны и многочисленные отклики в литературе — от «Медного всадника» и «Олешкевича» до второй части «Фауста». Жертвы наводнения ассоциируются с жертвами первых строителей города; Петербург начинает восприниматься как «город-людоед», пожирающий своих жителей, но при этом сам пребывающий в неизменном «казарменном» величии. Славянофилы предрекают ему гибель на дне моря («Подводный город» М. Дмитриева, 1847). В конечном итоге эта неизбежная грядущая гибель города стала восприниматься как месть мертвых, принесенных Петербургом в жертву морской стихии⁴.

Между тем московский пожар, напротив, уничтожил именно городскую среду, пощадив жителей. Более того, считалось, что москвичи сами подожгли свой город. Но и в благополучное время — опять процитируем Белинского — «от Кремля едва остался один чертеж, потому что его ежегодно поправляют, а в нем возникают новые здания». Характерно, что глобальные проекты, раз и навсегда организуемые архитектурную среду, — Большой Кремлевский дворец Баженова, храм Христа Спасителя Витберга — в Москве не находят практического осуществления.

Наступающая разночинная эпоха постепенно лишает Москву ее «вельможного» блеска. Некогда Батюшков противопоставлял историческую масштабность кремлевских башен мещанскому быту «немецкого городка». Теперь выпавшая из истории, но уже не «фамусовская» Москва кажется «мещанской». Уже отмеченная изолированность, легкая изменчивость, взаимозаменяемость элементов архитектурного ландшафта иллюстрирует этот внеисторический статус старой столицы. И это при том, что Москва, более свободная от бюрократической государственности, становится центром независимой интеллектуальной жизни.

Уже в 1823 — 1825 годы как своего рода альтернатива декабризму с его непосредственно политической направленностью в Москве возник кружок любителей. Характерна судьба одного из вдохновителей этого кружка — поэта Дмитрия Веневитинова. В 1826 году он отправляется на службу в Петербург вместе с провожатым Е. Трубецкой (по пути к мужу на каторгу), возвращавшимся с письмами из Сибири, и при въезде в столицу подвергается кратковременному аресту. В столице он, разлученный с возлюбленной, за полгода пишет свои лучшие стихи — и затем умирает, *простудившись по дороге с бала* (разгоряченный танцами, вышел на улицу, не застегнув шинели). При всей банальности этой истории она вполне может быть истолкована в символическом

⁴ Поэтому «город мертвых» в нашей статье — Петербург. Мы несколько не забыли, что местом, откуда обратился *urbī et orbī* со своим «Философическим письмом» Чаадаев, был *Некрополь* и что так угодно было философу назвать именно Москву. Но несколько иной вопрос: отметим, что у оппонентов (славянофилов и людей антиинтеллектуального, «ростовского», типа) были основания считать «мертвецом» самого Чаадаева.

ключе. Арест при въезде в столицу — своего рода инициация перед входом в иной мир, зеркальный Москве. Кстати, арест этот связан с восстанием декабристов, положившим конец многовариантной социальной самореализации в столице, — отныне остается лишь один-единственный, «казенный» вариант, оппозиция прекращает существование. «Гибель» декабристов могла восприниматься в контексте наводнения 1824 года. Если сперва город убил сотни простолудин, то теперь он расправился с собственной интеллектуальной и социальной элитой, окончательно выявив свой демонический характер⁵. Веневитинову приносит смерть *бал* — главная ритуальная церемония светской жизни. В представлении поэтов конца 1820 — 1830-х годов петербургский бальный ритуал все больше приобретает мрачно-мистический оттенок, чуть ли не характер черной мессы. Тут можно вспомнить и стихотворение Александра Одоевского (1825), где танцующие оказываются «*сборищем костей*», и лермонтовский «Маскарад», и, наконец, «Вальс» (1840) Бенедиктова, где «*ангел, в ужасе паденья, держит демона круженья за железное плечо*». Поэтому легко вообразить себе, что в восприятии части современников и Веневитинов вполне мог выглядеть «убитым Петербургом» (принесенным в жертву во время бального действия), и не случайно именно его друзья стали идеологами славянофильства, яростно отрицавшего город в устье Невы, его историческую сущность и даже его права на существование.

Отрицание Петербурга влекло за собой возвеличивание Москвы. Однако что же — если говорить только о городской среде, элиминируя в данном случае ее историческое, социальное и этнографическое наполнение, — привлекало в «старой столице» славянофилов? Вот характерный пассаж из воспоминаний И. И. Панаева:

«Мы отправились... бродить по Москве и, утомленные, расположились наконец отдохнуть на береговом скате Москвы-реки, в виду Драгомиловского моста...

— Есть ли на свете другой город, — говорил мне Константин Аксаков, — в котором бы можно было расположиться так просто и свободно, как мы теперь?... Далеко ли мы от центра города, а между тем мы здесь как будто в деревне. Посмотрите, как красиво разбросаны эти домики в зелени на горе...»

Итак, Москва нравится славянофилам тем, что она не ушла от природы, что она в некоторых отношениях не вполне город. Их оппоненты говорят почти то же, хотя дают прямо противоположные оценки. По мнению Герцена («Москва и Петербург», 1842, — отметим, что название зеркально названию близкой по мысли, хотя и менее глубокой статьи Белинского), «Петербург — воплощение общего, отвлеченного понятия столичного города... Москва... не похожа ни на какой европейский город, а есть гигантское развитие русского богатого села». В то же время «оригинального, самобытного в Петербурге ничего нет, не так как в Москве, где все оригинально — от нелепой архитектуры Василья Блаженного до вкуса калачей».

Идея «неоригинальности», подражательности Петербурга к тому времени уже стала расхожей. Петербург как артефакт (вне исторических и литературных ассоциаций и воспоминаний) действительно бросает вызов культивирующему «оригинальность», «национальное своеобразие» романтическому сознанию, носителями которого были и, скажем, маркиз де Кюстин, и Достоевский. «Архитектура... Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня — именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность... Характерного в положительном смысле... в нем разве только вот эти деревянные гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестя-

⁵ Здесь уместно вспомнить два стихотворения Тютчева — «14 декабря 1825», где идет речь о безумцах, пытавшихся *вечный полюс растопить*, и его же французское стихотворение 1848 года, в котором «полюс притягивает к себе свой город». Связь с «вечным полюсом» присуща именно Петербургу. Этот образ позволяет еще раз ассоциативно связать смерть Веневитинова *от простуды* и гибель декабристов.

щих улицах...» Эта цитата из «Дневника писателя» Достоевского очень точно передает внутреннее противоречие в восприятии архитектуры Петербурга людьми второй половины XIX века. Он оригинален именно тем, что безличен; «характерен», но не в «положительном смысле».

Близкая к природе, «оригинальная», «характерная в положительном смысле» Москва — в то же время интеллектуальный центр. Но «нигде столько не говорят о литературе, как в Москве, и между тем именно в Москве-то и нет никакой литературной деятельности» (Белинский). Именно потому, что Москва — не вполне город, что она принадлежит миру природы, а не истории, она обречена на провинциальность. Убежденные в том, что «Петербургу назначено всегда трудиться и делать, так же как Москве — готовить делателей» (Белинский), молодые романтики, окончившие Московский университет, устремляются в столицу — и оказываются в жестоком царстве полувоенной бюрократии и «спекуляций». И тем не менее этот мир притягивает их. «Нигде я не предавался так часто, так много скорбным мыслям, как в Петербурге. Заваленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет» (Герцен).

Как писал Аполлон Григорьев, именно в это время возникает «особая петербургская литература». Вспомним ее основные мотивы (имея в виду ряд классических текстов — от «Медного всадника» до «Преступления и наказания»). Это традиционный романтический мотив двойничества (введенный в 1846 году Достоевским и, как известно, не понятый тогдашней критикой, но оказавший важное влияние на последующую литературу); это мотив мести погибших строителей города («Миазм» Полонского, 1868). Но в первую очередь герой этой литературы — так называемый «маленький человек» (сначала чиновник, а в «Преступлении и наказании» уже студент, что свидетельствует о некотором изменении дискурса, но в любом случае человек, организационно связанный с государством: университет тоже казенное учреждение), становящийся жертвой иррациональных, стихийных сил и яростно этим силам сопротивляющийся. При этом сопротивление его постепенно становится все агрессивнее и бессмысленнее: от грозящего кулака Евгения — до окровавленного топора.

Что же это за стихийные силы? В отличие от «недогорода» Москвы, Петербург — город *par excellence*, «воплощенная идея города», и его болезненное притяжение, его гибельный соблазн, его тайна — это соблазн урбанизма, это мистика городской цивилизации. Поэтому стихия, губящая героев, — это силы природы, поработанные (но не побежденные) городом и создавшей его государственной властью (поскольку в случае Петербурга государство создает город, а не наоборот). В «Медном всаднике» эти силы олицетворяет наводнение; у позднейших авторов этот мотив присутствует в претворенном виде: речь скорее идет о стихии социальной. Что, как не орудия этой стихии, суть злоумышленники, срывающие шинель с Акакия Акакиевича? Товарно-денежные отношения, неподконтрольные государству и чуждые морали, — тоже стихия, по крайней мере у Достоевского (прямая ассоциация этой физиологической, стихийной, «капиталистической» экономической реальности с водной стихией возникает позднее в «Столбцах» Заболоцкого). Бунт героев направлен не против стихии как таковой, а против государства-градостроителя и шире — против цивилизации и порожденной ею морали, сковавших «море», вызвавших его на бой, но не способных защитить от его ответного удара своих несчастных слуг. Не случайно большинство героев классических петербургских произведений живет в Коломне — наиболее страдающей от наводнений части города.

Петербург — *город-ковчег*, ковчег в реальном море и в метафорическом море природных и исторических стихий. Нельзя забывать, что гибель в воде, по традиционным представлениям, позорна — в отличие от смерти в огненной

стихии. Утопленников хоронили за оградой кладбищ. Однако образ «потопа» имеет и иную окраску: например, по каббалистическим представлениям, Всемирный Потоп был ниспослан для омовения земли от грехов; ее погружение в «разверзшиеся хляби» рассматривается как аналог обязательного для иудея омовения в ритуальном бассейне. Семантика погружения в воду в христианской традиции еще более очевидна и не нуждается в расшифровке. Достоинством внимания, что второе по величине наводнение (1924) совпало с переименованием города, утратой им имени основателя. Очевидно, что в данном случае речь не идет о крещении (или об «антикрещении»); скорее это можно сопоставить с принятым в древней Руси присвоением младенцу «ложного», языческого имени — от сглаза. Однако уже «Петроград», появившийся на карте в 1914 году, — это эвфемизм, защитный псевдоним. Перенос столицы в Москву — самый радикальный защитный акт, означающий уход Петербурга от своей сущности, перемену исторической судьбы⁶.

Однако прежде, чем это произошло, образ Петербурга в культурном сознании вновь мутировал. Стараниями А. Н. Бенуа, В. Я Курбатова и других художников и искусствоведов, а позднее поэтов-акмеистов исторический центр Петербурга был «канонизирован», в первую очередь архитектура XVIII — начала XIX века, когда-то (а многими еще в начале XX века — об этом свидетельствует приведенная выше цитата из официальной «Истории...») считавшаяся «подражательной» и «казарменной». В этом эстетизированном Петербурге не было места фантомам Гоголя и Достоевского, но они жили в творчестве других писателей и художников — прежде всего в знаменитом романе Андрея Белого. В середине и во второй половине XIX века «темному», «мрачному» образу Петербурга ничто не противостоит — и город в это время нуждается в Москве, в антитезе, в противовесе, чтобы осознать свою самость, свою тайну. В начале XX века спор двух «ликов» Петербурга столь напряжен, что он не нуждается ни в какой внешней оппозиции: тавтология ему, во всяком случае, не грозит.

Тем не менее историческая густота и напряженность петербургского воздуха, ощущение индивидуальной и коллективной вовлеченности его жителей в историческую (или, может быть, точнее будет сказать — метаисторическую) драму в эту эпоху особенно видны на фоне «нейтральной» московской атмосферы. Достаточно сравнить бурную реакцию (интеллектуальную, художественную) на события 9 января 1905 года (воспринимавшиеся как очередное звено в цепи событий, очередную расправу города-убийцы со своими жителями) с полным молчанием, окружающим отнюдь не менее кровавое декабрьское (того же 1905 года) восстание в Москве. Единственное событие, случившееся в этот период в Москве и оказавшееся значимым для российского исторического сознания, — «Ходынка». Но и это печальное недоразумение случилось в момент, когда в Москве находился двор (и она, таким образом, была «временной столицей»), и было воспринято скорее как дурное предзнаменование для царствования, для династии — но никак не связывалось с судьбами города.

Перенос столицы в Москву не мог не изменить — самым радикальным образом — место обоих городов в историческом сознании россиян. Тем не менее многие события послереволюционной истории поразительно укладываются в описанную выше схему — они словно бы *предсказаны* или даже вызваны к жизни ею.

⁶ Мы, разумеется, не объясняем действий Николая II, Ленина или Рыкова сознательным или подсознательным стремлением защитить Петербург от «проклятия царицы Авдотьи». Однако в контексте петербургской истории решения, продиктованные прагматическими или пропагандистскими соображениями, приобретают иной смысл. Отметим, что Санкт-Петербург с самого начала имел множество эвфемистических «кличек» — от бытовых в сфере высокой культуры «Северная Пальмира», «Петрополь» до просторечного «Питер».

Применительно к Петербургу-Ленинграду речь идет прежде всего о блокаде. Физически уцелевший, даже сравнительно мало (в сравнении, например, с Киевом или Дрезденом) пострадавший от бомбежек, Город принес в жертву Голоду — который тоже можно рассматривать как стихийную силу — миллион своих жителей.

Своеобразной «репетицией» этой трагедии был голод 1919 — 1920 годов. Вспомним знаменитое описание Петербурга непосредственно после этих событий: «Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть, и никогда... Вместе с вывесками с него словно сползла лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы» (В. Ходасевич, «Диск»). Перед нами город после очередного *омовения* — омовения кровью и горем жителей. И — как ни чудовишно это звучит — перед нами осуществление тайной мечты Бенуа и Курбатова: город без жителей, без «некрасивого», «безвкусного» настоящего, без *лишней пестроты*, заживо музеефицированный. Собственно, именно в первые послереволюционные годы многие дворцы были — при прямом участии бывших «миriskусников», членов общества «Старый Петербург», — превращены в музеи; многим зданиям — в частности, ансамблю Дворцовой площади — был возвращен «исторический» облик (то есть облик 1830-х годов — конца классической петербургской эпохи). «Город-казарма», «город-дом» превращается в *город-музей*. Сохранение архитектурного «тела» города (пусть даже ценой удобства, а в предельном случае — и жизни его обитателей) из фатального предопределения превращается в сознательную задачу. Но если особенностью Петербурга (в отличие от Москвы) всегда была вписанность в историю, историческая «завербованность», то музейное бытие предусматривает внеисторический, постисторический статус. Приведенная цитата из Ходасевича имеет жутковатое продолжение: «Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным... Несомненно, так было с Петербургом».

Конечно, на практике до полного «музейного окостенения» дело не дошло. Нэп и последующие годы «социалистического строительства» наполнили город новой физиологией. Вокруг Старого Петербурга (но не в нем!), как дикое мясо, пророс Новый Ленинград; многие дворцы-музеи в начале 1930-х были превращены в дома отдыха, клубы и т. д. Идеи тотальной музеефикации центральных районов все же витали в воздухе. В 1930 — 1950-е годы, как известно, всерьез обсуждался проект переноса центра Ленинграда в Московский район, причем старый город превращался в своего рода заповедник. Однако события, происходившие с Петербургом, мало напоминали благополучное постисторическое существование — и давали культуре повод возвращаться к старым мифологемам, преобразуя и переосмысляя их.

Так, мотив гибели города в волнах *потопа* пронизывает творчество обэриутов. Посмотрим, как по-разному трактуется эта тема у провинциала-утописта Заболоцкого, у тайного неоклассика Хармса и у анархиста Введенского. У первого море (с кораблями-пивными и сиренами-проститутками) — это живая городская жизнь, с такой гениальной ненавистью изображенная в «Столбцах». В то же время Заболоцкий обращается к мифу об Атлантиде (с прямой ссылкой на текст Платона):

Море! Море! Морда гроба!
Вечный гибели закон!
Где легла твоя утроба,
Умер город Посейдон.

Море — живой, полный движения эмпирический город, и оно же — *морда гроба*, враг, губящий идеальный умозрительный Город. Город этот — едва ли Петербург, но сама модель, естественно, вытекает из векового петербургского дискурса. Напротив, у Введенского море — единственная живая реальность, противостоящая ложной иерархии, стихия свободы, где *кругом, возмож-*

но, Бог; трагедия в том, что и море ничего не значит, и море тоже круглый нуль («Кончина моря», 1930). Наконец, Хармс («Комедия города Петербурга», 1927) прямо отождествляет революцию 1917 года с *потопом*. В то же время в одном из писем Хармса к К. Пугачевой (от 5 октября 1933 года) можно встретить такое вполне традиционное, «мирискусническое» суждение: «Время театра, больших поэм и прекрасной архитектуры кончилось сто лет тому назад... Пока не созданы новые образцы в этих трех искусствах, лучшими остаются старые пути». *Старая архитектура* — это в данном случае скорее всего архитектура старого Петербурга («сто лет» — ровно столько отделяет Хармса от конца «классической эпохи»). Таким образом, все три автора — при очевидном различии их мировосприятия — остаются, на первый взгляд, в рамках сложившейся в XIX — начале XX века модели.

Отличие от XIX века — в принципиально не(анти?)гуманистическом взгляде. Кажется, *чинарей* больше интересуют столкновения стихий и постижение Логоса, чем судьба Евгения и Акакия Акакиевича. В дегуманизованном мире их творчества маленький человек становится пренебрежимо малым.

Теперь посмотрим, что происходило в советскую эпоху в Москве. Город не знал ничего подобного блокаде, ленинский и сталинский террор также был несколько менее жестоким, чем в Ленинграде. Однако в результате реконструкции, осуществленной в 1930-е годы Кагановичем, старая Москва фактически перестала существовать. Город окончательно утратил все, имеющее отношение к «мещанскому уюту». Зато тот, кому «не чуждо все великое», может насладиться небоскребами и «дистанциями огромного размера». Однако, утратив присущий ей некогда дух «патриархальной семейственности», Москва не стала Городом-Домом. Скорее ее можно сравнить с Городом Бессмертных из рассказа Борхеса: абсолютная стилистическая какофония, вызывающая несочетаемость деталей, и при этом почти трогательная нефункциональность. Причем эти черты еще усилились в последние годы благодаря градостроительной деятельности Лужкова. Являясь центром государственности (тоталитарной или демократической), Москва так и не сумела приобрести «державного» пафоса. Церетелиевские зверушки в двух шагах от Кремлевской стены, стометровый Петр, торчащий из узенькой Москвы-реки, — не случайные уродства, а естественное выражение духа города.

Москва XX века в восприятии москвичей — не воплощение замкнутой, самодостаточной почвенности, а «главный город земли», «город-мир»⁷. Поэтому у таких разных писателей, как М. Булгаков и Д. Андреев, она оказывается местом действия всемирной мистерии. Хаос — естественное состояние Города-Мира, так же как порядок естественен для Идеального Города. Идеальный Город и Город-Мир (аукающийся с гоголевским Миргородом) существуют *по ту сторону* истории, являются (каждый по-своему) ее концентрированным выражением. Поэтому разные эпохи и стили обречены в них на сосуществование.

В восприятии же петербуржцев Москва XX века — символ *азиатской* депрессии, город-самозванец, чуждый миру, столицей которого он себя провозгласил. Западничество Петербурга-Ленинграда приобретает черты политической оппозиции.

В Кремле не надо жить. — Преображенец прав,
Там зверства древнего еще кишат микробы:
Бориса дикий страх и всех Иванов злобы,
И самозванца спесь взамен народных прав.

(Ахматова, 1940)

⁷ Разумеется, в условиях советской империи, когда «шестая часть земли» представляла собой мир в миниатюре, со своими домашними Западом и Востоком, эта модель была больше к стати. Но несоответствие нынешнему мировому положению России не мешает ей существовать поныне.

Но какие же *народные права* в императорском Петербурге? Дело в том, что «западническая» столица отождествляется с реальным Западом, в том числе с его демократической традицией. Напротив, в Москве — *в срединном царстве* (Мандельштам), в континентальной глуши *восходит Магомет-Ульян, Цезарь безносый всяя азиатской России* (Вагинов, 1921), которого сменяет уж вовсе явный «азиат» — *кремлевский горец*.

Если в 1920 — 1930-е годы такое самоощущение было присуще лишь узкому кругу интеллектуалов, то затем оно распространяется вширь. Практически уничтожив коренное население «северной столицы» (то, что от него к 1941 году оставалось), блокада парадоксальным образом способствовала росту «субэтнического» самосознания его жителей. «Ленинградское дело», не случайно начавшееся с разгрома Музея обороны Ленинграда (и так же не случайно совпавшее с антисемитской кампанией), свидетельствует о том, что центральные власти смутно понимали источник опасности, реализовавшейся несколько позже.

В 1960 — 1980-е годы наш город, так же как Москва в 1830 — 1840-е, стал центром свободной мысли и свободного творчества, лишенных, однако, возможности влиять на общественную жизнь. При этом одним из стимулов к возникновению этой знаменитой петербургской «второй культуры» стал в том числе ландшафт города. По словам Б. Гройса («Имена города»), «часами можно было гулять по бесконечно прямым и длинным ленинградским набережным и проспектам и не замечать никакой Советской власти». Только в Ленинграде могло возникнуть (уже на излете советской эпохи) общественное движение, фанатично протестовавшее против любой реконструкции *любого* здания, построенного до 1917 года. Любопытно, что архитектура советского времени на взгляд современного питерского интеллектуала заведомо лишена всякой художественной ценности, так же как на взгляд «мирискусников» было лишено ценности все, построенное после 1840 года.

Разумеется, возникновению «второй культуры» способствовали и чисто социальные факторы (о которых как раз в первую очередь говорит Гройс) — прежде всего обилие безработной и полубезработной интеллигенции, генетически не так тесно, как московская, связанной с властью. Но если «город героического самиздата» (а также квартирных выставок, полуподпольных философских семинаров и т. д.) испытывал к Москве (где грань между официальной и неофициальной культурой всегда была не столь отчетлива) некий оттенок высокомерия, то сама «азиатская столица» вовсе не склонна была (и уж тем более не склонна теперь) каяться в своем «конформизме». Присущий москвичам комплекс неполноценности по отношению к Петербургу скорее связан с традициями «петербургской культуры», то есть как раз с тем музейным, академическим, псевдоакмеистическим духом, который у «коренного петербуржца» (то есть обычно — ленинградца во втором-третьем поколении) способен скорее вызвать отторжение.

Внутренняя противоречивость ленинградско-петербургского (или новопетербургского) самоощущения с гротескной яркостью проявилась в автономистских и сепаратистских проектах, которые в последние годы пропагандируют некоторые публицисты и общественные деятели (Д. Коцюбинский, Д. Ланин, поэт В. Кривулин и другие).

С одной стороны, корень этих настроений — в ощущении своего исключительного европеизма и противопоставлении себя Москве (воплощающей в данном случае всю Россию). Модель такова: Петербург отказывается от всякой роли в российской истории. Он не хочет вновь быть столицей (за последние годы идея переноса столицы в Петербург прозвучала один раз, причем из уст политика, не имеющего к нашему городу никакого отношения, — Б. Е. Немцова); он не хочет оставаться губернским городом: он предпочел бы статус западного аналога Сингапура или Гонконга. Петербург — «единственный европеец», противостоящий «имперскому и антизападническому сознанию мос-

ковского начальства» (Д. Коцюбинский); петербуржцы — не русские или не совсем русские, это особый этнос или по крайней мере субэтнос. Идея эта, как мы видели, витает в интеллигентском кругу с 1920-х годов. Каждому поколению на протяжении последних тридцати — сорока лет приходилось переболеть ею. С наибольшей отчетливостью эта идея (и ее крах) сформулированы в «Черной пасхе» (1974) Елены Шварц:

Я думала — не я одна, —
 Что Петербург, нам родина, — особая страна,
 Он — запад, вброшенный в восток,
 И окружен, и одинок,
 Чахоточный, все простужался он,
 И в нем процентщицу убил Наполеон.
 Но рухнула духовная стена —
 Россия хлынула — дурна, темна, пьяна.
 Где ж родина? И поняла я вдруг:
 Давно Россиею затоплен Петербург.

Петербург хочет быть не просто Западом, а *западом, вброшенным в восток*. Петербургские интеллектуалы охотно сравнивают свой город с Александрией (напомним, что еще в 1920-е Вагинов именовал Петербург «Антиохией» — сравнение из того же ряда). Не желая принадлежать России, а тем более быть ее столицей, Петербург претендует на статус площадки, где встречаются в равноправном диалоге все культуры («Прерывистая повесть о коммунальной квартире» — Е. Шварц, 1996), — и таким образом снова вступает в соперничество с Москвой, Городом-Миром. Круг замыкается.

И Москва и Петербург пытаются вырваться из своих исторических мифологем. Москве надоело существовать в состоянии перманентного пожара. Она пытается восстановить разрушенное (храм Христа Спасителя, Воскресенские ворота и т. д.) в прежнем (или не совсем прежнем) виде и таким образом «отменить» сам факт разрушения. Но это парадоксальным образом лишь подтверждает все сказанное нами о сущности московской городской среды — среды, в которой любое здание можно разрушить, а затем отстроить заново без всякого ущерба для целого. Петербургу не хочется быть «городом мертвых», расплачивающимся за свое существование в относительной неизменности жизнями жителей. Не зря он как черт от ладана бежит от всего, присущего государственности. Но, к примеру, пятнадцатилетняя полемика из-за злосчастной дамбы (призванной как раз положить конец ужасающим и очистительным наводнениям), связанная на глубине далеко не только с экологическими проблемами, — еще один пример того, как трудно избавиться от призраков бесконечно повторяющегося прошлого.

С.-Петербург.

ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ

*

ГОРОД НАКАНУНЕ

Столь часто повторяющиеся указания на резкое изменение Москвы в последние годы, кажется, уже перешли в разряд общих фраз. Что же происходит с обликом города в целом, представить довольно трудно, так как перемены совершаются не только в архитектуре. Поменялись представления, поменялся темп времени — и культура одного поколения может очень сильно отличаться от культуры следующего. Хороший пример — станция метрополитена «Площадь Революции». Несколько лет назад все эти химеры соцреализма, угнездившиеся под сводами арок, не вызывали у меня, да, думаю, и у большей части пассажиров, никаких эстетических возражений. В данном случае я говорю не о качестве скульптуры и не о политической подоплеке — не смущал сам принцип использования реалистичной скульптуры в оформлении интерьера. Но сегодня эти фигуры, будто окаменевшие под взглядом Медузы Горгоны, выглядят дико; и как это ни смешно, именно сейчас они смотрятся поистине революционно: ведь мы уже живем в созданной двадцатым веком системе абстрактных образов, где любой намек на реализм легко воспринимается как кич, искренности этих скульптур уже нет места, они гораздо ближе жителям имперского Рима, чем нам.

Вообще парадоксальное сочетание косности и стремительности перемен и как следствие сумбурное нагромождение одного стиля на другой — характерная черта Москвы. В этом городе соседствуют совершенно несоединимые вещи, можно найти, например, дома, у которых один фасад семнадцатого века, а другой — девятнадцатого. За примерами далеко ходить не надо, ведь даже самый центр — Красная площадь — разорван стилистикой разных эпох, кажется, что тут собраны образцы всех существующих в Москве стилей. Классическое здание Большого Кремлевского дворца, древняя стена, Мавзолей, Покровский собор, а дальше снова двадцатый век, но уже середина — выглядывает серая громада гостиницы «Россия», с другой же стороны — истинное выражение московского абсурда: Воскресенские ворота, древность-новодел.

Так же как и вторая столица, Москва двулика, хотя и по-своему: с одной стороны, старинная, тихая и уютная, прямо-таки домашняя — город обывателей, в котором ничего не происходит; с другой стороны, взбалмошная, пестрая, безумная, комично искажающая европейскую моду. Москва — город-столкновение. Это обусловлено ее географическим положением, неизбежно приводящим к противостоянию динамики Запада и консервативности Востока. Поэтому город и развивается рывками: вспышка нового стиля, который потом костенеет в бесчисленных повторениях, становится «классикой», стандартом и, безраздельно властвуя над городом, дрейфует во времени до нового поветрия. Москва под внимательным взглядом расслаивается на множество сменяющих друг друга образов, каждый со своей атмосферой, тут же ускользающей, поскольку постоянно перебивается духом другого времени.

Такая схема развития отражена даже в названиях: Китай-город, Белый город, Земляной — все разные города-призраки, мелькающие то тут, то там. Го-

Юзбашев Владимир Андреевич родился в 1980 году. Студент Московского архитектурного института (факультет промышленной архитектуры). Дебютировал как рецензент в журнале «Знамя» в 1998 году, а затем в «Новом мире» (1999, № 11).

род классических охристых особнячков, город причудливых дворцов модерна, Москва конструктивистов и сталинских высоток, архитектура шестидесятых годов и безликие районы недавних лет — это совершенно разные, обособленные пространства, каждое из которых представляет собой замкнутый мир со своей историей, своими воспоминаниями и жителями, при том что эти столь разные измерения сосуществуют в одном пространстве и имеют одно имя; символом Москвы может быть и собор Василия Блаженного, и университет, и статуя Петра Первого.

Подобная многомерность — отнюдь не обычная черта любого древнего города, он, конечно, может содержать постройки разных стилей и разных эпох, но это будут отдельные городские ландшафты, а не вросшие друг в друга «города». Наша столица, как губка, впитывает в себя наработанный материал других городов мира, превращаясь в коллаж, в подобие Диснейленда. В этой страсти обезьянничать, постоянной оглядке на соседей проявляется московское (или русское?) самодурство... и жадность. Потому-то мы имеем сейчас и древний замок-кремль, богатую историческую застройку, как и подобает европейской столице, и собор-символ, не уступающий готическим, и одновременно планируется международный Сити, весьма схожий с нью-йоркскими небоскребами, а совсем недавно в самом центре проводились археологические раскопки, как в Риме, и над всем городом годов с двадцатых витает почти парижский дух авангарда: любая значительная постройка символизирует новую жизнь.

Итак, Москва стилистически разрознена (впрочем, как и политически, социально...). Причем раньше эта разобщенность была временная: город напоминал слоеный пирог, но внутри каждого слоя единство наблюдалось или хотя бы делались попытки его создать — от златоглавой Москвы до псевдорусского стиля; теперь же бурное развитие города, кажется, приняло совершенно случайный характер, и бывшая архитектурная полифония сменилась набором отдельных звуков. Нет общей более или менее однородной среды, объединяющей идеи.

Впрочем, может статься, для последующих поколений москвичей сегодняшняя столица будет как раз острохарактерной и вполне понятной средой, ведь мы со своей точки зрения не можем во всей ясности увидеть глобальные процессы развития города. Сейчас мы стоим на перепутье, и я могу лишь назвать направления дальнейшего движения, вернее, стилистические лагеря.

Дело в том, что идеологический разброд привел к разброду эстетическому. Почти каждая московская новостройка сегодня имеет свой прототип в мировой архитектуре. Такое нерешительное оцепенение, балансирующее между крайностями и готовое сорваться в пропасть любой из них, свойственно и всей сегодняшней культурной ситуации. Проще говоря, каждый заказчик или архитектор имеет индивидуальное представление о стране и времени, к которым следует стремиться и образы которых воплощать в реальности. Это позволяет рассматривать сегодняшний облик столицы как пестрый парад социально-политических манифестов, претендующих на звание московского стиля. Здесь необходимо отметить, что уподоблять многоплановую городскую среду арене политической пропаганды было бы ошибочно и грубо: совершенно необязательно, чтобы за каждым стилистическим направлением стояли конкретные деятели. Я оперирую лишь отражениями представлений, которые носятся в воздухе; каждое из них ощущается как определенный стилистический план, как отсылка к существующей или существовавшей среде.

Было бы удобно анализировать эти стилистические группы, расположив их в «хронологическом» порядке, то есть начав с тех, которые обращены к прошлому Москвы. Тема воссоздания связи времен получила в последнее время широкое распространение во всех сферах культуры, в архитектуре же это наиболее заметно — реставрационные работы буквально преобразили город, а некоторые сооружения были даже возвращены из небытия. Безусловно, российская история делает такие крутые виражи, что о каком бы то ни было воз-

рождении прошлого не может быть и речи, людские представления поменялись кардинально, неизменным остался лишь принцип маскировки нового под хорошо забытое старое, принцип, надо сказать, характерный для средневекового сознания.

Смена символического языка не удалась, гербы и цвета старой России смотрятся как отзвуки чужого прошлого, а золотые орлы на Воскресенских воротах выглядят театральной декорацией, наскоро состряпанной бутафорией, истинный пафос и историческую актуальность они приобретают, лишь соседствуя с красными звездами кремлевских башен (может, поэтому такое соседство продолжается вот уже несколько лет).

Начав с ретроспективной стилистики, было бы логично анализировать здания, двигаясь от центра к периферии: ближайшая к Кремлю новостройка — Воскресенские ворота. Эта удивительная архитектурная причуда прекрасно гармонирует с пряничными кремлевскими флюгерами. Заполняя брешь между Историческим музеем и Музеем Ленина, она как бы продолжает стену зданий красного кирпича — своеобразную экспансию, жест Кремля, — которая далее тянется параллельно Никольской, образуя ряд магазинов и ресторанов (тоже довольно символическая эволюция). Ворота преграждают вход на Красную площадь, отменяя возможность парадов и шествий, — дополнительная защита от общенародного пространства вполне в монархическом духе изначального здания, но довольно странная метафора для демократии. С другой стороны, может, это попытка сохранить сакральный ореол Красной площади, своеобразная компенсация былой святости Мавзолея? Проходя под этими мрачными сводами, я каждый раз пытаюсь найти рациональную причину их появления, объяснить себе их композиционную необходимость. Но похоже, что привычная логика тут бессильна, ворота ведут в некое параллельное пространство — алогичную изнанку города, просвечивающую сквозь парадную роскошь. Парадокс Воскресенских ворот заключается в том, что именно благодаря своей искусственности, неуместности они непостижимым образом все же соответствуют древнему духу московского абсурда, духу неукротимого разгула, с этой точки зрения их расположение напротив храма Василия Блаженного символично — ведь он тоже аляповатый, дерзкий и в чем-то даже чудовищный. Да и площадь-то между ними Красная, праздничная, почти карнавальная, скоморошная и шутовская. По крайней мере, это ее исконная природа, но, плененная историей, будто зачарованная таинственным заклинанием, она пребывает в некотором колдовском сне. Потеряв статус официального места встречи власти с народом, она осталась нейтральной территорией, безличной бездной свободного пространства, но никто не знает, что делать с этой свободой, так и лежит под паром этот гигантский сувенир для иностранных туристов. Ворота, стыдливо прикрывая эту покинутую святыню, дают развеяться историческим ассоциациям и деликатно направляют людские потоки на новый городской полюс — Манежную. Ощущение такого отталкивания усугубляется еще и огромной мандалой, впечатанной в брусчатку перед воротами, этот мистический знак будто заявляет путнику: вот центр, сюда ведут все дороги; отсюда в рамке сводов виден, как на открытке или витрине, Василий Блаженный и Мавзолей — символы прошлого, а настоящее разворачивается позади на открытом пространстве.

Путник выходит из тупика красных стен, этакой смотровой площадки, позволяющей полюбоваться памятниками, и попадает на помпезную историческую постановку Манежной площади. Весь этот комплекс заигрывает с историей, пытаясь вписаться в нее и, возможно, изменить, но получается это — комично. Взять хотя бы Музей археологии Москвы, скромно притаившийся под навесом в виде коммерческой палатки. Сама площадь решена интересно, этот манящий лабиринт чем-то напоминает романтические парки, ее витиеватые террасы создают достойную замену безличной брусчатке Красной площади — марш сменился прогулкой. Выяснять вопрос о необходимости нового супермаркета рядом с ГУМом здесь неуместно, надо отметить лишь, что бутики

деликатно спрятаны под пузырящуюся поверхность земли. Но детальное оформление ужасает. Стилизованный античный ордер, лишенный тектонического обоснования, еще в конце прошлого века мог вызвать весьма прохладные отклики, что ж говорить о конце нашего столетия, которое коренным образом изменило понятия об эстетике здания. Понятно, что авторы проекта (Д. Л. Лукаев и З. К. Церетели) были стеснены в выборе стиля: требовалась архитектура «национальная» и в первую очередь московская, но при этом современная, соответствующая западным стандартам. Выполнить эти требования достойно, на мой взгляд, в сегодняшней ситуации почти невозможно, так как нынешние понятия о форме слишком сильно отличаются от представлений предыдущих эпох. Попытка их искусственного соединения создает какой-то инфантильный дух, архитектурную пародию. И эта атмосфера примитивных штампов тут же порождает грубо слепленных героев детских площадок, мозаичных рыбок на дне ручья, оголтелых коней, будто сорвавшихся с портика Большого театра. Человечество выросло из возраста балясин (даже само это слово уже кажется смешным и странным), так зачем же дразнить прошлое неуклюжими стилизациями?

Все эти отсылки к архитектуре прошедших столетий выглядят так неестественно еще и потому, что модерн уже переработал материал этих эпох и торжественно распрощался с ними. Поэтому последняя стилистика, доступная направлению, которое условно можно было бы назвать «историческим», — это стилистика самого модерна. И иногда ее действительно удается вписать в современную среду. Прекрасный пример — обновленный Камергерский переулок (М. Посохин, М. Фельдман и А. Медведев). Здания гармонируют с лаконичным оформлением фонарей и афиш (ведь модерн — искусство мелочей). Уют тихих московских улочек здесь сочетается с парадной красотой новой отделки. Нет столкновения времен: нет даже автомобилей — теперь это пешеходная зона. Переулок сильно отличается от вульгарной реконструкции Арбата своей строгостью и сдержанным достоинством. Большинство же новостроек выделяется из окружающей городской среды выставленной напоказ роскошью или по крайней мере ядовитым цветом. Например, здание гостиницы «Аврора» на Петровке, тоже перекликающееся с образами псевдорусской архитектуры, подавляет своим убранством: наблюдая его беленые стены, изразцы, кокошники на окнах, удивляешься путанице времен — фасад конца двадцатого века повторяет приемы конца девятнадцатого, а они в свою очередь оперируют элементами шестнадцатого столетия.

Пожалуй, единственная возможность создать хотя бы видимость связи с прежней Москвой, не впадая в украшательство, — это реконструкция старых зданий (например, осуществленная в Последнем переулке мастерской Второго Моспроекта под руководством Б. И. Тхора), а также реставрация церквей. Но вот воссоздание Храма — задача гораздо более сложная, потому что она требует не только владения мастерством, но и наличия некоторого духовного опыта строительства — как у конкретного строителя, так и у общества в целом. Наше сегодняшнее восприятие Храма очень сильно отличается от восприятия предков, в первую очередь потому, что большинство бессознательно относится к нему как к Музею, как к обломку старины. Поэтому храм Христа Спасителя и получился гигантским макетом, не домом Божьим, а домом-музеем. Перескочив из одного века в другой, он словно бы потерял по пути какую-то свою важную черту, некоторую неуловимую составляющую, сумев вписаться только в пространство, но не во время.

Впрочем, ощущение временной аномалии характерно и для города в целом, ведь советская архитектура, начав с революционного авангарда, пошла своим путем, и сейчас, когда она себя изжила, мы оказались слишком далеки и от собственного прошлого, и от мирового опыта — в каком-то архитектурном междуцарствии, где перепуталось прошлое, настоящее и будущее. Архитекторам приходится либо апеллировать к национальной традиции и, следовательно, к формам начала века, а то и более ранним, рискуя погрузиться в

бездну наивных стилизаций, либо пытаться сделать нечто новое. Но создавать новое из ничего — это удел Бога, людям же остается, наряду с подражаниями, обращаться к некоторым неизменным категориям — простейшим геометрическим телам, которыми так богато искусство двадцатого века. Поэтому кроме «национальной» архитектуры я бы выделил еще два основных направления. Одно, копирующее известные стили или даже здания мировой архитектуры, можно условно назвать «западническим», а второе — примитивный модернизм. Это бесконечное повторение кубов, цилиндров, шаров и пирамид, постоянные их врезки друг в друга. Такое формообразование в чистом виде больше всего напоминает детский конструктор или предмет объемно-пространственной композиции второго курса МАРХИ. В основном эти строения являются большими комплексами, такими, как Олимпийская деревня, выполненная группой архитекторов под руководством С. В. Миндрула, здание Налоговой инспекции на Тульской (тринадцатая мастерская Первого Моспроекта) или офисный центр «Красные холмы» на Космодамианской набережной (группа во главе с Ю. Гнедовским). Конечно, все они гораздо красивее безликих многоэтажек последних советских лет, но все же стремление сделать здание «солидным» приводит здесь к массивной brutality и мертвой геометрии. Пусть трудно требовать утонченности от многоэтажных домов, но ведь и не такие большие строения оказываются нагромождением грубых элементов, которое пытаются искупить не менее грубым декором. Как раз таков, по-моему, новый торговый центр «Наутилус» на Лубянке (мастерская «Группа АБВ»). Его главный фасад, похожий на огромную машину, разноцветный станок, отсылает к конструктивистам, которые любили в своих произведениях повторять формы самолетов и пароходов.

Вообще в этом московском «протомодернизме» часто чувствуются отголоски архитектуры двадцатых — тридцатых. Примером этого безликого стиля может служить офисное здание в Дегтярном переулке (авторы: А. Скокан, А. Гнездилов, К. Гладкий и другие), отмеченное конкурсом «Золотое сечение-99» как лучший реализованный проект. Кажется, будто Москва сейчас как бы копирует саму себя (новый модерн, новый конструктивизм...). Но вернемся к «Наутилусу». Это оригинальное здание является как бы отражением окружающих домов — фасад, выходящий на площадь, напоминает башню военного корабля, массивен, как и подобает мрачным строениям Лубянки, со стороны гостиницы «Метрополь» под карнизом тянется мозаичный пояс — рикошет мозаик Врубеля, особняки Никольской улицы отражаются в зеркальных стеклах бокового фасада. Такое стремление вписать свой проект в историческую среду, примирить его с соседними домами сейчас встречается довольно редко. Но не весь декор обусловлен этим принципом отражений, что сильно портит образ: мелкие окна причудливой формы, странные еле заметные завиточки, металлические фермы, которые ничего не держат, — все это противоречит выбранному стилю. Такое самоотрицание характерно для многих подобных зданий. Может, простое соединение абстрактных тел скучно самим авторам, и они пытаются не создать красивую форму, а украсить получившуюся мелкой пластикой. Но такой подход был возможен в прошлом, когда стремились сделать изящной каждую деталь и существовал целый арсенал необходимых ордерных элементов, сейчас же детали отвлечены от объекта, дробят его и воспринимаются как что-то излишнее.

Еще одна нынешняя общая черта столицы — совершенно не свойственная северу (а мы все-таки живем в северном городе, хотя и пытаемся об этом забыть) цветовая палитра. Это касается не только новых построек, теперь множество классических особняков, для которых привычным цветом всегда была охра, реже зеленый, стали перекрашиваться в розовый, лимонный, а иногда и в оранжевый. Яркие цвета несколько оживили город, сделали заметными старинные постройки, но, как это бывает в последнее время, чрезмерное усердие повредило гармонии — неестественные, тропические оттенки создают неприятный эмоциональный фон. Так же как архитектура зданий сейчас не ужива-

ется со временем, краски их фасадов не соответствуют географическому положению — эти резкие тона выдают извечную тоску по теплему климату европейских городов. Тоску, пожалуй, не только по климату, но и вообще по очарованию и свободе западного облика.

Время от времени появляются и архитектурные проекты, создатели которых явно вдохновлялись мировыми шедеврами. Таково, например, административное здание на Нижней Красносельской улице (мастерская А. Асадова), древовидные фермы которого напоминают творения мастеров деконструктивизма. Возможно, московская атмосфера располагает к монументальным объемам, но не исключено, причина еще и в том, что перенимать формы чужого искусства — удел варваров, а им всегда свойственно, перенимая, огрублять. Подобный сплав западного изящества и восточной тяжеловесной мощи виден в другом административном здании — в Большом Гнездниковском переулке (архитекторы А. Боков, А. Сержантов и другие).

Все это не больше чем редкие вкрапления, и даже самые интересные и современные из них замкнуты сами на себя, дробят образ города. Пока можно обозначить лишь две тенденции, как-то обеспечивающие однородность пространства, обе возникшие повсеместно и спонтанно, не по замыслу создателей. Но они уже сумели изменить и жизнь города, и жизнь горожан. Первая у всех на виду, собственно, основным ее назначением и является привлечение нашего внимания, — это уличная реклама, неисчерпаемый поток режущих глаз надписей, равномерно заполнивший все мыслимое пространство. Эти броские лозунги и девизы, сменившие сравнительно немногочисленные советские призывы, сумели разукрасить самые неприглядные строения лучше, чем фосфоресцирующая окраска фасадов, и осветить город почти так же ярко, как ночная подсветка. Правда, удивляет их количество — гораздо большее, чем в столицах других стран, и, кажется, большее, чем необходимо для успешной торговли. Создается впечатление, что московской световой рекламой движет людское тщеславие, а не требования рынка. Реклама превратилась в символ совершившихся перемен, и город, тиражируя ее в таком объеме, выражает свое стремление казаться новым. Но самое главное — она создает единый информационный шум. Эта динамичная структура, своеобразная болтовня города ежесекундно объединяет его жителей, погружая в некоторую виртуальную среду забот или мечтаний, а также служит топографическим указателем, организует пространство.

Другая тенденция уже непосредственно связана с архитектурой, хотя собственно архитектурой не является. Почти одновременно с рекламой и так же широко по всей столице, да и по всей стране, выросло множество маленьких магазинчиков. Эти коммерческие палатки подобны примитивным микроорганизмам — они размножаются с умопомрачительной скоростью, строят свои колонии и паразитируют на теле города. Их сложно воспринимать в качестве архитектурных объектов, но в городе, где большинство зданий — железобетонные коробки, можно в виде исключения счесть элементами архитектуры и коробки металлические. К тому же они постоянно прогрессируют и из киосков, как правило, довольно скоро превращаются в торговые ряды, состоящие из небольших лавочек, уже наделенных простеньким декором, а потом становятся магазинами в несколько этажей. Любопытно, что как только киоск, подобно гусенице, превращающейся в мотылька, переходит в стадию торгового павильона, он тут же приобретает свойства «большой архитектуры» — ту же московскую склонность к украшательству, стремление казаться солидной постройкой. Эти домики будто пародируют город: среди уже достаточно развитых сооружений проявляются зачатки псевдорусских мотивов — всевозможные башенки — или причудливых современных форм, как у выхода из станции метро «ВДНХ». Такие павильоны всегда выглядят как *временные* сооружения, и именно эта черта делает их архитектуру наиболее актуальной, выражающей дух времени. Смешно это или печально, но на фоне тотальной архитектурной

разобщенности все эти лавки формируют то, что можно назвать «лицом города», — единую, стилистически выдержанную среду; именно так *видят* город большинство его жителей.

В отличие от этого стремительно разросшегося микромира столицы макромир пребывает по преимуществу в области проектов и планов. Планы поражают своим размахом и намерением уподобить Москву крупнейшим мегаполисам мира. Таков, например, проект международного делового центра на Краснопресненской набережной, разработанный мастерской Б. И. Тхора. Сейчас очень трудно представить себе настоящие небоскребы в силуэте города, само название центра — «Москва-сити» — режет слух, мерещится в нем что-то от *science fiction*. Примерно такое же впечатление оставляет и макет. Безусловно, если этот проект когда-нибудь будет осуществлен, город изменится кардинально, поменяется вся система ориентации в нем. Сама возможность существования второго центра, альтернативного Кремлю, в городе с радиально-кольцевой композицией говорит о некоторых принципиальных изменениях в сознании горожан. Может, это последствия роста города — возникновения огромного числа спальных районов, жители которых обособились в них и понятие центра перестало быть для них значимым, а может, многочисленные преобразования города в двадцатом веке приучили нас к готовности ужиться с самыми, казалось бы, неприемлемыми постройками. Но этот московский Сити, если ему суждено воплотиться, станет, пожалуй, самым радикальным изменением за последние десятилетия, если не за весь век. Ведь даже в Париже, городе, где сама атмосфера буквально требует эффектной новизны от каждой новостройки, подобный деловой район — Дефанс — вынесен далеко за пределы центра.

Появление таких масштабных замыслов, а также явная тенденция новых проектов к гигантизму, примером которой может служить нашумевший памятник Петру Первому, говорит о возможности невиданных метаморфоз, глобальной реорганизации города. Действительно, недавно утвержденный правительством Москвы генеральный план, регламентирующий развитие столицы до 2020 года, предусматривает появление таких крупных объектов, как Аквапарк, Евровокзал, спортивный комплекс «Стрелка за статуей Петра I», театральный комплекс в Калашном переулке и два десятка гостинично-деловых центров. План рисует поистине утопическое будущее: к две тысячи десятому году станет функционировать Третье транспортное кольцо, Садовое превратится в трассу безостановочного движения, в полтора раза увеличится общая протяженность линий метрополитена, а также будут введены новые виды транспорта — мини-метро в исторической части, скоростной трамвай на периферии. Конечно, если когда-нибудь хоть часть этих планов осуществится, принципиально поменяется ощущение городского пространства, оно как будто уменьшится — можно будет очень быстро добраться до любой точки, что восстановит связь центра и обширных жилых окраин, и город станет более цельным, — но пока в это трудно поверить. Москва изо всех сил старается соответствовать образу европейской столицы — из центрального района предполагается вынести все административные службы и промышленные предприятия, он должен превратиться в единый туристско-досуговый комплекс, большинство исторически значимых построек будет освещаться в ночное время суток. Надо заметить, что уже сейчас все высотные здания, центральные магистрали и многие выдающиеся постройки имеют ночное освещение, что, конечно, делает Москву красивее, но пока подсветка лишь урывками выхватывает город из тьмы, каждую ночь он все-таки замирает, в отличие от своих западных аналогов, где ночная жизнь подчас активнее дневной. В этом опять виновато северное расположение — московский сумрак гуще и плотнее средиземноморской ночи. И хотя ночной жизни города уделено много внимания в разработках генерального плана, вряд ли стремительно нарождающиеся ночные клубы и рестораны смогут изменить положение дел.

Вообще представить себе осуществление всех задумок генплана довольно сложно в сегодняшней ситуации. Тут стоит еще раз обратить внимание на то, как происходило развитие города в ушедшем веке. Соответственно генплану 1935 года Москва должна была стать «первой в мире столицей пролетарского государства», план семьдесят первого года требовал превращения в «образцовый коммунистический город» — каждый раз выдвигался образ, к которому следовало стремиться, строительство искусственно удерживалось в рамках принятого стиля. Когда же идеологические шоры спали, исчезла и общая атмосфера города — он превратился в архитектурный полигон, и даже попытки почерпнуть гармонию в обращении к памятникам прошлого обречены на провал, приводят к причудливым анахронизмам. Сейчас невозможно ответить на вопрос, как должно выглядеть современное московское здание, потому что еще не сформировались представления о красоте, о современности, о Москве, в конце концов. Нет ощущения вкуса Москвы, вкуса, возведенного в духовный ранг.

Мышление городского человека ограничено, оно всегда поддается соблазну представить город вечным и огромным, в силу этого — безразличным к любому новому архитектурному образу. Но безразличие — привилегия мирового пространства, и именно это пугает в нем людей, заставляет, борясь с его аморфностью, строить города, которые на самом деле всего лишь хрупкая динамичная система пространственных форм, своеобразные театральные подмости, на которых время играет с обществом.



О П Ы Т Ы

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ



ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Манифест одинокого существа

Может иногда показаться, что догадываешься, зачем Бог создал человека. Для этого надо успеть погрязнуть в одиночестве и почувствовать, как в этом одиночестве иссякает способность радоваться Творению.

Первую собаку мы завели вместе с сыном, и я ни разу не испытала даже мимолетного раздражения в отношении ее. Пес действительно замечательный, но даже когда сей Яша слизывал соплю со стен лифта, я не способна была на него рассердиться. Шурик завелся сам, когда я уже жила одна. Это совсем другое дело. Мне некому показать, что он мил, и он не так мил.

Есть масса преимуществ у одиночества. Но трудно любить что бы то ни было. За что любить Творенье? Течет река. Берега неподвижны. География. Геометрия. Гармония. Норма. Но никакой эмоции. Другое дело, если двадцать лет назад вам в этой реке сводило от ледяной воды пальцы, когда вы полоскали ползунки и распашонки, — тогда тепло в душе обеспечено и посейчас.

Мне моя приятельница сказала, что два дня назад вернулась с Родоса, существующего, оказывается, в реальности, где пробыла двадцать четыре дня. Она оправдывалась, виляя тоном, и даже ссылалась на горящую путевку. Но ведь ее «отступничество» не в богатстве, хотя и тут пропасть, не в возможности осуществить затею, а в способности принять жизнь на свой счет.

Ранний Бог, если можно так сказать, творил и наслаждался совершенством Творенья. Он был одинок, но полон творческих сил. Именно в этом смысле «одиночество и свобода» — Божий Дар. Боюсь, что поздний Бог потону и умолк, что сочетание одиночества (человек не сумел в целом его разветь) и ответственности за подопечных — это тяжелый груз. Может быть, и неразбитых надежд, это слишком глупо, но придавить может хоть Кого. Много ли толку Богу, если Его даже кое-как поймут и даже пожалеют антропоморфически. Ведь жаль даже поля и леса, простирающие свои невостребованные возможности у подножья Небес. Ну вырубят, ну вытопчут, ну снегом занесет.

В самом деле, невозможно бесконечно наслаждаться и умиляться даже слоненком, которому прописан детский панадол, если смотришь на него один. Нужен, нужен, конечно, человек, чтобы с ним перемигиваться в особо значимых местах и в особо патетические моменты. Вот искусство, кстати, которое паразитирует на акте творенья, — заменяет второе существо. Им становится автор. Собственно, в произведении искусства уже заключена эмоциональная поддержка зрителя, читателя, слушателя. В лучших случаях эта поддержка — от Бога.

Шамборант Ольга Георгиевна родилась в 1945 году в Москве. Окончила биологический факультет МГУ, работает старшим научным сотрудником Института биоорганической химии РАН. Печатается с 1992 года в «Независимой газете», «Новом русском слове», журналах «Новый мир» (1994), «Россия», «Итоги», «Неприкосновенный запас», с 1996 года — во всех номерах журнала «Постскриптум». Автор книги «Признаки жизни» (СПб., 1998).

Редакция предупреждает читателей о том, что в одной из приведенных автором цитат употребляется ненормативная лексика.

Бог создал Адама, но этого мало, сколько можно перемигиваться с этим дураком. И пошло-поехало. Пришлось создавать ему Еву, чтобы он с ней перемигивался, а Бог бы оценивал, как они там способны оценивать. Но уже тут все вышло из-под контроля. Как говорит любимая подруга: «Со вторым человеком вообще сложно».

Любовь — это всего лишь искренняя положительная реакция на факт существования объекта. Поэтому ответственность мешает любить, она мешает положительной реакции быть искренней. Ответственность порождает одиночество. Аминь.

Превращение

Я превращаюсь в домашнее животное. Это вовсе не такое страшное и выматывающее воображение превращение, как в одноименном сочинении Ф. Кафки. Это, наоборот, — смешно, но все равно приоткрывает суть механизмов нашего способа существования.

Я вдруг заметила, что мой образ жизни, по крайней мере вечером, полностью соответствует поведению моих кошек и отчасти даже собаки. Придя с работы (в отличие от них, бедных, — я, бедная, все еще хожу за добычей), я по-быстрому выгуливаю собаку, меняю кошачьи горшки — они тоже начинают функционировать при моем появлении, кормлю всех основательно, потом ем сама, если есть что, а то и наедаюсь чрезмерно не от голода, а так, по инерции служения или, как они, — от безысходности, и мы все ложимся ласкаться, дремать, работать лежачими домашними животными. Одна из моих кошек обязательно хоть раз в день нуждается в том, чтобы пососать левый рукав моей одежды, приходится одеваться дома с учетом этого. Рукав должен ей нравиться (предпочтительна шерсть) и быть достаточно плотным, чтобы она, попутно меня мою руку, не впивалась когтями в мою кожу (на самом деле левая рука у меня исколота, как у наркомана). Кошке это абсолютно необходимо, выразительные средства, которые она использует, чтобы объяснить, чего ей надо, можно смело приравнять к словам. (Вообще язык их пластики и издаваемые ими звуки мне гораздо понятнее аналогичных приемов, к примеру, клоуна-триумфатора Полунина.) Я прекрасно знаю об этой ее потребности, значит, я ее буквально ощущаю, и она становится как бы уже моей проблемой и моей потребностью. Когда кошка дорывается до заветного левого сладкого рукава, она начинает оглушительно мурлыкать и храпеть, как мужик. Так минуты три-четыре, потом почмокает и уходит спокойно спать. Дело сделано. Могу ли я считать, что это было не мое дело?

Вообще при размещении на тахте всей нашей команды имеет место некоторая традиционная борьба, конкуренция за доступ к моему телу. Правда, борьба очень мирная, спокойная, без грязных технологий. Рита рвется, естественно, к рукаву, Валя, который тоже не прочь помесить где-нибудь поближе к моей душе, может временно, пока не освободилось место, привалиться грузно к ногам, а Дусенька обязательно норовит взгромоздиться прямо на меня — на грудь, живот, спину или бок, в зависимости от моей позы. Правда, в отличие от вышеназванных тяжеловесов, она маленькая и относительно легкая, так что висит просто где-нибудь, как пиявка.

Шурик в качестве жесткой собаки просто лежит рядом, при нас, периодически он подходит понюхать нас, потрогать лапой, предложить свои услуги — поиграть, может сбежать в прихожую полаять на лифт и победоносно вернуться к нам, но не более. Верховодят кошки, а управляю я.

Смотреть же телевизор — это аналогично тому, как просто для порядка караулить мышку около ничего не обещающей шелки. Прошлой ночью поймала настоящую целую крысу — посмотрела случайно фильм Иоселиани, о котором даже ничего не слыхала раньше. Второй день перевариваю, вспоминаю подробности и продолжаю ощущать его дух. А перед этим, не веря в возможность настоящей удачи, можно считать — резалась в пластмассовую штуч-

ку, которую надо оторвать, чтобы открылась бутылка с растительным маслом, любимая игрушка любимого кота, — а именно, посмотрела дурацкую и прелестную комедию с Бандерасом, тоже получила массу удовольствия.

А так — мы одновременно меняем положение, переворачиваемся всем здоровым коллективом, я тоже стала ложиться поперек тахты и сворачиваться клубком, мне кажется, что так я вытягиваю нужным образом позвоночник, чтобы меньше болела спина. А посмотреть со стороны — группа домашних животных разной величины и породы.

Вы скажете — так это у тебя просто-напросто депрессия. Конечно, депрессия, никто и не спорит и не ищет других объяснений. Одна знакомая как-то раз сказала мне очень искренно и очень грустно: «Я так устала!» Ну, в смысле — вообще. Я ее долго увещевала, что так говорить не надо, это раздражает людей и обижает. Она, видите ли, устала, значит, все кругом в чем-то там виноваты, не выполнили свою долю трудов, навалили, воспользовались. Нет, говорю ей, об усталости говорить никак нельзя, надо просто считать и, если уж так необходимо, говорить — у меня депрессия. То есть это моя личная депрессия, и все, никаких претензий ни к кому.

Меня только вот что на самом деле беспокоит: у них, моих бедных кастратов, исполненных любви, — тоже небось депрессия...

Однако постановка диагноза — это так, побочный продукт более глубоких размышлений и выводов, к которым можно прийти, анализируя свое превращение. Каждый, кто неравнодушен к проблемам другого близкого живого существа, частично в него превращается, проникаясь его проблемами как своими. Я живу с кошками и собакой и превращаюсь поэтому в них. Когда люди внимательно и целенаправленно живут друг с другом, не просто заселяют с гвалтом одну территорию, они тоже превращаются друг в друга. Таков закон — круговорот жизненных интересов в природе. Если же человек живет совершенно один, во что он превращается? В свою работу, в телевизор, в кухню, в диван, в собственное чучело?

О свободе

Я не стану, конечно, даже упоминать, например, радиостанцию «Свобода». Это было бы невыносимо — любое суждение. Мне как жителю своей микроэпохи о свободе больше всего говорит слух о том, как «наши» схватили Свободу и держат его в своих застенках. То есть буквально — некий инцидент, частный случай, да еще обязательно — с неправильным ударением. В моей юности одна моя сослуживица говорила, что дабы стать настоящим специалистом — профессионалом в своем деле, необходимо какой-нибудь ключевой термин произносить с неправильным ударением.

Серьезные же философские ритуальные танцы вокруг понятия свободы всегда изумляли безнадёжным, как море, объемом и таким же бесконечным прибором равномерных доводов благоразумия, когда одни слова объясняются другими, ничуть не более очевидными. Вообще же мудрость (философия все-таки!), если она есть, — либо мгновенна, либо бесконечна и тогда абсолютно незаметна. Но долдонить, как метро копать, о свободе, — тут поневоле тик наживешь.



Чего только мы не произносим в начале жизни, в любом начале. Все правильно говорим, но в каком-то необязательном наклонении, как бы ощущая и в одном лишь легкомыслии воплощая — свободу выбора. Выбираем-то мы не свободно, конечно, а бесшабашность эту ощущаем, вертя молодой шеей, трясая кудрявой головой. И только эта бесшабашность свидетельствует о предполагаемой свободе. Мол, знаем все, что и как будет, но это еще — как пой-

дет, мы-то еще вот они, как еще этой неумолимости зададим, если — неизвестно что. Вот именно, не на наши волевые деяния в этой все же как бы неопределенности будущего, а на какой-то дурацкий колпак Неизвестно Чего — расчет. Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что, — вот что нам нравится и даже как-то интеллектуально льстит с самого детства.

Да и тем, что сказками так умело пользуются именно в детстве, в начале жизни, — очень много сказано. Там смерть — на каждом шагу, но чаще всего обратимая, живая и мертвая вода, волшебное слово и проч. Волшебность жизни, фантастичность — это все атрибуты начала. По мере продвижения отцветают райские сады, выпадают павлиньи перья, наступает поздняя безлистная осень трезвости. Все больше места занимает пустота, уставленная ловушками, которые не грозят в будущем, а защелкнулись в прошлом. Возникает наконец свобода от задачи — новая простота, не та, с которой сказочно разрешались в воображении все проблемы, а та, которая обнажает их суть. Вот это и есть та простота, что хуже воровства. Но лучше лжи.



Пилот Дэниэл Лиф, объясняя от имени некой комиссии, как так получилось, что натовцы шарахнули по колонне с албанскими беженцами из Косова, сказал: «Мы несовершенны, но мы и не стремимся к совершенству, мы, — говорит, — только стремимся сделать все необходимое и попытаться избежать нежелательного». Сначала я подумала — пилот, а какой умный. А потом сразу подумала — а почему нельзя жить в соответствии с этими же принципами, но не бросаться бомбами? Откуда так точно известно, что это и есть «необходимое»? Почему нельзя стараться, не пользуясь смертоносным оружием? Что это? Затмение? Непонятно. Ясно только, что очень полезно после первой мысли думать вторую. (Цивилизация такая, все одноразовое — мысли, шприцы, пленки... И права человека, видимо, надо защищать у первого попавшегося, а то, что при этом страдают права следующего, и то, что, восстанавливая одно право, лишают всех остальных, — не помещается в одноразовом сознании.)

А за несколько дней до этого натовский генерал говорил так: «Он сбросил эти бомбы, как это должен был сделать пилот свободной демократической страны». Я не поверила своим ушам, но потом по другим каналам это повторили еще несколько раз. Может, переводчик плохой?

А тут слышу как-то, счастливчик Газманов поет: «Россияне, россияне, пусть Свобода воссияет, заставляя в унисон стучать сердца!!!» Какой же такой свободы мы так алкали долгие годы, — той, которая разрешает самим вершить Божий Суд и пулять бомбами куда необходимо, или той, которая заставляет, да еще и в унисон?

А в метро я видела надпись от руки поверх какой-то рекламы: «НАТО! Хуйните по Ростокино-Лада». Наш народ, как всегда, на высоте — и по глубине понимания происходящего, и по краткости изложения. О, брат краткости! О, вечно живой! Что будет с твоими носителями?

Ау!

Я знаю, как надо жить. Надо жить так, чтобы, стукнувшись нечаянно вдруг в быту головой о дверцу шкафа или еще обо что-то такое же обычное, — не орать отчаянно матом, не топтать ногами в бессильном гневе, чтобы не обнаруживать самому из-за мелочи — как все неблагополучно и непрочно. Хотя нет — неблагополучно, но чересчур даже прочно. Потому что никакой силы отчаяние не позволит тут же, так же вдруг, — взять и умереть. Но если вы уже живете так — что же делать. Только не в том смысле, что, мол, ничего не поделаешь, надо жить. Смешно верить своему как бы нравственному чу-

тью, что надо жить дальше. Это нам-то верить, с нашими-то зловещими и бессмысленными механизмами привыкания, когда многим кажется, что невозможно не смотреть добросовестно и бесконечно «Санта-Барбару», хотя не все доживут до ее конца, — как уж таким наркоманам постоянства и нескончаемости обойтись без жизни. Пристрастились, не мыслим себе жизни без жизни. А между тем и она надоела и разочаровывает не меньше «Санта-Барбары», и все смены ракурсов и все богатство ситуаций так же смешны и убоги, как и там. И фарс, как вечерний мрак, подкрадывается из всех углов.

Вот как, например, в Белграде. Слава Богу, людей на какое-то время освободили от естественного хода событий, от ответственности за собственную жизнь и собственную халтуру. Их бомбят извне. Казалось бы, адекватная реакция — забраться куда-нибудь поглубже, в подвал. Так кажется от недопонимания специфики нового времени. Адекватной реакцией оказались концерты и ликования на площадях под бомбами, наклеивание себе на грудь знака мишени, то есть — провокация, вызов, шантаж. Шантаж в ответ на шантаж. Основа человеческих отношений вообще. Вылезла основа, как пружина из матраса. Мир снова одряхлел. Подлежит ли ремонту испорченная жизнь? Или ремонтировать будут другие поколения жизнь тоже уже других, других, других. Никогда ответ не приходит вовремя. Только с опозданием. Этот пошлый эксцентриситет и позволяет симулировать поступательное движение.

Надо жить в горах, изолированно, медленно, трудно, ветрено, дождливо, надо очень рано вставать, не выспавшись, а потом досыпать урывками где-нибудь на лугу и ценить, ценить, ценить все — утро, сырость, сухость, туман, солнечное тепло, укрытие от ветра и свежее дуновение, голод и каждый глоток, все обстоятельства своего жизненного пути и его наконец — конец.

Но где тогда поместить рояль, тома гениальных исследований жизни и не менее гениальных ее имитаций. Куда деть потребность видеть дымок и ощущать гарь городской окраины, когда по серой каменности и запаху детских сказок можно догадаться, что топят углем. Ведь все это — стихи. И наконец, стихи — ведь и про ветер в поле пишется не от ветра в поле, а с похмелью и в угаре безобразного городского несчастья. То есть продуктивностью бреда жизни, видимо, все же следует поступиться, если цель — жизнь, а не смерть.

Но вот когда вас начали бомбить извне, это — ура! Обязанность жить поставлена под вопрос, и оказывается, никто особо и не хотел. Все только ждали, чтобы им разрешили не очень-то жить. «Свобода, бля, свобода, бля, свобода...» Свобода — это только свобода от жизни.

Между прочим, вполне реально докатиться до того, что и пейзаж покажется фарсом. Ах, ах, ах! Фу-ты ну-ты — море, фу-ты ну-ты — закат и т. д.

Выдерживается тоненькая жилка — и все теряет смысл. Вольтер в свое время допер, сколь важна и нужна эта «жилка», и сказанул. Многие другие тоже. Но теперь характер момента все же все больше смахивает на осознанный крах Царства Божьего. Дождались, похоже, какой-то формальности типа смерти матери Терезы, не Бога же бояться, и стало уже совсем не стыдно.

Даже то, что нет Бродского в живых, мешает нам понять, узнать, как следует понимать очередной поворот, может быть, все-таки сюжета... Обострение сюжета в конце очередного тысячелетия? И каждый раз оно кажется настоящей агонией. Логика Бытия вышла из-под контроля гения нравственного чутья. И перестала быть логичной в отсутствие соответствующего ума. Ум, ау! И горы, в которых следует долго и правильно жить, отвечают — ау, ау, ау.

Без названия

Когда мы успели так самозабвенно прирасти к мирной жизни? Ведь история — это, в сущности, история войн. Битва при... Надо только помнить, в каком году и кто победил. Короче, играть в войнушку, ходить в заскорюзлых портках, быть хемингуево немногословным, верить в концепцию миротворческой операции, предотвращать гуманитарную катастрофу бомбами — это даже

не кайф (хотя кайф — необходимый элемент жизни как способа существования тел), это существенная часть человеческой функции. Другое дело, что при этом говорят. Те, кто это делает, и те, кто протестует. Единственно, что можно считать абсолютно доказанным с помощью коллективного опыта человечества, — это полное отсутствие прогресса в области человеческой сущности. Просматривается биология, зоогеография... Видны истинные побудительные силы, все видно, есть средства для научного анализа, есть мозги для осмысления, но нет другого человека, чтобы жить иначе. Все несогласные — просто шлаки исторического процесса. А активные участники — действующие лица.

Это как в лекарстве — действующее начало и наполнитель. Мы чувствуем, думаем, говорим, но мы — наполнитель исторического процесса. Только если вылезти из кожи вон и создать предмет искусства, например, — только тогда можно приблизиться по значению к тем, кто играет в войнушку, кто тупо, несовершенно, безмозгло, но — *действует*: поднимает в воздух машину, нажимает на спуск и т. д. и т. п. Таков, видимо, инстинкт — не важно как, но надо оставить след, чтобы войти в историю. Очень явно создать или очень явно разрушить. Короче — наворотить. Все это было ясно умам так давно. Возьмите Герострата...

*

При слове «индивидуальность» мне представляется вытертое плюшевое кресло. Господи! Откуда мне знать, я одна так существую или все внутри себя живут примерно одинаковой молчаливой жизнью. Похоже ли то, о чем не говорят? Вернее, поговорили уже, кажется, обо всем — и как трусики въедаются, и как чешется, и как хочется. Правда, гораздо меньше слов сказано о том, как не хочется, это уменьшает электорат, хотя большинству не хочется. Декаданс не в счет — это не «не хочется», а очень даже хочется, только невозможного. Но когда подумаешь, что все несчастные дуры проводят рукой по собственной ляжке, чтобы оценить, гладко ли будет это делать какому-то там хрену, что абсолютно все некоторое, довольно долгое, время переживают удовлетворение от удачного опорожнения кишечника, что все тревожно, но очень заинтересованно прислушиваются, откуда происходит боль, думают о раке, начинают неудержимо мысленно распределять свое добро среди воображаемых наследников, все делают примерно одинаковую деловито-удовлетворенную гримасу, очищая картошку, и т. д. и т. п. Эти внутренние ориентиры-лабиринты так просты и бессмысленны, что непонятно, как они могут помочь пробираться по жизни, но они служат, как служат старые вещи, когда неоткуда взяться новым. Духовное подземелье молчаливой жизни убеждает: слово — действительно самое главное, все, что до него, — задолго до Начала.

Вот собака на прогулке методично и добросовестно нюхает каждое говно — и все, никаких выводов, просто — внутренние ориентиры. Раз собака делает так явно, значит, человек делает все время что-то подобное — молча, то есть тайно.

Это, наверно, от старости, так сказать, перед разлукой, душа так явно противопоставляется телу. Расслоение на фазы при стоянии. Что выпадает в осадок, душа или тело? Тело выпадает в осадок, душа испаряется, а вода очищается и становится мертвой. Или же — душа выпадает в осадок, тело испаряется, и остается только верить в существование иного разума, раз нашему смысл всего этого недоступен.

*

Метро везет измученные тела сограждан к месту назначения. Очень заметно, как все они вымотаны процессом выживания. Даже если прилично (ново и недешево) одетая дама безмятежно читает микролюбовный роман или Ма-

ринину, я знаю, что — это у нее процедура, то есть она в данный момент лечится, то есть есть — от чего. Все хотят сесть, а сидящие так уж сели, что совсем осели, даже юные девушки если и не осели, то пребывают в напряжении не получающейся жизни. Господи! Вагон везет их к месту назначения. Там, у каждого на своей станции, происходит специфическая реакция распорядка его жизни. Стрдание, страдание, мука, через не могу.

Я очень сильно опасаюсь, хотя бояться тут, как и везде, — нечего, что на молекулярном уровне тоже присутствует страдание, что не бессердечное хаотичное движение гонит молекулы к месту их действия и заставляет вступать в реакции, а нужда, мука, трагизм боли, страдание и борьба за правое дело. Молекула субстрата ищет фермент, чтобы превратиться во что следует, или молекула фермента ищет субстрат, чтобы работать, работать, работать — как розовый заяц в рекламе батареек «Энерджайзер». Подозреваю, что чувство ответственности — это главный стержень жизни, посильней, чем дебелое белковое тело Энгельса. Почему-то все знают, что что-то *надо*, и соглашаются, и подчиняются. Иначе, видимо, произойдет аннигиляция, тот самый пшик, которого все так панически боятся.

Не может быть такого избытка, чтобы правильный акт был случайным, даже на молекулярном уровне. Допустить это — все равно что принять такое, к примеру, положение вещей: чтобы хоть один самолет долетел из Москвы в Париж, надо, чтобы непрерывно вылетали самолеты из Москвы — во все стороны. Пусть на это даже есть ресурсы — они будут мешать друг другу. Слепая вероятность предполагает нереальную расточительность и не учитывает взаимодействия разных вероятных событий. Ни один процесс в живом организме так не идет. И там, среди молекул, очевидно, есть воля, ответственность, служение.

Куда деваются прошедшие дни?

Меня об этом, именно этими словами, спрашивал когда-то четырехлетний сын. И я со счастливым урчанием уверяла его, что они остаются в прожившем эти дни человеке, как еда и прочие поступившие в него ценности, они проходят там некий цикл усвоения и частично откладываются, влияют и т. д. А к концу жизни человек почти полностью из них состоит.

Вот в деревне это совершенно очевидно, как в разрезе. Тут видна простым глазом судьба не только бывших минут, хотя и они тут буквально тикают даже в отсутствие часов, тут видна судьба прошедших вещей, их принципиальная неустранимость и их очень постепенное исчезновение из пространства бытия, а потом — с лица земли. Будучи выброшенными, то есть закинутыми поодаль от жилья желательно в какую-нибудь яму или канаву, они долго продолжают там лежать, истлевая очень и очень медленно. Покинутые дома испаряются и то быстрее, наверно, все же их растаскивают активно, хотя и тайно, по крайней мере до недавнего времени — тайно.

Происходит постепенное выветривание из пейзажа умерших жителей, новая реальность замазывает картины прошлого на этом полотне. Еще недавно, когда я шла на речушку за водой или полоскать белье, справа от тропинки около огромной черной избы-короба стояла светлая душа Валентины Егоровны в платочке, а слева — темнел на ветру проблематичный образ ушедшей на год позже Зои Ивановны. Они оставались тут, со мной, они еще видели, куда я пошла, пространство деревни было еще захвачено их присутствием, как раньше их речами, смехом и незабываемыми манерами были начинены их дома. Теперь, когда три-четыре года дома живут без них, когда в одном из них dospивается как-то довольно оптимистично и независимо пожилой сын, а в другом по-черному — вдовец, начала складываться уже другая, новая реальность, которая тоже пройдет, так или иначе. Так-то — как бы ладно, а вот что, если иначе?

Вдовец особенно неблагополучен. Периоды горизонтального запоя все реже сменяются вертикальными возрождениями из пепла — в форме дымка

над баней, который тянется высоко в небо и обладает невыразимо прекрасным духом, возможно, это и есть «русский дух». На чем он настоян, наверно, несложно выяснить, но зачем?

Я же сумею учуять этот настой идеального тела в идеальной душе — раза два в год, идя во время своего краткосрочного наезда — за водичей мимо формально чужой бани, хотя тут все — мое, и я сама состою на значительную часть из этой нереальной деревушки, она поместилась во мне, и даже не требуется какого-то там усвоения, трансформации, она не требует ни анализа, ни приговора, тут информация о логике бытия и структуре мироздания содержится в любом из луговых, свободных и не ведающих теперь уже даже косы, крупных, совершенных и самостоятельных растений, и в любом их движении, уже коллективном, — под действием порыва ветра и т. д. И колченогие жители тут несут в себе информацию о бытии, как какой-нибудь раскидистый донник, или строго-стройный, как бас в хоре, мощный иван-чай, или раздвоенный ствол сосны у заветного поворота дороги, — «вот так» — и все.

Только в таком изолированном, никуда не направляющемся пространстве можно ощутить габариты и свойства характера — Времени. Прошедшие дни тут тоже, конечно, куда-то деваются, но — годами.

Мужчина и женщина

У баб есть масса преимуществ, лень перечислять. Особенно на первый взгляд. Вот показывают, например, по телику британских гвардейцев: «...и рассказываю-ю-ют, и показываю-ю-ют...» Ну и смотрят на них граждане тупо, слушают в основном, конечно, молча. И если уж кто и скажет что-нибудь про мудаков в медвежьих шапках и что-нибудь еще насчет бездельников и т. д., так, конечно, это будет женщина. То есть именно женщина, видя, что мудаки, и говорит, что мудаки. Мужчины поступают так же только при условии наличия у них какой-нибудь дополнительной свободы духа, хотя бы и под влиянием алкоголя. Ну, как-нибудь так, приподнявшись, а не походя. Другое дело, что у женщин есть эта простоватая уверенность, что как-то жить было бы не по-мудакки. Что есть такая какая-то нормальная жизнь, нормальная бессмысленная работа, что можно правильно потратить время жизни — нормально.

Ну ясно, конечно, что нарочитая ритуальность уж очень сильно бросается в глаза своей идейной нагрузкой — продемонстрировать бессмысленность жизни в принципе. И вот женщина начинает защищать, видимо от этой «бессмысленности», свою биологическую задачу, а для этого надо активно бороться с волной массовых самоубийств на почве просмотра по телевизору парада британских гвардейцев в честь дня рождения королевы. Потому что если это — высшая форма человеческой цивилизованности, то чего стоит эта жизнь. Ну, очевидно, что она бессмысленна в принципе, если повсеместно признано, что, расчесав тщательнейшим образом кобыл, напялив медвежьи шапки (сколько мишек замочили, суки) и предельно четко выполняя раз и навсегда разученные телодвижения, они творят высшую форму человеческой деятельности, что на это опирается весь столь уважаемый во всем мире британский народ (кстати, как они тогда диковато поперли всей страной на стенания по поводу гибели своей Дианки, и весь мир почему-то должен был узнать, что она страдала булимией из-за плохого отношения к ней королевской семьи, слава Богу, и это все — прошло).

Со смыслом вообще напряженно. А вот поучать ребенка дико занудным тоном, что, мол, такие-то веточки и щепочки для костра надо брать там-то и сям-то, и все это без тени юмора, с невероятной претензией на близость с ребенком и даже, от глупости, с каким-то чадолюбивым кавказским акцентом, — это, позвольте вам представить, — мужчина.

Но вот, а если посмотреть просто, без ничего, на верхушки деревьев, посмотреть снизу вверх на неизвестно зачем и почему распростертые в небесах столь известные формы? Форма деревьев, тех или иных, она сейчас такая, а

причины, чтоб ей стать такой, — такие давние, как «свет далекой звезды», понятно, о чем. Так вот, в этом вопросе, так похожем на ответ, кто сильнее? Ну, может женщина хорошие, даже очень, стихи писать про кулачки цветочков и рвущиеся ввысь растения всякие стрелчатые, но — только под влиянием страстного желания, чтобы к ней по этой белой, как косточка, протоптанной в траве дорожке, которая вся окружена стрелчатыми и звездчатыми, — скорее, хоть с последней электричкой, прибыл немедленно предмет ее вождения — Он.

Ну есть, конечно, такие изначальные бабушки, которые, как и исполненные смыслом мужчины, глядя на верхушки деревьев в небесах, думают — о Боге.

Кто их разберет, в конце концов, этих мужчин и женщин.

Мы потеряли Крым и многое другое

Это обычно маленькие дети очень бывают склонны беспокоиться, что кто-то из их родных состарится да к тому же умрет. Помню, моя племянница, когда была совсем маленькая, строго меня спросила: «А ты что, моложе моей мамы?!» Я так завилела, говорю, в общем, как бы — так. Тогда она, заклиная меня от логичного ответа на следующий вопрос, со сценической мощью в голосе его задает: «А кто раньше на букву У????!!!» Ну, тут я не растерялась. Говорю, я-я-я! Я ведь вся насквозь больная и мало жизнеспособная вообще, говорю, ей-богу. Она успокоилась формально, по закону жанра. Однако природа этого детского беспокойства по поводу хода времени довольно занимательна.

Я вот и сейчас часто ловлю себя на том, что с великой грустью, но очень отчетливо вижу изношенность, усталость уже даже природы. Старость земли. Так и лезет в голову, иду я, допустим, по пустырю, сплошь заросшему уже отцветающими одуванчиками, их пух буквально светится, местность удачно кое-чем пересечена (на самом деле она пересечена речкой-переплюйкой, в которой в изобилии водятся автопокрышки, а также ржавыми спинками кроватей, разогнутыми цистернами и прочими неопознанными бывшими предметами, разделяющими этот пустырь на самовольные «подгородные огороды»), небеса все еще богаты вечерним узором, свет и прочая тень, казалось бы, но так и лезет в голову: «Терминальный пейзаж»... Я, конечно, не такая дура, чтобы то, о чем я сейчас пишу, так бы и назвать — «Терминальный пейзаж». Нет, конечно. Но что-то такое терминальное как бы вновь и вновь — ощущается. Про почву, дорогу, какие-то безымянные камешки — и не говорю. Ветхость несусветная. Да вот в том же детстве, помню, резануло воображение, что Крымские горы — старые. Ну, а когда, бывало, попадаешь туда, то делается все как-то понятно, то есть в чем эта старость, — они какие-то все зазубренные, выветренные, да и просто низкие. Ну что это за такие горы, если на Ай-Петри можно спокойно подняться по широкой дороге? А там, наверху, тоже — никакого тебе пика, никаких географических поясов, никакого снега, так какая-то крупа грязная и впадина вместо вершины. Старые, старые горы. Они и низкие, потому что сгорбились от старости, осели. А подошва — искривленные стопы опущены в море, которое с какой-то там глубины не столько «черное», сколько «мертвое», — то ли б-ки отравили, то ли само испортилось. Да и не о чем жалеть, чего туда ехать отдыхать, там уже «сама Природа», похоже, ушла на заслуженный отдых.

Правда, снизу Ай-Петри выглядит очень мило, но все равно — как полудрагоценный антиквариат. А уж про Бахчисарай и думать страшно. Мы как-то поехали туда, не помню почему — не доехали. Но представить себе, что в таком с детства засевшем в воображении «рисунке Пушкина», в таком мифологическом месте — обычная советская разруха и стклянный магазин. Ах, Пушкин! Извиняюсь за выражение. Его невидимым присутствием тут закуд-

рвялены все низкие бакенбарды лоз, кусты шиповника и арочки. Все в прошлом — и все тут, вот оно.

Отчего бывают временами такие вот приступы ощущения старости бытия? От депрессии эндогенной, от старости собственной? От старости очередного генсека? Вот Платонов, он очень любил всякое всякое поощушать. Может, это просто выход тоски на простор? Но ведь кто-то на этом же просторе резвится и ощущает энергию жизни. При самом нашем дряхлом генсеке какой бодрый был народец. Все подряд, закатав тренировочные штаны и вздрючив неподъемные рюкзаки, перлись в турпоходы куда угодно — от станции Сходня до полной непроходимости каких-нибудь речных порогов в какой-нибудь Туве. Шли, чтобы там у костра послушать и попеть, «половой истекая истомою», — авторскую песню. Пейзаж точно не был тогда терминальным, он был либо грандиозным, либо — просто маршрутом.

Но как же быть все-таки с одновременностью жизни и смерти, старостью и приходом в мир, правда, в мир несколько иной, чем тот, в который некогда угодили мы. Детям так и надо прямо говорить — поздравляем вас с приходом в мир иной. Но ведь все это — одновременно! Может быть, времени нет? А то все нет его и нет. Так, может, его действительно нет? Может быть, мы потеряли только время?

Жалобы турка

Общаясь друг с другом, люди по большей части жалуются. Или хвастаются. Но поскольку такой широкий охват свойств человеческой природы не может служить темой короткого рассуждения, ограничимся жалобами и лишь только варианту высокого мастерства совмещения жалобы с хвастовством (2 в 1), пожалуй, все же уделим некоторое внимание. Итак, люди в основном жалуются (автор — не исключение). Когда это происходит устно, то столько клокочет живой страсти, а кроме того, происходит гипнотический сеанс общения, что суть — жалоба — так не торчит. Но на бумаге, допустим в письме, все видно и вопиет о жанре. Я бы переименовала все без исключения жалобы — в «жалобы турка». За давностью прочтения я полагала, что это произведение Козьмы Пруткова, ну там, пародия на Пушкина или Лермонтова. Оказалось, что это стихотворение самого Лермонтова, автопародия, так сказать. Привожу целиком.

ЖАЛОБЫ ТУРКА

(Письмо. К другу, иностранцу)

Ты знал ли дикий край, под знойными лучами,
Где рощи и луга поблекшие цветут?
Где хитрость и беспечность злобе дань несут?
Где сердце жителей волнуемо страстями?
И где являются порой
Умы, и хладные и твердые, как камень?
Но мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень.
Там рано жизнь тяжка бывает для людей,
Там за утехами несется укоризна,
Там стонет человек от рабства и цепей!..
Друг! этот край... моя отчизна!

P. S.

Ах! Если ты меня поймешь,
Прости свободные намеки.
Пусть истину скрывает ложь:
Что ж делать? — Все мы человеки!..

Нет, Пушкин куда как веселей, у него «там» на неведомых дорожках следы невиданных зверей, у него «там» чудеса... ну, леший бродит, но никто не стонет от цепей и рабства, а очень даже охотно ходят по цепи кругом. А вот те, кто жалуется и на кого я жалуясь, что они жалуются, вот они непрерывно предъявляют нам свои жалобы турка.

Письмо, видишь ли, к другу, но не просто к другу, а к другу-иностранцу. Его легче разжалобить, он не в курсе истинного положения дел.

А я для того и переименовываю все жалобы в жалобы турка, чтобы тем самым дать понять, сколь они неадекватны. Или жеманство, или суеверие, или моветон. Вот получаю я письмо, живописующее, сколь ужасно и непереносимо было находиться на некоем приеме в честь вручения неких премий, естественно не тем, кому надо. Я не открою истину, если скажу, что любая жалоба есть жалоба на собственную несостоятельность. Так и хочется ответить — так не ходите туда, не ездите, не смотрите, не берите в голову, не сравнивайте, не хотите, не ешьте и т. д. Один раз я как замороженная ходила с тарелкой гречневой каши с молоком из кухни в комнату и опять на кухню — ела и слушала ужасающий скандал подо мною (Господи! Какое счастье, что была литература, — Скандал подо мною, один в вышине... Все это, слава Богу, зачем-то в нас живет и действует болеутоляюще, как некие уже практически эндогенные опиаты), — крик стоял такой, что я просто по-человечески обязана была понять, что же там случилось. А там жена неистово ругала мужа, как я приблизительно установила, за то, что он пропил какую-то крупную сумму, кажется сто рублей в старых, застойных. Она стенала, что она так экономит и так копит, а он!.. Она орала: «Я говно жру, а ты...» А он отвечал: «Ну зачем же ты говно жрешь...», но чувствовал свою вину, говорил это не в шутку, а с досадой. Затем, когда буря поутихла, примирение звучало буквально так: «Не трожь батон, не заработал...» Эта молодая работала тогда товароведом в самом «Ядране», а для души, как мне рассказала приятельница, с которой они вместе гуляли с колясками, писала стихи (наверняка не «жалобы», а про прелести природы и погоды). Муж заведовал каким-то складом. Потом они года два обивали всю квартиру деревом, завели клопов, одарили ими всех окружающих, потом переехали в большую квартиру, а потом, наверно, уже совсем — в Америку.

Ну, что роптать на логику бытия, какой бы говенной она ни была. Составляйте свой список претензий к Г. Б. Я уже составляю. См. неопубликованное, как, впрочем, и неоконченное эссе «Чего мы не прощаем Богу?» (можно даже сказать, ненаписанное эссе, я там только успела указать на бездомных собак, и хотя кошек, если говорить о радостной любви, я люблю больше, все равно, — бездомные собаки — это с Его стороны как бы еще хуже, да на голых старух, лежащих в беспомощности на голых же клеенках в коридорах больниц, старух, которые уже ничего не «познают» назидательного в своем обмоченном инсультном бреде).

Но все же первым делом, как чистить зубы, следует анализировать свою внутреннюю зависимость от всего этого «ненавсисимого». Человек, которому еще очень сильно чего-то там, того и сего, хочется, — не имеет права. Права нужны только инвалидам. Это им нужна низкая подножка в трамвае, пандус в общественном сортире и другие поблажки вроде какой-нибудь литературной премии, той же «Северной пальмиры». В правилах постановки на учет на улучшение жилищных условий написано, что надо подать «документы, подтверждающие льготы (доктор, кандидат, инвалид и т. д.)».

Главное, не врать себе про себя. Если хочешь что-то ухватить, знай про себя, что ты хочешь ухватить. Может быть, от этого страдает поэтичность взгляда на растительный покров, но поэзия не пострадает.

Каждый имеет свои скромные заслуги, которые ровно ничего не значат. И ничем не могут увенчаться, кроме постепенного схождения на нет и — в худшем случае — маразма. А потом еще и труп разлагается. И память о том, что жил этот человек, выветривается, а если не выветривается, то через двести лет его портрет украшает витрины почему-то в основном овощных магазинов. Что бы еще такое добавить? Разве что астероид диаметром в 2 км. Я понимаю, чего стоит моя «божественная» суровость. Я могу, конечно, из дружеских чувств к автору жалобного письма обратно переименовать «жалобы

турка» в полонез Огинского. Но — не могу, потому что полонез Огинского — это вовсе не жалоба, а мощный западнославянский экзистенциализм, бессмертная и навеки красивая мука бытия в чистом виде. А «жалобы турка» — совсем другое. Тут нет страдания в первой степени, которое обычно практически каждым переживается молча, при этом он узнает, понимает, меняется. Тут страдания из-за страданий, а значит, жалость к себе, жалость, лень, упорство в решении паразитировать, зависть, претензия, инфантилизм, то есть все те качества, за которые вы можете быть вне конкурса зачислены в старческую группу детского сада.

Так что надо за все благодарить Бога — за трудную трудовую жизнь, за работу «не по профессии», за тяжелые сумки ежедневно — как говорит Жванецкий, «отдельное спасибо». Главное ведь не выжить, а не выжить из ума.

Мое же частное непонимание Замысла с Промыслом, касающееся непродуктивности страданий голых старух на голых клеенках в голых коридорах больниц, которые, как мне кажется, не сумеют вынести из своего обмоченного ада никакого знания или не сумеют никак распорядиться плодом этого знания, — это мое личное дело.

Вообще же, как помотришь с холодным вниманьем вокруг, — возникает вопрос: «Где тот продукт, при получении которого образовалось столько отходов?»

Но я с полной ответственностью заявляю — я отдаю себе отчет в том, что это я не понимаю чего-то. Или стараюсь не понимать, или отлыниваю от попытки все же понять, потому что мне хватает как бы моих тяжелых сумок. А может быть, я специально ношу такие тяжелые сумки и так далеко несую их от автобусной остановки до места назначения, чтобы было на что сослаться внутри себя — что вот, мол, нет ни времени, ни сил, и не надо сегодня после трудового дня, и так как бы не прошедшего даром, не надо разжигать духовный жар и стараться понять, а можно со спокойной душой рухнуть и предоставить себя телевизору.

Есть очень смешные и очень похожие рассказы у Стефана Цвейга и, кто бы мог подумать, у Набокова — «Амок» и «Ultima Thule» — оба про ужас окончательного познания Истины. Ну, Цвейг, Бог с ним, а набоковский рассказ, хотя он откровенно слабый и в смысле энергии, и в онтологическом плане, но, конечно, содержит десятки абсолютных перлов, немедленно превращающихся в такие же элементы бытия, как то, о чем они («волна прибегала, запыхавшись, но, так как ей нечего было сообщить, рассыпалась в извинениях»), ряд натужных перлов, которые постепенно мельчают («смех — это какая-то потерянная в мире случайная обезьянка истины»), потому что если и не сама обезьянка, то ее функция в человеческом обществе изменяется, чем-то вытесняется, тогда как функция смеха неизменна (хотя ничего нельзя утверждать, — может быть, так же, как дышат специально, а не невольно, практикуя всяческие дыхательные упражнения, может быть, появятся салоны лечебного смеха — с целью отполоскать почечные лоханки или раздробить солевые отложения в пятках). Так вот этот рассказ, написанный в фазу временного ослабления гения, содержит, конечно, плохо спрятанную смешную таинственность, которая всегда устаревает первая, потому что что-то, а тайное неизменно становится явным, но гений не умеет врать. При всех старомодных литературных реверансах самому себе и т. д. (вот за что спасибо советскому террору — он начисто отучил от жеманства) в рассказе есть идея, как бы даже грозная идея бесполезности Истины, по крайней мере в любом доступном человеческому воображению понимании пользы. И хоть в рассказе Истина как раз и открывается, так сказать, напрямую, — совершенно отчетлива разница между прелестью и естественностью всех сокровенных примет и косвенных улик бытия и грубой силой прямого контакта с их истинным смыслом. Нет, говорит нам автор, прямого пути, прямой путь бездарен и смертелен. Ну что ж, утешимся ритуальными танцами вокруг Истины («Пусть истину скрывает ложь...»), удовольствуемся намеками («Прости свободные намеки...»). Но есть сфера, где

человек сам активно борется с истиной. И эта нива благодатная — жалоба. На самом деле человек знает про себя все. Другое дело, каким способом он с этим знанием справляется. Иной готов скурвиться за блага, но хотел бы сохранить возможность и способность пользоваться «благами» нескурвленного уровня бытия. А жалуется на низость человеческой природы вообще.

Жалуясь, человек подспудно сознает, что ему грозит неотвратимое наказание (отсюда эта тоска) за непоправимую халтуру, регулярную жестокость, которые он проявляет, находясь в действительно непростых жизненных обстоятельствах и ситуациях. Он предчувствует наказание и боится его. И жалоба — это такая предупредительная адвокатская уловка. Но наказание не было бы наказанием, если бы оно не взяло и не шарахнуло по тем, на кого вы в своих жалобах сваливали вину за трудность вашей жизни. Не нравится? Не жалуйтесь. Нет, конечно, не жалобы притягивают несчастья, а жалуется вместо того, чтобы пытаться всеми силами предотвратить формирующееся несчастье или хотя бы просто смиренно служить. И тут уж даже страшно, может быть, не так, как в «Амоке» и в «Ultima Thule», но все равно ведь, кроме жизни и смерти, ничего особенного-то и нет.

Я обещала, кажется, коснуться более редкого, но очень впечатляющего жанра — жалоба и хвастовство одновременно. Первый раз я обнаружила этот обряд, общаясь с неглупым и немолодым человеком, который тем не менее на практике, когда речь шла не об отвлеченных предметах и не о посторонних людях, достойных анализа и осмеяния, а о своих родных и близких, сразу начинал буквально ныть, ну прямо вот так: «Ой! Ну я прямо не знаю, мой Мишаня так много зарабатывает, ну я прямо не знаю, ой, он благотворительностью занимается...» А лицо такое плаксивое, как будто этот его Мишаня режет у него на глазах ежедневно старушек, а в свободное время занимается на глазах у всех онанизмом. Может, я, конечно, чего-то не понимаю и папашу правда беспокоит что-то, может, дело нечисто... Но нет — это жанр. Позднее я встречалась с ним много раз. Заклинание — жалоба с хвастовством. Хвастовство — чтобы предьявить Господу, что ценим мы свои успехи в труде и в личной жизни, что Он не зря нам их позволил, жалоба — чтобы продолжать быть на вид бедненькими, чтобы шарахнуло мимо. Вот что неистребимо в человеке абсолютно, так это — язычество.

Созрели — падаем

В ранние брежневские времена, в эпоху расцвета интеллектуального инфантилизма или инфантильного интеллектуализма, начали свое хождение так называемые абстрактные анекдоты. Смешно, как от легкой щекотки, безобидно, но что-то в этом есть такое отложенное на потом. Вот один из них. В сумасшедшем доме все больные ходят с синяками и шишками, персонал недоумевают, но поскольку это явление продолжается, решают последить за бедолагами. И наблюдают такую картину: на прогулке один из больных приказывает всем залезть на деревья, они это исполняют, некоторое время сидят на ветках, потом вожак командует: «Созрели — падаем!» И все падают. Вам стыдно за наше с вами прошлое? Лучше попробовать как-то совладать с настоящим. Ничего, наверно, не было отложено на потом в этом глупом анекдоте, однако создается впечатление, что практически любой сочиняющий что-то находится под патронажем какого-никакого мелкого, но все же ангела, летающего по общелитературному ведомству. Само сочетание понятий зрелости и падения, сам переход от одного смысла падения к другому работают на познание — кто-нибудь да зацепит. Так вот и прицепимся к этим словам и понятиям, поговорим о падении как форме ложной зрелости. Ведь порок всегда выглядит старше невинности.

Человеку свойственен буквально панический страх перед естественной зрелостью, чуть ли не больший, чем перед насильственной смертью. Что же так страшно уступить «новому взгляду на вещи»? Неужели действительно та-

кая безумная привязанность к жратве, траханью, питью, гулянке, что боятся, созрев, что-то этакое понять и перестать так сильно всего этого хотеть. Будто бы совершенно очевидно, что *раз понято — значит, потеряло смысл*.

Почему-то людям очень часто кажется, что им что-то там недодано «самой природой». Но нет, человеку дано не мало, а слишком много. И как скульптор, который «убирает из камня все лишнее», тот, кто хочет состояться, должен все лишнее принести в жертву. Недаром так талантливо рисуют слепцы и глухие сочиняют «дивную, нечеловеческую музыку».

Однако жертвовать своими силами ради других, например, людей — жалко и обидно, можно легко погрязнуть в повседневной суете, поэтому большинство избирает путь частичного самоуничтожения. Вот вам и алкоголизм. Ярчайший пример ложной зрелости в форме порока. Тут сразу мне бы надо возразить — а как же Веничка Ерофеев, он ли не зрел?! Зрел, зрел, отвечаю. Веничка уничтожил в себе все, кроме «Москвы — Петушков», и потому оно так удалось. Исключение подтверждает правило. Но мне, конечно, снова можно возразить, что «все ценные люди России, все нужные ей люди — все пили как свиньи». И можете сказать — пили и пьют, а ведь все время булькает, варится духовная жизнь, литература, искусство. Да, отвечаю, варится, булькает, но все же в основном скорее хрюкает, невысоко забирает. А как же, скажете вы, вообще забрать, хотя бы и не слишком высоко, совсем не набравшись, как еще отречься от суеты сует, как еще суметь принести жертву, ничего, кроме себя, так сильно не разрушая?

Ну, тут я могу взбрыкнуть изрядно. Насчет того, что никого не разрушая... Очень даже разрушая, причем всех вокруг и на поколения вперед.

И вот я вновь ставлю вопрос — а почему бы не созреть естественным путем, путем той жизни, какую Бог пошлет. Почему не потратить свои силы на родных и близких, на работу и другие полезные занятия. Так это очень долго и практически невыносимо, скажете вы. Потому что, находясь в ясном сознании, отдавать на какие-то занятия все свои силы и не иметь даже возможности в это время забиться, чтоб сократить мученья (если отключаться, ни фига не созреешь), довольствоваться отдыхом только в виде ночных кошмаров, — нет, простите. Мы не можем так долго тут присутствовать. Нам не только слишком много дано, но и очень уж долго это длится.

И ведь не боятся ни синей печени, ни черных легких, ни дырчатых, как сыр, мозгов. Только безумно боятся жить всю свою жизнь подряд, без прогулов и загулов, и созреть душой. Что-то такое ценное хотят сохранить, никому не отдать, и чтобы лучше сохранилось, есть способ — заспиртовать. Не важно, что это заспиртованное — неживое. Главное — никому не отдать, не разбазарить.

Если человек вопит и вопиет, что у него нет того или сего, у него надо отнять все. Вся премудрость жизни сводится к тому всем известному анекдоту про бедняка, живущего в страшной тесноте со своей огромной семьей, которому рэбэ посоветовал ввести в дом всю свою скотину. Только выздоравливающий от тяжелой болезни знает истинную цену просто жизни, только потерявши плачем и т. д. А пороки симулируют всяческие жизненные встряски, а потому создают картину более насыщенной «опытами» жизни. Любая симуляция острой жизненной ситуации — порок.

Но порок не был бы пороком, если бы не только вел ложным путем, но и на этом пути не кидал бы своего клиента. Ведь пасть — значит в первую очередь предать себя, так добросовестно сколоченного для совершенства или совершенствования, а уж потом и всех остальных — автоматически. Если бы от каждого личного падения человек, как в том первом анекдоте, приобретал видимые глаза синяки и шишки, то Творение подлежало бы измерению и вопрос о «необъятном» не стоял бы так остро. Иного механизма продвигения по жизни, кроме жертвоприношения, просто не существует. То, что так пугает и, пожалуй, даже коробит в той самой байке про Авраама, который был-таки готов принести сына в жертву, не является истинным смыслом этой поучитель-

ной истории. На самом деле Господь только проверил, крепка ли его вера, а для испытания взял самый очевидный механизм своей божественной логики и механики — абсолютную, первоочередную необходимость жертвы. Если вы не верите в необходимость жертвы, ни о какой больше вере говорить вообще нет смысла. Ну тут многие, в принципе, могут покивать и согласиться. Ну, мол, что делать, придется немножко пожертвовать, а потом уж и оттянемся со спокойной совестью. Будто бы пройдет номер с тем, чтобы пожертвовать тем и столько, чем и сколько мы сами решимся пожертвовать. Будто бы удастся быстро так пожертвовать и нестись себе дальше как ни в чем не бывало. Это еще одно глубочайшее заблуждение. Настоящая жертва — всегда с тобой.

Ну, а эгоизм — это так, правда тела, которая не совпадает с божественной логикой бытия. Инстинкт самосохранения никому не гарантирует сохранность душевного покоя и спокойной совести. Несогласие на урон себе не сулит нам ничего хорошего. А как не хочется!

Ах, а как легко возникает вдруг ситуация, когда вдруг что-то оказалось настолько очевидным, что совершенно непонятно, как можно было до сей поры этого не понимать, не видеть! Ну, например, мы непрерывно и даже довольно агрессивно чувствуем свою правоту, прямо ощущаем, как все свои силы кладем на то да на это, изнемогаем буквально на этом пути. И вдруг на фоне нашего непрерывного нытья, чуть ли не предсмертных стонов и подспудных верных опасений — действительно что-нибудь возьмет и случится. И мгновенно станет абсолютно ясна собственная тяжелая омерзительная вина и притворявшаяся слепой — халтура...

Или другой случай — когда стоит только перевернуться вдруг привычному жизненному укладу — и все вчерашние нормы летят к чертям. Допустим, вас разбомбили какие-нибудь миротворцы — не стало ни света, ни воды, ни имущества. И тут же возникают новые критерии ценностей — буханка хлеба, кружка воды, не говоря уж о приюте на ночь. Ведь так очевидно, что то, за что еще вчера вы так ревностно и судорожно держались и, уж конечно, никому не желали подарить или уступить, — такая, в сущности, ерунда по сравнению с возможностью помыться, например. Или остаться в живых всей семьей...

Какая все-таки прелесть эта калейдоскопическая игра с нами высших сил — в смысл жизни!

Взгляд на мужчин издалека

В детстве я безумно боялась мужчин, причем эта боязнь не имела ничего общего со страхом — это была невыносимая для ребенка тоска. О каких мужчинах могла идти речь? За исключением моего благородного, образцового и грозного отца, пары некондиционных мужей одной из моих теток и гнусного соседа, который преподавал какую-то то ли вентиляционную, то ли водосточную трубу в каком-то заштатном вузе, воровал у нас картошку, хранившуюся в сенах (дом был старинный, и были сени), и, разговаривая в коридоре по телефону, оттягивал рукой половинку и выпускал газы (за пределы квартиры выходить тоже бесполезно — там, во дворе, люди делились не на женский и мужской пол, а на социальные типы: дворник, бандиты, профессор, сумасшедшая старуха, евреи, люди из флигеля, из подвала, из общежития, посетители медицинской библиотеки, включая дружественных китайцев, и т. д.), — так вот, кроме этих шахматных фигур на досочке моего детства временами появлялись пришельцы. Это были провинциальные коллеги моего отца, отдававшего всю мощь своих незаурядных данных крахмалопаточной промышленности. Они прибывали в Москву в командировку за правдой, за приказом намертво неработающему «аг'рег'ату» — немедленно заработать, а кто-нибудь, может быть, даже и на какое-никакое совещание. И они останавливались у нас, в нашей одной комнате, спали на банкетке, к которой, в зависимости от длины командированного, приставлялся либо стул, либо чемодан, либо и то и другое. Вот их-то я и боялась. Услышав, как родители говорят между собой о

скором появлении такого-то, я буквально впадала в отчаяние. Чего я сама не помню, но что стало семейным мифом, который все рассказывали друг другу каждый день (специфика сталинских времен — скудный, непрерывно повторяющийся репертуар домашних разговоров был подобен скудному, непрерывно повторяющемуся репертуару радиопередач), — это история о том, как я, сидя на горшке и услышав, что скоро должен приехать Георгий Андреевич, отчаянно заорала: «Баи Гебедея!!!» Это был добрейший волоокий, с кривым огромным носом, с неожиданно веселой, застенчивой и миловидной улыбкой полуседой, с бархатным голосом и фигурой, напоминающей «мешок с арбузами разной величины», настоящий армянин, который как раз до слез умилился, глядя на маленькую белобрысую детку, а у меня наворачивались слезы настоящего безмерного и безысходного отчаяния (это я помню). Уже чуть позже, лет в пять я бегала к соседке и просила разрешения побыть у нее в комнате, когда к нам придет дядя Игорь. Я помню, как она меня увещевала, говорила, что он хороший и добрый человек. Я отвечала: «Я все понимаю, но я — не могу!!!»

Я не так наивна, чтобы упустить из виду, что бросаю большую берцовую кость господам фрейдистам, психоаналитикам, ана-оралитикам, гипнотизерам-психологам и прочим психфаковцам. Я это спокойно переживу, потому что я вообще живу спокойно. Сейчас, так сказать, в симметричном тем. далеком годах возрасте, я отношусь к своим детским, отчасти провидческим опасениям — с некоторым даже уважением. Понимала крошка, откуда исходит главная опасность для личности и главный стимул для бурных эмоций.

Потом все шло своим нормальным чередом: фотографии киноартистов, разделение всего девчачьего контингента начальной школы на тех, кто влюблен в Блудова и кто — в Федосеева, в уже преклонном переходном возрасте на переменках — игры в ручейки и сильнейшие переживания, если один из героев-любовников отступил от полагающейся ему равномерной любви ко всем и дважды увлек под арку вспотевших, высоко задранных рук — какую-нибудь люську. Бывали и всякие дни рождения, но там, как и во дворе, сексуальной тематики было меньше, чем социальных мук. Надо признаться, что первый класс я еще проучилась при раздельном обучении, а во втором наша школа передана в мужскую всех дурочек, тихо и буйно помешанных, двоечниц и единичниц, а получила оттуда соответствующие «сливки» (тогда еще не успели понаоткрывать «спецшколу», и у нас учились даже абсолютно безнадежные бедолаги). Однако рядом с нашим тополиным школьным переулком, где преобладало деревянное зодчество, а удобства бывали и на улице, возвели к этому времени высотный дом. Тут-то мы и получили этих самых героев-любовников и ряд персонажей средней руки. И все же никто из них не был ни красивым, ни загадочным, ни неопровержимым лидером или кумиром. Так, сами знали, что играем и условно присваиваем звание героя-любовника очень обыкновенному благополучному пионеру средней пушистости.

В окрестностях школы было тогда два знаменитых мужчины. Один, огромный мужик, похожий на памятник Маяковскому, ходил с плащом на руке, а когда в переулке не оказывалось никого, кроме стайки девочек, отводил руку — и стайка разлеталась. (Вот как я ни люблю Евгения Киселева, как ни ценю его деятельность, а за одного «Правнука императора» прощаю все «э-э-э», но когда вижу его в заставке к «Итогам» с плащом на руке... да еще на глазах у Патриарха... а ведь заставка и на самом деле — не блеск.) Другой, старый, «дядя Миша», — педофил и учитель. Он «работал» в скверике около высотного и был детским кошмаром моей подружки, имевшей несчастье в этом высотном жить.

Я явно увлеклась этой историей древнего мира, пора подбираться к средним векам. Мужчины были необходимы всегда. Зачем — это было известно и ясно отнюдь не всегда. И тоска, которая так часто охватывала от них, скорее всего означала: «Не то-о-о!!!» Причем как бы даже — опять не то! Того просто не могло быть. По крайней мере в реальности. Потому что даже тогда было

почти понятно, что ни Олег Стриженов, ни даже Жерар Филипп — никак не ответчики за всю страсть «Красного и черного» или «Сорок первого». Хотя и наведывались мы с подругой пару раз в проезд Художественного театра, где якобы находилось артистическое кафе (это тогда-то — кафе), где якобы бывал бледно-рыжий в действительности Стриженов. От страха перед этой и вообще действительностью мы проносились по переулку, даже не пытаюсь разглядеть вывески на враждебных домах. Вот и вся любовь — хочется сказать про это и вообще поскорей сказать завершающую фразу «про это». Ведь это именно тогда страстей было больше всего. Слава Богу, что по логике бытия все происходит со сдвигом по фазе. Великий эксцентриситет — двигатель в никуда!

Можно только удивляться тем девицам, которые то ли принимали всерьез своих сверстников, то ли совсем что-то другое понимали под предстоящей жизнью — что-то известное вместо чего-то абсолютно неизвестного. Возможно, более конкретная сексуальность заставляла практически в каждом видеть самца и не возмущаться. (Теперь, наверно, все происходит совсем по-другому. Уже в песочнице возникают никем не одергиваемые симпатии — наверно, карапузов уже волнует цвет или фирменная принадлежность памперсов на задранной кверху попе при постройке кулича или что там теперь его заменяет. И попа, обернутая памперсом на липучках, — это очень прилично, и если даже это секс, то вполне обыкновенный и допустимый. Наверно, потом им, девочкам и мальчикам, надо снова как-то разойтись подальше, хотя бы по интересам, чтобы появилось все же некое препятствие, чтобы дать все же чертям поучаствовать в его преодолении.)

Иные как-то очень быстро выходили замуж, обменяв экзистенцию на жизнь, кто-то даже с доплатой. Продолжая с ними периодически общаться, я практически не видела этих их домашних мужей, это что-то собирательное, как говорят в народе — ОН. Мне редактор подсказал для вдохновения, что от побоев мужей и им подобных погибает пятнадцать тысяч женщин, — надеюсь, все же — не в день, не запомнила. Но это не проблема пола, это проблема зависимости (алкогольной, социальной, сексуальной, невежественной). Как говаривал Кришнамурти, есть только две ужасные вещи — насилие (а может быть, жестокость) и скорбь (а может быть, печаль — с этими переводами всегда так, как в том мультфильме: «А может быть, корова, а может быть, собака...»).

И все же наша сказочка не про то, как насильники бьют, а жертвы скорбят. (Агрессоры и насильники не придумали агрессию и насилие, они — исполнители того зла, которое в мире есть. Их это не оправдывает, но лишает ореола независимости.)

Зависимость — это да. Это мрачное средневековье в отношении женщины к мужчинам, когда зависимость поиска переходит в зависимость обретения и обратно, когда в голове практически потушен свет и загорается сигнальная лампочка, только когда появляется этот пресловутый тумблер. Почему, сам по себе вполне оправданный, по крайней мере с биологической точки зрения, поиск мужчины так бьет по нервам, что почти совсем отшибает мозги и ослепляет? Наверно, потому, что иначе — не найти, не увидеть в чем-то совершенно невообразимом того самого долгожданного, иначе поиск продлится вечно и прекратится род человеческий.

Этот детский страх за качество предстоящей жизни, это беспокойство за качество бытия вообще очень свойственно женщинам, пожалуй, на протяжении всей их жизни. При каждой роковой встрече с мужчиной разворачивается бездна — опасность неправильного поворота событий, помноженная на страстное их ожидание.

Даже если абсолютно сбросить со счетов кокетство (мужчины тоже усиленно кокетничают, просто более продвинутые — в основном со смертью), желание понравиться на всякий случай, пусть даже и совершенно бескорыстно, женщине гораздо важнее мнение о ней любого мужчины, чем другой женщины (в норме). Один учитель математики и физики, ставший впоследствии

великим философом, каковым он, естественно, был до того, как стал, написал, что «любовь — это ностальгия по Господу Богу в ипостаси Лица». Не уверена, что это определение подходит, если речь идет о любви к женщине, хотя в прежние времена сплошь и рядом «обожествляли». А вот эпопея с поисками суженого некоторыми «христовыми невестами» и требования, предъявляемые к его качеству в мечтах, а если вдруг — то и наяву, — эти требования находят-ся в согласии с вышеозначенным определением. (Хотя скорее всего философ под любовью понимал нечто иное, но сказал в первую очередь о том, что она направлена всегда как бы на подставной объект, а практика сплошь и рядом подтверждает эту истину.)

Женщинам кажется, что норма есть, они ее себе как-то представляют и стараются навязать другим. Умеют, часто даже намного честнее и свежее, чем сильный пол, взглянуть на вещи и увидеть. Правда, это уже, пожалуй, не о мрачном средневековье, где царит, опять же в норме, лишь биологическая задача — гнездо с птенцами. Эти женские способности скорее относятся уже к Ренессансу, когда семья какая-никакая уже есть или была, перестало так исто-висто болеть дитя и можно стало оглядеться.

Как-то раз очень давно, во глубине застоя, мой тогдашний муж и учитель принес домой добычу — бледный и мятый, вероятно, пятый экземпляр машинописного самиздата — неканоническое Евангелие от Фомы или его кусочек. Там была загадочная для меня по тем временам фраза: «Женщина не увидит Царства Небесного, пока не станет мужчиной». Сейчас можно подвергать сколько угодно сомнению подлинность и реальность существования такого текста, но никаких сомнений не вызывает его смысл. Недаром в украинских деревнях раньше, по крайней мере, про мужа говорили «чёлownik». И каким бы он ни был — похожим на кусок сала без подробностей или на печеный огурец в заскорузлых, потерявших даже синий цвет портках, какое бы невразумительное хмыканье или хрюканье он ни издавал в ответ на лицемерную, при гостях, попытку «жинки» с ним «посоветоваться», он — мужчина, а значит — человек, то есть принадлежит не только своей семье, но всему Божьему миру. Баба орудует ухватами, а он творит реальность. Хотя бы и одним своим существованием.

Ведь все дело в этом, и теперь, когда дым рассеялся и «грушницкий» стал весь как на ладони, можно отдать ему должное. Вся реальность, кроме дикой природы и Небес, практически вся материальная и духовная жизнь на земле создана мужчинами. Возьмите хотя бы мир звуков — ну разве достаточно было, даже для начала, одного только шума прибоя, воя ветра, стука дождя (особенно до всяких там крыш), ударов грома, треска молнии, трелей соловья, мычанья, рычанья и даже «согласного гуденья насекомых» (и то до Бродского оно так не называлось). Так что музыка явилась до-творением. А кто ее сочинил? Все-таки не Губайдулина. (Одна моя подруга рассказывала замечательную историю — ее одноклассница как-то спросила: «А кто написал полонез Огинского?») И не говоря даже о Бахе и Моцарте, даже выбив из головы все изящное искусство, загасив постоянно звучащее в ушах «Let my people go» — спасибо рекламе, зачеркнув всю мировую литературу со всей почти мировой же поэзией, закрыв глаза на гениальных красавцев актеров, наплевав на Де Ниро (а он, пожалуй, создал самую полную галерею типов мужчин), не отдавая должное гению Барышникова, одухотворившего «балетный труп», кишащий червями рук и поражающий мужскими задницами, а просто тупо проезжая муниципальным транспортом по городам и весям и тупо глядя в окно, мы видим, как два мужичка умело возводят крышу, — и тут, как говорится, нечем крыть!

Конечно, женщина тоже может освоить и научиться, справиться, а то и превзойти, и — обойтись. Но когда женщина обладает такими качествами, Царство Небесное она, может быть, и узрит, а пока пусть рассчитывает только на себя.

Не удивительно, что самая народная профессия — шофер — одновремен-но и самая мужская. Это основной контингент моих соотечественников — на-

ха с вытянутой шеей, его грязных закоптелых разбросанных вокруг него факкультетов, не вынесу больше ни дня очереди на 96-й автобус, который в дометровские времена возил спрессованные партии бессловесных благоуханных граждан от Таганки в Кузьминки мимо мясокомбината (грузовики с еще более бессловесным скотом застревали на этом уровне), мимо МЗМА, завода «Клейтук», регулярно напоминающего, как мы будем вонять, разлагаясь, через Сукино болото, через горб моста над Текстильщиками и далее почти до упора — не хочу всего остального.

Нет, лучше комки не размазывать. А то начнешь действительно анализировать свои впечатления от брожения по теплостанскому оптовому рынку. «Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли в многолюдный храм...» Да что там! Есть даже тип лица «несчастливых торговков частных» — у них большие плоские щеки, а у одной или не у одной постоянный фингал, стараюсь не смотреть на их лица, жалею их, вижу только посиневшие от холода руки в перчатках с отрезанными пальцами (митенки, так сказать). Они с возвышения своих полузастекленных палаток-кабинок отпускают нам ноги, сердца, печень и проч. — и это какое-то таинство, промозглое, быстрое и на мгновение лишшающее сознания — как будто они отпускают грехи, наши и свои, — на некоторое время (мы исполняем свой долг перед близкими-подопечными, добывая им покушать, а они исполняют свой тяжкий труд, отрабатывают свою синекуру в Москве, «на квартире», с мрачным ежевечерним кутежом, рабством во всех сферах, но, видимо, все же со свободой от чего-то еще менее желанного).

Один из умных предложил мне обдумать взаимоотношения комплекса неполноценности, стыда и совести. Умный и вправду, уловил, ничего не скажешь. Можно, конечно, долго и плодотворно обдумывать, философические письма катать, а можно просто — «почувствовать разницу». Комплекс — применение совести в узких, эгоистических, прикладных целях, притом с неудачным результатом. Стыд — уже какая-никакая профилактика зла и позора, ну как антитела вырабатываются и могут помочь не заболеть этим же в другой раз. А совесть на самом деле — основа не только и того и другого, но еще и очень многого другого, где она практически совсем не просматривается.

Ну а телевизор? Нет, почему же не посмотреть и не послушать. Я и отвечаю им, и шучу иногда удачно им в ответ. А почему бы мне не порадоваться, как легко и раскованно, изящно и в то же время вполне несерьезно отплясывает Парфенов на очередном Новомодном Проекте. Мне приятно, что он хорошо танцует, он у нас танцует, и слава Богу. Мне, естественно, совсем не обидно не только за себя, старую, которая и в молодости совершенно не могла танцевать, а если и были, по пальцам сосчитать, несколько случаев, что я вдруг пускалась в пляс, значит, имело место патологическое опьянение от наперстка, который кому-нибудь обаятельному или подлому удалось в меня влить, сломив мое отчаянное сопротивление. Почему я уж так органически не танцевала? Комплекс? Стыд? Совесть? Даже современный, ну хотя бы по времени и зрелым мозгам, мой красивый сын тоже, кажется, так же совершенно не танцует никогда. Я целомудренно не вникаю. Передалось, натрусила кое-каких генов. Но даже ущербность в этом отношении моего возлюбленного сына не мешает мне вполне любить танцы Парфенова и Киселева, а также Митковой — по телевизору. Правда, лучше всех это делает Черномырдин.

Может, мельком посмотреть на все это, оно как бы ничего не дает (ни информации, ни пищи для ума, ни слишком сильных эстетических переживаний), а все равно — что-то дает. Какие-то ориентиры, без которых теряется связь с какой-то ерундой типа окружающего мира.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

*

«КАК СЕРДЦУ ВЫСКАЗАТЬ СЕБЯ?»

О русской прозе 90-х годов

Культура без сердца есть не культура,
а дурная «цивилизация».

Иван Ильин.

О понимании

Положив себе за правило никогда болезненно не реагировать на самые резкие высказывания в свой адрес, я, однако ж, никогда не мог смириться с некоторыми из них. С поразительным сходством они звучали в статьях критиков очень разных — Натальи Ивановой, Дмитрия Быкова, Александра Агеева, Вячеслава Курицына, — заподозрить которых в сговоре было бы нелепо. Дескать, Басинский выступает за какое-то теплое, гуманное, *сердечное* искусство (причем делает это так агрессивно, что просто ужас!). А на самом деле искусство — это область Игры, Эксперимента, Разнообразия и Самовыражения. Это, говоря новорусским языком, *очень крутое* занятие. И к нему смешно приступать с элементарными человеческими требованиями, простыми и банальными, которые, разумеется, полезны для дома, для семьи, но — совершенно бессмысленны в серьезном разговоре об искусстве XX столетия.

Апофеозом 90-х годов в литературе была идея *плюрализма*. То есть роскоши, разнообразия. Самая мысль о каких-то «границах» внушала отвращение. На этом фоне поборники традиции, реализма смотрелись мрачными буками, человеками в футлярах. СС, или Сугубая Серьезность, — так определила Наталья Иванова образ мысли этих птеродактилей от литературы с их какими-то требованиями неизвестно чего и неизвестно к кому. Тем более требованиями — забавно подумать! — какой-то теплоты и сердечности.

Искусство — это зона риска, — поучал меня Александр Агеев в ответ на мою критику заушной и псевдоизошренной прозы Анатолия Королева. Утверждение правильное и бессодержательное. Искусство — это зона риска, потому что оно вообще — область жизни. Если Агеев думает иначе, тогда о чем речь? Рисковать во сне или в досужем воображении, рисковать, переставляя буквы на бумаге и не замечая ничего, кроме букв, конечно, приятно, но в чем тут риск? Рисковать только *жизненное* искусство. Там риск может оказаться и *смертельным* — не для одного его творца.

В книге «Инцидент с классиком» (М., «Соло», «Новое литературное обозрение», 1998) Игоря Клеха — кстати, одного из самых эстетически рискован-

Басинский Павел Валерьевич — литературный критик. Родился в 1961 году в г. Фролово Волгоградской области. В 1986 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук. Автор книг «Сюжеты и лица» (1993) и «Русская литература конца XIX — начала XX века и первой эмиграции» (в соавторстве с С. Федякиным; 1998). Печатается в журналах «Октябрь», «Новый мир», в «Литературной газете» и других периодических изданиях. Лауреат премии Антибукер по номинации «Луч света» за 1999 год.

ных писателей последнего десятилетия, — талантливо рассказано о том, какой неожиданный эффект производила проза Сэлинджера в умах и душах американцев и в частности — будущего убийцы Джона Леннона Чапмэна. Любопытно, что Клех (практик) как раз пишет о рискованности искусства как о серьезной проблеме, в отличие от Агеева, который (теоретик) проблему использует в качестве аргумента. Подозреваю, что органическая нелюбовь Клеха к реализму подспудно питается именно этим: чувством опасности буквального тождества жизни и искусства и, в возможном итоге, подмены жизни искусством, да еще и дурным искусством — то есть *псевдожизненным*.

«В аду, куда я несомненно попаду, даже если ада нет — я все равно туда попаду! — мне с порога закапают глаза атропином и, выдерживая в режиме жуткого похмелья, посадят читать навечно нескончаемый реалистический роман, какой-то сценарий телесериала о каких-то чешских врачах, — и все силы ада в поте лица будут трудиться над все новыми главами, чтобы чтение мое никогда не иссякло...»

Примечательно, что антиреалист Клех понимает проблему реализма глубже и острее разнообразных теоретиков, посмеивающихся над искусством «изображения жизни в формах самой жизни». Он ее, образно говоря, душевной кожей чувствует. Он знает, что настоящий ад заключен не в «Черном квадрате» Казимира Малевича и не в прозе Владимира Сорокина, а в сценарии сериала «о каких-то чешских врачах». В том, что, претендуя на жизнеспособие (на *какую-то* якобы жизнь), на деле является *нежитью*. В чем нет души и сердца.

Я также подозреваю, что Клех традиционнейший романтик и что его война с реализмом есть форма онтологического бунта, который интересен не как факт (он слишком традиционен), а как индивидуальная жизненная и художественная практика. Проза Клеха насквозь исповедальна, но, правда, в ситуации отсутствия исповедника. Это своеобразный перечень и осмысление потерь и приобретений в войне с Богом, с миром, с обществом — тоже своего рода «сериал», но только повествующий о конкретной живой душе.

Вообще, если *сердечно* взглянуть на многие вещи в современной литературе, ее картина окажется совсем иной, нежели она представляется в аналитических обзорах критиков-профессионалов, для которых самая категория «сердечности» в оценке литературы кажется смехотворной и старомодной.

Образцом такой «бессердечной» критики, на мой взгляд, является статья Марка Липовецкого «Растратные стратегии, или Метаморфозы „чернухи”» («Новый мир», 1999, № 11). Однако сразу оговорюсь, что в понятие «бессердечная критика» я не вкладываю никакого морального пафоса и уж тем более далек от того, чтобы обвинять лично мне хорошо знакомого и безусловно симпатичного человека в бессердечии. Я только хочу показать, к какому пониманию современной литературы ведет критика, сосредоточившаяся исключительно на умственной игре и исключившая «сердце» из своего профессионального инструментария.

В начале статьи Липовецкий выдвигает тезис (по его же признанию, заимствованный), который затем доказывает «на примерах». Метод не самый корректный, но для Липовецкого характерный и, в общем, вполне допустимый, если поверить, что тезис пришел в голову после анализа конкретного материала, а в статье все просто поменялось местами. Тезис (*растратные стратегии* русской культуры) достаточно мудрен, чтобы его здесь пересказывать. Непосвященным я предлагаю обратиться к самому первоисточнику.

Дело вовсе не в тезисе, а в способе его доказательства. Литература рассматривается не как отдельные имена и произведения, изначально предназначенные для *просто чтения*, для сопереживания, а как борьба всевозможных стратегий, где имена и произведения — это фигуры на шахматной доске, причем автор статьи сам определяет, кто из них пешка и кто ферзь. Вот стратегия обреченная — это литературная *чернуха*, которую Липовецкий считает есте-

ственным завершением истории реализма¹ «в диапазоне от „Физиологии Петербурга” до босяков Горького, от „Окопов Сталинграда” и до „Одного дня Ивана Денисовича»».

Итак, черные фигуры на доске. Но их порядок мне не вполне понятен. Что за диапазон такой? Что лежит между «Физиологией Петербурга» (однократной литературной акцией Н. А. Некрасова, имевшей несомненные французские корни) и босяками Горького (тоже литературной частностью, которая, впрочем, уже символистской критикой трактовалась не в реалистическом ключе, а как идеологический вызов времени)? Весь почти XIX век? Что располагается в границах, с одной стороны, добротной вещи Виктора Некрасова, сразу задавшей тон честной литературе о войне, и с другой — великой повести Солженицына, не просто лагерной и не просто первой в своей теме, но открывшей литературе возврат «дыхания и сознания», что признавалось и самими писателями-современниками?

Настоящим классиком современной «чернухи», по мнению Липовецкого, является Виктор Астафьев с его повестью «Веселый солдат». Это упадок целого направления (см. выше). Здесь рядом с изображением мук и радостей «народного тела» даже не осталось места для четкой идеологии: «...неряшливо, обычно ведомый инерцией конкретного эпизода, он пускается в риторические плаванья, отдавая дань то православной молитве, то величию советской песни, то проклиная интеллигенцию, то преклоняясь перед ней, то матеря русский народ, то виня во всех бедах паразитов инородцев», — с иронией говорит Липовецкий.

Это и есть «бессердечная критика» в ее наиболее чистом виде: главное качество произведения, его, если угодно, *сердечная суть*, оказывается средством для его же посрамления. Липовецкий прекрасно знает о том, *что такое* астафьевская проза, хотя бы потому, что об этом немало написано. Знает, как ее достоинства и недостатки легко перетекают друг в друга и как порой неуправляема астафьевская интонация. Как самое ценное в ней (слеза, сердечность) мгновенно опрокидывается в темную противоположность: злость, бранчивость, раздражительность. Да, Астафьев обычно ведом «инерцией конкретного эпизода»², но эти эпизоды — и в «Царь-рыбе», и в «Последнем поклоне», и в «Веселом солдате», и в менее удавшихся «Людочке» и «Печальном детективе» — *ранили сердца* сотен тысяч людей и составили *эпоху воспитания чувств* нескольких поколений.

К тому же в «Веселом солдате» Астафьев возвысился еще и до символа. Это повесть вовсе не о «народном теле», но о народной душе³ в образе «веселого солдата», искалеченного физически, но не уничтоженного нравственно. Мне уже доводилось писать, что символические элементы в повести возника-

¹ Спорить с Липовецким о реализме — значит возвращаться на круги своя. Несколько лет назад, споря с ним в «Новом мире», я писал, что в критике XIX века реализм и натурализм не различались по простой причине: искусство реализма еще не осознавалось *как искусство*, это приходит позже, на рубеже веков, после серьезных эстетических потрясений. Прошли годы. И вот в статье Липовецкого читаю: «В сущности, „чернуха” наиболее цельно наследовала реалистической традиции... и в этом нет ничего странного — натурализм и реализм если не синонимы, то родственные понятия в культуре XIX века, это только в советском литературоведении натурализм стал ругательным словом». Ну да, ну да... А мы только вчера родились.

² Как это все напоминает официозную марксистскую критику 60-х годов с ее претензиями к «правде факта!» Дескать, зачем *они* (писатели-фронтовики) показывают, как на войне людей *убивали*? То есть и убивали, конечно, но это ж не главное! Главное, что народ и партия побеждали! Или вот: зачем он описывает, как командир у бедного солдата землянку отобрал? То есть отбирали, конечно, и это обидно. Но не это ж главное! Главное... и проч.

³ В самом понятии «народного тела» есть что-то не только унижительное, но и метафорически зыбкое. Что такое «тело» народа? Его можно представить в виде очереди в гастроном либо демонстрации, да и то с высоты птичьего полета, ибо если ты *сам* находишься внутри *тела* и ощущаешь себя отдельным от него, то это же может чувствовать и всякий другой *внутри тела*, что является уже каким-то метонимическим абсурдом. Иное дело — *народная душа* как совокупность общих мыслей, чувств, навыков, верований, предрассудков и т. п. и, наконец, в высшей точке развития — как *культурная величина*.

ют подчас неожиданно, как бы сами собой (что и есть признак подлинного символизма). Они вырастают из самой жизни. Например, имя и отчество главного персонажа (совпадающие с авторскими) вдруг распадаются на две смысловые части: Виктор (победитель) и Петрович (почти анекдотический образ бывалого русского мужичка, пьяницы и ворчуна, добродушного или, напротив, озлобленного «пораженца»). Был «Виктором», а стал «Петровичем». Но «Петрович» однажды снова может стать «Виктором», потому что это в нем генетически заложено и не исчезло никуда. Не это ли — самая точная история народной души в XX веке? История о Викторе и Петровиче.

Бессердечная культура

Надо ли объяснять, что традиция *сердечного понимания мира* в русской литературе сложнее и значительней известного культа чувствительности (сентиментализма), в свое время заимствованного от западноевропейской литературы, прежде всего от Руссо? Кажется, это понятно всякому, кто внимательно читал Карамзина и Пушкина, Некрасова и Достоевского, Блока и Платонова. Однако стоит современной литературе хоть на один градус повысить уровень *сердечности* (да просто без иронии произнести слово «сердце»), как тотчас начинаются разговоры о «новом сентиментализме». Убежденные в том, что ничего первичного в современной культуре быть не может, критики и в самой сердечности подозревают литературный «дискурс», и только.

Если бы это было правдой, это было бы ужасно и означало бы конец русской литературы. К счастью, это, я думаю, вовсе не так.

Сердечность не может быть собственностью какого-либо направления, будь то «новый реализм»⁴, «новая искренность» или «новый сентиментализм». Это *естественное и необходимое условие русской литературы*. Напротив, отсутствие сердечности может обсуждаться как проблема, приниматься как исключение. У нас все наоборот. Холодная, безжизненная литературная игра стала перспективной нормой, а повышенный градус сердечности под подозрением. Мы ему не верим.

О наступлении эпохи «бессердечной культуры» в политике, в искусстве, в церковной жизни пронизательно предупреждал Иван Ильин. Он же описал основные параметры этой культуры. Формула ее проста: все, что хотите, но — минус сердце.

«В политике царит личный, групповой и классовый интерес. Здесь идет умная и дерзкая борьба за власть. Здесь нужен холодный расчет, трезвый и зоркий учет сил, дисциплина и удачная интрига; и конечно — искусная реклама. Политик должен блюсти равновесие в народной жизни и строить „параллелограмм сил“ в свою пользу. При чем тут чувство? Сентиментальный политик никогда не дойдет до власти, а если получит ее, то не удержит. Здесь все решается *волей и силой*; и любви здесь нечего делать. Сентиментальность погубит *всякий* государственный строй...»

«Современное искусство есть дело развязанного воображения, технического умения и организованной рекламы. Сентиментальное искусство отжило свой век... Ныне царит *изобретающее и дерзающее* искусство, с его „красочными пятнами“, звуковыми прыжками и эффектными изломами. И современ-

⁴ Мне уже надоело объяснять своим оппонентам, что я *никогда* не провозглашал «нового реализма» как современной литературной школы. Больше того, подобная идея мне кажется неумной и удивительно старомодной, заплесневевшей еще в начале века в горьковском «Знании». Вообще реализм как школа и направление (то есть как сегмент общей картины словесности) — это прежде всего сдача позиций *нежизненному* искусству, которое медленно с радостью сожрет все остальное. Надо быть ортодоксами до конца, а не выпрашивать себе «кусочка». Между тем однажды в «Независимой газете» появилась статья С. Казначеева, который обвинил меня в краже (!) его (!) идеи «нового реализма». Лучше бы я украл у него старый носовой платок. Казначеев может не беспокоиться и властвовать в «новом реализме» нераздельно.

ный художник знает только две „эмоции“: зависть, при неудаче, и самодовольство, в случае успеха»⁵.

«Бессердечная культура» уже состоялась в России и обрела верховное положение во всех областях жизни. Некоторая, скажем так, судорога народной души по этому поводу была сравнительно легко преодолена, возможно, потому, что «злая энергия души» (И. А. Ильин) эффективнее в кратковременной схватке, чем глупая и доверчивая сердечность.

Примечательна в этом плане метаморфоза русского постмодернизма, начинавшего в начале 90-х годов с невинных культурных игр, но затем быстро оседлавшего наиболее выгодные и проплаченные стратегии в масс-медиа. И вот уже без всяких шуток-прибауток *главной культурной проблемой* объявляется зарабатывание денег и то количество у. е., которое необходимо для приличного быта среднего класса⁶.

Но как ни странно, именно апофеоз «бессердечной культуры» является признаком ее неизбежного заката. Согласно И. А. Ильину, «бессердечная лжекультура» есть *обреченный путь*. Но он же считает, что это культура *умная и расчетливая*. Можно почти не сомневаться, что на пороге своего крушения она постарается освоить именно *сердечную стратегию*. В противном случае просто задохнется в собственном цинизме, как это произошло с коммунистической властью. Некоторые признаки поворота к сердечности уже есть.

Напомню, что идеология «перестройки» начиналась с формулы «все нравственное эффективно, все неэффективное безнравственно». Сегодня этой фразой только людей пугать. Чубайс в новогоднем интервью уже был вынужден изображать из себя доброго Деда Мороза, заботящегося о том, чтобы в доме каждого россиянина в новогоднюю ночь не погас свет. Ельцин пришел в политику с внешностью крутого мужчины и V-образно сложенными пальцами. А уходил со слезой на глазах, напоминая какого-то персонажа русской классики: не то старика Карамазова, не то степного короля Лира. Сердечность вдрог оказалась куда более ходовой монетой, чем злая воля и эффективность.

Все это доказывает, что политики острее чувствуют конъюнктуру времени, чем художники. Я подозреваю, что в начале нового века нам грозит невиданный культ чувствительности, какого не знали XVIII и XIX столетия, — океаны слез и водопады сердечных признаний. И здесь важно не забыть, что «сердечная культура» и культ чувствительности не одно и то же. Великий инквизитор не был чужд искренности и сочувствия. Но, как замечает Достоевский в записных тетрадах о таких, как он, «в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей».

Параметры сердечной культуры определить гораздо сложнее, еще сложнее как-то сформулировать, ибо сам предмет по определению сопротивляется интеллектуальному подходу. Зато здесь мы имеем прекрасный ориентир — русскую литературу.

Глупое сердце

«Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя? / Поймет ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь...»

Последняя строка этой цитаты из стихотворения Тютчева «Silentium!» вспоминается наиболее часто и уже стала поговоркой. Между тем, вырванная из контекста, она мгновенно теряет изначальный смысл, приобретая следующий: мысль настолько сложна и глубока, что не может быть высказана, не превратившись в ложь. То есть проблема заключается в высказывании *мысли*. Между тем, по Тютчеву, проблема состоит в невозможности высказаться *сердцем*, что приводит к неизбежной лживости всякой высказанной мысли, высказать которую как раз не составляет проблемы. Смысл оказывается полностью

⁵ Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993, стр. 294.

⁶ См. сайт в Интернете «Неофициальная Москва».

противоположным или, по крайней мере, совсем не таким, как у вырванной из контекста стихотворения строки. «Как сердцу высказать себя?» — вот главный вопрос «сердечной культуры».

Пожалуй, наиболее глубоко это понимал Достоевский. Его идейный полифонизм, воспетый М. Бахтиным и его не очень удачными последователями, не только не противоречит «сердечной культуре», но и *практически* доказывает верность поставленной Тютчевым проблемы. Грубо говоря, идей множество. Их почти столько же, сколько на земле людей. Здесь нет и не может быть истинности (*vivat*, постмодернизм!). Но сердце при этом молчит. Оно высказывается однажды (даже если много раз, то каждый раз *однажды*) и строго напоминает об истине. Таким образом, проблема заключается не в том, *что и как* высказывает сердце, а в том, что оно *молчит*. И чем больше сердце молчит, тем разнузданнее становится мысль, тем злее, наглее и энергичнее заявляет о себе *бессердечный полифонизм*.

Между тем сердце нельзя *заставить* высказаться — сердцу не прикажешь! Оно, глупое, высказывается всегда неожиданно и всегда невпопад, когда ты вовсе на это не рассчитываешь.

В статье Достоевского «Петербургские сновидения в стихах и прозе» дается подробное описание этого сердечного произвола. Однажды, спеша с Выборгской стороны к себе домой, автор остановился возле Невы и невольно залюбовался зимним петербургским закатом. И вот: «Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и *сердце*⁷ мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам... Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование...»

«И вот с тех пор, с того самого видения... со мной стали случаться всё такие странные вещи. Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона... Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и, когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я... я... служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю... и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел; она жила со мной, под боком, тут же за ширмами. Мы жили тогда все в углах и питались ячменным кофеем. За ширмами жил некий муж, по прозвищу Млекопитаев; он целую жизнь искал себе места и целую жизнь голодал с чахоточной женою, с худыми сапогами и с голодными пятерыми детьми. Амалия была старшая, звали ее, впрочем, не Амалией, а Надей... Амалия вышла вдруг замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет сорока пяти, с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в углах, но получившего место и на другой же день предложившего Амалии руку и... непроходимую бедность. У него всего имущества было только шинель, как у Акакия Акакиевича, с воротником из кошки».

Вот, пожалуй, главный признак сердечной культуры. Глупое сердце молчит и не высказывается до тех пор, пока мечтаания беспредметны и душа заражена себялюбием. Сердечная культура не только антиэгоистична, но и необыкновенно предметна, сердце не может высказаться *вообще*, безадресно.

В «Преступлении и наказании» сердце Раскольников *бьется, стучит, колотится, теснится, мучается, терзается* и т. д. (автор с какой-то чрезмерностью это подчеркивает, намекая, что причины тут вовсе не кардиологические),

⁷ Здесь и далее в цитатах курсив мой. — П. Б.

но *молчит* до тех пор, пока не входит в его жизнь Соня и Раскольников не ощущает свое родство с ней. «Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что настала же, наконец, эта минута... Их воскресила любовь, и *сердце* одно-го заключало бесконечные источники жизни для сердца другого».

Поразительно, но тот же самый процесс, почти в тех же самых выражениях, что в «Петербургских сновидениях...», описывается и в рассказе Андрея Платонова «Возвращение». Сердце солдата Иванова молчало и до войны, и на фронте, и после победы (хотя, конечно, не раз сильно билось). И только при виде бегущих за поездом детей Иванов услышал свое до этого молчавшее сердце: «Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессиленных детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто *сердце*, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь, и лишь теперь оно пробилось на свободу, наполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем».

Поразительно то, что накануне этого события Иванов долго разговаривал со своим сыном, поражаясь его недетской мудрости. Но даже самые правильные и справедливые резоны сына не смогли убедить Иванова простить жене измену. Сердце не внимает рассудку, даже когда он стопроцентно прав. И только живая картина, предметный образ могут *внезапно* заставить сердце говорить.

Что-то похожее происходит и в фильме «Калина красная». До тех пор, пока Егор Прокудин не увидел свою мать (и себя самого рядом с ней каким-то уже *другим* зрением), сердце молчало, говорил один рассудок. Коснуться жизни «обнажившимся сердцем» ему позволил только *зрительный образ*.

Возможно, именно с этим связана, скажем так, сердечная неполноценность повести Алексея Варламова «Дом в деревне», опубликованной в «Новом мире» в 1997 году и имеющей характерный подзаголовок «Повесть сердца». Татьяна Касаткина, слишком строго разобравшая прозу Варламова в статье «Подростковый период...» («Новый мир», 1999, № 11), в одном права: прочувствовать сердцем ситуацию, описанную в повести, мешает «двоящийся» авторский взгляд. Варламов (точнее, рассказчик, которого не стоит отождествлять с автором) не смог окончательно преодолеть «преграду самолюбия» и найти тот единственный зрительный образ, который бы мгновенно заставил героя «прорзеть во что-то новое» и начать новое существование. Жизнь вологодской деревни, где автор-герой купил дом, чтобы «создать самого себя и вырваться за те границы, которые ставило передо мною благополучное городское существование», так и осталась за границами его душевной оболочки, *вне сердца*. Собственно, об этом и повесть. О необыкновенной сложности (почти невозможности) сердечной культуры в конце XX века. «Деревня... факт моего сердца», — пишет Варламов в конце повести. Тем самым он обнаруживает главный сердечный просчет своего героя: он стремится крестьянский мир сделать «фактом» *своего* сердца. Это чистой воды эгоизм, какими бы святыми побуждениями он ни питался. Именно это и было причиной крушения героя в его попытке сродниться с деревней. (Вопрос в том, понимает ли это сам Варламов, существует ли дистанция между ним и героем-рассказчиком.) «Сердечная культура» требует как раз обратного: коснуться обнажившимся сердцем внешнего мира, открыться в него, оказаться его маленькой частью.

Высокой «сердечной культурой» отличается проза Бориса Екимова. Его рассказ «Фетисыч» и повесть «Пиночет» не просто добры, человечны и проч.

Екимовские герои не просто сердечны, они *деловито* сердечны. В прозе Екимова можно обнаружить своеобразную полемику с традицией «деревенской прозы». Для Екимова мало изобразить катастрофу русской деревни. «Волно дав лирическим порывам, изойдешь слезами в наши дни...» — писал Некрасов, предчувствуя трагедию сердечной культуры, которая окажется бессильной перед «злой энергией» бессердечия. Но екимовские герои отказываются просто исходить слезами. Их глаза сухи, жесты неторопливы, слова рассудительны. (Особенно это потрясает в «Фетисыче», где сердечным *деятелем* становится деревенский мальчик, перекочевавший в «Пиночета» в качестве не главного персонажа.) Это какой-то другой, совсем новый виток «сердечной культуры».

В повести «Пиночет» слово «сердце» встречается шестнадцать раз на сорока страницах. Но этого не замечаешь, потому что это только припев, а песня совсем о другом. Вернувшийся председательствовать в родное село Корытин-младший озабочен не вопросом «как сердцу высказать себя?» (оно высказалось тотчас при взгляде на положение дел в перестроечном колхозе), а вопросом «что делать?». Он становится «пиночетом», почти боевым командиром в мирных условиях. Он наступает ногой на пискнувшую было в душе жалость и заслуживает репутацию жестокого властелина, которого ненавидит половина села. Но он ставит колхоз на ноги, вопреки всем разговорам об обреченности колхозов вообще. «Сердечная культура» Корытина состоит не в том, чтобы ужасаться очередному падению русской деревни, сделавшей главным источником своего заработка воровство, а в том, чтобы спасти единственную пока действующую форму крестьянского хозяйства — колхоз. Не прекраснотушные (беспредметные) мечты о перспективах фермерского уклада, которыми морочили нам головы перестроечные публицисты (да, фермы — это замечательно, осталось только выписать из-за границы опытных фермеров, построить дороги, подвести воду и дать технику), а спасение живых людей, обреченных на вырождение.

Борис Екимов показывает еще один важный признак «сердечной культуры». Она не просто «лирический порыв», она — *деятельная любовь*.

В пределах одной статьи нет возможности разобрать все художественные примеры «сердечной культуры» в русской литературе 90-х годов. Я взял только наиболее четкие образцы. Тем, кого интересует эта тема, я порекомендовал бы обратиться к последним вещам Евгения Носова, Валентина Распутина, Леоныда Бородина, Олега Павлова, Антона Уткина, Михаила Тарковского, Марины Вишневецкой, Александры Васильевой, Светланы Василенко, Андрея Дмитриева.

Но часто «сердечная культура» пробивается там, где ее и не ждешь: например, в насквозь эгоцентрической прозе Александра Кабакова или в не совсем понятном мне романе Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени». Или даже (зыбко, смутно) в последнем романе Виктора Пелевина. И подобные неожиданности — особенно значительны.

О «бессердечной культуре» в ее конкретных литературных представителях (В. Сорокин, Вик. Ерофеев и наиболее коммерчески состоявшиеся авторы «масслитературы») мне говорить как-то вовсе не хочется. Для этого найдется немало «профессионалов». Выскажу только одно. «Бессердечная культура» всем хороша. Она не требует от потребителя нравственного напряжения (не «грузит»). Она сочувствует его маленьким прихотям и ласкает его интеллектуальное самомнение. Она действительно разнообразнее культуры сердечной. У нее есть только один небольшой недостаток.

Это гибельный путь.

МАРИНА АДАМОВИЧ

*

ЭТОТ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР...

Современная русская проза в Интернете: ее особенности и проблемы

Посвящается коту В. Курицына.

1. О мухах и паутине

Net — это Сеть. Web — Паутина. Второе, по-моему, подходит больше. «Сеть» порождает ненужные ассоциации: море, пространство, бесконечность, безбрежность, мощь, сила, стихия, свобода. «Паутина» же вызывает три образа: мухи, паук, угол. Начнем с мух.

«Если бы Розанов дожил до Паутины, он бы всю ее исследил мушинными лапками своих отрывистых мыслей — и много бы оставил там ножек и крылышек. Вот где исчезает всякая разница между рукописанием и печатанием, так что даже проблемы такой — „книга на правах рукописи” — не возникает, каждая мысль тут же летит в паутину и застревает в ней, как муха... Да и какая же паутина без мух?» Предлагаю вслед за процитированным Михаилом Эпштейном («Мухи в паутине. Мелкие отрывки из виртуальных книг») посмотреть на Паутину, успешно пленяющую «мух», — выстроенную и работающую.

Устройство Сети-Паутины гениально и просто — в ней использован ассоциативный принцип человеческой памяти¹. Но хоть сама идея Паутины проста до гениальности, ее сегодняшняя структура куда как сложна, и я сейчас не стану в эту сложность погружаться. Проигнорируем тексты научные, справочные, социально-политические и прочие, остановимся на текстах литературных. Притом именно в русском литературном Интернете.

Пока никто не может предугадать уровня его будущей сложности. Сегодня структура российского литературного Интернета выглядит таким образом². Прежде всего — интернетовские библиотеки. Их столько, что уже существует проект CompuLib — создание некоей всеобщей компьютерной библиотеки с девизом «Электронные библиотеки, объединяйтесь!». Что они успешно и делают. Воспользовавшись услугами одной из них — «Библиотеки Мошкова», — узнаем, что российских «Книжных полок» в Интернете сегодня более семидесяти («КП» Мошкова насчитывает более восьмисот авторов и порядка четы-

Адамович Марина Михайловна — литературный критик, эссеист. Выпускница факультета журналистики (1981). Работала в журнале «Литературное обозрение», потом — зав. отделом литературы в журнале «Континент». В настоящее время — официальный представитель «Континента» в США; член редколлегии журнала. Член американской организации славистов AAASS, участник международных конференций по проблемам русской культуры и литературы. Постоянный автор интернетовского сайта «Кронос». Печаталась в журналах «Дружба народов», «Континент», «Литературное обозрение», «Литературная учеба», «Октябрь», в «Литературной газете» и др. В «Новом мире» публикуется впервые.

¹ Техническая сторона дела, история создания Сети — не предмет этого разговора. Интересующиеся могут получить информацию или через Интернет, или из подробнейшей статьи Михаила Визеля «Гипертексты по ту и эту стороны экрана» («Иностранная литература», 1999, № 10).

² См. обзоры сетевой литературы и ее структурированности, выполненные Сергеем Костырко, в № 1, а также в последующих номерах «Нового мира» за текущий год. (Примеч. ред.)

рехсот книг. Не так плохо); электронных книжных магазинов — около двадцати, литературных журналов «on line» — более двадцати, литературных страничек — до пятидесяти. «Физиономии русского Интернета» (название сайта) представляют Максим Мошков (lib.ru; gazeta.msk.ru; lenta.ru), Марат Гельман (guelman.ru) и другие — есть возможность выбрать лучших из лучших, «Сто сетераторов» (тоже название сайта). Существуют специальные конкурсы, клубы и чаты, Ассоциации виртуальных писателей и даже виртуальная Академия... Конкурс «Тенёта» можно уже назвать традиционным, он проводится не первый год, имеет два типа жюри — профессиональное и сетевое — и на награждение в 1999 году даже сумел снять зал в Доме кино; сами организаторы «Тенёт», в общем-то, не видят принципиальных различий между бумажной и сетевой литературой. Новый сетевой конкурс «Улов» устами одного из членов жюри, сетевого критика Макса Фрая, заявляет несколько иное: «Сетевая литература... отличается от бумажной отнюдь не фактом публикации в Сети и, разумеется, не наличием гиперссылок... Здесь другие скорости, здесь другая насыщенность бытия, иная острота реакций». Внятно ли сказано? Определения «интенсивность», «скорость», «острота реакций» действительно имеют отношение к компьютеру, но не имеют отношения к литературе. Зато приведенная цитата свидетельствует о наличии особой интернетовской литературной критики. Положение ее, на мой взгляд, пока незавидное — компаньонки, а скорее — приживалки. Что в какой-то мере понятно: нравы в Сети свободные, буйные, новые сайты возникают и умирают быстро и безболезненно, каждый занят сам собой, в силу колоссальных пространств Сети проанализировать броуновское движение авторов и текстов практически невозможно, само пространство сопротивляется усилиям традиционной критики — требуется какая-то иная. С другой же стороны, сетевая литкритика, кажется, и сама согласна на убогий тусовочный имидж, даже профессионалы толстых журналов, попадая в Паутину, почему-то переходят на интимный разговор подворотни. Скажем, Вячеслав Курицын начинает выражаться примерно так: «Сайт оживет из ремонта», «Я не оставлю вас без себя»; заголовки же его текстов вертятся вокруг «Сисек в ряд» или «Цветущего потроха». Растерялся он, что ли?

Так что вопрос остается: не является ли все это изобилие простым самиздатом, не сумевшим прорваться в «бумажный» мир, в мир официальных регалий и редакционных офисов? Ведь и самиздат имел достаточно сложную андеграундную структуру: свои библиотеки из книг-самodelок, и свои журналы, и свои славные имена — навсегда особую страницу нашей культурной истории... Словом, вроде бы можно поддержать традиционно ориентированного Андрея Немзера, считающего, что «никакой „сетевой“ литературы не бывает (бывает — вне зависимости от формы записи и бытования — хорошая и плохая)... российская словесность в Интернете — это огромная прозрачная литконсультация» (из его статьи «Где эта улица?»); «хорошая» рано или поздно найдет своего издателя и обретет традиционную бумажную форму, а плохая просто сгинет.

Действительно, некоторые прозаики пользуются услугами Интернета, потому что больше никто им своих услуг не предлагает; есть и такие, кто, хотя мог бы печататься, считает книгопечатание делом устаревшим и вполне удовлетворен своим житьем в Паутине. Однако есть и нечто третье. Так, при всех усилиях воображения я не могу представить напечатанной «Книгу книг» Михаила Эпштейна. Сам Эпштейн говорит о своем детище как о «собрании альтернативных идей в гуманитарных областях... Эти идеи иллюстрируются отрывками из книг, где они впервые вводятся в употребление, бросая вызов господствующим теориям и общепринятым терминам... это попытка деконструкции тех понятий и теорий, которыми определяется самосознание современной цивилизации... это деконструкция мышления путем создания его множественных альтернатив, вариаций, соперничающих моделей — так сказать, позитивная деконструкция, которая демонстрирует, что рядом с каждой дисциплиной, теорией, понятием, термином живет его „тень“, которая при иных условиях освещения могла бы

выступить как самостоятельный, первичный объект сознания... каждое понятие — только одно из возможных в целом гнезде или рое понятий. Это... раздвижение мыслительной зоны каждого понятия путем его мультипликации, встраивания в более широкие, виртуальные поля сознания».

«Книга книг» предстает на экране как некая сетка ячеек, каждая из которых отправляет вас в отдельную область знания (где уже на своем уровне предлагается сложная разветвленная структура новых ячеек, соединенных при этом со всеми как базисными, основными, так и с подъячейками): «Метафизика», «Методология», «Метапрактика», «Этика», «Теология», «Единое», «Науки», «Язык», «Культура», «Словарь» и др. Назначение этого вавилонского строения — выйти за пределы евклидова пространства и материализовать по возможности все ассоциации, возникающие у вас при чтении того или иного базисного текста. Тут одно несомненно: это непереводаемо в формы традиционной книги. Не так давно Дмитрий Галковский издал свой «Бесконечный тупик». Это стоило ему невероятных затрат как психологических, так и финансовых, но результат — толстенный, неподъемный том — меня лично убедил лишь в том, что истинный жанр «Бесконечного тупика» — сетевая философская эссеистика. В силу бесконечной сложности композиции этой книги, вполне иллюстрирующей эпштейновскую мысль о «материализации» образа-аллюзии, место «Тупика» — на экране компьютера, где и текст читается легко, и работать с ним удобно, и замысел автора очевиден во всем своем объеме.

Речь идет не об использовании компьютерных технических новинок, а о некоей новой литературной форме, «о жанре, согласованном с возможностями паутины. До сих пор мы перетаскивали в паутину тяжелые вещи совсем другого, книжно-журнального мира. Завертывали в паутину слова, впечатывали в нее жирафа. Даже газета, даже реклама, хотя и легко обживаются в паутине, все-таки жанрово предзаданы и чужеродны ей. Тогда как паутине нужны именно мухи — легкие крылатые мысли, даже мыслишки, которые в ней хорошо загустевают и дополнительно склеивают ее своими смертными выделениями», — продолжает свои размышления Михаил Эпштейн. «Кирпич» «Бесконечного тупика» слеплен именно из таких мушиных крыльев и следочков. Грешным делом, считаю, что, представь, скажем, Хулио Кортасар свою «Игру в классики» на компьютере — он заметно бы облегчил своему читателю жизнь; тут я не одинока, Михаил Визель, не самый легкомысленный читатель, ровно так же вздыхает по поводу романов Милорада Павича, Итало Кальвино и даже... «Бледного пламени» В. В. Набокова.

И возникает подозрение, что компьютер — не модифицированная пишущая машинка для гения-литератора, ожидающего своего часа в «Новом мире». Что мы хоть не осознали пока, но уже ясно почувствовали: привычные формы самовыражения и построения художественного текста отныне не вмещают того, что мы в них надеемся вложить.

Что греха таить — Россия бедная, технически отсталая страна. Стоит ли говорить об особом компьютерном мире, если даже в Москве до сих пор очередь на телефон. Тем драматичнее для нас было и остается вступление в общемировой процесс глобализации. И драма эта не техническая — культурная и психологическая. Сознание не может справиться с тем, что до сих пор не стало реальностью, а живет среди нас в виде некоей сказки-страшилки. Тем не менее — не отвертеться. Если не пролетарии, то демос всех стран объединился и восстал. Ортеге-и-Гасету оставалось лишь описать очевидное. «Разгул» демократии в мире — это и есть победа восставшего демоса. Я бы даже сказала — его диктатура.

Но любой свежее испеченный диктатор непременно строит свой новый мир. К услугам демоса как нельзя более кстати оказался Интернет. Предельно демократичный. Тотально демократичный. Вызванный к жизни не технической мыслью современности, но — мировоззрением и идеологией современной массы. Я вполне согласна с М. Эпштейном, что и Web, и СССР — «оба про-

екта выношены одним, глобалистским сознанием». Философ проводит весьма любопытное сопоставление процессов распада СССР и возникновения Сети, когда взамен примитивной идеократии Советов возникла универсальная идеократия Web, «настоящая республика умов». Явление более значительное, чем французская и русские революции, вместе взятые. В одном я не соглашусь с Эпштейном. Web — не республика в «новой форме тотальности», а новая форма тоталитаризма. Не любительского политического, всегда оставляющего лазейку для инакомыслящих, подтачивающего себя изнутри, а идеологического тоталитаризма с сохранением вторичных социальных свобод. Которые, в общем-то, окажутся ненужными в будущем, невостребованными согласно забытой советской строчке: «Вчера мне дали свободу, а что я с ней делать буду?»...

Сравнение — не ради красного словца. Стоит интеллектуалу всмотреться в Паутину — и на ум приходят головокружительные сравнения. Отчасти — в весьма большой части — подкрепленные феноменальным финансовым успехом предприятия. Скажем, такого, как Silicon Valley, где миллионерами становятся в среднем за два месяца. Каким образом? Прежде всего — там тусуются лучшие компьютерные программисты. Там концентрируется свободный капитал. Точнее, капитал не совсем свободен — деньги лишними не бывают. Но когда денег много, частью из них можно рискнуть — дабы приобрести большие. Это так называемый «venture capital» — что-то вроде авантюрного, приключенческого. И вот молодой выпускник бизнес-школы, желающий заработать много и быстро, рождает идею новой фирмы в Сети и идет к представителю некоего миллиардера, желающего вложить пару миллионов своего венчурного капитала в интернетовский бизнес. Молодой человек получает кредит, подбирает компьютерщиков, готовых к созданию новых программ для Интернета, далее — запускает свою интернетовскую сайт-фирму, далее — продает народу ее акции. Акции раскупаются мгновенно³.

Так молодые бизнесмены становятся богатейшими людьми Америки. Акции приносят владельцу доходы в миллиарды, но и народ не в обиде, ибо удачно вложил свой народный капитал. За вторую четверть этого года венчурный капитал вырос в США на 77 процентов и достиг 7,6 млрд. долларов. Но главное заключается в том, что Valley (Долина) — это не Клондайк конца XX века, хотя золото здесь и льется рекой. Золото этой долины — иное. Здесь речь идет не о деньгах, не только о деньгах. Речь о том, что мы являемся очевидцами новой Промышленной революции. Хотя нельзя называть ее «промышленной»: ведь ничего не производится и не изобретается; да и деньги выступают в «ирреальной», предельно абстрактной сущности. Новая революция не имеет пока названия: интернетовская, сетевая, виртуальная — как хотите. Но именно — революция, качественный переворот прежде всего в мышлении человека, потом — и в материальном мире (молодые чувствуют это и быстро реагируют на изменившийся мир — нормальная, здоровая реакция).

Россия в этот технический мир входит медленно, но дорога-то давно исхожена нами. Идеократия нового типа порождает знакомый нам феномен раздвоенной реальности. Именно не сознания, а реальности. Мы можем судить об этом по советскому опыту: прожившая под коммунистической диктатурой Россия выработала две сепаратные, параллельные формы жизни — «индивидуальную» реальность, сосредоточенную на замкнутом внутреннем мире личности и семьи, и «официальную» — реальность советского мифотворчества, мира

³ Это не метафора. Летом прошлого года акции одного интернетовского сайта по дамским вопросам за день сделали его двух владельцев миллиардерами. Некий Сабир Батья, 31 год, основатель «Hotmail», «сделал» 200 миллионов, продав в прошлом же году свою компанию «Microsoft», основатель «Amazon.com» Джефф Безон, 35 лет, был назван «человеком года» (журнал «Тайм»), и в будущем «человек» собирается сделать свою компанию «самой большой на Земле», что вполне возможно, ибо только на праздничные подарки, приобретенные «on line», в 1999 году американцы потратили 15 млрд. долларов — в два раза больше, чем в прошлом; и за 2000 год они закупят товаров «on line» также на 15 млрд., люди же бизнеса «прокрутят» между собой через куплю-продажу около 109 млрд. долларов.

вполне материализованного, при этом канонически оформленного и ритуального. Сегодня мы назвали бы мифологическую советскую действительность виртуальной, но это именно действительность, а не содержимое сознания. Попадая в виртуальную реальность, вы не играете роль, не притворяетесь, не галлюцинируете, вы — живете. Перед вами — те же ситуации жизненного выбора, поступка, те же границы Неба и Ада, те же житейские проблемы и потребности: вы утоляете голод, начинаете и рождаете, убиваете и умываете руки... Примерно на таком сюжете строит Николай Байтов свой сетевой рассказ-фэнтези «Искушение поэта в снежной пустыне»: к поэту-сторожу загородной виллы, некогда сбежавшему от разочаровавшей его реальности, навевается детектив, расследующий убийство известного актера, который, по словам сыщика, и является самим поэтом, а сторож-поэт — лишь существо из виртуальной реальности, придуманной актером, чтобы воплотить себя истинного. Но где истина — то есть реальность, — никто уже не понимает. В этом смятении автор и оставляет своего героя, уразумевшего лишь одно: отрицание действительности приводит к отрицанию самого человека (мысль для меня все еще привлекательная).

Можно, конечно, ставить вопрос так, как он вновь зазвучал на рубеже веков: а существует ли реальность где бы то ни было, кроме нашего сознания?.. И кажется, наш современник нередко отвечает на него отрицательно. Вот совершенно нелитературный пример (но обилие крови в нем убеждает): 20 апреля прошлого года в маленьком американском городке, так и зовущемся — Литтлтаун, два старшеклассника расстреляли своих школьных товарищей — убили двенадцать детей (и одного взрослого), еще больше ранили. Сразу заговорили о фашизоидной подоплеке событий (что ж, было не без этого). Но выжившие свидетельствовали: все-таки особо фашиствующими назвать расстрельщиков нельзя было и патологически агрессивными — тоже. Для них стрельба по живым мишеням была чем-то вроде компьютерной игры. Оба «героя» очень ценили компьютерные игры, виртуальная реальность захватывала их. Вообще же за два последних года в американских школах стреляли пять раз, стреляли умные ребята, очкарики... Я не о разгуле насилия. Я об игровой ситуации убийства. Об американской привычке (а уже и европейской, и — российской) к виртуальной реальности, в которой ты ребенком можешь проиграть разные варианты собственной судьбы, потом можешь решить — бомбить или не бомбить Югославию (одна из американок в личном интервью по этому поводу грустно так заметила: «Да ведь для нас это — виртуальная война»). Виртуальное Косово становится непригодным для житья ни сербам, ни албанцам, а виртуальные радиоактивные составляющие виртуальных американских бомб делают по-настоящему виртуальной жизнь будущих поколений Балкан (как это уже произошло с участниками с обеих сторон виртуальной «Бури в пустыне» в Ираке, теперь страдающими от неведомых науке болезней, закладывающих генетические отклонения в их детях и внуках...).

Итак, к концу XX века мы основательно потеряли чувство историзма и объективности мира, прошлое человечества перестало существовать в качестве совокупности фактов, в качестве накопленного опыта, знание которого полезно для понимания своего места и роли в движении истории, своего предназначения; в настоящем же мы разместились в двух равно статичных реальностях; одна из них — «живая жизнь» — приняла образ консьюмеризма и эпикурейства, а те, кого это не удовлетворяет, подменяют ее второй, «виртуальной». Столь же лишенной времени и движения. И не Интернет явился нам и покорила наши сердца, а мы сами вызвали к жизни это чудо техники, чтобы удовлетворить свои назревшие потребности. Серой от Интернета, конечно, попахивает, но не сильнее, чем от нас самих.

Бессмыслен и беспощаден, поверьте, не только русский бунт. Но любой бунт толпы (демоса — чтобы не ставить возбуждающих акцентов). Нынешний демос-победитель успешно «свой, новый мир» построил, также — и культуру. Он вполне доволен плодами своей победы и более не комплексует, не огляды-

вається на класический высший идеал, не тянется, смущаясь, к высотам аристократической христианской культуры, не тоскует по Слову, Богу и даже по невнятному Абсолютному и Вечному... Классическая христианская традиция прежней культуры (в том числе и прежней массовой) заменена неоязыческой, со свойственными ей магизмом и шаманством. Массовая культура была всегда — и это нормально. Но современная массовая культура более не считает себя «недоотягивающей», в чем-то ущербной. Толпа XX века — самодовольное существо, порождаемая ею культура — самодостаточна, она опирается и на собственные представления о литературе и искусстве, даже рождает новые жанры. Ее наполнение — новое мифотворчество. С другой стороны, высокая техническая оснащенность позволяет демокультуре XX века достичь вершин информативности.

Народ нынче поумнел, он больше никого и ничего не сбрасывает со своего корабля. Все потребляет. Технически же удовлетворить аппетиты современных гигантов становится возможно благодаря Интернету. Именно Паутина и позволяет реализовать в литературе *идею гипертекста*. Иными словами — текста нелинейного, неевклидова, объемного. Гипертекст состоит из базисного текста, плетущего паутину зафиксированных и воплощенных ассоциаций, порождающих в свою очередь новые ряды «материализованных» аллюзий. В идеале — до бесконечности. Такой текст, с одной стороны, устраняет автора, с другой — порождает бесчисленное количество читательских интерпретаций и варианты самого порядка чтения, иными словами — делает возможным процесс массового творчества и феномен «коллективного автора». Именно таков проект М. Эпштейна «Книга книг», а на более простом уровне — роман Максима Скворцова «Ниша», составленный из названий глав возможного романа, или «Идеальный роман» Макса Фрая, предлагающий читателю лишь финалы романов разных канонических жанров, или его же проект написания «Народного романа» — текста, основанного на читательских рекомендациях.

Все эти тексты никак не связаны с бумажной культурой, они прекрасно иллюстрируют мысль Эпштейна из предисловия к «Книге книг»: «Книга присутствует в нашем сознании своим заглавием, именем автора и неким общим представлением о ее теме и стиле... На каждую реально прочитанную книгу приходится десять — двадцать книг виртуальных... виртуальная книга состоит из одного-двух листков, создающих, однако, объемную иллюзию книги как целого... этот особый жанр... отражает реальность читательского опыта». И здесь мы обнаруживаем еще одно свойство виртуальной литературы: *интертекстуальность* ее текстов. Как никакая иная, интернетовская литература находится под влиянием внелитературных факторов, напрямую определяющих ее существование. Начнем с того, что сам текст рождается с учетом компьютерных возможностей. Не случайно один из героев «Generation 'П'» Пелевина, создающий российскую виртуальную политическую реальность, более всего боится снижения мегагерц — это действительно смертельно для интернетовского текста и его реализации («бумажный» Пелевин, человек со стороны, весьма тонко подметил эту особенность существования виртуальной реальности). Но это означает, что опосредствованно на текст влияют технические возможности компьютерной системы, общий материально-технический уровень страны, игра биржи, нефтяной промысел, политические драмы и комедии, реальные потребности и мировоззрение потребителей, которые уже сами целиком и полностью зависят от виртуальной реальности...

Сетевой роман Мэри и Перси Шелли «Паутина» — это роман-теория виртуальной литературы; стоит прислушаться и присмотреться к этому свидетельству.

2. О богах и котах

«Паутину» можно было бы рассматривать как еще одно произведение в жанре фантастики. Сюжет знаком читателю до боли: некий чудак профессор пытается противостоять всеобщей компьютеризации человечества, гибели его

в виртуальных сетях интернетовской Паутины, для чего создает группу борцов-заговорщиков — «Лесных стрелков» — и устраивает диверсии в Сети. Словом, Робин Гуд, скрещенный с героем Брэдбери. Тут автор романа откровенно признается, что все великое уже создано до него: «Не выдумывайте лишнего. Посмотрите примеры в литературе, особенно в английской и американской, XVIII — XIX вв. ... Выберите один из таких архетипов и развивайте его». Таким образом, вполне можно счесть, что перед нами — предложение сыграть в игру под названием «Литература». То, что это игра, — не скрывается. Читателю предложена целая глава «Теория виртуальной личности» — своеобразное пособие, как писать виртуальную прозу. Давайте посмотрим, как ее писать.

Но прежде — кто же создатель этого романа? Честно говоря, не знаю. (На вручении премии «Тенёта» по номинации «За лучший образ виртуального автора» на сцену вышла некая девушка. Но, следуя «Теории», ее авторство запросто можно и не признавать.) Проще перепечатать с титула: «Мэри Шелли и Перси Шелли» (профессор конструирует виртуального монстра-террориста — Орлеанскую деву, — ассоциация с литературной создательницей Франкенштейна, Мэри Шелли; связи же с поэтом Перси Бишем Шелли не обнаруживаются). Дано и обоснование громкому псевдониму: «Главное — имя. Говорят, аппетит приходит во время еды. Это заблуждение. Аппетит приходит, когда вы видите вывеску ресторана... Статью, подписанную именем „Козел“, многие люди вообще не будут читать... После выбора имени все остальное... придет к вам само собой». Признаюсь, я и сама легко поддаюсь звуку имени и среди работ, выдвинутых на конкурс «Тенёт», эту прочитала первой. Так что расчет авторов был верен. Почему я уже говорю во множественном числе: «авторы»? Поддавшись однажды предложенной «Теории виртуальной личности»: «ВЛ создается и управляется группой людей, либо управление передается каждый раз новому „хозяину“». Фантазирую: «Теория» и вставная глава романа «Голос» написаны разными людьми; текст «Теории» лаконичен, умен, сух, «Голос» сентиментален и претенциозен... Подобная стиливая разногласица вполне допустима в виртуальном романе. Ведь если заранее подразумевается, что текст — это продукт коллективного творчества, то никакой необходимости в стилиевой унификации нет.

Понятно, что идея соавторства писателей или сотворчества писателя и читателя зародилась еще в старые добрые времена традиционной бумажной литературы. С соавторством никакой теоретической проблемы вроде не было, а вот сотворчество писателя и читателя специально обосновывалось: мол, читатель со своими интерпретациями, основанными на знании жизни, в некотором смысле — соавтор писателя (в советские времена такой коллективный создатель добродушно раздавал литераторам советы, как и о чем им писать). Однако книжный лист четко фиксирует печатное слово, заранее задает линейное, последовательное чтение текста, сводя на нет возможность совмещения разных интерпретаций. Все ассоциации и аллюзии читателей и критиков могут закрепиться лишь на другом листе — следовательно, бытовать в виде иного текста. В бумажной литературе контекст не может быть воплощен одновременно с основным текстом, он всегда возникает постфактум и остается в виде дописка послесловий и комментариев. Печатный бумажный текст традиционно ориентирует читателя на присутствие писателя, подчеркивает именно личностное авторство, допуская в текст читающий коллектив лишь на правах немого свидетеля. Потому-то я не верю заявке постмодернистов, столь близких сетелитераторам по мироощущению и эстетическим принципам, их заявке на устранение автора из текста. Можно невнятно сюжетом или метафор увеличивать число последующих интерпретаций, однако это не устраняет автора, навязавшего свою «игру в бисер» простодушному поклоннику. Напротив, я бы говорила об усилении значения автора в постмодернизме. Чтобы реализовать постмодернистскую мечту о «безавторстве», нужно прежде всего отказаться от бумаги и перейти на компьютерный экран. А дальше — уж у кого как полу-

чится. Не потому ли напечатанный в журнале «Черновик» (1998, № 13) роман Скворцова или изданный отдельной книгой «Идеальный роман» Фрая провалились на бумажном листе — на чужом месте?

Иное дело — виртуальное пространство компьютерной сети с порожденным им гипертекстом. Именно коллективного автора ждет задуманная Михаилом Эпштейном «Книга книг», любителям Интернета хорошо знаком сайт «Буриме», придуманный в 1994 году Дмитрием Маниным и сегодня насчитывающий более 18 тысяч буриме; по тому же принципу коллективного творчества работает и «Сонетник», и «Пекарня лимериков», и «Лягушатник», и «Роман» Романа Лейбова, написанный на основе базисного фрагмента самого Лейбова и разыгранный множеством анонимных авторов.

Тем не менее «виртуальная личность» автора — не обычный коллектив анонимов. «ВЛ» — феномен иной природы; шеллиевская «Теория» охватывает сферы *нелитературного* существования автора текста: «Если ты действительно личность — тебе не нужна вся эта бюрократия доказательств и подтверждений», «Сеть позволяла порвать еще больше связей, скинуть еще больше оболочек. Даже имя». Итак, проблема личности автора не снимается, а парадоксальным образом заостряется.

В интернетовской литературе автор непременно должен быть сильной личностью. Анонимом — но таким, который смеет бросить: «...что в имени тебе моем?» Явление анонимности хорошо знакомо традиционной культуре. Но в старые добрые (по преимуществу средневековые) времена оно преобладало тогда, когда автор уподоблялся скромному посреднику, старающемуся донести до читателя свет Истины. В конце нашего неоязыческого века автор отказывается от имени собственного по причинам прямо противоположным — демоническим; он уже не смиренный посредник, но — полновластный творец, человекобог (воспользуюсь-таки привычной терминологией), и имя как определение, как ограничение, заданное не им самим, действительно должно быть отринуту. «Слабая реальная личность никогда не создает сильную виртуальную», — читаем мы в «Паутине». Паук сильнее мухи. Сорокин сильнее Достоевского — «он берет любой авторитетный дискурс — и деконструирует его, тем самым доказывая, что он, Владимир Сорокин, сильнее заключенной в этом дискурсе моральной и интеллектуальной власти» (статья Марка Липовецкого «Голубое сало поколения...» посвящена уже изданному «Голубому салу» Сорокина, что не меняет сетевого происхождения сорокинской прозы. Да и сам сайт «Голубое сало» жив и продолжает мутацию классиков).

Другое дело, что быть человекобогом — сегодня некое всеобщее состояние души. Но не впадаем ли мы здесь в противоречие, наделяя гасетовскую толпу чертами человекобогов (ведь масса по определению безлика)? Противоречия нет. На мой взгляд, не случайно все в той же «Паутине» возникает сопоставление Сети с языческим коллективом небожителей и героев (мотив «Одиссей как первый герой кибернетики»). Демос, конечно, но — непростой, отборный народ. Не лапотники, не «ботва», по терминологии автора «Generation 'P'». Толпа XX века, поразившая Ортегу-и-Гасета, находится на достаточно высоком уровне развития, ей вполне доступно то, что ранее, исторически, было прерогативой высшего, избранного слоя; восстание масс и их победа на рубеже тысячелетий крепко связаны с научно-техническим прогрессом, знанием, повышением культурного уровня. В общем, демос-то и есть — сильный мира сего. Страшный не дурными манерами, не ковырянием в носу — страшный самодовольством своим, гоготом над кантовским звездным небом и индивидуальным исканием.

Воистину блаженно место, где герои равны богам, а взамен истории творится миф. «Я никто и ничто, новая страница, *tabula rasa*... Чистая доска, — признается один из персонажей „Времени полукровок“ Эдуарда Шульмана, — а если точнее — выскобленная»: «Ничего еще не написано. Все впереди. Свобода, свобода!.. ничего уже не написано. Все — позади. Свобода». Не отвержение прошлого опыта человечества движет таким персонажем — мол, голый

человек на голой земле (с этим мы как раз встречались в литературе); нет, здесь выстраивается собственный новый миф о земле и человеке. Ну что ж, любой цивилизации, дабы выжить, необходим свой миф. Нуждается в нем и виртуальная цивилизация. Не детство человечества, а — жизнь после смерти. Здесь привычная онтология мира с логической последовательностью четких понятий сменяется множественностью и алогизмом виртуального бытия.

Мифотворчеством озадачена и современная интернетовская литература, явно тяготеющая к метасюжетам и метагероям. Снова можно отослать к романам «Паутина» Мэри и Перси Шелли с его установкой на эксплуатацию мирового культурного контекста (главы «Робин Гуд», «Франкенштейн» и даже «Игра в бисер»), «Любовь, ручные чудовища и письма горячим железом» Марии Парабеллум, «Страх» Олега Постнова или в коротком жанре — к новеллам Николая Байтова «Узел» (притча о человеке, познавшем истину после встречи с самим собой — юным и старым) и Данилы Давыдова — «Учитель» и «Подземные жители» (на сюжет Антона Погорельского). Мотив мистического подземного царства как подсознания человека, тема таинственных обитателей подземелья как stalkеров или высших судий грешного человечества разрабатывается не только Д. Давыдовым (его же — «Схема линий московского метрополитена»), но и целым рядом сетевых авторов вроде Александра Бобракова-Тимошкина с его «Underground'ом» или Дмитрия Ковалева с «Хоккеистами». Надо сказать, что московский метрополитен на славу служит сетевой литературе, став одним из ее любимейших образов; московское мраморное подземелье с его черными в никуда тоннелями как нельзя более подходит для символизации, мифологизации и любой другой -зации современной виртуальной реальности.

С этой точки зрения интересен и рассказ Сергея Михайлова «По ту сторону зеркала». Фабула его откровенно навеяна «Алисой в Зазеркалье»: волею обстоятельств герой новеллы Антон Пустобрехов попадает в Зазеркалье (подобно Алисе — через собственное зеркало), там он встречается со своим отражением, от которого и узнает, что его трехмерный мир — просто отражение четырехмерного, а тот в свою очередь — пятимерного, и так до девяносто шестого. Логика здесь несложная: «У каждого человека есть свое отражение, и в то же время каждый человек суть отражение», потому разумно предположить, что «весь мир отражает и отражаем». Однако замечу, что «По ту сторону...» — не совсем обычная фантастика, а фантастика, наглядно изображающая схему устройства виртуального пространства: «мир в мире, Вселенная во Вселенной» и «не следует думать, что миры существуют независимо друг от друга», просто линейно мыслящий эвклидов воспитанник «слеп в этом мире» множеств. Герой Михайлова очень по-рабочему разрешает конфликт миров: дотерпев до законного возвращения домой, в свое трехмерное пространство, он разбивает все зеркала в доме — мол, «не хочу я быть ничьим отражением». Однако луддизм, как доказывает европейская история, на самом деле ни к чему не приводит. Можно разбить все компьютеры, но что делать с собой, любимым?.. Ведь в сетевой литературе фантастическая экипировка текстов вызвана весьма серьезным процессом мифотворчества. Давно и жанр соответствующий назван: *фэнтези*.

Фэнтези — не фантастика в чистом виде, связанная с рефлексиями автора на темы будущего мира и человечества. Фэнтези — прежде всего описание виртуальной реальности: ее мифов, ее метафизики и физики (в том числе — и ее будущего), это иная логика построения характеров, развития сюжета, взаимоотношений автора — героя — читателя. Такой прозе присущ особый хроно-топ: взаимодействие нескольких разомкнутых пространств, заселенных чужаками и незнакомцами, свободно перемешанные и легко взаимопроникающие временные пластины. Именно эта пространственно-временная множественность порождает внешний алогизм текста, комбинацию сюжетов и эпатажирующую, «плывущую» метафорику. Роман-фэнтези «Паутина» действительно написан на традиционный фантастический сюжет. Но уже обратившись к прозе Алек-

сея Толкачева, мы поймем, что для жанра фэнтези не это главное. Да, фантастическим видится установившийся в Германии диктаторский режим некоего Казимира (рассказ «Европа. 21 век»). Реальность новой европейской диктатуры способен передать лишь сумасшедший, бредящий герой новеллы — обыватель казимировской Германии. Но ведь вот что важно: сумасшедшие специально не фантазируют, просто их видение реальности не совпадает с общепринятым, нормативным. «У нас каждый мюнхенфюрер сам себе и швед, и грек, и пред мышами человек. Готовимся к войне. На душе погано, на помойке — грязь, на улице — помойка, на траве двора — трава. Третьи петухи объявили себя семьсот сорок седьмыми и улетели в Бляхен-Мухен. ...Моцарт расстрелян. Ну и дурак. Радостно мне как-то», — начинает свои откровения герой новеллы. И мы погружаемся в безумную мешанину пространств и времен, которая и является реальностью казимировской Германии. «На душе погано», всюду грязь — это одна плоскость существования героя, но параллельно ей заявлена и другая: «радостно мне как-то». Оба состояния герой переживает одновременно — и оба они истинны. Фольклорные «третьи петухи» — последние петухи, поющие перед рассветом и распугивающие нечисть, — еще и последняя, «дьявольская» модель «Боинга-747»... «Всюду березы, подберезовики, бабы на сносях. Пахнет Моцартом» — штампы квасного Отечества втягивают в себя и Моцарта, знак отечества классической мировой культуры; любимое и неповторимое подмято массовым, стереотипным. Заменить в слове «кайзер» пару букв — и кайзеровская Германия, империя аристократов и мыслителей, станет консьюмеристской казимиро-малевичевской Германией, черным квадратом кича и поп-арта, заглотивших не разжевывая идеи авангарда. «Люмьер убил брата» — и самого массового из искусств больше не будет, правда, не будет и искусства, с этой смертью — Люмьер на Люмьера, Каин на Авеля — «великий немой» сам погибнет и других великих утянет... «Праздник каждый день! Тоска...» Герою же хочется жизни, он бьется как рыба об лед. И восстанет: «Поеду на озера и буду бить рыбу об лед» — не сам биться рыбой, но — самому бить. Бредовая реальность героя Толкачева оказывается вполне внятной — если поселиться внутри ее многомерности. Кто сказал, что метафору можно развивать лишь в одном направлении, следуя одной линейной логике? Толкачев вслушивается в полифонию метафоры, развивает ее слева направо, вниз и вверх, вбок и наизнанку — не совмещая несовместимое в единый мир. Абсурд? Так кажется, пока вместо эвклидовой парадигмы не примешь инологику многомерного пространства фэнтези (кэрролловская Алиса тоже мучилась, пока не приняла логику Зазеркалья. Остается лишь поражаться Кэрроллу, описавшему виртуальную реальность до ее зарождения).

В такой же виртуальной реальности живет и герой другого рассказа Толкачева — «На фронте, не на фронте, а все без перемен». Аллюзии с ремарковским романом, заявленные в названии рассказа, продолжают развиваться в тексте. В пансионате для душевнобольных оказывается и еще «один такой... С разными именами. То требует, чтобы его называли Эрих, а то говорит, зовите меня, пожалуйста, Марией!» У героя рассказа — обывателя, человека массы — Ремарк вызывает агрессивное неприятие: «Все рвется нас учить жизни. Каким должен быть настоящий немец». И далее: «Чем хороша война? Много мяса». Метафора «пушечное мясо» развивается Толкачевым по инологике виртуального мира множеств — и на выходе автор получает желаемое: «Немецкий народ острый на язык! ...чуть кисловатый на вкус. Однажды только довелось мне отведать не кислое мясо... Много мяса... пора задуматься о том, что я, уходя, оставляю людям. Знаете, может, это старческий романтизм, но не хочется оказывать таким же кислым, как все! Поэтому я последнее время стараюсь не брать в рот кислое. Мяса почти не ем. Не употребляю ни щавеля, ни мелиссы. Ни божьего чабреца, ни сурепки. Полностью отказался от ЛСД... Предлагали черную смородину — отказался. Воздерживаюсь от орального секса. Ничего кислого!» Если существуют общепринятые метафоры нашей реаль-

ности, то почему бы инометафоре — образу, развиваемому по иной, нетрадиционной логике, — не послужить опорой иномиров фэнтези?..

Еще один рассказ Толкачева — «Бабье лето», получивший награду на конкурсе «Тенёт», — кажется более традиционным. История незатейливая: бабье лето, простой парень Александр, в восторге от великолепия дня и жизни, роет яму перед домом — молодецкая силушка требует выхода, — потом вполне буднично он отправляется по делам, в частности, заказать модные пуленепробиваемые стекла в окна своей квартиры (это как раз не фэнтези — это современная российская реальность). Встреча с девушкой, приятный вечер с друзьями, возвращение домой — прекрасный день кончается тем, что через незастекленное окно (оказывается, стекольщик упал в вырытую Александром яму) в героя стреляет некий работяга. Такой вот анекдотец, расширенный до объема новеллы. Однако совсем не одно и то же — просто растянуть анекдот до размеров рассказа или же переработать логику его причинно-следственных связей. Иносказательные тексты Толкачева, расширяющие будничный смысл обыденности, настраивают на самый серьезный лад. Секрет анекдота, его абсурд или комизм, заключается в том, что в нем совмещается несовместимое, смешиваются разные логические, этические и эстетические системы, на стыке которых и рождается парадокс. Но стоит мысленно расчлнить единое пространство анекдота-новеллы на несколько спрятанных в нем, скомбинированных реальных миров, как все становится по-своему разумно. Один мир — бытовой: заурядный день Александра, проведенный им в рядовых хлопотах. Но рядом функционируют другие миры. Скажем, Толкачев начинает рассказ с описания прекрасных прочных деревенских домов из лиственницы — чтобы закончить эту «песнь деревне» сводящим все на нет замечанием: «Александр жил в городе». Таким образом, лиственничные дома вроде как не имеют к миру героя никакого отношения. Но логика фэнтези — зазеркальная. И в согласии с ней вполне допустимо упомянуть о далеких обитателях прекрасных лиственничных изб — читателю следует знать о существовании и такого мира, потому что рано или поздно, но этот ли, девяносто шестой ли, параллельный мир соприкоснется с Александром и герой будет убит. Убит не по нелепой случайности, но по жесткой скрытой закономерности скрестившихся параллельных миров. Человек и есть точка скрещения пространств и времен. Потому герой Толкачева может поехать по своему будничному городу на ...бубабибусе (вот и еще один мир, еще одно измерение): «Пассажиры и пешеходы казались Александру красивыми... листьев падало очень много, местами они образовывали огромные живописные горы, сверкающие всеми красками осенней палитры. Когда в одну из таких куч упал рабочий, сорвавшийся со стены высотного здания, он полностью погрузился в листья, и только ручеек крови... выдавал присутствие там человека»... И не стоит удивляться, если в такой мешанине реальностей случайный слесарь, оглянувшись на смех Александра, отрезет себе две фаланги пальца левой руки и решит застрелить героя, а стекольщик со спасительным пуленепробиваемым стеклом к тому времени упадет в яму, утром вырытую Александром по причине хорошего настроения... «Такая вот фигня», — завершит свою новеллку Алексей Толкачев: не пародию на прозу Бориса Виана, а радушное приглашение подключить к «Бабьему лету» еще и мир виановских персонажей.

Тут можно бы проэксплуатировать уже цитированную мысль Макса Фрая об «интенсивности» сетевой литературы — в смысле ее метафизической напряженности. Если же говорить о собственно художественном времени сетевой прозы, то как раз с движением времени здесь большие проблемы. С точки зрения наших, эвклидовых мерок, сетевая проза принципиально статична. В этом отношении примечателен небольшой рассказ Максима Кононенко «Цейлонские монеты». День за днем герой новеллы тщательно ведет дневник. И что же? «Восемнадцатого Шелли пришла из ночного и улеглась спать. Девятнадцатого я поехал на Птичий рынок, купил там рыбу и привез ее домой. Рыба жила в банке. Я побросал в банку толстые цейлонские монеты... Я пнул

Шеллину кровать и пошел стариться». Проходит год (или век?) — и записи в дневнике кончаются: «Шестнадцатого разбилась банка и сдохла рыба. Я собрал воду, выбросил камни и просушил толстые цейлонские монеты... Я пнул Шеллину кровать и пошел умирать»... Что поражает в дневнике владельца цейлонских монет? Совпадение будничной детали и метафизики человеческой жизни, порождающее особый — фиксированный, застывший — мир. Шелли спит, потом опять спит (мы даже и не знаем, кто такая Шелли — такой, такое?..), рыба молчит, монеты лежат, а человек старится... Где-то далеко находится живой, подвижный мир, полный тайн остров Цейлон, чеканящий почему-то необычайно толстые монеты, — но все это проходит мимо замершего героя. Герой неподвижен, и мир его неподвижен. Это мир детали: Шелли, рыба, банка, монеты, вещи, числа. Некая индексация живой жизни. И сам герой — тоже индекс.

Статичность и монументальность вообще присущи глобалистскому мифологизированному сознанию (еще раз напомним, что Сеть осмысливается как новая идеократическая система эпохи глобализации). В конечном счете виртуальная реальность отменяет движущуюся реальность «живой жизни», претендуя на единственность. Теряется историческое бытие, теряется определенность понятий, теряется имя собственное — и место личности по праву занимает индекс. Некоторым образом мы загоняем себя в угол. Дальше двигаться будет некуда — и некому (как все, однако, переплелось: *Паутина, мухи*, наконец — *угол*, где высосанная муха замирает навсегда). Да, Паутина порождает собственную метафизику. Даже — религию. В том же романе-фэнтези «Паутина», в главе «Игра в бисер», читаем: «Сеть как человеко-машинная система», «...если это будет устройство глобального масштаба вроде Сети, никто никогда не сможет проследить всей цепи взаимодействий — вот тебе и чудо... Молитва — это запрос к устройству» — таков будет новый Бог и новый Человек. Поправлю себя: новый демос. Толпа языческого мира была участницей мифа, толпа классического мира была участницей истории. Демос виртуального мира Паутины становится индексом. Прямо-таки Поэма о великом инквизиторе на виртуальный лад.

Кстати сказать, Достоевский приходит на ум не случайно. Виртуальщики вокруг него так и суетятся. Скажем, можно посетить любопытный «Мемориал А. И. Свидригайлова» (сборник рассказов Игоря Жукова), со всем изобилием пауков и паутиных мотивов, или побывать на весьма популярном сайте «Голубое сало-2», где, например, Роман Иванов и Леонид Каганов просто-таки предлагают свою «прозу писателя» — «Достоевский-2», «Достоевский-3», «Преступление и наказание». Там же можно ознакомиться с паутиными архетипами «Пушкин-2», «Дубачев» — текстами, составленными из любимых словечек Александра Сергеевича, точно вычисленных «штампомером Делицына». Опять-таки, не просто «насмешка сына». Сайт «Голубое сало» представляет некую квинтэссенцию вполне сознательных эстетических установок сетевой литературы... Итак, Достоевский с достоинством. Давайте и мы вспомним странноватую речь «человекобога» Кириллова из «Бесов», «словно и не по-русски» говорящего. Именно что — по-русски. Явление новояза советским людям хорошо известно. Но вот на особенности языка сетевой прозы никто пока внимания не обращал. Однако логично предположить, что в этой «человеко-машинной» системе «идет постоянная подстройка сторон друг под друга. Вы заметили, как меняется Ваш язык, Ваши привычки после того, как Вы подключились к Сети? Чего стоит одна только замена физических расстояний на идеологические, переход от евклидовой метрики к платоновой... Интересна была бы попытка осознать это великое Единство: к чему оно ведет?» («Паутина»).

Итак, что же происходит со словом не «до» культуры, а — «после»? Характерной особенностью интернетовской прозы является очевидная сориентированность не на *слово*, но на *речь*. На поток устной речи с ее сказовостью и сказителями разного толка и уровня. Начну с простого: в сетевой прозе легкого легкого выискать неологизмы типа «нетмен» (Net — сеть — вкуче с tap на

русском ассоциируется с «отрицателем», «нечеловеком» и проч.), «новые нетские»; «комп», «хакер», «сетенавты», «посткибер», «выход тремя пальцами» (что не имеет никакого отношения к известному жесту, а означает перезагрузку компьютера одновременным нажатием трех кнопок: Alt + Ctrl + Delete). Все примеры — из романа «Паутина». Но можно процитировать что-нибудь эффектное из «Низшего пилотажа», скандальной повести Баяна Шириянова о наркоманах (хотя — нет, цитировать его не буду: это вполне традиционная малоталантливая «чернуха», к нашему разговору не имеющая отношения). Я предпочту сослаться на роман И. Яркевича «Ум секс литература» — на суждение о басне, которая для автора «не просто банальнейший бытовой сюжет, кое-как зарифмованный и окруженный драконами морали», а квинтэссенция всей прежней, «бумажной», традиционной прозы — с ее этической определенностью и опорой на значимое слово, — тогда как «в Интернете не духовен никто. Все уроды». Впрочем, поправлю расшумевшегося Яркевича: сетевая литература не имеет даже отрицательного отношения к прежнему значимому слову. Погруженная в новое мифотворчество и новую метафизику, это литература устной, фольклорной традиции. Отнюдь не случайно ее основными жанрами стали уже упомянутая фэнтези, а еще — фэнтезийные бывальщина, притча, байка, сказка, анекдот, страшилка. В рецензии Евсея Вайнера на Яркевича замечено: «у него есть стиль», он «скорее романтик, чем циник, романтик именно в том смысле, какой придается этому слову в обыденной речи». Мимоходом: описание возможностей секса с ротвейлером при помощи односложных слов и междометий — конечно же стиль, но — маловыразительный, убогий, а вот в главном Вайнер прав: стиль Яркевича действительно складывается из «обыденной речи». Потока речи. Иногда — ненормативного, иногда — интеллигентского сленга. Безумно длинно и скучно, например, описывает Яркевич отличие американского писателя от русского — застольный анекдот, растянутый до размеров приличной главы: «...русский писатель на лицо вроде бы туповат, но внутри — очень умный человек. Американский писатель вроде бы с виду ничего не скажешь, человек умный, но внутри — абсолютный кре-тин»... И т. д. — на несколько килобайт. Ту же повествовательность устной речи сохраняет Яркевич и в основном сюжете, заводя свой заунывный «разговор по душам» о неудовлетворенной страсти героя к подруге, которую не секс интересует, а переписывание «Вишневого сада». Забавно: бесконечные варианты «Вишневого сада», предложенные автором романа в качестве изобличающих занудство героини, а по большому счету — вообще занудство нашей чеховской «басни» — классической литературы, — варианты эти по иронии судьбы стилистически совпадают с выстроенными В. Рудневым вариантами устного пересказа толстовской «Косточки» (философское эссе-шутка «Шизофренический дискурс» — «Логос», 1999, № 4).

Руднев предлагает читателю несколько текстов известной «Косточки» — как если бы рассказ Толстого был изложен душевнобольными. Странность заключается, по мнению Руднева, в том, что «победа ирреального символического над реальностью» обусловлена здесь «не безумием сознания, но безумием языка». «Сойти с ума — это одно и то же, что перейти с одного языка на другой, обратиться к языковой игре», — резонно замечает Руднев, далее предлагая читателю возможность ознакомиться с образцами творчества такого психотического мира. Толстовская «Косточка», детский «рассказ с моралью», переписывается согласно диагнозу того или иного больного. Скажем — неврозу навязчивости (когда вы сосредоточены на одном и том же действии, но отдаёте себе отчет в его бессмысленности. Вроде героини Яркевича, хотя героя тоже — и он ведь на одном сосредоточен): «Наконец-то мать купила слив... После обеда — как долго ждать! Сливы — они лежали на тарелке. Ваня никогда-никогда не ел слив, лишь какое-то неясное волнующее воспоминание тревожило и мучило его... Но как долго ждать конца обеда!.. И он все нюхал и нюхал сливы...» Или — пример параноидального бреда (с внутренней логичностью, систематичностью и убежденностью в истинности заявленного, хотя

именно основная посылка и есть полный бред): «Мать купила слив. Но Ваня знал, что мать не желает ему зла... Мать — лишь слепое орудие в руках отца... Ваня знал, что сливы отравлены... Вот она — смерть, думал Ваня. Сливы лежали на тарелке... Да, это смерть, думал Ваня, отец победил. Бедная моя матушка!» И наконец — шизофренический дискурс (смещение прошлого и настоящего, полный хаос и пустота): «Мать купила слив, слив для бачка, сливокупание, отец, я слышал много раз, что если не умрет, то останется одно, Ваня никогда сливопусканья этого, они хотели Ваню опустить, им смертию кость угрожала... мать купила слив для бачка, а он хотел съест, съест, сожрать, растерзать, перемолола ему косточки, а тело выбросили за окошко, разумеется, на десерт...» Вот такой интереснейший для нас эксперимент, проясняющий некую большую правду о современной культуре (каюсь, что нашла сливу с толстовской косточкой на вишневом дереве Яркевича).

В ином речевом жанре — в жанре народной сказки — строит свои новеллы Станислав Львовский. Например, рассказ «Готовьте билетики»: «А третий сын был, известное дело, дурак, и нарезное гладкоствольному сто очков вперед, что любой подтвердит. Двое старших — то да се, бабки, что-то там разгружали, загружали, торговля какая-то, настоящее ремесло плечистых настоящих мужиков, ящики, фуры, фрукты, бутылки, молодцы, в общем, родителям на старости утешение...» Через сказку автор передает вполне современную историю о «новом русском» — младшеньком, Иванушке-дурачке, который «потеть» не стал, а капитал себе убийством двух старших братьев добыл и в жизни устроился. Львовский имитирует нестесненную речь народной сказки, ее образы («третий» видится Финистом Ясным Соколом, а девица его конечно же Василисой Прекрасной), ее ритм и композиционные особенности (скажем, повтор, присказки: «Нарезное гладкоствольному сто очков вперед»). Столь же свободно вводятся в текст и бытующие в живой речи сленговые выражения и словечки («партнеры не волокут по понятиям», «братцы покойные бились как рыбы, а денег не надыбали. Третий был, понятно дело, дурак. Но с понятием»). Используя фольклорные мотивы для передачи заурядного эпизода из быта «новых русских», выстраивая текст по жанровому канону сказки, опираясь на ее говор, автор возводит повествование к современному мифописанию.

Еще пример — из рассказа Станислава Михайлова «Раки»: «Я сидел на кухне и ел раки. Раки были совершенно одинаковые. Красные, солоноватые и неудобные. Потому что пальцы уставали ломать их хитин. Но я делал это, потому что раки были достаточно вкусные...» Именно этим и интересны для нас подобные тексты: выраженной в них тенденцией превращения автора-рассказчика в просто рассказчика, автора не существует — он вроде и не бился над сюжетом и характерами, не выстраивал композиции и не оттачивал стиль, не болел за идею — он исчез из текста, как не существует для нас дорожный попутчик, повествующий скучную историю своей скучной жизни. Повторюсь: то, чего так и не добились постмодернисты, похоже, обретает виртуальная литература — точнее, теряет: она теряет автора. Не по собственному выбору, но по закону устной повествовательной речи.

Словом, сетелитература — не просто «большая литконсультация» по подготовке авторов «Нового мира». Это и есть — новый мир. Да, мы можем напечатать на бумаге и сказки, и притчи, и нечто неопределенное по жанру... Бумага, как говорится, все стерпит. Напечатаем. А зачем? Зачем выводить на бумагу то, что ей не принадлежит по самой своей природе? Позволю себе еще раз процитировать Эпштейна: «Буквы с трудом, с потом и кровью, переходят из книги в реальность, а пространство Сети — это уже такая реальность, которая неотделима от букв, но скрывает их отвлеченно-символическую природу зримостью волшебного-красочного явления». Собственно говоря, философ здесь обращает нас не к слову, а к речи. Более того, к речи, сумевшей на компьютерном экране реализовать еще одну свою скрытую функцию — визуальную. Виртуальная реальность сделала устную речь одной из художественных реалий многомерного синтетического мира. Возвращение сетевой литературы на бу-

магу было бы для нее движением назад. Возможным, но ненужным. Потому что она рождена иной реальностью и подчиняется иным законам. И здесь, как и в бумажном мире, есть хорошие писатели и плохие, удачные тексты и слабые, но именно в интернетовской Паутине они находят свои необходимые средства для воплощения. Только Паутина предоставляет возможность для создания гипертекста, вбирает его инологику, метафизику и мифологию. А сегодняшний интеллект требует именно гипертекстов, любые иные кажутся примитивными баснями с обязательным довеском морали.

Это мы изменились. Это мы хотим «миллионнолистную книгу, которая не требует перенести свою правду в жизнь, а сама легко, одним нажатием клавиши переносит нас на свои страницы». Переносит нас в реальность. В виртуальную — но мы и не помним уже ни о какой другой. Масса компьютерных килобайтов вполне выдерживает и вес коллективного виртуального автора. Он может не опасаться здесь за свое инкогнито, чувствовать себя идеально свободным от всех и всяческих связей, начиная с социальных оков до этической ответственности перед собственным именем, здесь он может тешиться мыслью о своем величии и не тяготиться тяжестью публичной исповеди. Что касается прогнозов, тот же Яркевич, в статье «Литература, эстетика, свобода и другие интересные вещи» заметил: «...выступать она (литература Сети. — М. А.) уже будет, естественно, не в роли указателя и чревовещателя. А в какой? Может быть, в роли кота, умеющего каждый раз по-новому для членов семьи оценить давно знакомые вещи квартирной обстановки». Вот и «инструктор» наш, Мэри Шелли, тоже о котах вспоминает. Один из ее героев, японец, исчезнувший при взрыве Хиросимы, посылает главному герою «Паутины» компьютерную голограмму иероглифа «новый дом». Который на иврите читается как «нет вещей», а по-русски — «эхо». Но каллиграфия японская так хороша, что при повороте голограммы возникает «котенок, играющий с собственным хвостом. В пустую новую квартиру, где нет еще никаких вещей и мебели, но зато есть эхо голых стен, первым пустился игривого котенка, и он в этой пустоте ловит свой хвост». Хитрость же виртуального иероглифа в том, что это еще и программа, основанная на формуле Эйнштейна (как известно — «человека столетия») и способная сама отыскивать ассоциативные связи. Вполне современный иероглиф. Мэри с Перси предлагают две такие связи: «Cats» Веббера и «Алиса в стране чудес». Надо заметить, что Кэрролла сетевые прозаики «ассоциируют» сплошь да рядом — кто цитаткой, кто эпиграфом, кто сюжетцем. Я тоже хочу к ним присоединиться. Предлагаю конечно же Чеширского кота. Исчезающего. Но это не намек на иллюзорное будущее интернетовской литературы. Как раз наоборот. Чеширский котиче исчезает только из нашего поля зрения, из нашего, евклидовского, традиционного пространства и линейного времени. Которым, собственно говоря, он никогда и не принадлежал. Чем занимается Чеширский кот у себя дома, в многомерном Зазеркалье, можно выведать, только признав существование Зазеркалья реальным, только приняв его законы. А нас Кот лишь посетил, дабы поразить плоское евклидово изображение своей улыбкой. Местные-то коты не улыбаются. Кстати, вторая моя ассоциация — именно с местным, российским котом. Я увидела его на сайте критика Вячеслава Курицына. Он лежал на коленях хозяина — такой большой, черный, живой. Я так и подумала: «Надо же, живой кот. У Курицына».

От редакции. Публикуя рядом статьи Павла Басинского и Марины Адамович, мы сами невольно приходим к умозаключению, что прежний единый мир, каков бы он ни был, раскололся-таки на *миры*... (Отдел критики.)

Р Е Ш Е Н И Я . О Б З О Р Ы

СЕКС, ЛОЖЬ И МЕДИА

Эргали Гер. Сказки по телефону. СПб., «Лимбус Пресс», 1999, 417 стр.

В первом абзаце романа «Дар слова. Сказки по телефону» заявлены все три главные его темы. Словами «На сексе по телефону...» этот абзац начинается — и в них соединились темы собственно секса и медийности («по телефону»). Но следом за ними идет: «Городишко являл... заурядную южнорусскую глухомань, пыльную или грязную, смотря по сезону, с забытым бюстиком Пушкина...» Сочетание очевидной цитаты («...в Одессе пыльной, я сказал. Я б мог сказать: в Одессе грязной...») с упоминанием ее автора заставляет прилежного читателя насторожиться. Следующая фраза приносит «свинство провинциальной жизни» — с известной натажкой примем это за цитату из гоголевского мира вообще: еще в 20-х свинья в луже под забором считалась неотъемлемой деталью провинциального быта в изображении классика. Ну а уж пожухлые моздокские девицы, «словно съедаемые мертвой кирпичной пылью», — это точно Короленко. «В дурном обществе» («Дети подземелья»).

Будет еще впереди такого немало — и даже разноглазый герой на Патриарших прудах: «правый грустный, левый веселый, но ничего, на Патриках видали и не такое» (еще бы у них рукописи не горели для полного комплекта!), но первый абзац — ударный.

Итак: новые среды существования человека, секс и русская литература.

Посреди среды. Чего-то подобного давние поклонники геровского таланта и ожидали от его романа. Те вещи, которые составили его писательскую славу (то были рассказы), отличали редкостная легкость писательского дыхания, удивительная пластика эротического языка и редкая в постсоветской литературе податливость на современность. Это и впрямь штучный талант: подступаясь к дню сегодняшнему, писатели все норовят написать о мэнээсе Пушкине, которого обижает завлаб Бенкендорф, или что-нибудь еще в этом роде.

В разбитных 80-х современность сводилась к свободе во всех ее проявлениях и неустанному травестированию всех и всяческих иерархий. С этим Гер — в своей «Электрической Лизе», например, — справлялся лихо. Историю разбитного семнадцатилетнего пацаненка с сияюще-радостным сексом и смешной шекспировской путаницей сестренки он выталкивал единым выдохом.

Современность путаных 90-х пока к формуле свести затруднительно. Единственное, что понятно: впервые со времен прибытия люмьеровского поезда человеческая личность подверглась такому размывающему напору, такой атаке на идентичность.

Не говоря уж о полной моральной переоценке — если друг оказался вдруг человек человеку волк, — полностью отвлекаясь от выламывания людей из привычных социально-поведенческих ниш, — так ведь тут еще и технологическое переоборудование реальности подоспело, и альтернативные сексуальные практики (от «по договоренности» до «по Интернету»).

Я не случайно обмолвился про Люмьеров. Параллельная реальность фильма завораживала литераторов лет сто назад. Главным тут было, безусловно, не преувеличенность экранных страстей, не экзотические пейзажи выгородок, а особое, фильмическое, нетленное и совершенное тело. Оно не сводилось ни к чему из личного опыта, могло существовать только в своей мерцающей среде и завораживало недоступностью.

Вот это — бестелесное тело в особой среде — и пытается выстроить Эргали Гер в своем первом романе. Не брезгует он и старым проверенным способом: когда героиня романа Анжела Арефьева впервые попадает в роскошный ресторан с мужчиной, она, выросшая под немолчный припев видеомэгафона, понимает,

что «это... настоящая широкоформатная лента с ее участием, оригинал, а не копия, это был фильм про нее, и следовало держаться естественно, как на съемочной площадке». Позже она же и с тем же мужчиной «по-настоящему возбуждается» только «от тусклого нефтяного сияния объектива», преображающего никчемное реальное тело в совершенное, фильмическое.

Лет пять назад постмодерная художественная общественность была несколько ажитирована идеями новой тотальности в искусстве, связанной именно с новыми средами его бытования. Говоря проще, виртуальная реальность и подобные технические решения ставили перед художником некие новые задачи не только по созданию обособленного эстетического объекта, но и всего пространства вокруг этого объекта. Художник может отныне создать мир по собственным законам и погрузить в него — реальность, ее эстетическое преображение, самого себя и своего зрителя. В принципе, хеппенинги и энвайронменты 70 — 90-х плавно подводили развитие искусства к этим идеям.

По совести говоря, никакая часть этой проблематики не ушла в зону отработанного (много ли мы видели настоящих тотальных проектов?), но просто говорить об этом теперь уже не модно, да и слова «виртуальная реальность» несколько скомпрометированы первыми попытками реализации.

Гер тоже ничего такого не говорит — и даже компьютером только слегка пытается припугнуть читателя в финале. Для всех виртуальных забав ему вполне хватает старомодного телефона. Это, пожалуй, закономерно. Помню, как в свое время я был совершенно потрясен, обнаружив, что все постулаты современного виртуального мира канадский философ Маршалл Мак-Люэн разработал, осмыслив опыт столь несовершенного и недиалогичного вида новых сред, как телевидение.

Однако телефонная эротика в описании Гера превращается именно в такой проект тотального искусства. Два голоса с двух сторон витого провода сперва превращаются в полноценных жителей «дивного нового мира», а после вовлекают за собой и всю реальность. Первые ласточки, влетающие в него вместе с главным героем Сергеем Астаховым, — штабные телефонистки: «С молодой румяноголосой (! — А. Г.) Анечкой за полтора года телефонной любви они прошли полный курс от случайных приятных встреч (непринужденный треп о собаках — кино — начальстве) до первых свиданий с выяснением пристрастий и антипатий, затем заблудились на пару месяцев в школьных, семейных воспоминаниях и неожиданно для Анечки вышли на столь интимные темы, на такую прорвавшуюся неодолимую страсть говорить о главном, о сокровенном, что дней за сто до приказа Серега разбирался в Анечкиной анатомии гораздо лучше ее дубоголового супруга, даром что летчик». Одна из телефонисток соединяет его с дочерью-десятиклассницей: «Прорыв в городскую телефонную сеть был для Сереги самоволкой души, именинами сердца... Под одеялом, тайком от строгого папы они болтали до двух, трех часов ночи, пугая друг друга страшилками про ведьм, вурдалаков, голодных кладбищенских старух и прочую нечисть, потом уставали бояться и в обнимку засыпали на узком Шурочкином диване».

Входящий в этот новый мир перерождается сам. Даже те фрагменты физического присутствия, которые необходимы для теперешнего существования, становятся совершенно иными: «Его глуховатый невыразительный дискант усиливался и преображался телефонной мембраной в медовый тенор».

Назад пути нет. Никакого вочеловечения не случится: тенор обратно превратится в дискант, а мед обернется глухотой.

Наука любви. Женщина любит ушами, а мужчина — глазами? руками? чем бы то ни было, это с ушами никак не стыкуется. Любовь сбывается, смыкается, только если он любит словом, гортанью, языком — и не в смысле tongue, а непременно language.

Телефонный мир Сереги Астахова — идеальное пространство для такого рода любви. Но однажды ей приходит конец. «„Мы уже не разговариваем, а что-то другое“, — определил однажды ночью Сережка. „Как будто шекочем друг друга перышками иносказаний...“ — „Может, мы просто хотим друг друга?“»

Вводя любимую и вроде бы отработанную уже давно сексуальную тему в роман, Гер закладывает под сюжет ту самую мину, что рванет в конце и разнесет вдребезги пижонский «линкольн» вместе с еще живым телом Сергея Астахова.

Человеку нечем ответить всем вызовам мира, кроме своего собственного тела, — по совести говоря, у него ничего более и нету. И ничто не требует этой платы так неуклонно, как секс. Но блуждающие звезды нового телефонного мира не желают собственного тела, отказываются от него просто потому, что оно — тело, что оно — первичная реальность, а не превращенная.

Примечательно, как телефонная Анжелка рассказывает своему Сереженьке о походе на живой концерт «Наутилуса».

«Униженная, ошеломленная, она отсидела концерт с нарастающим чувством разочарования в живой музыке. Маленький Бутусов на сцене напоминал кукольную копию настоящего, знакомого по плакатам и телевизору; микрофон то фонил, то скрежетал и пощелкивал... а главное — новые песни звучали зануднее старых, а старые, залюбленные до последней ноты, исполнялись по-новому.

— Самое обидное, что потом этот концерт раз пять крутили по телевизору, и с каждым разом он смотрелся все лучше и лучше, чем в жизни. В конце концов начинаешь думать: ого, как клево, вот бы туда попасть...»

И все же встреча неминуема. Как бы сладостен ни был виртуальный роман, он не может длиться без некой реальной подпитки.

Готовясь к этому, герои пытаются выстроить себе хоть какое-то подобие тела. Анжела кропит фотографические портреты своего избранника туалетной водой «Heritage», а другой флакон отсылает Сергею и говорит (разумеется, по телефону): «Я буду привыкать к твоему запаху: буду слушать и нюхать — обонять то есть, — как будто ты рядом». Очевидно, предполагается, что собственного запаха у героя нет — словно он зюскиндовский парфюмер.

За обонянием приходит очередь осязания и чувства объема. Анжела — она вообще все время выступает инициатором девиртуализации отношений — разрешает присылать ей цветы: «„Только не розы и не тюльпаны, ладно? Орхидеи, хризантемы, нарциссы...” — „А почему не розы?” — „Не знаю... Они какие-то пухлые, чувственные... Розы грубее нашей любви”».

Взамен Сергей пытается сконструировать телесный протез для возлюбленной — присылает ей бесчисленные букеты и «экзотические духи „Nanae Mori”, от которых Анжелка пришла в полный восторг, точнее — в тихий ночной экстаз. Она почувствовала себя то ли гейшей, то ли таитянкой на острове посреди Великого океана: в лаконичной обстановке гостиницы духи распустились гроздьями тропических ароматов и озвучили, раскрасили пустое пространство».

Но стоит им увидеться, встретиться, назначить настоящее свидание с романтическим ужином и танцами до упаду — как «линкольн» взорвется, заминированный злобною рукою врага, и разодранное тело героя вывалится мясом на асфальт.

Сергей гибнет даже не потому, что автору некуда было его деть, а потому, что в реальности он уже практически отсутствует.

Он в этом смысле ближе к Александру Ивановичу Лужину, выпавшему в шахматную вечность из ванной комнаты, чем к Евгению Васильевичу Базарову. Вечность его, как и положено, — виртуально-телефонная. «На кладбище Анжелка вложила ему в руку сотовый телефон... Сама она иногда звонит Сереге, но девушка-оператор всякий раз отвечает: „Абонент временно недоступен. Перезвоните позже, пожалуйста”».

Литература. Если быть совсем честным, то о романе тут можно говорить лишь условно.

То есть внешне все очень прилично, некая связность присутствует. Здесь наконец надобно извиниться перед читателем, которому, должно быть, до сих пор непонятен сюжет описываемого романа (я имею в виду того читателя, который предпочитает аналитический продукт синтетическому и читает рецензии вперед романов). Огрубляя и округляя, сюжет таков: дочь Веры Степановны Арефьевой, бывшей директорши винного, а в новой жизни — этакой «Властилины» чеково-инвестиционных фондов, по имени Анжела соблазняет старого друга дома Тимо-

фея Дымшица, за что сама Вера Степановна, на старого друга обозлясь, напускает на его фирму «Росвидео» сразу две бандитские группировки. Запуганная дочь старается бесконфликтно вырваться из родительского дома (приобретая для этого по квартире себе и маме), после чего — больше от скуки, чем ради заработка — отправляется работать в службу секса по телефону. Бандиты требуют передать им в собственность двадцать пять процентов акций фирмы и взрывают одного из компаньонов Дымшица — ради сговорчивости остальных. В последний момент, уже передав акции убитого, Дымшиц предлагает сыграть на деньги в карты — и отыгрывает все не без некоторого жульничества. Тем временем Анжела влюбляется в одного из своих телефонных клиентов. Со страшным скандалом она уходит из фирмы и бросается в пучину виртуальной страсти. В дискотеке, где и должны плясать до упаду герои, им встречается злой гений всей книги — некий Андриуша. Это он помогал бандитам отбирать акции у Дымшица, теперь он старается ущучить Сергея и его друга Игоря, отняв у них заводик металлоконструкций. Сергей в своей машине взрывается.

Я это все рассказываю в самом конце оттого, что все это решительно не важно.

Эргали Гер — великолепный рассказчик, может быть, один из лучших в нынешней литературе мастер короткой прозы. И вся вязь сюжетов и поворотов «Сказок по телефону» — это просто цепочка случайно прицепленных друг к другу рассказов, коротких и звонких в своей полнейшей завершенности.

Более того, там, где хоть что-то происходит, где сюжет движется и расцветает, оба главных героя теряются серенькими тенями на красочном фоне. Зато повествование немедленно бросается вскачь — и вразнос, дробится на отдельные обособленные фрагменты. Рассказ о блистательном Дымшице, видеомангате и супергерое, перехитрившем бандитов в карты. Рассказ о телефонно-сексуальной конторе, или Как лихоборская принцесса Анжелка наказала алчного злодея. Сага о первоначальном накоплении капитала.

Но Гер так настойчиво переносит свое и читательское внимание на главных героев, что все роскошество своих рассказов сметает куда-то на сторону. Как точно написал Сергей Кузнецов в сетевой заметке о романе, «автор превращает девяностые в простую декорацию. Несмотря на весь набор — мобильники, видеокамеры, бандиты, наезды, бабки, тачки, клубы, взрывы, — сама по себе история выглядит удивительно архаичной» («Культурный гид», № 56, www.russ.ru).

Действительно, в качестве портрета немислимо деятельного десятилетия нам предложена картина идеологически обоснованного бездействия. Герой ничего не делает, ни во что не включен, потому что у него есть нечто гораздо более значимое, чем повседневное бытование, любовь, секс, деньги, работа, — слово. «Дело в том, Анжелка, что я человек слова, — признался Серега. — Слова, а не дела. Слова, а не правды. Для меня слово выше правды, больше правды, сильнее правды».

На глазах у изумленных зрителей иголка звукоснимателя соскальзывает в бороздку с песенкой «Слово выше дела», разбегенную семидесятниками донельзя.

Оказывается, что все виртуальные прибамбасы, вся сологубовщина с ароматами и нарциссами требовались только для того, чтобы снова вернуться к проблематике писателя-неудачника. Так вот куда терцины нас вели?!

Конечно, автор волен возмутиться. Сказать, что судить его надо так, как надо, а как не надо — не положено. Что это все свидетельство преемственности эпох и что роман глубоко традиционен по духу. Но к традиционному роману совсем другие требования. Собственно, в рассказе как таковом нет ничего худого. И как строительный материал для романа он тоже вполне пригоден. История мировой литературы знает сотни примеров построения крупных форм из малых. «Океан сказаний» Сомадевы или «Тысяча и одна ночь» — далекие предшественники «Сказок по телефону» на этом пути. Но из виноградной грозди не получится сам собой арбуз, как бы сочны и сладки ни были отдельные ягоды. Роман должен быть пронизан единым эпическим дыханием. А этого у Гера нет. Как и у большинства романистов 90-х, сбивших себе дыхание на попытках догнать эпоху или на неспособности это сделать. Они помахивают ей издали, кто агрессивно, кто жалобно, и

покрикивают: «Все самое главное осталось у нас, тут! Вы убежали без самого главного!!»

Кажется, чуть ли не Карлу Профферу пришла в голову идея выпускать футболки с надписью «*Russian literature better than sex*», страшно популярные у студентов и даже преподавателей-славистов в 70 — 80-х. Правда, даже тогда у некоторых граждан по эту сторону языкового барьера возникали кое-какие сомнения по поводу справедливости этого высказывания.

Александр ГАВРИЛОВ.

*

ОПЫТ ХОЛИНА

Игорь Холин. Избранное. Стихи и поэмы. М., «Новое литературное обозрение», 1999, 320 стр.

Игра — в природе искусства.

Играют оркестры, играют актеры. Это — внешнее, исполнительское. Но по правилам игры строятся и пьеса, и партитура. А разве стихотворный ритм или звуковая переключка, именуемая рифмой, не игровая импровизация? А метафора? Ведь это — загадка, в которой один образ прячется за другим.

Помимо этого поэзия живет бездной языковых затей, множеством «игр», связывающих автора с читателем: шутка и профанация, пародия и сарказм, гротеск и умолчание... Все это из области искусства, искусности, то есть умопостигаемо. Об этом легко говорить.

Трудности начинаются там, где искусство кончается, где возникает мысль, где, по слову поэта, «дышат почва и судьба». Их не формализуешь, не сведешь к приему.

В значительной части своего посмертного «Избранного» Игорь Сергеевич Холин (1920 — 1999) позволяет читателям избежать указанных трудностей. Он играет. Играет разнообразно, заразительно. Играет не вообще, а на материале нашей абсурдной реальности. Его стихи, помещенные в нормальные оси координат, выглядят бедой и бредом. Они то сумбурно громоздятся строка на строку, то монотонно вертятся, как заезженная пластинка, цокая по трещинкам стальной иглою.

Если вы смотрите
На Холина
И видите Холина
Знайτε
Вас водят за нос
Если вы смотрите
На Холина
И видите 34 в 35 степени
Перед вами Холин

Вы хотели узнать, что за человек Холин, а вместо этого вам по законам абсурда говорят, чему он равен.

Итоговая формула: Холин = 34³⁵.

Слева человек, справа безразмерная величина. Однако вряд ли можно сказать, что вы таким образом Холина «вычислили». Он как был «иксом», так и остался. В координатах «Смысл — Время» подобный автопортрет нелеп. В координатах «Абсурд — Время» — нормален. Для советской реальности такая «математика» была вызовом.

Один из любимых приемов Холина — пародия. Причем пародирует он не «друзей-стихотворцев», а саму жизнь. Например, всевозможные опросы:

Анкета
Поэта

Рост
 193 сантиметра
 Папиросы
 Казбек
 Вино
 Тетра
 Брат
 Женат
 Дом
 Храм
 Член
 Хрен
 Тан
 Трен
 Цык
 Вцык
 Сик
 Сик

Или поиски в области «предметной музыки»:

Магазин
 Грампластинок
 Выбор
 Новинок
 Песенка
 Любовь Гения
 В механическом
 Исполнении
 Состав
 Хора
 33 авиамотора
 Соло фрезы
 Взыыыыыы

Или уличный эпизод:

Трушобы
 Еще бы
 Окна
 На тротуар
 Топ
 Топ
 Каблучок
 Цок
 Носок какаду
 На ходу
 Вычертил
 Знак Зодиака
 Плевок
 Гориллы
 Гаврилы
 В тень
 В рыло
 Вдруг
 Скок
 Испуг
 Появилась пятка
 Блюстителя
 Порядка

Но жизнь идет, и некоторые объекты сатиры потихоньку вымирают, как, скажем, наше всеобщее единомыслие, приверженность тому, что Холин парадоксально изобразил виногретом, во имя которого мы живем, который больше всего любим и славим.

Вообще социальный прицел в «Избранном» остро ощутим, а изнанку жизни автор изведаль с детства. Семи лет он бежал из дома, мыкался по детприемникам. Потом была война, вызвавшая в солдате два естественных чувства: отвращение и страх. Об этом цикл «Река войны» — из лучших в книге.

Если на войне
 Тишина
 Мы
 Расправляемся
 Со вшами
 Как расправляются
 С нами
 Если обстрел
 Вроде кур
 В курятнике
 Втягиваем головы
 В ватники

После войны Холин служил официантом в «Национале». Должность непростая, и место непростое.

Самостоятельно растил дочку.

Стал наряду с Сапгиром одним из родоначальников течения художников и поэтов, позже получившего на Западе имя «андеграунда» — подпольного искусства, антипода советскому официозу.

В поэтике шел за Хлебниковым (особенно фонетические опыты), за Маяковским (космические гиперболы), а интонационно — по наблюдению А. М. Ревича — за Тихоном Чурилиным.

Умело использовал избыточность русской речи, экспериментируя с сокращением слов, занимаясь слоговой комбинаторикой, диссонировав, тасуя ударные гласные, разнимая слова, создавая эмоционально понятные неологизмы или, наоборот, нарочито заполняя страницы бесконечными повторами, что называется, звуча «на одной ноте». Все это уже нашло и непременно найдет массу продолжателей, как вещь формальная, внешняя, легко копируемая. Чистая работа ума. Правила простые, делается быстро, и — море удовольствия.

Между тем надо помнить, что Холин вел свои эксперименты под спудом нерушимого соцреализма, в его глубоких подвалах, без малейшей надежды на то, что такие пробы могут быть обнаружены.

Холин знал горечь человеческого прозябания.

Опись жизни путаной, сбивчивой, несчастной и несносной, по ощущению поэта, требовала отвечающего ей косноязычия — разъятой, деформированной речи, предельно опрошенной, лаконичной, во всем сводящейся к минимуму. Отсюда скупость словаря. Отсюда узкий — по слову на строчку — вертикально вытянутый холинский стих. Слова трехсложные. А лучше — двусложные. А еще лучше — односложные. Причастия и деепричастия почти упразднены. Никаких «оборотов речи». Никаких «грамматических конструкций». Пунктуация скошена на корню.

Существительное, прилагательное, местоимение, глагол. Все.

Безбожно обеднив язык, эти опыты, однако, очистили речь от словесной рутинности, освободили от инерции штампов, напомнили об иных возможностях словотворчества, дали простор воображению.

Холин не просто расширил границы традиционной лирики, а круто поменял ее содержание. В лирику вторгся быт барака. Любовь свелась к сношениям. Высокий слог заглушило сквернословие. Аромат жизни забила тошнотворная вонь. Все это обнажилось, выплеснулось на свет. Своей узкой строфой, как насосом, Холин выкачивал воздух рабства: качнул — назвал — выкачал, качнул — назвал — выкачал. В этом видится нам смысл его труда. Но чем заполнить образовавшийся вакуум, он не очень себе представлял. Положительный смысл погрязал в утомительных перечислениях — кому и чему надо молиться, перечислениях, полных языческой мешанины; или просто следовали списки «друзей Земного Шара»; или длились перечни того, как негоже поступать с Богом, то есть снова истинное утверждалось через отрицание ложного. Светлая поэма «Песня без слов», посвященная Овсею Дризу, одиноко боролась с потемками барака. И вдруг в помощь ей откуда-то из глубины вспыхивало:

Уголки
 Твоих губ
 Уголки

Твоих глаз
 Это свет
 Пробегающий
 Мимо нас

Могут быть разные представления о предназначении искусства. Правильно, что оно призвано смягчать нравы, дарить людям надежду, вселять в их души гармонию, славить красоту бытия. Верно, что высшая власть вменила в обязанность поэту пророческое служение: предчувствовать грозы грядущего, предупреждать о них. Но справедливо и то, что дело поэта — обличать подлость и пошлость жизни, диагностировать нравственные болезни общества, побуждать его излечивать их. Игорь Холлин не пребывал в роли холодного наблюдателя. Беды Отечества его действительно печалили, возмущали, жгли, доводили до отчаянья. Мотив смерти отчетливо звучит в книге. Поэт шел «от противного», от отрицания, от издевки. В том числе и над самим собой. Он проклинал барак — и любил его, ненавидел — и жалел.

Да, его влекла литературная игра, формы его всегда были «игрушечными», но не шуточным оставался протест. И когда формальные заботы отступали, упражнения в словотворчестве прекращались, хорошо экипированные абсурд и профанация сдавали оружие, тогда и прорывалось дыхание судьбы.

В тяжелое время
 Как некое зло
 Поэзии время
 На плечи легло
 Несу свою ношу
 Бреду
 Как в бреду
 Но ношу не брошу
 Не упаду

Алексей СМИРНОВ.

*

«...ТОЛЬКО СЛОВА ОСТАНУТСЯ»

Зинаида Гиппиус. Дневники. Под общей редакцией А. Н. Николокина. Вступительная статья и составление А. Н. Николокина. М., НПК «Интелвак», 1999. Т. 1 — 736 стр. Т. 2 — 720 стр.

«**Н**ет слов — а между тем только слова *останутся*. Только они кому-нибудь помогут *не забыть*. А забывать нельзя». Эти фразы, занесенные З. Н. Гиппиус 26 марта 1921 года в ее «Варшавский дневник», раскрывают, наряду со многими другими аналогичными признаниями — дневниковыми, стихотворными, эпистолярными — содержание и смысл отражения на бумаге ее бесконечных рефлексий («самокопаний» — аттестовали бы ветераны борьбы с декадентством и модернизмом). Ей необходимо закрепить в слове ускользающие напряженные конвульсии собственного сознания, рационально оформить иррациональные импульсы, попытаться прояснить для себя самой самое себя и многообразные сочетания-противостояния собственного «я» с другими людьми, с обществом, с меняющимися социально-историческими обстоятельствами, с эпохой.

Дневник — важнейшая форма творческой самореализации Гиппиус, и не приходится удивляться тому, что после нее осталось столь много дневников в прямом жанрово-терминологическом смысле этого слова — повседневных, хронологически выстроенных датированных записей-повествований от первого лица. В своем многообразии дневниковые тексты Гиппиус выявляют различные регистры ее личности, часто пересекающиеся, но никогда не смешивающиеся между собою: лаконичные подневные записи для себя — и ретроспективные обобщающие характеристики определенных жизненных этапов; интимно-психологические признания, метафизические построения, обращенные к «избранным», самым восприимчивым, — и адресованная всем и каждому публицистическая хроника текущих событий, обра-

чивающихся творимой историей. Почти во всех случаях записи Гиппиус — больше чем индивидуальная исповедь. Ее дневник «О Бывшем» — не просто совокупность откровений и свидетельств, дающих ключ к пониманию того, как структурировались религиозные убеждения автора; это — важнейший документ для истории «нового религиозного сознания» в России в символистскую эпоху. Записи, неоднократно издававшиеся под общим заглавием «Петербургские дневники», и примыкающие к ним «Черные тетради» — это хроникальная история жизни Гиппиус и ее близких в период мировой войны, революции и первых лет владычества большевиков; но вместе с тем это — исторический документ исключительной силы, исполненный той глубины осознания и точности оценки всего совершающегося, которые тогда были доступны мало кому из современников. И сейчас ее «революционные» дневники могут служить таким же безупречным и всеобъемлющим — не в смысле арифметического учета событий, а по адекватности их отбора и осмысления — учебником истории России на переломе двух эпох, каким является «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына применительно к последующей истории страны.

Собственно о дневниках Гиппиус можно было бы говорить очень много, и, конечно, к ним еще будут много раз возвращаться. Попытка представить их читателю собранными вместе, разумеется, должна быть встречена с энтузиазмом — в особенности потому, что до сих пор значительная часть включенных в два тома текстов («Contes d'amour», «О Бывшем», «Варшавский дневник» и др.) известна лишь по публикациям в эмигрантских изданиях, в России малодоступных, а один из них («Записная книжка 1908 года») опубликован впервые по рукописи. В этом отношении предпринятое издание сделало свое доброе дело и наверняка надолго останется в читательском и исследовательском обиходе за отсутствием других, столь же полных и внешне внушительных, изданий дневниковых произведений Гиппиус. Тем более необходима нелицеприятная оценка двухтомника под знаком качества его подготовки.

В преамбуле к комментариям сообщается, что «в настоящей книге впервые собраны все известные в настоящее время дневники З. Гиппиус, которые она вела в различные периоды жизни». В издание, однако, не вошел ее метафизический дневник «Выбор?» (1929 — 1930), опубликованный в парижском журнале «Возрождение» в 1970 году (№ 222); по затрагиваемой проблематике и характеру авторского письма он вполне соотносим с «Воображаемым» (1918) и «Дневником 1933 года», представленными в двухтомнике. Вместе с тем значительная часть первого тома издания занята книгой журнальных критико-публицистических статей Антона Крайнего (постоянный псевдоним Гиппиус в этом жанровом амплуа), вышедшей в свет в 1908 году под заглавием «Литературный дневник (1899 — 1907)», — книгой замечательной, заслуживающей, безусловно, переиздания наряду с многочисленными другими печатными выступлениями Антона Крайнего аналогичного рода, но переиздания не вперемежку с дневниками в прямом, а не в фигуральном содержании этого термина¹. Выбор заглавия для сборника статей был, вероятно, связан для Гиппиус с осознанием дневниковой природы всего собственного творчества, а также соотносился с определенной литературной традицией — такими заглавиями критико-публицистических циклов, как «Дневник писателя» Достоевского или «Дневник читателя» Михайловского (традицией, продолженной, в частности, Мережковским, вослед «Литературному дневнику» Гиппиус выпустившим в свет книги своих статей под заглавиями «Было и будет. Дневник 1910 — 1914» и «...Невоенный дневник. 1914 — 1916»), — но, конечно, свои журнальные выступления она за дневники выдавать не пыталась. Редактор двухтомника признает, что статьи, вошедшие в «Литературный дневник», «являются дневником скорее в историческом (? — А. Л.), чем в жанровом отношении», что этот «дневник состоит из литературных статей», — но почему, руководствуясь теми же критериями, он не включил в издание заодно и книгу Гиппиус «Стихи. Дневник 1911 — 1921»?

Собранные в двухтомнике воедино, дневники остались не подчиненными единым эдиционным принципам; на поверхности это наглядно сказывается в раз-

¹ Когда эта рецензия была уже в наборе, в московском издательстве «Аграф» вышла книга: Антон Крайний (З. Гиппиус), «Литературный дневник», помеченная 2000 годом.

нобое при воспроизведении однотипных написаний: названия месяцев и дней недели начинаются то с прописной буквы (как в автографах Гиппиус, в соответствии с прежними нормами), то со строчной (по современным нормам), сокращенные написания даются то в полном соответствии с автографом («Статья Адча» — т. 2, стр. 447), то с редакторскими дополнениями («разговор об Адам<овиче>» — т. 2, стр. 449); подобный разноречивости и при воспроизведении целых фраз: «на Кельбер<иновом> автом<обиле>» (т. 2, стр. 449) — «Бердяев веч. с Лид. Юд.» (т. 2, стр. 534; с редакторским дополнением читалось бы «Бердяев веч<ером> с Лид<ией> Юд<ифовной>»). Предпочтение одной из этих форм воспроизведения авторского текста порой ведет к тому, что читателю без посторонней помощи приходится разбираться с весьма загадочными начертаниями: «Мал. четв., читали лит.» (т. 2, стр. 535) — и т. п. Далека от идеала, мягко говоря, и редакционно-издательская подготовка книги: опечатки изобилуют, правильные написания фамилий (М. М. Спасовский — т. 2, стр. 650) соседствуют с неправильными (М. М. Спасский — т. 2, стр. 654) или даются только неправильные (вместо журналиста М. И. Сырокомли-Сопощко возникает невообразимый Сырокамаи-Солоцко — т. 1, стр. 653; он же в именном указателе Сырокомаи-Солоцко), иногда читателю приходится самому гадать, какова на самом деле фамилия упоминаемого лица — Лесневский (т. 2, стр. 302) или Лесновский (т. 2, стр. 333), тем более что в именном указателе это — две различные персоны. (В указателе обнаруживаются и другие сюрпризы — например, фигурирует Брюль, хотя из текста Гиппиус ясно, что имеется в виду не саксонский политический деятель XVIII века граф Генрих Брюль, а Брюлевский дворец в Варшаве, возведенный стараниями этого деятеля; в комментарии же на неоднократное упоминание в тексте слова «Брюль» не обращено никакого внимания.) Погрешности, которые можно обнаружить в прежних изданиях дневников Гиппиус, не исправлены и здесь (например, в комментарии к первой публикации «Черных тетрадей» случайно выпала строка и произошла контаминация биографических аттестаций С. Д. Мстиславского и А. Н. Бенуа; в новом издании присутствует тот же фантомный «Мстиславский Александр Николаевич (1870 — 1960)» — т. 2, стр. 572; он же — в именном указателе), зато к ним добавились новые (Г. К. Флаксерман, упоминаемая в комментариях к тем же «Черным тетрадям», превратилась в Г. К. Флакман — т. 2, стр. 548).

Последний пример — лишь одна из попутно замеченных «мелочей»; имеются, однако, и более основательные причины для того, чтобы предпочесть некоторым публикациям, включенным в двухтомник, их первоначальные тексты. В этом отношении, может быть, наиболее яркий пример — с дневником «Серое с красным», печатаемым по тексту альманаха «Встречи с прошлым» (вып. 8. М., 1996; публикация Н. В. Снытко); в новом издании в нем оказалась потерянной последняя, особо значимая запись — несколько фраз, занесенных в дневник сразу по получении известия о нападении Германии на Советский Союз («Два слова только: сегодня Гитлер, завоевавший уже всю Европу, напал на большевиков» — и т. д.). При переиздании дневника «Воображаемое» текст, кажется, воспроизведен исправно, но едва ли читатель сможет его достаточно внятно воспринять и даже понять, к кому обращены эти записи, почему автор иногда пишет от собственного лица в мужском роде и кто фигурирует под обозначением «Оля», без дополнительных пояснений о характере взаимоотношений между Гиппиус и В. А. Злобиным летом 1918 года, отсутствующих в двухтомнике и наличествующих во вступительной заметке М. Павловой к первой публикации «Воображаемого» в журнале «Звезда» (1994, № 12).

Применительно же к комментариям, написанным специально для двухтомника, количество возражений, претензий, исправлений возрастает неимоверно. Когда-то И. Г. Ямпольский в одном из своих обзоров литературоведческих ошибок («„Не верь глазам своим“». Заметки на полях») справедливо отмечал: «Без сомнения, отдельные промахи имеют случайный характер, от них никто не застрахован, но подавляющее большинство ошибок — следствие неосведомленности, легкомыслия, излишней торопливости в выводах, слепого доверия к своей памяти, самодовольства и безответственности» («Вопросы литературы», 1981, № 5, стр. 209). Все эти характеристики, увы, оправдываются и в нашем случае. Похоже, что коммен-

тарии к дневникам, ранее издававшимся без исследовательских пояснений, очень торопились сдать к жестко определенному сроку, подобно очередному глобальному «объекту» социалистического строительства. «Объекты», правда, после авральной даты доводили до кондиции, обустривали; применительно же к изданной книге такой возможности нет: как заметила Гиппиус, «только слова останутся».

Разумеется, нам могут возразить: комментирование дневников — тяжкое и неблагодарное дело, в них фиксируются малозаметные события, следы которых порой трудно обнаружить по другим источникам, подробности частной жизни, малоизвестные или совсем неизвестные лица, о которых нигде не закреплено никаких сведений, и т. д. Все это так, и действительно, составителю примечаний к подобным текстам часто приходится капитулировать. Однако у трудившихся над двухтомником был перед глазами, как верный и надежный ориентир, комментарий М. М. Павловой и Д. И. Зубарева, сопровождающий первую публикацию «Черных тетрадей» Гиппиус во 2-м выпуске исторического альманаха «Звенья» (М. — СПб., 1992), — работа во многих отношениях образцовая, выполненная тщательно, с привлечением большого круга документальных источников. Читателю «Черных тетрадей» опять же придется предпочесть их первую публикацию, поскольку в двухтомнике комментарий упомянутых соавторов значительно сокращен: снят ряд впервые публикуемых архивных материалов, имеющих непосредственное отношение к тексту дневников, убраны или сокращены цитаты из газет, из мемуарных источников, справки о некоторых упоминаемых Гиппиус лицах (в частности, исчезло большое примечание о великом князе Гаврииле Константиновиче). Зачем понадобилось кромсать и портить профессионально и ответственно сделанную работу? Неужели для того, чтобы попытаться сгладить контраст между нею и комментариями, специально подготовленными для двухтомного издания?

Контраст этот, однако, бросается в глаза. Комментарии М. М. Павловой и Д. И. Зубарева не просто отличаются большей полнотой и точностью информации, они находятся в тесной функциональной зависимости от текста дневников, поясняют именно этот текст и расширяют его смысловое пространство. Комментарии же к другим «революционным» дневникам, да и не только к ним, сплошь и рядом представляют собой подборку общих сведений о том или ином предмете в отрыве от конкретного суждения, которое они призваны пояснить. Эти пояснения часто пространны и при этом совершенно излишни для восприятия соответствующих фрагментов текста. Подменить собой даже самую краткую энциклопедическую статью они не могут и не обязаны, но способны привести читателя в недоумение: зачем при попутном упоминании имени Герцена на пяти строках перечисляются несколько наугад выбранных фактов биографии Герцена (т. 1, стр. 688)? зачем нам сообщают, что африканские готтентоты исповедуют протестантизм (т. 1, стр. 712; комментируется характеристика, данная Горькому: «Милый, нежный готтентот, которому подарили бусы и цилиндр»)? почему в комментарии к приводимой Гиппиус фразе П. С. Соловьевой с упоминанием рассказа Тургенева «Песнь торжествующей любви» (в комментарии: «Песня торжествующей любви») не поясняется конкретный сюжетный намек, а приводятся сведения о первой публикации рассказа и цитата из рецензии В. Чуйко на эту публикацию (т. 1, стр. 630)? зачем упоминание Андрея Белого в записях 1908 года комментируется сведениями о его жизни в Берлине в 1921 — 1923 году (т. 1, стр. 635)? Можно задать еще множество подобных риторических вопросов.

И наоборот, комментарий часто красноречиво безмолвствует о том, что нуждается в пояснениях и уточнениях. Так, в «Дневнике любовных историй» Гиппиус касается своих взаимоотношений с поэтом Ф. А. Червинским. Сохранились 25 ее неопубликованных писем к Червинскому за 1891 — 1895 годы, непосредственно проясняющих содержание дневниковых записей, но в комментарии они не использованы; приводится, правда, с указанием архивного шифра однострочная фраза из письма Гиппиус к Червинскому (т. 1, стр. 616), а на следующей странице приводится фраза из письма Гиппиус к Н. М. Минскому от 16 ноября 1893 года, также с отсылкой к архивному первоисточнику — неправильной (указан шифр писем Гиппиус к З. А. Венгеровой), но точное совпадение этих цитат с теми, которые опубликованы — наряду с цитатой из письма к Венгеровой — в комментариях

к «Сочинениям» Гиппиус (Л., «Художественная литература», 1991, стр. 609 — 610), дает основание заключить о том, что использован именно этот печатный, а не архивный источник. Однако стоит ли упрекать комментатора за пренебрежение архивными документами, если даже столь необходимый для толкования того же «Дневника любовных историй» печатный источник, как публикация писем Гиппиус к А. Л. Волинскому, осуществленная А. Л. Евстигнеевой и Н. К. Пушкаревой («Минувшее». Исторический альманах. Вып. 12. М. — СПб., 1993, стр. 274 — 321), остался вне поля зрения? Не прокомментированы: судебный процесс Мережковского (т. 1, стр. 160), вызванный публикацией его пьесы «Павел I», — история, широко освещавшаяся в печати; сообщение в записи от 11 марта 1921 года (т. 2, стр. 321) об организуемом «религиозном союзе» — «Союзе Непримируемости», программные документы которого, составленные Гиппиус, ныне обнародованы в нескольких публикациях Темиры Пахмусс; не указано, что под нераскрытым сокращением «Сер. Павл.» (т. 2, стр. 522) подразумевается Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, о которой говорится в другом месте (т. 1, стр. 634 — 635), что подготавливаемая Д. В. Философовым книга (т. 2, стр. 524) — сборник его статей «Слова и жизнь. Литературные споры новейшего времени (1901 — 1908)» (СПб., 1909), вышедший в свет в конце 1908 года, что фаза «Дм-в фельетон о Струве с возр. Струве» (т. 2, стр. 528) подразумевает публикацию 24 февраля 1908 года в петербургской газете «Речь» полемической статьи Мережковского «Красная Шапочка», направленной против П. Б. Струве, и ответной статьи Струве в том же номере. Можно добавить: и так далее.

Неполнотой и неточностью отличаются многие краткие пояснительные справки об упоминаемых в дневниках лицах, дополнительные сведения о которых обнаруживаются без каких-либо специальных разысканий, а лишь путем обращения к обиходным современным справочным источникам: Василий *Васильевич* Успенский (1876— 1930); Николай Моисеевич Волковыцкий (1881 — не ранее 1940); Ростислав Иванович Сементковский (1846 — 1918); Н. Я. Стечкин (1854 — 1906); Сергей *Алексеевич* Соколов (1878 — 1936); Яков *Станиславович* Ганецкий; Евгений Юльевич Пети (1871 — 1938) — вне поля зрения комментатора осталась подготовленная Розиной-Нежинской публикация писем Мережковских к супругам Пети («Новое литературное обозрение», 1995, № 12); Степан Иванович Осовецкий (ум. 1944) — инженер-технолог, член Московского филармонического общества (сведения о нем — в комментарии Н. А. Богомолова в кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. Живые лица. М., 1991, стр. 429); Николай Платонович Вакар (1894 — 1970). Те же неполнота, приблизительность, неточность присущи и многим описательным характеристикам: сообщение о том, что Религиозно-философское общество в Петербурге было организовано Бердяевым (т. 1, стр. 637), лишь повторяет версию самого Бердяева и корректируется другими свидетельствами; определение Вяч. Иванова как «пантеиста» (т. 1, стр. 675) явно не отвечает характеру его религиозного мировоззрения; общие слова о том, что Брюсов «проявлял большой интерес к польской литературе» (т. 1, стр. 678), вообще для комментария не требующиеся, не подтверждаются данными, собранными в статье Св. Бэлзы «Брюсов и Польша» (сб. «История и культура славянских народов». М., 1966, стр. 186 — 205), из которой ясно, что этот интерес имел достаточно локальный и эпизодический характер; Эдгар По, поэт, новеллист и эссеист, автор одного романа («Повесть о приключении Артура Гордона Пима», аттестован как «американский писатель-романист» (т. 1, стр. 655): неужели редактор издания А. Н. Николюкин, специалист по творчеству Э. По, действительно считает корректным такое определение?

Наконец о самом досадном — об элементарных ошибках. Из всего выше изложенного, вероятно, ясно, что издание их едва ли смогло избежать. Какие-то из них, наверное, можно расценивать как опечатки или редакционно-издательские погрешности, но за многое, сообщаемое в комментариях, несут прямую ответственность составители и редактор. Итак: Л. Н. Вилькина — не первая жена Н. Минского (т. 1, стр. 618), а вторая (первая — писательница Ю. И. Безродная); Вл. В. Гиппиус не был «одним из деятелей „евразийства“» (т. 1, стр. 620) и быть им не мог: уже хотя бы потому, что «евразийство» — эмигрантское идейное сообщество, а Гиппиус не эмигрировал; прозаика С. Н. Ценского с настоящей фамилией Сергеев-Ценский (т. 1,

стр. 646) не существовало, был учитель и военнослужащий С. Н. Сергеев, писавший под псевдонимом С. Сергеев-Ценский; «Дева Радужных Ворот» — не «поэма Вл. Соловьева» (т. 1, стр. 262), а гностический по происхождению образ в заключительной строке стихотворения Соловьева «Нильская дельта»; рассказ Брюсова «Республика Южного Креста», согласно комментарию, — «статья в специальном номере „Северо-европейского вестника“» (т. 1, стр. 678), однако текст комментария лишь воспроизводит (с неточностями) авторский подзаголовок к рассказу и тем самым предлагает воспринимать брюсовский художественный вымысел как подлинную реальность; В. Ф. Ходасевич обвенчался с А. И. Чулковой в 1913-м, а не в 1917 году, А. И. Ходасевич скончалась в 1964-м, а не в 1984 году (т. 2, стр. 621); Мария Валентиновна Ватсон (1848 — 1932), жена Э. К. Ватсона с 1874 года, никогда не была «невестой» (т. 1, стр. 716) С. Я. Надсона (1862 — 1887), а лишь его близким другом, почитателем, издателем и биографом.

Все вышеизложенное — не результат сквозной проверки текста комментариев, а лишь частичная выборка из того, что попало в глаза.

От резюмирующих сентенций воздержусь. Все равно мне не сказать лучше, чем это сделал И. Г. Ямпольский в последних строках цитировавшейся выше статьи: «Когда я писал статью, то время от времени явственно слышал раздраженный голос: ну, подумаешь, все это мелочи, зачем сосредоточивать на них внимание; спутал двух братьев, однофамильцев, два журнала, ошибся в датах и проч. — разве в этом дело! Но следует ли уподобляться одному из героев Щедрина, который „никогда не мог различить Геродота от Гомера“, ссылаясь в свое оправдание, что „оба на г... начинаются!“».

А. В. ЛАВРОВ.

С.-Петербург.



СМЕРТЬ КАК ПРОСТОТА

Владимир Янкелевич. *Смерть*. [Перевод с французского Е. А. Адрияновой, В. П. Большакова, Г. В. Волковой, Н. В. Кисловой. Вступительная статья П. В. Калитина]. М., Литературный институт имени А. М. Горького, 1999, 446 стр.

В этой книге, название которой кратко, как выстрел и выкрик, тем не менее нет ни боли, ни крика. Глухое, утопленное во многих, многих страницах рассуждений, движениях мысли страдание есть. Его выдает хотя бы внушительный объем исследования: даже когда мысль как будто прояснена до предела, автор не обязательно ставит точку — возникает ощущение, что он просто хочет выговориться. Тема и в самом деле волнующая.

Смерть. Владимир Янкелевич (1903 — 1985), французский философ, психолог и музыковед, до сих пор почти неизвестный в России, хотя и весьма популярный во Франции, превращает это всем хорошо известное явление в бесконечный коридор, по которому шаг за шагом ведет своего читателя, так медленно и так честно, так последовательно и жестко, что иногда хочется вырвать руку, перескочить на последние страницы, посмотреть — ну а что же все-таки там, в конце, за заветной дверцей?

Но не будем торопиться. Пройдем предложенным автором путем. Первая часть книги называется «Смерть по эту сторону смерти», вторая — «Смерть в момент наступления смерти», третья — «Смерть по ту сторону смерти». Названия отдельных глав звучат живо и исключительно художественно для чисто философского труда: «Умерщвление плоти. А что, если жизнь — это продолжительная смерть?», «Смерть как разрастание отдельных небольших смертей», «Прощание. И о краткой встрече», «Ужас мгновения смерти и страх, внушаемый тем, что по ту сторону», «Надежда и безнадежное желание», «После того, как мы были, жили, любили». Однако эти обманчиво лиричные названия ничуть не смягчают беспощадности авторского поиска, целеустремленности авторской мысли, перед нами —

последовательно выстроенная система, первая в истории мировой мысли законченная философия смерти¹. Безусловно, любопытная не одним специалистам.

Умело переданная переводчиками пластичность языка, яркость и выразительность метафор, а главное, обилие примет и ссылок, легко узнаваемых, хорошо знакомых, делают чтение доступным для достаточно широкого читательского круга. Имена Льва Толстого, Леонида Андреева, Бунина, Достоевского, Бердяева, Франка, Сергея Прокофьева, Стравинского, Римского-Корсакова встречаются здесь не реже ссылок на Платона, Бергсона, Шеллинга и Лейбница — книга точно нарочно создана для русского читателя. Читателя, заметим, до сих пор с творчеством Янкевича практически незнакомого — именно поэтому подобное исследование требует (если не вопиет) не четырехстраничного, торопливо-невнятного предисловия, но подробной творческой биографии автора, но вдумчивого комментария, и философского, и общекультурного, — их здесь почти вызывающе не хватает.

Частые обращения к русской литературе в книге о смерти легко объяснимы, разговор «о жизни и смерти», смерти и бессмертия — один из любимейших у «русских мальчиков». Впрочем, к проблеме бессмертия Владимир Янкевич относится более чем сдержанно. Несмотря на то что последняя часть книги посвящена смерти «по ту сторону смерти», никакой «той стороны» для автора не существует, как не существует для него ничего, в чем нельзя убедиться с очевидностью. Иными словами, область веры («блаженны невидевшие и веровавшие»), почти уравниваемой Янкевичем с суеверием и спиритизмом, остается в книге областью запретной, наводящей ненужный туман и обман, а главное, уводящей от последней правды бытия — правды смерти.

Правда смерти для автора состоит прежде всего в том, что смерть неизбежна, неотвратима, безусловна: «Смерть — это событие, имеющее место». Пусть до поры до времени смерть, «как каждому известно, это то, что случается только с другими», но однажды все иллюзии рассеиваются, подобно герою Льва Толстого, Ивану Ильичу, каждый открывает, что если все люди смертны, а он — человек, значит... Как ни очевиден напрашивающийся вывод, как ни общеизвестен он, смерть всегда неожиданна, она застаёт врасплох даже глубокого старика, к смерти подготовиться невозможно. Янкевич повторяет это снова и снова.

Полудетское мандельштамовское (но и общечеловеческое) изумление — «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» — получает в книге «Смерть» конкретный и четкий ответ: да, так оно и будет. Она придет действительно. Весь смысл первой части книги, собственно, и сводится к этой простой истине. Связь «настоящести» и смерти, намеченная у Мандельштама, реализуется у Янкевича. Смерть для него, быть может, — самое настоящее и реальное событие, которое происходит с человеком на земле: «Возлюбленный иногда верен вплоть до смерти включительно — но он умирает. И в этом смысле он не сдерживает своей клятвы в вечной любви. Всегда держит свое слово только смерть».

Пожалуй, это и есть главная задача книги — оголить факт смерти каждого отдельного человека до последней обнаженности и реальности. Смерть не только обязательно придет, она давно пришла и незримо присутствует при каждом мгновении нашей жизни. Каждая новая морщинка, каждое прощание, разлука, каждая непоправимая ошибка — шаг к смерти, ее неумолимый вестник.

Более того — и это один из примеров яркости и парадоксальности авторской мысли, — именно смерть наполняет жизнь смыслом и глубиной. Она не разрушает, но животворит — делает «смелость смелой, а героизм героическим, именно она придает трагизм самопожертвованию». «Для бессмертного существа, своей неуязвимой кольчугой бессмертия обреченного на бесконечную жизнь, опасность, мужество или приключения не имеют никакого смысла...» Отчасти Янкевич повторяет давнее открытие человечества, в том числе и христианской культуры: смерть оказывается последним и неизменно убедительным доказательством любви. Только оплаченная готовность идти на смерть жертва становится подлинной, верность превращается в верность, подвиг в подвиг.

Янкевич расширяет значение смерти и дальше, доводя его до предела, — неизбежность конца «оттеняет бесконечную ценность Бытия». Не только смелость не

¹ Первая ли? А «Софиология смерти» о. Сергия Булгакова? (Примеч. ред.)

была бы без смерти смелой, но и жизнь не была бы без смерти жизнью. И это едва ли не единственное утешение, которое предлагает философ читателю, ведя его по бесконечной дороге смерти.

Потому что все, что предлагает человечеству религия, в первую очередь христианство, Янкелевич последовательно и методично отвергает. Он пишет «Бог» с большой буквы, но этот Бог не дарует человеку ни бессмертия, ни жизни вечной. «Рай не что иное, как сублимация нашего мира, Ад — его чудовищная деформация».

Не только христианские, но и, что называется, общечеловеческие ценности (на самом деле конечно же редуцированные христианские) также отбрасываются автором книги. Одно за другим Янкелевич вырывает из рук человека все виды оружия в той жестокой борьбе, которую человек ведет со смертью. Обычные утешения и «мифотворчество», сопровождающие и смягчающие жесткость неизбежного факта, безжалостно разоблачаются. Любовь, свобода, мысль — словом, все то, что принято считать обладающим статусом вечности, соединяющим с вечностью, — все-таки никак не спасают от неизбежности смерти, все же никак не наполняют пустыню небытия, ожидающую нас после.

Янкелевич, конечно, не говорит «пустыня небытия». Он говорит «абсурдность уничтожения», «абсурдность смерти», но тут же и — «абсурдность загробной жизни», «абсурдность бессмертия». Вопреки всему человек продолжает надеяться: надежде человека уделено в книге немало внимания — надежде, но и «безнадежности желания». Остается ли хотя бы щелка, хотя бы тонкий просвет в жесткости этих антиномий, этих крепко сдвинутых конструкций?

В книге с подобным названием невозможно, кажется, не дать решительного ответа на этот вопрос. Но автор сохраняет предельную честность мыслителя, не позволяющего себе преодолеть рамки признанной им системы.

Поэтому тот единственный свет, который все же струится сквозь безнадежность «аннигиляции», направлен опять-таки не *оттуда*, а *отсюда*, его источник расположен по эту, а не по ту сторону. Смерть, по Янкелевичу, все же не есть окончательная «нигилизация», потому что она не может уничтожить прожитой человеком жизни, никакая толща эпох, веков и тысячелетий не раздавит крошечного факта существования каждого в мире: «Даже когда на земле исчезнет последнее воспоминание об умершем и затопчется его последний след, в этом темном, забытом, уничтоженном, раздавленном массой веков существовании все равно останется нечто неразрушимое и неистребимое; и абсолютно ничто на свете не сможет затушевать его». Если человек жил, мы никогда не сможем сказать, что его никогда не существовало: «его нет» и «его не было» — разные вещи. Эта «экзистенция жизни» — единственное, что противопоставлено в книге смерти.

Так все-таки да или нет? Янкелевич хранит целомудренное молчание. Потому что старается не говорить о том, чего не знает. И завершает свое исследование своеобразным лирическим стихотворением, выглядящим сентиментально и почти ослабленно на общем аскетическом фоне рассуждений: «Наташа Ростова и княжна Марья оплакивают не свое горе, они растроганы возвышенной и удивительно простой тайной, которую не дано раскрыть ни одному человеку». Там же, на ее пороге, — а возможно, и за — нас ожидает лишь то, что мы «узнаем нечто простое, исключительно простое, по-бергсоновски поражающее своей исключительной простотой; простое, как здравствуй и прощай; настолько простое, что когда мы это откроем, то удивимся, как мы раньше об этом не догадались». И в этой вдруг прорвавшейся в конце большого, крайне серьезного труда пронзительности, в этом лиризме слышатся почти слабость, неожиданная горечь и так хорошо описанная в книге надежда, слышится почти вера. Пусть вера только в тайну. Но и не в пустоту.

...Как-то в конце 80-х на одной из встреч с верующими в Москве митрополита Антония Блума спросили с легким придыханием и экзальтацией: «Владыка, что такое смерть?» Владыка помолчал, чуть улыбнулся и ответил: «Это проще». Книга Владимира Янкелевича приближает нас к осознанию этой великой простоты.

Майя КУЧЕРСКАЯ.

А Н К Е Т А

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, ДАЛЕЕ — ВЕЗДЕ...

2000 год для «Нового мира» — юбилейный, нам исполняется 75 лет. Апрельский номер 2000 года — 900-й с момента основания. В июне 2000 года исполняется 90 лет А. Т. Твардовскому. В связи с этими датами мы обратились к читателям разных профессий и возрастов с просьбой ответить на следующие вопросы:

1. Каковы, по вашему мнению, новые функции и новое место традиционного русского толстого журнала в литературной, интеллектуальной, общественной жизни России начала XXI века? Соответствует ли деятельность «Нового мира» этим изменившимся (если с вашей точки зрения они изменились) условиям, функциям?

2. Какая из новомирских публикаций минувшего 1999 года кажется вам наиболее важной, заметной, интересной (не обязательно лучшей) и почему?

1. Роль толстых журналов остается прежней — и «Новый мир» ей вполне соответствует: аккумулировать литературный процесс, быть зримым образом литературной жизни, ее осязаемым пульсом, вписывать литературные факты и события в контекст общественной жизни страны и ее современной истории, быть собеседниками, душеприказчиками и исповедниками своих читателей. То, что литературные журналы, пережив самое трудное десятилетие в своей истории, потеряв в тиражах, не растеряли своего влияния, даже упрочили его, говорит о том, что они являются глубоко укорененной культурной традицией, остаются необходимейшей частью отечественной культуры. Сегодня литературные журналы, прежде всего региональные литературные журналы, стали еще и центрами притяжения, также и зачинателями деятельной культурной жизни. Региональные толстые журналы сегодня — основа новых литературных столиц. Благодаря «Волге» и «Уралу» Саратов и Екатеринбург уже стали литературными столицами наравне с Москвой и Петербургом.

2. Вряд ли я смогу выделить одну публикацию. Даже один минувший год запомнился разными литературными событиями. Здесь и «День денег» Слаповского, и «Пиночет» Екимова. Благодаря «Новому миру» я узнал прозу Полянской. Благодаря «Новому миру» я остаюсь читателем Солженицына.

Андрей ДМИТРИЕВ,
писатель.

1. Я стал читать «Новый мир» вместе с появлением в 1962 году повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — и с тех пор остаюсь его подписчиком и читателем. По взглядам своим я эволюционист и представляю себе обновление толстых журналов в будущем как процесс постепенный, без радикализма. Например, хотелось бы видеть побольше новых имен, молодых авторов, — это было бы в особенности интересно мне как педагогу. Но дело, конечно, не только в возрасте. Скажем, фрагмент из воспоминаний Эммы Григорьевны Герштейн в «Знамени» — это, на мой взгляд, как раз то, что отвечает современным читательским ожиданиям.

2. Среди новомирских публикаций прошлого года мне запомнились «Затеся» Виктора Астафьева, повесть Бориса Екимова «Пиночет»; не пропускаю стихи Александра Кушнера, Инны Лиснянской...

Олег ТАБАКОВ,
*народный артист СССР,
ректор Школы-студии МХАТ им. Немировича-Данченко,
художественный руководитель Театра под руководством Табакова.*

1. Сейчас очень важно сохранить журнал. Толстые журналы — наше уникальное явление, вклад России в мировую культуру. Это форма нашего общения, своеобразный клуб национального масштаба. На рубеже веков толстые журналы столкнулись с двойным вызовом. Один связан с компьютеризацией, и это вызов не только журналам, но и печатной продукции вообще. На смену книгам приходят компьютеры. Мне лично от этого очень грустно (люблю типографский запах только что отпечатанного издания), однако как побороть компьютеризацию, не знаю. Боюсь, что это невозможно.

Другая проблема, как это ни странно, есть следствие утверждения в нашей стране демократии. Чтение вообще и чтение литературных новинок в особенности является формой социально-политической активности, когда другие формы запрещены. Толстые журналы играли роль партий — скажем, читателей «Нового мира», с одной стороны, и читателей «Нашего современника», с другой. Толстые журналы были клубами — теми, в какие мы ходим, и теми, в какие мы не ходим ни при каких условиях. Демократия сделала доступными нормальные, традиционные формы общественно-политической активности и тем самым лишила толстые журналы этих важнейших функций. И одновременно были резко расширены рамки активности граждан, многие из которых более не имеют времени для вдумчивого чтения (да и для чтения вообще).

И все-таки я полагаю, что у толстых журналов есть будущее. Особенно у таких журналов, каким является «Новый мир». У журнала, ориентированного на демократические ценности и западные ценности (если понимать Запад в социокультурном, а не в узкогеографическом или узкополитическом смысле), есть хорошие перспективы стать (точнее, остаться) журналом интеллектуальной элиты, нового среднего класса. Стабилизация экономической и политической ситуации приведет и к стабилизации стиля жизни значительной части наших сограждан. И для того, чтобы быть востребованным, «Новому миру» надо остаться самим собой — спокойным, вдумчивым, немного ироничным, ориентированным на ценности рыночной демократии. Западническим в хорошем смысле этого слова, то есть наследующим те традиции русской литературы, которые берут свое начало от Пушкина.

2. Я не являюсь систематическим читателем «Нового мира». Читаю его, когда есть несколько дней отдыха и номера журнала оказываются в это время под рукой. Особенно хотелось бы выделить публицистику, литературную критику и мемуары. Очень понравились статьи А. Архангельского и записки М. Ардова. Первые очень близки мне по мироощущению. Вторая публикация представляет собой лучший вариант мемуаров, когда личные воспоминания ненавязчиво выходят на уровень рассуждений о жизни и судьбе страны. И вообще это просто очень талантливые произведения.

Необходимо также назвать и статью А. Зубова. Применительно к ней трудно выговорить слова «очень понравилась». Автор приводит ужасающие факты первых лет советской власти, о которых до сих пор мало кто знает (хотя, казалось бы, уже нет никаких запрещенных тем). Очень хотелось бы, чтобы эта статья в качестве обязательного материала распространялась среди депутатов всех уровней.

Надеюсь дождаться первоклассной художественной прозы. Произведения, которое стало бы символом нашей эпохи. Желая «Новому миру», чтобы такое произведение было опубликовано именно на его страницах.

Владимир МАУ,
*руководитель Рабочего центра экономических реформ
при Правительстве РФ, доктор экономических наук.*

Страх смерти не повод для самоубийства

1. С тех пор, как тиражи толстых журналов устремились в пикирующий полет, вопрос об их судьбе обсуждался неоднократно. Было время, когда исчезновение журналов казалось мне культурной катастрофой, а падение тиражей хотелось объяснить исключительно экономическими причинами: обеднела интеллигенция, нет у нее денег на подписку.

Сейчас уже ясно — это интеллигенция находит немалые деньги на колоссальные (в общей сложности) тиражи книг. И не надо говорить, что прилавки заполнены кричащими быдловатыми обложками и что издатели оболванивают народ и развращают его.

Издатели стремятся угодить всем. Каждому — по вкусу его. Кому — бессмысленную стрелялку, кому — интеллектуальный детектив-головоломку, кому — собрания Набокова и Газданова, кому — мемуары Надежды Мандельштам и «Дневники» Гиппиус, кому — Пелевина с Сорокиным, кому — Леви-Строса с Роланом Бартом.

И как это ни печально, многие из тех, кто охотно читает весьма высоколобые книжки, никаких толстых журналов не раскрывает вообще. В том числе и любимый мною «Новый мир». Увы, времена, когда журналы могли гордиться тем, что их читает интеллектуальная и духовная элита — пусть народ отвернулся, — кончились. Читают те, кто привык. Оттенок некоторой старомодности и «музейности», все больше окрашивающий журналы, этой привычке не мешает. Толстый журнал, как это считается, был изобретен во Франции в семнадцатом веке Теофрастом Ренодо. Мне уже приходилось замечать, что то, что имеет столь четко фиксированное начало, может иметь и конец. Во Франции пора толстого литературного журнала закончилась. Пересаженный на русскую почву с большим запозданием, толстый журнал хорошо на ней прижился. Но это не значит, что некие общие биологические законы в России не действуют.

Культура — вечна, литература — тоже, но формы ее бытования изменчивы. Сейчас меня уже не так пугает мысль, что толстые журналы могут погибнуть, — это не означает ни гибели литературы, ни гибели критики, ни гибели публицистики. Имеет ли смысл сильно модернизировать журнал, приспособив его к новым условиям? Боюсь, что нет. Конечно, неплохо бы сделать так, чтобы публицистика не запаздывала на полгода, чтобы актуальная проза не уходила прямиком к издателям, поскольку они готовы выпустить книжку за три недели, а журнал предложит автору подождать полгода, а то и больше. Но все это проблемы технической модернизации. Для того же, чтобы исполнять *новые* функции и найти *новое* место, журналу надо перестать быть самим собой. Тогда получится, что от страха перед естественной кончиной журнал решился на самоубийство.

2. И важная и заметная публикация — «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» Александра Солженицына. Все, кто читал «Бодался телёнок с дубом», ждали продолжения этой книги, тем более что о жизни Солженицына на Западе ходит столько легенд. Здесь журнал оказался в традиционной (уже утрачиваемой) роли монополиста: другой возможности прочесть текст Солженицына не было.

Другая публикация, которую хочется отметить, — «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» Владимира Глоцера. Замечательно найден жанр. Владимир Глоцер дает возможность высказаться вдове Хармса, самое существование которой в конце XX века кажется почти неправдоподобным, скромно отступая перед свидетельством, — но любому, кто оказывался наедине с грудой магнитофонных пленок, ясно, что за титаническую работу пришлось ему проделать. Хочется еще отметить, что эта публикация очень уместна именно в «Новом мире» и, в свою очередь, работает на журнал.

Что касается прозы, тут успехом журнала является роман Михаила Бутова «Свобода», хотя Букеровская премия за него досталась все же благодаря благоприятному стечению обстоятельств — в совокупном мнении критики роман Маканина «Андеграунд...» явно впереди.

Из публицистики запомнился блестящий сарказм статьи Татьяны Чередниченко «Радость (?) выбора (?)» и последующий обмен мнениями между Чередниченко и Александром Носовым. Победу в этой схватке я бы присудила Чередниченко, хотя свои очки набрал и журнал.

В критике на успех журнала более всего работал цикл статей Ирины Роднянской «По ходу текста», хотя большинство из них и выходило за пределы собственно критики и касались не только литературных явлений. Впрочем, когда-то критика именно тем и занималась, что осмысляла как литературу, так и мир, ее породивший. Следить за мыслью автора, следующей «по ходу текста», было всегда интересно.

Алла ЛАТЫНИНА,
литературный критик, журналист,
член редколлегии «Литературной газеты».

Что такое пятнадцатитысячный тираж самого популярного толстого литературного журнала в стране с населением 150 миллионов — в России? Это все равно, что 500 экземпляров для пятимиллионной Финляндии. После этого понимаешь, что сегодня любая публикация в толстом журнале — иллюзия публикации, любительское издание, неестественное для России. Потому что наша слава — не Пеле, наша слава — Пушкин, и такой славе, к величайшему несчастью, нет продолжения.

Я считаю, что самый лучший меценат — это власть, если она не навязывает нам идеологическую опеку. Еще есть время, чтобы спасти нашу великую литературу, опекая ее бескорыстно.

Все так сложилось в эти годы, что люди потеряли одно из самых тонких наслаждений — чтение книги или литературного журнала. И только великие читатели, личности, сумели сохранить для себя эту радость, ведь их у человека всего-то несколько.

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ,
поэт.

Мне кажется, основная проблема отношения к «Новому миру» (как, впрочем, и к другим «толстякам») сегодня связана с проблемой чтения. Причем не «внешнего» времени современной беготни, суеты (когда читать некогда), а скорее «внутреннего» времени. Золотой век «Нового мира» (60 — 70-е годы) основывался на культуре медленного чтения. Здесь была важна не только часто обсуждавшаяся способность (советская?) строить (замедлять) чтение через считывание намеков, знаков сопротивления, следов эстетического эскапизма и т. п., которые содержались в текстах. Важно скорее другое: время чтения фактически совпадало с временем жизни. Или иначе: время жизни структурировалось, обустривалось по законам времени чтения. «Новый мир» и другие «толстяки» давали визуальную, очевидную «картинку» этого тождества. В них содержалась «вся жизнь» (причем выстроенная иерархически: проза, поэзия, публицистика и т. д.), но при этом «вся жизнь» предлагалась не для ее проживания, а для ее «прочтения». Собственно, такое чтение замещало огромное множество больших и малых перцепций, исходящих от ужасающей и притягивающей своей «нелитературностью» жизни.

Думаю, эта ситуация начинает меняться в конце 80-х годов, когда «толстяки» переживают невиданный тиражный бум. Что-то происходит именно в это время, исключительно важное для судьбы «Нового мира». Возможный ответ

таков: время чтения перестает совпадать с временем жизни, жизнь перестает структурироваться по законам чтения. Только несколько наблюдений. В эти годы в «толстяках» разворачивается невиданное пиршество, какая-то булимия публикаций ранее запрещенного массива текстов. И тогда же в стране наступают пик материального запустения — материя исчезает. И одновременно — волнующая экспансия «виртуального», чувственного (трансляции съездов по телевидению, выход из подполья современного искусства, аукцион Сотбис и т. п.).

Видимо, все сегодняшние проблемы «толстяков» оттуда — из конца 80-х. Сегодня «Новый мир» выстоит (искренне этого хочу), только сумеет продумать этот период своей истории. Главное: вы, как и другие «толстяки», перестали выполнять роль «универсального отражателя» жизни, которая, в свою очередь, перестала структурироваться по законам (по временной форме) чтения. Грубо говоря, вам сегодня нужно как бы заново начинать с продуктивной *рефлексии собственной ограниченности*.

Напомню, что размышление о собственной ограниченности — это базовое условие того, что в европейской традиции называется «критикой». С этого размышления начинается кантовская «Критика чистого разума»: что я могу знать, а во что — только верить, — эти кантовские вопросы очень полезны сегодня заново продумать. Для меня как читателя журнала всегда (и в 70-е, и сегодня) восьмой кегль был интереснее десятого, то есть раздел собственно критики и всякого рода «примечаний» интереснее раздела «литература». И здесь же мои главные претензии к журналу: на мой взгляд, критики в европейском, кантовском смысле в журнале нет. От этого отдела исходит (и всегда исходил) некий дух притязания на универсальное знание, дух, который по традиции всегда присутствовал в разделе «литература». Мне кажется, журналу было бы полезно обрести новую точку «частного» взгляда, ограничив образ своей референтной группы, сделав более частной, локальной манеру своего разговора с читателем. Мы переживаем сегодня опыт открытия различий. К примеру, последние выборы дали нам образец преодоления примитивной оппозиции «коммунизм — либерализм» и, кажется, впервые позволили многим увидеть некоторые политические оттенки внутри демократического спектра.

Попутно — к теме различий. Журналу было бы крайне полезно обдумать семантику своей обложки, своего макета, своей структуры. Только несколько наблюдений.

Сегодня эстетика журнального образа «Нового мира» связана с особой традицией аскетического чтения. То есть образом своего журнала вы как бы призываете: читай — не смотри, зажмурься — не разглядывай, терпи — не жди удовольствия. Эта эстетика не случайна: ведь типичная критическая статья в журнале призывает к тому же. Критик «Нового мира» обычно сразу «проваливается» в содержание, в смысл анализируемого текста, в лучшем случае — в контекст. Удовольствие от чтения — не для него. Но не для него и другое — анализ своего чувственного (эстетического) переживания текста, выстраивание образа его эстетической формы. Для меня новомирский стиль — это стремление навязать читателю базовое недоверие к феноменальной, чувственной, то есть, по сути, эстетической стороне жизни и литературы. А ведь различия возникают и живут именно здесь — на поверхности, в том числе и на поверхности журнальной обложки.

Что касается структуры журнала, то она по-прежнему иерархична, литературоцентрична и тяготеет к тотализирующей, универсалистской модели. Скажу только, что, на мой взгляд, это знак какой-то, возможно сознательной, несовременности журнала. Ведь поле культуры, усложняясь и дифференцируясь, структурируется не так, как структурирован ваш журнал. К примеру, политическое событие (скажем, война в Чечне) идет не после повести и подборки стихов, а задает некое поле (форму) чтения и этой повести, и этих стихов. В культуре образуются свои «горячие точки» (например, Интернет), формирующие и новое время (ритм) чтения, и новые типы литературного опыта.

Возможно, в скором будущем «Новый мир» будет структурироваться вокруг каких-то тем или проблем, выносимых на обложку журнала.

И еще одно замечание. Любой журнал — это гид, картограф. Вы сейчас все время немножко опаздываете с этой функцией. И это хорошо — поскольку запаздывание является косвенным свидетельством рефлексии, продумывания собственных ходов. Но я хотел бы видеть в журнале и более быстрые реакции, ориентирующие читателя не только в пространстве вечных ценностей, но и в горячей зоне литературной моды, литературной политики, живой ткани литературной и околотитулярной жизни. И еще одно: мне кажется, журнал выиграл бы, впустив в свое пространство элементы игры и самоиронии.

Что касается моего личного опыта чтения «Нового мира» в последние годы, то он очень фрагментарен. Я более или менее регулярно просматриваю журнал. Самые интересные впечатления последнего года — статья Роднянской о Пелевине (приятная неожиданность), полемика Носова с Чередниченко, проза Тучкова и стихи Амелина. Самые большие упреки — к отделу рецензий и книжной странице (все то же: претензия на охват «всего», непредъявление собственной ограниченности, то есть отсутствие критериев отбора, оценки и т. д.). Не-, а часто и антиэстетический характер критики, морализаторство вместо анализа, попытки научить читателя жить — вместо предъявления ему рефлексии способов получения удовольствия от литературы.

Александр ИВАНОВ,
философ, директор издательства «Ad marginet».

Тридцать семь лет (с 1963-го) читаю «Новый мир» и тридцать три года его выписываю. Сейчас, живя на пенсию, размышляла: может, перестать подписываться? Потом решила подписаться на «2000» (уж больно цифра знаменательная), а теперь, подумав, поняла, что если вы будете такими же, как ныне, то я и впредь не расстанусь с вами. Ну как можно, подойдя к тахте, не увидеть рядом голубенькой книжки! Я обычно читаю журнал перед сном. Новый номер открываю с волнением: что там, какой новый мир откроется? Иногда начинаю со стихов, иногда с мемуаров, с публицистики, ибо все у вас так интересно и сбалансированно, на таком интеллигентном уровне, что просто восхищения достойно. Размышляю, перечитываю; месяц, глядишь, и прошел. Брать у знакомых или читать в библиотеке — это совсем не то (я «Знамя» читаю в РНБ, могу сравнивать). Это все равно как заботливую хозяйку дома сравнить с проходящей горничной.

В каждом разделе что-то особенно тронуло. Я очень любила путешествовать, поэтому стихи Олеси Николаевой «И разлука поет псалмы» (№ 11) очень близкими оказались. А по профессии я — инженер-физик; сорок — сорок пять лет назад все мы бредили ядерной физикой, и потому умные воспоминания Бориса Иоффе (№ 5, 6) дважды прочитала. А как достойно вы провели пушкинскую тему! «Гёте и Пушкин» С. Аверинцева в № 6 и щемящее повествование И. Сурат (№ 2) мне особенно запомнились. И еще «Видок Фиглярин» В. Вацура в 7-й книжке, и еще правдивые и чистые «Дневниковые записи» И. Дедкова. А из «солидной» прозы я больше всего была потрясена «Читающей водой» (№ 10, 11) Ирины Полянской. Я взяла ее «на мушку» еще при «Прохождении тени», но тут мне представляется — она поднялась на такую высокую ступень обобщения через конкретное, что достойна всяческих премий. Особенно не выходит из головы проведенная ею мысль о страшной силе «документа» в руках таланта, который может и его заставить работать на миф, в который целый мир скептиков поверит, как поверил «документальному» кино Дзиги Вертова.

Ирина ПЕТРОВА (Санкт-Петербург),
кандидат технических наук, ныне — пенсионер.

1. Традиционный русский толстый журнал сможет продолжить свое существование и в XXI веке, думается, лишь при условии сохранения своего лица. Никаких новых функций выполнять он не должен, поскольку в противном случае он потеряет свой круг читателей и не приобретет новых. Определенная консервативность толстого журнала — это как раз та традиция, которая обеспечивает ему жизнь. Не следует полагать, что здоровый консерватизм в литературной и интеллектуальной жизни русского общества (в первую очередь — российской провинции) сойдет со сцены вместе с сегодняшним поколением пятидесяти-шестидесятилетних читателей. Их сменит новый слой, тоже ориентированный на традиционно высокую культуру, серьезную мысль. Если толстый журнал утратит это свое лицо, он станет неинтересен и не нужен читателю за пределами «Садового кольца». В таком случае надо создавать некие цеховые альманахи «по интересам», точнее, по эстетическим вкусам. Своеобразные клубные издания, выполняющие только одну функцию — предоставление трибуны для самовыражения. Нечто вроде Гайд-парка в печатной версии.

2. Наибольший интерес для меня представляют разделы «Философия. История. Политика», а также «Литературная критика». Остановили внимание статьи Валерия Сендерова «Заклясть судьбу? Злободневность Освальда Шпенглера», Андрея Зубова «Сорок дней или сорок лет?», свящ. Алексия Гостева «Опыт богословской культурологии».

Запоминается поэзия Олеси Николаевой.

Ю. В. УШАКОВА,
кандидат филологических наук,
преподаватель сравнительного богословия
Воронежской Духовной семинарии.

1. Скромная, но с чувством достоинства обложка — нет вычурности, нелепых рисунков, кричащих фотографий и вульгарных анонсов. Ничего лишнего, отвлекающего внимание. Во всем чувствуется ответственность, солидность и серьезность. Несомненно для меня, что и в веке XXI толстый журнал должен держать марку. Наперекор веяниям эпохи оставаться собой. Он нужен таким. Таким! Тем, кто отдает себя без остатка этому занесенному в «Красную книгу» виду, тем, кто ежемесячно покупает его и читает. Таким он нужен, если хотите, мне.

Почему я назвала толстый журнал *занесенным в «Красную книгу»*? Думаю, печальная безысходность очевидна. Кто сегодня читает эти, на мой взгляд, уникальные издания? Да, конечно, не многие. Нет очередей в киосках и магазинах, ажиотажа в библиотеках. С одной стороны, обидно: культура толстого журнала так несправедливо забыта. Но лишь с одной стороны и лишь на первый взгляд. Стоит пристальнее всмотреться в суть проблемы, как откроется интереснейшая картина. Несмотря ни на что и у «Нового мира», и у «Иностранной литературы», «Знамени», «Октября» есть вечное ядро постоянных читателей. Они никогда не изменят *своим* изданиям. Их не много на фоне грязи и пошлости крутых тинейджеров, бизнесменов. И чувствуешь себя угнетенно, видя, как за последние несколько лет их становится меньше, меньше... Но они есть. И, надеюсь, будут всегда. Они не такие, как все. От журнала ждут не бульварного мусора, политики и секса, но поэзии чувств, филигранно отобранных в строках стихотворений; новых рассказов и романов — не *бестселлеров*, но много большего; злободневных статей — не вульгарных сплетен, но серьезных исследований, актуального отражения действительности; критики и обзоров — мнений, написанных настоящим, великим русским языком. Их программа-минимум — продолжить интеллектуальное развитие, получить подтверждение собственным суждениям и взглядам, понять, что волнует малотиражируемых, однако от этого не менее талантливых авторов; программа-максимум — выразить себя, написав свое, поделиться частичкой души с другими.

И, конечно, *читатель* определяет содержание толстых журналов. Это стихи, проза, публицистика, критика, умеренная политика, рецензии и исторические материалы. Удивительную традицию литературные издания должны забрать в новый век.

Авторы... Здесь редакции обязаны и сохранить заслуженных ветеранов, и разжечь огонь молодых имен, продолжить жизнь в лицах следующего поколения. Я верю, все получится. Надо только очень постараться. Всем вместе.

2. О публикациях «Нового мира» в 1999 году, запомнившихся мне. Не могу сказать, что регулярно читаю журнал. Но обязательно беру в библиотеке, если вдруг что-то новое и неожиданное, интересное и долгожданное. Только читая номера толстого журнала, я могу полноценно удовлетворить потребность в познании и самосовершенствовании. Не всегда запоминаю прочитанное, не всегда знаю предмет, о котором идет речь в статье, не все понимаю. Тем не менее каждый раз, закрывая номер, ощущаю какую-то наполненность, чувствую пульс зародившихся мыслей, идей. Назову лишь несколько публикаций — капля в море, но их я чувствую внутри, сердцем. «Некролог: Д. С. Лихачев» (Л. Опульская, С. Аверинцев), стихотворения Т. Бек; С. Алиханов, «Язык земли»; И. Сурат, «Да приступлю ко смерти смело...» о гибели А. С. Пушкина.

Вот так прошел для меня 1999 год на страницах «Нового мира». Так наступает век XXI.

Ольга НЕГУПСКАЯ,
ученица 9 класса московской гимназии № 1567.

◆

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах
«Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7),
«Библио-глобус» (Мясницкая, 6),
«Гилея» (Большая Садовая, 4),
«Графоман» (ул. Бахрушина, 28),
«Книжная слобода» (Новослободская, 14/19),
«Летний сад» (Большая Никитская, 46),
«Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54),
«Паолине» (Большая Никитская, 26),
«Эйдос» (Чистый переулок, 6) и в киосках «Мосинформ».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПО ПОВОДУ ПИСЬМА ЭММЫ ГЕРШТЕЙН

Я хочу откликнуться на письмо Эммы Герштейн, опубликованное в вашем журнале (2000, № 2), — речь идет о нашей с ней беседе («Зеркало», 1999, № 9/10).

Начну с того, что с первого момента работы над этим материалом перед нами стоял вопрос — подвергнуть ли текст обработке, превратив его, таким образом, в литературный, или оставить разговорным, как поступал в свое время Виктор Дубакин. Не хотелось вмешиваться в острый, точный, замечательный по откровенности строй разговора Эммы Герштейн, не хотелось дополнять или урезать фразы, каждая из которых является документом, свидетельством настоящего участника событий. Не часто в руки исследователя или читателя попадает такая историческая подлинность, пусть и окрашенная темпераментом и пристрастием автора. Правда всегда бывает зашторена ложными приличиями, светским страхом, общественной или политической принадлежностью — мы хотели избежать этих вечных грехов мемуаристики: слишком важны для русской культуры люди, о которых идет речь в беседе с Эммой Герштейн. Да и уважение к самой Эмме Герштейн не позволяло нам вмешиваться в ее слова и что-то менять или редактировать — мы строго придерживались магнитофонной записи, и этот разговорный стиль и жизненная точность интонаций создали ту атмосферу, то обаяние, которые несут с собой для читателя ощущение собственного присутствия в тех далеких временах.


Вместе с тем я думаю, что понимаю такую непредвиденную реакцию Эммы Герштейн на ее собственный текст. Она — человек написанного, печатного слова, с таким материалом она работала всю жизнь и привыкла пользоваться литературно оформленным словом. Эмма Герштейн просто не узнала себя в зеркале собственной разговорной речи, перенесенной на лист бумаги в том виде, в каком эта речь родилась. Так человек может в необычной ситуации испугаться собственного отражения.

В возникшем недопонимании не исключают также и различия наших с Эммой Герштейн концептуальных позиций. В эти смутные годы, когда, казалось бы, переговорены все стили и прожиты все литературные опыты, есть только одна панацея от тавтологии и литературной пошлости — это личные исповедальные слова каждого из нас, исповедальные по отношению к себе и к людям, нас окружающим, ко времени, в котором мы живем.

Я глубоко уверена, что путь в будущую русскую литературу (и не только русскую) идет через наши сегодня сказанные откровенные слова о нас самих.

Ирина ВРУБЕЛЬ-ГОЛУБКИНА,
главный редактор журнала «Зеркало».

Тель-Авив.
16.2.2000.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА ИРИНЫ РОДНЯНСКОЙ

+7

Евгений Добренко. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб., «Академический проект», 1999, 557 стр. («Современная западная русистика»).

Не так давно Е. Добренко, американский профессор в Амхерст-колледже, был нашим земляком и печатал наброски своей капитальной концепции в «Новом мире»: «Фундаментальный лексикон» (1990, № 2), «Левой! Левой! Левой!» (1992, № 3). «Искусство принадлежать народу» (1994, № 12) — конспект изданной теперь уже и у нас монографии «Формовка советского читателя». За рубежом он с головой окунулся в «бескрайное море» (его слова) постреволюционной литературной продукции и окружил себя «легионом» полузабытых и напрочь забытых имен. Удивительно, как не захлебнулся, как не задохнулся он в этой абсолютно противоположной живым существам среде, память о которой все мы, кто успел соприкоснуться с ней в школе или по жизни, стараемся вытеснить как травму.

Не утонуть помогло четкое выделение объекта исследования. Мощная монография Добренко — не историко-литературный труд; «...мы условились о писателях не говорить», — то и дело напоминает он. По его мнению, те, кто вписывает в историю советской литературной культуры имена Пастернака или Булгакова, попросту теряют из вида подлинный предмет разговора. Больше того, даже «транзитивные фигуры», занявшие командные высоты (Леонов, Федин, А. Толстой, Фадеев, Сельвинский), не могут стоять в центре анализа: «именно на них... работал аппарат цензуры», а как только советский писатель перестает обходиться самоконтролем, он уж не советский писатель.

Отсюда понятно, почему работа Добренко выполнена не в методике литературоведения, а социологии культуры — столь модной в современной гуманитарии, понятно также, почему ролан-бартовская «смерть автора» здесь приходится как раз впору: «реальным автором художественной продукции выступает собственно власть». Мы движемся от революционных утопий Гастева и подобных, через горы депрофессионализированной «идеологической графомании» (этих выбросов «субкультурной магмы») к «комсомольской поэзии», «призыву ударников в литературу», «бригадному методу», «учебе у классиков» и, наконец, — к созданию безотказной машины по производству и воспроизведению «мастеров». Движемся через поднятый ворох «основополагающих» и экзотических текстов, большинство из которых, однако, — манифесты, постановления, дискуссионная грызня на коротком поводке. Впрочем, и «художественные иллюстрации» красноречивы: стихи работницы ткацкой фабрики как модель для стихов Даниила Хармса (стр. 356).

Огромный труд Добренко стоит одоления и осмысления, а некоторые афористические формулировки содержат зародыши целых теорий. Например: эстетическая программа соцреализма сводилась к преодолению модернизма как попытке «выскочить из истории», — это очень глубокая мысль. Она может быть распространена на советский строй в целом.

Николай Любимов. Неувядаемый цвет. Книга воспоминаний. Том 1. М., «Языки русской культуры», 2000, 411 стр.

При чтении этих воспоминаний, хронология которых совпадает с хронологическими рамками труда Е. Добренко, слегка рассеивается гипноз сколь угодно продуктивных социологических схем. Возвращаешься к мысли, что история культуры — это все-таки история *людей*. Сын Николая Михайловича (1912 — 1992), театровед и философ Б. Н. Любимов, свое краткое послесловие о генеалогии Люби-

мовых (потомственное духовенство с отцовской и знатное семейство с материнской стороны), о внутреннем плане книги, писавшейся «вразнобой», и о печатании отрывков из нее в толстых журналах назвал «Несовременник». Он имеет в виду «сверхвременные» и «сверхпространственные» источники, питавшие личность Н. М. Любимова — непрезойденного переводчика Рабле и Сервантеса, Боккаччо, Доде и Пруста — и, как оказалось, превосходного писателя-мемуариста. А между тем — все же «современник». Современник не только таких людей, как старуха Ермолова (чья дочь была крестной матерью Н. М.), Т. Л. Щепкина-Куперник (из ее *mots* — о прозе Бабеля: «У него парик, искусственный румянец и фальшивые зубы»), Н. А. Обухова, адвокат Н. М. Коммодов, прославившийся бесстрашием на идеологических процессах, — людей, которые могли бы сказать о себе словами мемуариста: «Мы пленники, но не рабы». Но и благодарный современник тех, кто сказать этого о себе с полным правом не мог: Э. Багрицкого, А. Воронского, Вяч. Полонского, которого как редактора Любимов ставит даже выше Твардовского; «лучшего из критиков послереволюционного времени» А. Лежнева. Если для Добренко последние трое — не более чем функционеры, то для Любимова они — талантливые родовспомогатели настоящей литературы, люди с личным обаянием и личной трагедией, — и душа больше лежит к такому вердикту.

Эти замечательные портреты относятся ко второй, московской части книги. Но именно первая, описывающая родной автору городок Калужской губернии, Перемышль, — в его первоначальной благодатной тишине (автор отказывается понимать, что такое «уездная скука»), революционной смуте и нэповском бытовании, — составляет драгоценное духовное ядро воспоминаний, выдерживая сравнение с классическим очерком С. Н. Булгакова о Ливнах — «Моя родина». Лица матери, родни, провинциального духовенства, крестьян, самоотверженных учителей, красота природы, красота церковного обряда, богослужебной и, наряду с ней, русской предреволюционной поэзии... Еще одна из символической галереи русских *бабушек* — «молившаяся с безыскусственностью человека, для которого бытие милосердного Бога столь же непреложно и несомненно, как несомненен запах жасмина, растущего поодаль». «Тот огонек, что затеплили во мне родные, не только учившие меня молиться, но и наглядно показывавшие, как надо жить по-Божьи... поддерживал во мне надежду на избавление, когда я, беспомощный и безоружный, стоял лицом к лицу с Голиафом советского государства». Надеемся, что издательство выполнит обещание и продолжит публикацию этих мемуаров.

И. Л. Альми. Статьи о поэзии и прозе. Книга первая. Владимир, ВГПУ, 1998, 253 стр. Книга вторая. Владимир, ВГПУ, 1999, 246 стр.

Этот двухтомник — плод тридцатилетней работы литературоведа Инны Львовны Альми: имя, известное едва ли не одним специалистам, — до ученых из провинциальных вузов мало кому есть дело, даже когда они высокоталантливы. Альми — мастер краткой историко-литературной штудии на, казалось бы, локальную тему (Татьяна в кабинете Онегина, рассказ генерала Иволгина о Наполеоне в романе «Идиот», француз и русская барышня), за которой, однако, стоит целостность исследовательских интересов, острая избирательность исследовательского слуха. Так что очертившийся в итоге слитный образ русской литературы больше суммы представленных слагаемых. Альми обозначает два тематических центра своего собрания — Пушкин и Достоевский. (Я бы еще выделила в первой книге «подцентр» — удивительно емкий триптих о Баратынском.) «Фасеточное» зрение автора, глядящего на свой предмет (на «Преступление и наказание», скажем) через дробные стеклышки отдельных мотивов, без протяженно-тусклого «советского» монографизма, делает чтение работ Альми легким и увлекательным занятием, не смотря на то что она не вдается в терминологические новации и не чурается привычного историко-филологического инструментария. Нетривиальность ее труда — в обнаружении новых смыслов, ускользнувших от бесчисленных предшественников на многаяжды протоптанных путях. (Кстати, шепетильность по отношению к ним, к предшественникам, богатство ссылочного аппарата говорят об отсутствии страха, что собственная мысль может затеряться в копне чужих, — она и не теря-

ется.) Самая яркая краска — обобщающие сопоставления, убедительные своей чуть ли не очевидностью вопреки своей же парадоксальности. Алеко, Самозванец, Онегин, Гринев — пушкинский человек с «резервом спасительной неопределенности», тот, кто не знает своей судьбы и потому не ощущает себя ее пленником. Лжедмитрий и Хлестаков, объединенные верой во внезапную милость фортуны самозванцы. «В душе моей одно волнение, а не любовь...» в «Разуверении» Баратынского — и *волнение* Онегина за чтением письма Татьяны (близость лирического и романного разочарованных героев). Самоубийца из «Похорон» Некрасова — и «русский скиталец», выясненный Достоевским. «Недоносок» Баратынского — и жалобы Ипполита в «Идиоте». Лирическая замкнутость «Кроткой» — и трагизм поэта-лирика, по Блоку. «Сходство — столь явное и неожиданное», — эти вырвавшиеся у исследовательницы слова можно счесть формулой ее изысканий: явно, как на ладони, но — открытие. В сущности, Альми торит свою тропу параллельно с С. Г. Бочаровым, кажется, и не совсем без его воздействия. Эти ее сопоставления-узлы — тоже ведь «Сюжеты русской литературы» (так названа новая большая книга Бочарова, о которой предстоит подробный разговор).

Издание, малотиражное и очень скромное в полиграфическом отношении, не осуществилось бы без материальной поддержки «американских друзей» автора. Поблагодарим их и мы, не без стыда за скудость отечественных возможностей.

Роберт Луис Джексон. Искусство Достоевского. Бреды и ноктюрны. [Перевод с английского Т. В. Бузиной при участии Е. Гуляевой]. М., «Радикс», 1998, 288 стр.

Сразу оговорюсь, что книга стала доступна примерно на год позже, чем значится в выходных данных. Поэтому представляем ее как новинку. Оригинал (R. L. Jackson, «The Art of Dostoevsky. Deliriums and Nocturnes») вышел в Принстоне (США) в 1981 году. Это не первый труд о Достоевском известнейшего американского слависта, ему предшествовали еще два, из которых «Достоевский в поисках формы» («Dostoevsky's Quest for Form») — о прокламируемой и о «рабочей» эстетике писателя — я решила бы назвать классическим, попутно выразив сожаление, что он пока не переведен. Вообще говоря, Р.-Л. Джексон — совсем не тот случай, когда мы мысленно снисходим к чужестранному автору: поди ж ты, американец, а смыслит в наших делах, в наших книгах, в наших гениях *почти* как мы. Нет, его исследования выдерживают самые лестные сравнения с ценностями отечественной достоевианы.

Почему — «бреды и ноктюрны»? Потому, думаю, что эта «попытка обратиться к творчеству Достоевского в целом» имеет необычный маршрут, лишь краем касаясь романного «пятикнижия». Автор считает «великим водоразделом в творчестве Достоевского» не «Записки из подполья» (распространенная точка зрения), а «Записки из Мертвого дома»: «Все пути у Достоевского ведут либо к Мертвому дому, либо от него». Анализ этой вещи занимает в книге никак не меньше трети и наиболее интересен. По его ходу удастся показать и всю беспощадность глубинной антропологии и социальной аутопсии Достоевского (эпизод «Акулькин муж» — «проблема бесконечной жестокости русской жизни»), и смысл его художественной стратегии — христианской эстетики преображения. Представляется совершенно оригинальным умозаключение: «...во вселенной Достоевского игра — это альтернатива религии», — что позволяет объединить в некоем общем душеведческо-философском постижении внутренний мир каторжника, Подпольного человека, игрока из одноименного романа и протагониста «Кроткой» — как мир фаталистов, партнеров судьбы, отдающих, вопреки заявленному своеволию, свободную волю на милость случая, как мир безверия, где нет личной ответственности и индивид вечно мыслит себя праведным ответчиком перед неправедным судом. Джексон дистанцируется от «метафизики», но, с доверием следуя взгляду писателя на жизнь и на человека, на практике не обходится без нее. Когда исследователь выходит из «густой тени Мертвого дома», его разборы предстают несколько более произвольными, но и здесь увлекает, например, соположение «Сна смешного человека» («потрясающе прочувствованный опыт потери блага») с «Бобком», «этим странным Декамероном мертвецов»...

Максим Амелин. Dubia. Книга стихов. СПб., «ИНАПРЕСС», 1999, 104 стр.

Эту книжечку молодого еще, по нынешним понятиям, но уже всеми замеченного поэта я рискну сопоставить с «Сестрой моей — жизнью» Бориса Пастернака. И не только по контрасту. Тот «ливень» поэтических возможностей, от которого ведет отсчет обновленная, «обмирщенная» русская поэзия XX века, находит параллель в кипящем богатстве возможностей и обещаний Амелина. Подчеркну (в отличие от рецензента «Ex libris НГ» В. Александрова), что это возможности не «стихотворца» лишь, а именно «поэта»: первое же стихотворение о «комете», вызывающее у любителя почти физическое упоение рифмовкой (двенадцатистишная строка из двух шестистишных полустроф), звучит между тем как пророчество, далекое от модных забав. Однако же — и контраст: исторической юности и исторического смерканья. Та книжка — штурм унд дранг высшей пробы — была посвящена романтику Лермонтову с эпиграфом из романтика же Ленау. *Эта* — выбирает патронном графа Хвостова, воздавая попутные почести Богдановичу, В. Майкову и любовно (в обоих смыслах) препарируя Хераскова. (Характерно, что золотое сечение Пушкина не понадобилось ни прологу, ни эпилогу века.) Да, не на Бродского, шестидесятника в лучшем из смыслов, я рискую возложить бремя завершителя, а на Амелина, на его неокрепшие вроде бы плечи. Кстати, амелинский «вьющийся синтаксис» только внешне напоминает прославленные анжамбеманы Бродского, для разборчивого уха он самобытен и, наряду с чудовищными инверсиями, вырашен из «корявых» стихов — что там допушкинской! — дожуковской, докарамзинской поры, он же незаметно перевоплощается в античные строфические извивы. Амелин и сам сознает себя «александрийцем», пережившим крушение высокой классики: «...Коль с треском крепкий / ствол преломлен стрелами молний, / ветвь становится / боковая внезапно главной / и единственной / жизнестойкой...» Чувство сломленного ствола проступает во всем: в «окомгновенности» бытия, в памяти о смерти, в зыблущихся мыслях о Боге, в странной веселости, подсвечивающей почти трагические пируэты. Название «Dubia» («Сомнительное») и соответствующее финальное стихотворение — опять-таки вопреки остроумному сближению все того же рецензента — не напоминает, а скорее опровергает пушкинское: «Но лишь божественный глагол...» — в качестве искомого «я» несомненное стихотворца оказывается «курский жлоб».

Отличная книжка, замыкающая почти три столетия русской поэзии: изысканное варварство не противоречит в ней непритворной прямоте, ирония — серьезности речей, наречение искусства «бесплодной смоковницей» — блаженству стихослагательства.

Дмитрий Полищук. Страннику городскому. Семисложники. Четырнадцать страниц из дневника путешествий по странному нашему городу да пять песенок старинными семисложными стихами с прибавлением книжицы из трех стихотворений, сочиненных на том пути иными силлабическими же размерами. М., «Альянс-Плюс», 1999, 36 стр.

«Странный наш город» — расплзшаяся Москва, внутри и вне Садового кольца. Но эта тетрадка стихов, отмеченная какой-то обаятельной тайной, меньше всего имеет отношение к москвоведению, даже «метафизическому», и к урбанизму вообще. Путешествия-то, согласно послесловному признанию автора, в основном ночные, зрительным их фоном служат ажурные фотонегативы М. Бутова, отвлеченные от чего бы то ни было приметно-городского, — а означенные под стихами «Дмитровка», «Электрозаводский мост» или «Коломенское» — только узелки на память для того, кто углубился в себя, покуда его «трамвай в брюхе стеклянном трясет».

Не могу не заметить, что прелесть трехчастной книжечки — не в «силлабизме», который для Полищука служит только «манком», личной «сетью», улавливающей импрессию; для обычного (моего) слуха его семисложники звучат как знакомые «дольники», как стихи с трехакцентной каденцией, и если бы в иной строчке оказалось не семь, а шесть слогов, заметил бы это только сам поэт (сравните: «Вспомни сквозь стыд и страх...» — «Вспомни сквозь стыд и страх...» — второе зву-

чит даже как-то надежней). Об этой сомнительной «силлабичности» говорил автору еще Владимир Иванович Славецкий, чьей памяти посвящена книжка Полищука, равно как и его «стиховедческое» послесловие к ней. Несмотря на эпиграфы из Григория Сковороды и русских виршевиков, подражанием их стихосложению можно посчитать только «Плач по деревлянам», проницательно разобранный опять-таки В. И. Славецким в одной из предсмертных его новомирских статей об «амелинском сезоне» в поэзии и об «архаисте» Полищуке как явлении этого «сезона». Семисложники же полищукские мне слегка напоминают мелодику, правда, более урегулированную, мандельштамовского «Не говори никому, / Все, что ты видел, забудь...» (тоже, кстати, о семи слогах).

Не в том дело. Удивительна поистине «японская» («стаяка диких гвоздик») — безо всякой стилизации — чистота тона этих твердых «печальным созерцателем» строк: «...Мгновение не продля / поцелуя сухого / и теплого, как земля». А вот целиком: «Дунь в одуванчик. Зима / выпорхнет, замельтешит. / Как вода, огонь, тюрьма, / так шито-крыто страшит. / Бесцветны его цветы, / беззвучен его рожок. / О, одуванчик, где ты / солнечный спрятал желток?» Стихи эти не отвергают ни «поганого мента», ни страха в длинной рубахе, но не заползает в них свинцовый мрак — поступь так легка.

Духовные стихи. Канты. Сборник духовных стихов Нижегородской области. [Составление, вступительная статья, подготовка текстов и комментарии Е. А. Бучилиной]. М., «Наследие», 1999, 415 стр., с илл.

180 духовных стихов и кантов (плюс их варианты), собранных в 90-х годах, в ходе археографических экспедиций нижегородского Института рукописной и старопечатной книги (отрадно знать, что такой существует) от христиан разных конфессий, из рукописей XVIII — XIX веков и более поздних стиховников. Стоит открыть предисловие, как сразу становится понятно, что перед нами дело рук кучки энтузиастов, пытающихся сохранить то небольшое, что, как ни удивительно, все еще бытует изустно или на ветхих страницах книг и тетрадок. *Научное издание* (так оно отрекомендовано в выходных данных) подготовлено с текстологическим тщанием, отлично иллюстрировано старинными заставками и миниатюрами. О том, как складывался этот репертуар старообрядческой и «монастырской» лирики — в годы гонений отчасти замещающей собой высочайшую поэзию богослужебных текстов, — можно судить по введенному в предисловие жизнеописанию (фактически — житию) девятистолетней старицы Макарии, чья память сохранила ряд образцов.

Филолога же, если он надеется найти в книге шедевры народной христианской поэзии, подобные стиху о Голубиной книге, ждет некое разочарование. Такого рода «старшие псалмы» уже почти не попадают современным собирателям. Даже рифмованных кантов, пришедших из Малой и Белой Руси, сложенных досиллабическими виршами, силлабикой или в духе раешного стиха, записано ныне очень мало. Главенствует силлаботоника, перепевающая третьестепенные образцы светской печатной поэзии на близкие темы, та же художественная субкультура масс, какую описывает Е. Добренко применительно к «революционному творчеству» необразованных рабочих и крестьян. Составление вообще не ориентировано на историко-филологические задачи. Книга делится на разделы по совсем другой логике: ветхозаветные сюжеты, новозаветные, Богородичные, о святых и праведниках, о последнем времени, «прощальные» (о смертном часе и посмертии). Внутри разделов хронология раннего и позднего слоев стихотворства создателями книги не выстраивается. Примечания, в основном серьезные и важные, подчас поражают своей, так сказать, непосредственностью: «По учению отцов церкви, во время Страшного суда придет И. Христос, Сын Божий, судить весь род человеческий». И вместе с тем многочисленные образцы «наивного искусства», фольклорного «примитива» вызывают живейший интерес (к примеру, как залетела сюда переиначенная строчка из «Демона»: «Ты слышишь райские напевы?»), а когда представляешь себе, в каких условиях пели их гонимые, — глубоко трогают: «Что же нам тюрьмы бояться, / Если был в темнице Бог?» Меня поразили и более древний стих-апокриф, наверное, давно известный сведущим людям: кузнец открыва-

ет зашедшей в кузницу Деве Марии, что он кует гвозди для распятия Ее Сына, Мария в ужасе роняет Младенца, но Его подхватывает безрукая от рождения дочка кузнеца, у которой в этот миг выросли руки... Сборник кончается «Письмом с того света»: «С Новым годом, с новым счастьем...» — первые его строки.

-3

Томас Стирнс Элиот. Убийство в соборе. СПб., Издательство «Азбука», 1999, 248 стр.

В книжку известной своим разнообразием серии «Азбука-классика» вошли два драматических сочинения знаменитого американско-английского поэта, критика и мыслителя, к моменту написания обеих пьес уже ставшего апологетом христианского (католического) образа мыслей. Переводы выполнены Виктором Топоровым. Более раннее «Убийство в соборе» (1935) переведено превосходно. Хотя здесь есть свои странноватые вычурности (полагаю, свойственные и оригиналу): «Снова ли Сын Человека родится в помете презренья?» — в целом переводчик добился поэтической органичности звучания этой грандиозной мистерии о парадоксах мученичества и святости, с легкостью переходя от хоров, по функции подобных античным, к чуть ли не скоморошьему рифменному говорку, проявляя высокую изобретательность в передаче звуковой игры, так называемой поэтической этимологии и проч. Не мешало бы снабдить пьесу краткой исторической справкой об убийстве архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета — св. Фомы — людьми короля Генриха II (XII век), стремившегося подчинить церковь государству; но такие справки, кажется, не входят в обычай данной серии.

Однако и увы. Две трети книжки занимает другая пьеса — «Домашний прием» («The Cocktail Party», 1950), явно не лучшая у самого поэта (пустота светского прозябания по контрасту с героикой христианских путей, потеря и обретение самоидентичности; психотерапевт в роли тайного члена некоего благого духовного ордена, — кого интересуют те же материи на той же британской почве, пусть лучше читают «Томлинсона» Редьярда Киплинга и «Письма Баламута» Клайва С. Льюиса). Русский перевод этого тягучего сочинения окончательно его добивает. Конечно, модернизированную версификацию Элиота нельзя переводить так же, как драматический стих елизаветинцев, но невесть откуда в изобилии взявшиеся дактилические клаузулы то и дело рожают ненужные ассоциации с античным триметром и невольно отсылают ко 2-й части «Фауста» (ср.: «Не свойствен страх обычный Зевса дочери, / Пустой испуг не тронет сердца гордого...» — «...Что он стремится из тщеславия к статусу / Еще важней, чем вашим быть любовником»; эта последняя фраза к тому же синтаксически бессмысленна). Hampstead почему-то транслитерирован как Гэмштедт, на немецкий лад. А вполне традиционный персонаж оказался как бы повинен в гомозротизме («...влюбился, в *того*, к кому имели вы все основания ревновать», — вместо: «в ту»). Возникает подозрение, что «Домашний прием» был торопливо перекачан на русский для восполнения книжки до требуемого серийного объема. И поскольку простодушный читатель, завязнув на этом суаре, может так и не продрасться к великолепному «Убийству в соборе», общий баланс получается скорее отрицательный.

Сергей Ануфриев, Павел Пепперштейн. Мифогенная любовь каст. Роман. М., «Ad marginem», 1999, 478 стр.

Перед нами, как явствует из финальной страницы, только первый том. И хотя в нем уже брошен намек на расшифровку прикольного заглавия, полная ясность нас ждет впереди. Гадать не будем...

Анонимный библиограф «Известий» рекомендовал эту книгу как лучший новогодний подарок врагу. Я силюсь питать к своим врагам христианские чувства и по прочтении вернула «Мифогенную любовь» в магазин, так никого и не оглоушив. Люди, выдвигающие ее на престижные премии, видимо, еще худшие христиане, нежели я.

Что отличает этот роман? Думаете, пакости? Те, насчет которых А. Архангельский на страницах той же газеты заметил, что копаться в них — по ведомству гнойной хирургии? Нет, это еще не главное. Главное же — скандальное отсутствие собственной выдумки. Вообще-то выдумок сколько угодно: от лилипутов-священников, копошащихся в сакральном твороге, до каламбуров типа: Кашенко — Кашей Бессмертный, а кашеево яйцо — то, что в брюках. Но нет собственного *алгоритма* выдумки, наличие которого может оправдать сколь угодно психоватую фэнтези. Сюжетная пружина — ведение Отечественной войны (ВОВ) в параллельных мирах между нечеловеческими существами (люди же, войска мало что решают) — принадлежит *Данишлу Андрееву*, хотя оглуплена до невероятия (Карлсон и Малыш — немецко-фашистские оккупанты, супротив них — наши гуси-лебеди). Испражнения и фразы типа: «С первых своих шагов Востряков ощущал на себе пристальный и доброжелательный взгляд прищуренных глаз парторга» — по *Сорокину*, каннибализм — по *Мамлееву*, фольклорная русификация — по *М. Успенскому*, грибные глюки — по *Пелевину*, чародейство — по *Стругацким* («Понедельник начинается в субботу»), но и «Пикник на обочине», и «Улитка на склоне» не забыты), расстрел нелюдя безвредными для него пулями — по *М. Булгакову*, вселение в чужие сны — по *Павичу*, и без «Алисы в Зазеркалье» не обошлось. Лавка *second hand*'а. Более онаученный вывод: постмодернизм второго порядка, то есть деконструирующий виртуальные наработки, обречен на самоуничтожение; корень, извлекаемый из минусовых величин, дает мнимое число.

Добавим к этому чирья матерщины, столь же банальной, сколь гнусной, еще более тошнотворный секс-канцелярит («учитывая ее состояние, дело вряд ли дойдет до полового акта»), среднеграфоманский слог: «Длинные, прямые волосы обрамляли узкое, нежное лицо» (это не пародия, не Сорокин, а казнящий себя за неумелость Константин Треллев), — и наконец бурный поток домодельных стишат (не иначе, Льюис Кэрролл попутал). Обещанная многотомность рождает догадку, что задуман тошнотворный антипод благородного «Властелина колец».

«Ad marginem» — значит «по краям»; помоществователь издания — фонд «Obscuri viri», то есть «темные люди» (в память типажей Ульриха фон Гуттена), сами авторы «Каст» — члены редакционного кабинета «Коллекция *perversus*», как, увы, пропечатано прекрасным издательством «ИНАПРЕСС» на прекрасной книжке М. Амелина. Прямо сон Татьяны: «Сидят чудовища кругом». Сюда бы крещенской водички.

Мистерия бесконечности. Серия литературно-художественных изданий. Проект, поиск, составление, редакция: Дмитрий Силкан. СПб., Издательство «Алетейя», 1999 («Платиновый век»: Протуберанцы). [Т. 1]. Межвековье. Синтез Минувшего и Грядущего. 832 стр. [Т. 2]. Душа и Дух: обыденность существования и Восторг Бытия. 832 стр. [Т. 3]. Грядущий Рассвет: на стыке Лунного и Солнечного Света. 832 стр.

Из пронумерованных (числом 700) экземпляров мне был доставлен № 256 — в надежде на доброжелательный отзыв. Совестно обманывать чьи-то ожидания и использовать не по предложенному назначению столь дорогостоящие фолианты (черный с серебром твердокаменный переплет, щедрая графика многих художников — в среднем нечто между Чюрлёнисом, ар нуво и... К. Васильевым, недурная бумага, отличный шрифт). Но — «истина дороже».

832 x 3 = 2496. Не стану врать, что прочтала эти две с половиной тысячи страниц, и хотела бы посмотреть на того, кто их прочтет. Тем более (или несмотря на то), что это поэзия. Стихи. Поэтов-участников что-то около полутора сотен. В общем, антология поэзии конца столетия, соперничающая со «Строфами века». Но антология — *тематическая*. Поэты рекрутируются на службу безразмерного интеллигентского мистицизма (иногда снабженного христианской атрибутикой, иногда — нет). О, как посмеялся бы Честертон над велеречивой безвкусицей заглавий и прописных литер!

Большинство поэтических имен мне неизвестно; оглашу наугад несколько знакомых: Леонид Губанов, Тимур Зульфикаров, Евгений Лебедев; Зинаида Миркина и Валерий Хатюшин (в этом платиновом лимбе таковые могут идти подряд, не

смушая друг друга); Валентин Сидоров, Александр Зорин, Юрий Линник, Станислав Айдинян... даже Владимир Соколов и Инна Кабыш. Насколько все они (или их душеприказчики) были оповещены о включении в «Мистерию...» — не знаю.

Интересно, что стихи одних и тех же лиц не собраны под их именами, а разбросаны в некоем эзотерическом порядке, имеющем, видимо, собственную доктринальную связность. Серию снабдил предисловием главный маг московско-парижских гостиных (а ныне уже и немецко-пушкинский лауреат) Юрий Мамлеев, рассуждающий здесь о Божественной Бездне, Сатанизме и «метафизическом метафоризме». Статья его названа «Свободная русская поэзия». Свободная? Охотно соглашайся, что философия — служанка (вернее, ancilla — помощница) теологии, я ни за что не смирюсь с тем, что поэзия может стать служанкой теософии. Упаси Бог утверждать, что в этой антологии никто из хороших поэтов не выступил с хорошими стихами. Но вот — камертонное: «...И да будет СВЕТ — так изрек Он и расправил Огненные Крылья в Вечности. Но изреченное оставалось невоплощенным до срока, ибо помыслил СВЕТ: „И да будет ОН”. И Вихрем закружилась Восьмеричная Спираль...»

Увольте...



Редакция журнала «Новый мир» с глубоким прискорбием сообщает о кончине старейшего сотрудника журнала НАТАЛИИ ПАВЛОВНЫ БИАНКИ.

Н. П. Бианки проработала в «Новом мире» 25 лет начиная с 1946 года — и при Константине Симонове, и при Александре Твардовском, — став близким свидетелем и участником событий, пережитых «Новым миром» в те времена.

Редакция выражает искреннее соболезнование друзьям Н. П. Бианки и всем новомирцам, кто работал с ней в те годы.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ



Аркадий Аверченко. Сочинения. В 2-х томах. Том 1. Кипящий котел. Вступительная статья, составление, комментарии Д. Д. Николаева. М., «Лаком», 2000, 383 стр., 3500 экз.

Г. Адамович. Собрание сочинений. Стихи, проза, переводы. Вступительная статья, составление и примечания О. Коростелева. СПб., «Алетейя», 1999, 560 стр., 1500 экз.

Антология фантастической литературы. Составление Х.-Л. Борхеса и других. СПб., «Амфора», 1999, 637 стр., 10 000 экз.

Виктор Астафьев. Веселый солдат. Повесть, рассказы. СПб., «Лимбус Пресс», 1999, 544 стр., 9000 экз.

Первая публикация повести, давшей название новому сборнику прозы Астафьева, состоялась в «Новом мире» (1998, № 5, 6).

Павел Грушко. Заброшенный сад. Книга стихотворений. М., «Маша», 1999, 342 стр.

Книга, восстанавливающая справедливость: известнейший переводчик латиноамериканской поэзии и драматург Павел Грушко предстает перед читателем оригинальным поэтом. Книгу составили стихотворения и поэмы, писавшиеся с середины пятидесятых годов и в большинстве своем публикующиеся впервые.

Линор Горалик. Цитатник. Стихотворения и поэмы. СПб., «Геликон Плюс», 1999, 84 стр.

Книжное издание стихов поэтессы, известность которой началась благодаря публикациям в Интернете.

В. С. Гроссман. Жизнь и судьба. Роман. Составление, предисловие, комментарии Л. И. Лазарева. М., «СЛОВО/SLOVO», 1999, 701 стр., 4000 экз.

Сергей Довлатов. Собрание сочинений. В 4-х томах. Составитель А. Ю. Арьев. СПб., «Азбука», 1999, 287 стр., 10 000 экз. Том 1 — 400 стр. Том 2 — 491 стр. Том 3 — 458 стр. Том 4 — 397 стр.

Константин Душенко. Закон малинового джема. Афоризмы о литературе и искусстве. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 384 стр., 12 000 экз.

Очередной томик в издательской серии «Афоризмы. За словом в карман». О литературном стиле:

«Фразы сочиняют за неимением мыслей» (Жан Кондорсе).

«Синонимов не существует. Существуют только необходимые слова...» (Жюль Ренан).

«Мой язык — уличная девка, которой я возвращаю девственность» (Карл Краус).

Ф. Кафка. Собрание сочинений. Замок. Роман. Афоризмы. Письма Милене. Завещание. Составление Е. Кацевой. СПб., «Симпозиум», 1999, 608 стр., 6000 экз.

Николай Клюев. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы. Предисловие Н. Н. Скатова. Вступительная статья А. И. Михайлова. Составление, примечания В. П. Гарина. СПб., РХГИ, 1999, 1071 стр., 3000 экз.

Д. Коваленин. Кофейные зерна. Проза, стихи, эссе. СПб., «Геликон Плюс», 1999, 144 стр.

Первая книга молодого писателя, известного интернетовскому читателю под именем Мити Буковского (стихи и проза), а «бумажному» читателю — в качестве переводчика романа Харуки Мураками «Охота на овец».

М. Кундера. Шутка. Роман. Перевод с чешского Н. М. Шульгиной. СПб., «Амфора», 1999, 411 стр., 10 000 экз.

Г. Майринк. Избранное. Голем. Вальпургиева ночь. Белый Доминиканец. Киев, «Ника-Центр», 1999, 487 стр., 4000 экз.

Владимир Максимов. Двор посреди неба. Роман. (Семь дней творения. Среда). Составитель С. Лесневский. М., «Прогресс», 1999, 118 стр., 2000 экз.

Кроме текста романа, являющегося самостоятельной частью «Семи дней творения», издание включает работу Игоря Виноградова «Между отчаянием и упованием», содержащую «концептуальную характеристику творчества Владимира Максимова как христианского писателя».

Инна Ростовцева. Стихи частного человека. М., Московская организация Союза писателей РФ, «Поэзия», 1999, 98 стр.

Сборник стихов известного литературного критика.

Натали Саррот. Здесь. Откройте. Книга прозы. Перевод с французского И. Кузнецовой. СПб., «ИНАПРЕСС», 1999, 389 стр., 5000 экз.

Семь веков французской поэзии в русских переводах. Составление, вступительная статья Е. В. Витковского. СПб., «Евразия», 1999, 756 стр., 2250 экз.

Сергей Солоух. Картинки. Рассказы. СПб., «Геликон Плюс», 2000, 88 стр.

Новая книга известного прозаика с послесловием Андрея Немзера. Первым местом публикации рассказов, составивших книгу, был Интернет.

Юрий Трифонов. Долгое прощание. Другая жизнь. Дом на набережной. Время и место. Опрокинутый дом. Составление, предисловие, комментарий Н. Б. Ивановой. М., «СЛОВО/SLOVO», 1999, 576 стр., 4000 экз.

Даниил Хармс. Полное собрание сочинений. Составление, подготовка текста, примечания В. Н. Сажина. СПб., «Академический проект», 1999.

Том 2. Проза и сценки. Драматические произведения. 497 стр., 3000 экз.

Том 3. Произведения для детей. 350 стр., 2500 экз.

А. Штифтер. Бабье лето. Роман. Перевод с немецкого С. Апта. Предисловие Н. Павловой. М., «Прогресс-Традиция», 1999, 615 стр., 2000 экз.



Авиценна (Абу Али Ибн Сина). Книга знания. Избранные философские произведения. Перевод с арабского, вступительная статья В. Кузнецова. М., «ЭКСМО-Пресс», 1999, 750 стр., 8000 экз.

С. Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. М., «Языки русской культуры», 1999, 632 стр., 1000 экз.

Собрание работ одного из ведущих современных историков и теоретиков литературы. Журнал намерен отрецензировать это издание.

Виктор Бычков. 2000 лет христианской культуры *sub specie aethetica*. Том 1. Раннее христианство. Византия. М. — СПб., «Университетская книга», 1999, 575 стр., 3000 экз.

«Исследование становления, развития и бытия христианской культуры на протяжении двухтысячелетнего периода ее существования под углом зрения художественно-эстетического сознания на материале восточнохристианского (православного) ареала...» (из издательской аннотации).

Й. Виккерт. Альберт Эйнштейн, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Перевод с немецкого. Челябинск, «Урал LTD», 1999, 358 стр., 4000 экз.

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России. Перевод с французского, комментарии Д. Соловьева. СПб., «Лимбус Пресс», 1999, 304 стр., 3000 экз.

Б. М. Гаспаров. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб., «Академический проект», 1999, 400 стр., 2000 экз.

М. Л. Гаспаров. Метр и смысл. Об одном из механизмов культурной памяти. М., РГГУ, 1999, 289 стр., 1000 экз.

М. П. Грабовский. Пусковой объект. М., «Научная книга», 1999, 152 стр., 1000 экз.

Вторая документальная повесть бывшего инженера-энергетика, работавшего на строительстве отечественных атомных электростанций, посвященная закрытой в недавнем прошлом «атомной» истории СССР — наука, технология, социально-психологический климат на закрытых объектах, судьбы коллег, быт и стиль жизни режимных предприятий. Первой была книга «Второй Иван» (см. «Книжную полку» в № 7 за 1999 год).

Данте Алигьери. Монархия. Перевод с итальянского В. П. Зубова. Комментарии И. Н. Голенищева-Кутузова. М., «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 1999, 192 стр., 3000 экз.

А. В. Дружинин. Проблемы творчества. К 175-летию со дня рождения. Межвузовский сборник научных трудов. Ответственный редактор Н. Б. Алдонова. Самара, Издательство Самарского государственного педагогического университета, 1999, 197 стр.

А. С. Есенин-Вольпин. Философия. Логика. Поэзия. Защита прав человека. Избранное. Составители А. Ю. Даниэль, С. М. Лукашевский, В. К. Финн. Под общей редакцией В. К. Финна и А. Ю. Даниэля. М., РГГУ, 1999, 450 стр., 1500 экз.

Кроме перечисленного в названии книга содержит воспоминания о Есенине-Вольпине друзей и соратников по правозащитной деятельности, стихи его матери — переводчицы и поэтессы Н. Д. Вольпин, а также архивные материалы, относящиеся к жизни и научной деятельности ученого, публициста и правозащитника.

В. Катанян, Г. Катанян. Распечатанная бутылка. Составитель Я. С. Гройсман. Н. Новгород, «ДЕКОМ», 1999, 352 стр., 5000 экз.

Мемуары Василия и Галины Катанян, среди персонажей которых Пастернак, Асеев, Шкловский, Эльза Триоле и многие другие.

Л. Лазарев. Шестой этаж, или Перебирая наши даты. Книга воспоминаний. М., «Книжный сад», 1999, 416 стр., 5000 экз.

Русская литература и литературная жизнь 50 — 90-х годов в мемуарной книге одного из ведущих литературных критиков и журналистов второй половины века. Отдельные очерки — о Викторе Некрасове, Константине Симонове, Анатолии Аграновском, Борисе Слуцком, Борисе Балтере, Алесе Адамовиче, Андрее Тарковском, Марке Галлае.

Ш.-Л. Монтескье. О духе законов. Перевод с французского, составление А. В. Матешук. М., «Мысль», 1999, 672 стр., 3000 экз.

Джордж Эдвард Мур. Природа моральной философии. Предисловие А. Грязнова и Л. Коноваловой. Перевод с английского, составление и примечания Л. Коноваловой. М., «Республика», 1999, 351 стр., 5000 экз.

Издание трудов известного английского философа, представителя неореализма, разрабатывавшего принципы метаэтики (логика и язык морали), Джорджа Эдварда Мура (1873 — 1958) содержит работы, впервые переведенные на русский язык, — «Этика» (1912) и «Природа моральной философии» (1922).

М. Ф. Мурьянов. Пушкин и Германия. М., «Наследие», 1999, 445 стр., 1000 экз.

Наказанный народ. Репрессии против российских немцев. Сборник. М., «Звенья», 1999, 288 стр., 1000 экз.

Сборник материалов, составленный по итогам конференции «Репрессии против российских немцев в Советском Союзе в контексте советской национальной политики», проведенной Немецким культурным обществом им. Гёте в Москве совместно с Обществом «Мемориал» 18 — 20 ноября 1998 года.

Валентин Непомнящий. Пушкин. Русская картина мира. М., «Наследие», 1999, 544 стр., 1500 экз.

Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Р. Обер, У. Гфеллер. Беседы с Дмитрием Вячеславовичем Ивановым. Перевод с французского Е. Баевской, М. Яснова. Предисловие Ж. Нива. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 1999, 231 стр., 3000 экз.

И. И. Ростовцева. Мир Заболотского. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. М., МГУ, 1999, 104 стр., 5000 экз.

Е. С. Сенявская. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М., РОССПЭН, 1999, 383 стр., 1500 экз.

Мишель Фуко. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. Перевод с французского Владимира Наумова под редакцией Ирины Борисовой. М., «Ad marginem», 1999, 478 стр., 5000 экз.

Корней Иванович Чуковский. Библиографический указатель. М., Русское библиографическое общество, «Восточная литература» РАН, 1999, 468 стр., 500 экз.

Итог четвертьвековой работы библиографа Д. А. Бермана — полная библиография публикаций Чуковского и литературы о нем с 1901 по 1999 год. Уникальное по информационной насыщенности издание — только в одном «Именном указателе» более четырех тысяч имен.

Е. Г. Эткинд. Божественный глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции. М., «Языки русской культуры», 1999, 600 стр., 3000 экз.

Составитель Сергей Костырко.

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

Николай Клюев. Сердце Единорога.

Семь веков французской поэзии в русских переводах.

Юрий Трифонов. Долгое прощание. Другая жизнь. Дом на набережной. Время и место. Опрокинутый дом.

ПЕРИОДИКА



«Библиография», «Волга», «Вопросы литературы», «Время МН», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Золотой век», «Известия», «Иностранная литература», «Книжное обозрение», «Кольцо „А”», «Кулиса НГ», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературное обозрение», «Мемориал», «Москва», «Московские новости», «Московский журнал», «Наш современник», «НГ-Наука», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая Польша», «Новое литературное обозрение», «Огонек», «Октябрь», «Посев», «Русская мысль»

Борис Акунин. «Так веселее мне и интереснее взыскательному читателю...». Беседавала Анна Вербиева. — «Ex libris НГ», 1999, № 50, 23 декабря. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Беседа с переводчиком и эссеистом Григорием Чхартишвили, осуществившим (под псевдонимом Б. Акунин) увлекательный беллетристический проект — серию *качественных* детективных романов о сыщике Эрасте Фандорине. «Я сейчас начинаю вторую серию, параллельную фандоринской. Новым сыщиком станет женщина, монашка, сестра Пелагия, рыжеволосая и очкастая. Она будет пользоваться совсем иными методами, чем Фандорин, хотя живет примерно в то же время (вторая половина XIX века. — А. В.). Дело будет происходить в провинциальной глуши... И это еще не все. Я написал пьесу с хорошим названием „Чайка”. Все те же персонажи, только действие начинается с того момента, где Чехов ставит точку. Поскольку пьесу написал Акунин, выясняется, что Треплев не застрелился, его убили...»

См. детективную пьесу «Чайка» в этом номере «Нового мира».

Валентин Александров. Труппу нанимает директор. Горбачев распорядился, Медведев озвучил... — «Кулиса НГ», 1999, № 20, 11 декабря. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

В частности — о том, как в перестроечном 1988 году сдирали обложку с многотысячного тиража «Нового мира» из-за упоминания в анонсе на следующий год произведений А. Солженицына. И что? Все равно в конце 1989 года были напечатаны главы из «Архипелага».

Алексей Алехин — Илья Фаликов. Поэт в России не изгой... — «Вопросы литературы», 1999, № 6, ноябрь — декабрь. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/voplit>

Два поэта — главный редактор журнала поэзии «Арион» и член жюри поэтической премии «Незнакомка» (Антибукер) — содержательно беседуют о современном состоянии российской поэзии: что было, что есть и что будет. В частности: «Я люблю толстый журнал как изобретение самой литературной эволюции. Но сейчас это — чудо: феномен живого мамонта. Не того, которого надо доставать из-под льдов вечной мерзлоты, а того, который почему-то не вымер» (Илья Фаликов).

Андрей Балдин. Закон Черепанова. — «Золотой век», 1999, № 13. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zv>

Железная дорога и — русский алфавит, русская проза, русская история.

Леонид Бахнов. В обстоятельствах жизни. — «Вопросы литературы», 1999, № 6, ноябрь — декабрь.

Очерк об отце — писателе Владлене Бахнове.

Андрей Битов. Пока не требует поэта. Пьеса. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 12. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/zvezda>

Сценка: Патриот, Западник, Иностранец. Спор о водке «PUSHKIN».

Владимир Бондаренко. Праздник глазами остриженного подростка. — «День литературы», 1999, № 12, декабрь. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

Романтик Геннадий Шпаликов, противопоставленный другим шестидесятиникам. Из цикла «Дети 37-го года».

О. В. Будницкий. «Дело» Нины Берберовой. — «Новое литературное обозрение», № 39 (1999). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/nlo>

Эмигрантские склоки вокруг «коллорабационизма» Н. Н. Берберовой. «Да, в 1940 г., вплоть до осени, т. е. месяца три, до разгрома библиотек и первых арестов, я, как и ⁹/₁₀ французской интеллигенции, считала возможным, в не слишком близком будущем, кооперацию с Германией. Мы были слишком разочарованы парламентаризмом, капитализмом, третьей республикой, которая для нас отождествлялась со Стависским. Да и Россия была с Германией в союзе — это тоже обещало что-то новое. Мы увидели идущий в мир не экономический марксизм и даже не грубый материализм. Когда через год выяснилось, что все в нац<ионал>-соц<иализме> — садизм и грубый империализм, отношение стало другим, и только тогда во Франции появилось „сопротивление“ (резистанс)...» (из письма Н. Берберовой к М. Алданову от 30 сентября 1945 года).

Андрей Ваганов. Краткая феноменология Сети. — «НГ-Наука», 1999, № 11, 15 декабря. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Морфология аморфного. «Он живой и светится...» Дети под(e-mail)я.

Андрей Василевский, Владимир Прибыловский. Три типа отношения к чеченской проблеме и возможный путь ее политического решения. — «Русская мысль», Париж, 1999, № 4293, 18 — 24 ноября. Электронная версия: <http://www.rusmysl.ru>

Безотносительно к содержанию статьи необходимо отметить, что *этот* Андрей Василевский — совсем не тот Андрей Василевский, который главный редактор «Нового мира» и составитель «Периодики», а какой-то совсем другой Андрей Василевский.

Александр Волков. Самый удачливый обман. — «Знание — сила», 1999, № 9-10.

О том, что вопреки распространенной версии, занесенной в энциклопедии и справочники, знаменитый американский летчик Р.-Э. Бэрд не перелетел в 1926 году на самолете от Шпицбергена до Северного полюса и обратно.

Г. И. Газданов. Масонские доклады. Публикация А. И. Серкова. — «Новое литературное обозрение», № 39 (1999).

Автор «Ночных дорог» был посвящен в масоны в 1932 году, в 60-е годы стал преемником М. А. Осоргина на посту руководителя ложи «Северная звезда». Тексты докладов Газданова второй половины 60-х годов (один — о роли писателя в связи с осужде-

нием советской общественностью Пастернака, второй — о личности и творчестве М. Алданова) печатаются по автографу из личного архива публикатора.

Материалы о творчестве Гайто Газданова можно найти в Сети по адресу: <http://www.pereplet.ru/ohay/gazdanov.html>

Александр Генис. Закон и порядок. Мой Шерлок Холмс. — «Знамя», 1999, № 12. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>
Апология великого сыщика.

Софья Губайдулина. Жизнь по вертикали. Беседу вел Ефим Барбан. — «Московские новости», 1999, № 48, 14 — 20 декабря. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

«Меня чрезвычайно привлекает поэзия Рильке, Элиота, живопись Пауля Клее — вещи, которые тоже устремлены внутрь», — говорит композитор Софья Губайдулина корреспонденту «Московских новостей» во время лондонской премьеры ее новых сочинений.

Эдуард Днепров. Три источника и три составные части нынешнего школьного кризиса. — «Знамя», 1999, № 12.

У сегодняшнего школьного кризиса, по мнению автора статьи, три источника и три составные части: коллапс школьной экономики, паралич образовательной политики и катастрофическое, нарастающее отставание школьного образования от потребностей современной жизни.

Сергей Доренко. Лена Батурина разогналась и прыгнула на Лужкова. Разговор на облаке двух благородных донов: дона Серхио и дона Алехандро. Интересовался Александр Никонов. — «Огонек», 1999, № 37, декабрь. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

«Мне, например, очень давно уже не очень нравятся Сэлинджер и Ремарк и уже довольно давно, лет около десяти, как не привлекает Воннегут. Это верный признак того, что я достиг зрелого возраста» (С. Доренко).

Священник Дмитрий Дудко. Он был верующим. — «Наш современник», 1999, № 12.

«В созидании богоносной страны, Святой Руси, он (коммунизм. — А. В.) будет играть не последнюю роль». К 120-летию И. В. Сталина.

«**Дух человеческий свободен**». Неизвестные выступления Александры Толстой. Публикация Ивана Толстого. — «Русская мысль», 1999, № 4294, 25 ноября — 1 декабря; № 4295, 2 — 8 декабря.

«Обращение к соотечественникам», «О философии моего отца», «С премьеры „Войны и мира“» — выступления А. Л. Толстой на радио «Свобода» 1956 — 1958 годов.

Владимир Ешкилев. «Чьи вы, хлопцы, будете?..». Беседу вела Наталья Игрунова. — «Дружба народов», 1999, № 12. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhiba>

Владимир Ешкилев — руководитель проекта и автор большинства словарных статей *энциклопедии актуальной литературы* «Возвращение демиургов», вызвавшей большой литературный скандал на/в Украине. «Если в русской литературе благодаря тому, что всегда поколения „заходили“ одно в одно, была преемственность, были школы, было из чего выбирать по большому счету, то в Украине произошла катастрофа: старшее поколение ушло полностью из актуальной литературы, одноактно, одномоментно». Старшее поколение, конечно, так не считает.

Гавриил Заполянский. Рисунок Пушкина: Дмитрий Веневитинов? — «Кольцо „А“». Литературный журнал. № 9 (1999).

Интересное предположение, что в пушкинской композиции «Бес с молодым человеком в борделе» в качестве «молодого человека» изображен Веневитинов.

Михаил Золотоносов. Конец «эры Саррот». Литературный некролог. — «Московские новости», № 50, 28 декабря 1999 — 3 января 2000.

19 октября 1999 года, не дожив девять месяцев до своего *столетнего* юбилея, умерла знаменитая французская писательница Натали Саррот. Одновременно петербургское издательство «ИНАПРЕСС» выпустило сборник ее произведений, и, по мнению М. Золотоносова, оба вошедшие туда текста — «Здесь» (1995) и «Откройте» (1997) — «таковы, что про них можно сказать все, что угодно: старческая графомания, маразм, художе-

ственная провокация, литературный шедевр, продукция инфантильной памяти, виртуозное проникновение в предсловесную сферу мышления... Я спрашивал у многих — не знает никто. На самом деле это **смерть литературы**, если про нее нельзя что-либо сказать с определенностью, отличая графоманию от неграфомании».

Андрей Zubov. Надо заново учиться жить. Коммунистический переворот как причина смерти государства и общества в России. — «Независимая газета», 1999, № 231, 9 декабря. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

«Государство выступает как в первую очередь правовая форма с определенной преемственностью законотворчества и властных отношений. Именно эта правовая форма и была уничтожена большевиками 22 ноября 1917 г., когда одним указом Совет Народных Комиссаров отменил все (я подчеркиваю — все) законы Российского государства. Внешний повод к этому декрету был значительный, хотя и малоизвестный. В этот же день на несколько часов раньше Правительствующий Сенат (высший властный орган суда и надзора России, переживший смуту 1917 г.) в общем своем собрании вынес решение не признавать Совет Народных Комиссаров как орган, навязанный обществу в результате насильственного захвата власти и к тому же не вписанный в систему государственных органов России, определенную Основными Государственными законами 1906 г. Сила права была за Сенатом, но право силы — за коммунистами. Это сенатское постановление даже не увидело свет, ибо рабочие сенатской типографии отказались его набирать как контрреволюционное. Декрет же СНК, отменявший все до того действовавшие в России законы, не только был распубликован, но и остается действующим правовым установлением на территории России до сего дня».

Чарльз Кинбот. Серебристый свет. Подлинная жизнь Владимира Набокова. Начальные главы романа. Перевод с английского и послесловие С. Ильина. — «Иностранная литература», 1999, № 12. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Чарльз Кинбот, он же Карл-Ксаверий-Всеслав, сын короля Земблы, он же центральный персонаж романа «Бледный огонь», написал книгу о своем создателе. Автор мистификации — Джефф Эдмундс — уже выставлял в Интернете страницы будто бы последнего набоковского романа «*The Original of Laura*» (см. об этом статью С. Ильина в журнале «Новая Юность», 1999, № 2).

В очередной выпуск «Литературного гида» вошли также последняя глава из книги на этот раз подлинных воспоминаний Владимира Набокова «Убедительное доказательство» (перевод с английского С. Ильина), повесть Эрика Орсенны «Два лета» (перевод с французского Н. Бунтман и А. Дегтярь) и эссе Алексея Медведева «Перехитрить Набокова».

И. Л. Клейман. Из воспоминаний в письмах. Публикация, вступительная заметка и примечания Всеволода Вихновича. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 12.

Рижские евреи в довоенной Латвии — при Советах — при немцах — при Советах. Много важных *оттенков*: «Для евреев советская власть не имела альтернативы», «Мы опасались эксцессов со стороны латышей и надеялись, что немцы стихийных погромов не допустят». После всего пережитого Исаак Клейман стал адвентистом седьмого дня.

Владимир Козаровецкий. Злобинная гиль, или О вреде кабаньей головизны. — «Литературное обозрение», 1999, № 4.

Темпераментная защита новаторского сочинения Ильи Гилилова от нападок ретроградного «Нового мира». Ужасная Алена Злобина (а речь идет именно о ее рецензии — «Новый мир», 1998, № 6) почему-то считает, что шекспировские пьесы написал Шекспир. Юмористический штрих: «Разве у нее (Злобиной. — А. В.) есть сомнения, что „Тихий Дон“ написан не Шолоховым, а Крюковым?» — восклицает в сердцах Козаровецкий. А что, если есть?

См. также театральные обзоры Алены Злобиной «Зеркало. Шекспир на московской сцене и вокруг» («Иностранная литература», 1999, № 11) — опять-таки *в защиту* великого драматурга.

Вадим Маркович Козовой (1937 — 1999). — «Новое литературное обозрение», № 39 (1999).

В мемориальную подборку вошли материалы Бориса Дубина, Ирины Емельяновой, Марата Чешкова, Мориса Бланшо и других авторов, а также библиография литературных трудов (стихи, статьи, переводы, комментарии) В. М. Козового.

Е. В. Кончин. Три возраста Пиковой дамы. — «Московский журнал», 1999, № 11. Электронная версия: <http://www.rusk.ru>

Пушкин и Наталья Петровна Голицына (1741 — 1837) — прототип графини в «Пиковой даме».

Юрий Корякин. Кто же был инициатором и вдохновителем электрификации России. Ленинский план ГОЭЛРО оказался лишь бледной калькой дореволюционных программ развития энерготехнической отрасли страны. — «НГ-Наука», 1999, № 11, 15 декабря.

Начало работ на Волховской ГЭС — 1910 год, начало работ на Днепрогэсе — 1912 год, начало строительства Волго-Донского канала — 1912 год. Даже метрополитен... начало работ — 1910 год.

А. Костинский. Все вокруг колхозное — все вокруг мое. (Не рано ли хороните авторское право, товарищи!). — «Мемориал». Информационный бюллетень Правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». 1999, № 11, август — сентябрь.

Является ли Интернет могильщиком авторского права? Нет, уверенно отвечает А. Костинский. Среди его аргументов есть и такой: нынешний профессиональный и возрастной состав пользователей Интернета — тинейджеры, студенты и творческая интеллигенция — не останется неизменным, скоро Сеть будет населена всеми слоями общества, которые «привнесут в нее собственные твердые представления о праве и частной собственности». Вопрос в том, *каковы* у этих прочих слоев российского общества представления о праве и частной собственности.

Критика: последний призыв. — «Знамя», 1999, № 12.

Последний призыв — это Николай Александров, Дмитрий Бавильский, Никита Елисеев, Татьяна Касаткина, Алексей Колобродов, Илья Кукулин, Михаил Новиков, Сергей Рейнгольд, Мария Ремизова, Ольга Славникова, Александр Уланов, Дмитрий Шеваров в традиционной знаменской рубрике «Конференц-зал».

Григорий Кружков. «В случае моей смерти все письма вернутся к Вам...». — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 12.

О стихах Ларисы Рейснер.

Александр Кушнер. Провалы и зияния. Заметки о русских поэтах. — «Литературная газета», 1999, № 51-52, 22 — 28 декабря.

Пастернак. Маяковский. Мандельштам и тамбовский поэт Вячеслав Афанасьев. А также о том, почему писатели неточно цитируют друг друга.

Алла Марченко. Летают и пляшут стрекозы, стремясь в никуда. — «Книжное обозрение», 2000, № 1, 3 января.

Читая Ольгу Славникову, критик Алла Марченко видит в «Стрекозе, увеличенной до размеров собаки» (М., «Вагриус», 1999) почти классических кондиций правильный роман, «настолько высокоорганизованный, что лет эдак через десять, убеждена, именно „Стрекоза, увеличенная до размеров собаки“ сделается хрестоматийным произведением, тем идеально-показательным образцом романного жанра, по тексту которого аспиранты двадцать первого столетия будут защищать диссертации по теории русскоязычного романа эпохи Постимперской Смуты...»

А Марии Ремизовой новый роман Ольги Славниковой «Один в зеркале» («Новый мир», 1999, № 12) кажется «настолько *типическим* для определенного направления в современной литературе, что его хочется внести в какую-нибудь гипотетическую хрестоматию для изучения изящной словесности конца XX века». В рецензии «Деталь, увеличенная до размеров романа» («Независимая газета», 1999, № 244, 29 декабря) Мария Ремизова пишет, что, «исследуя этот единственный образец, будущие студенты смогли бы совершенно безошибочно составить в своих несуществующих головах представление о мучительных потугах писателя времен Великой Потери Смысла выработать способ создавать текст, как бы равновеликий себе самому».

Марченко — о «Стрекозе...»: «Подробностей и правда многовато, побольше, чем требует самодвижение сюжетообразующей ситуации (любовь-ненависть двух обездоленных, лишенных „личной жизни“ женщин), однако же ровно столько, сколько надобно автору, чтобы продемонстрировать во всем диапазоне уникальный словесный дар... От словесного изобилия „Стрекозы...“, непривычного на фоне чуть ли не принципиальной усредненности нынешней литературной речи, поначалу даже слегка устаешь...»

Ремизова — о новомирском романе: «Оставаясь мастером точного и емкого слова в пределах одного абзаца, Славникова теряет дыхание на более серьезной дистанции. На всем протяжении „Одного в зеркале” нет ни одного диалога, речевой строй абсолютно однообразен, это нечто, напоминающее перемешивание застывшего меда в высокой банке, — усилия по преодолению инерции материала требуются немалые, а результат на выходе — почти что ноль. Оставив себе одну только авторскую интонацию, не пережимаемую никаким посторонним вторжением, Славникова рискует усыпить читателя, чье сознание, подчиняясь общим физиологическим законам, реагирует на плавную монотонность повышенной тягой к подушке. Эта произвольная реакция может лишить его удовольствия насладиться хорошо сформулированными наблюдениями автора, которые располагаются позже той страницы, на которой его сморит сон...»

Дарья Московская. В поисках слова: «странный» проза 20 — 30-х годов. — «Вопросы литературы», 1999, № 6, ноябрь — декабрь.
Вагинов. Добычин. Кржижановский. Хармс.

Уильям Сомерсет Моэм. Записные книжки 1917 года. Предисловие Виталия Бенкина. Перевод с английского Е. М. Нарышкиной. — «Литературное обозрение», 1999, № 4.

«В этом году я был послан в Россию с секретной миссией. Так появились эти заметки». Заметки постороннего. «Что должно удивить каждого, кто приступает к изучению русской литературы, так это ее крайняя бедность...»

Неизвестные воспоминания о Есенине. — «Знамя», 1999, № 12.

«— ...Почему танцы так прославляют? Допустим, я признаю, что это искусство. Возможно, как и все другие искусства, но я нахожу это смешным. Мне не нравятся танцы. Я их не понимаю. Мне неприятно слышать, что ей (Айседоре Дункан. — А. В.) аплодируют в театре. Нерусское это искусство, потому я его и не люблю. Я — русский. Я люблю камаринскую! Ну, будет! Пора спать.

Он лег на холодную старую кушетку. Из бобрового воротника поблескивали завитки соломенных волос...» (Елизавета Стырская, «Поэт и танцовщица»). Тут же — фрагмент очерка Алексея Угрюмова «Сергей Есенин».

Валентин Непомнящий. Пушкин через двести лет. — «Москва», 1999, № 12.
Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

«Пушкин — самая фундаментальная область нашей гуманитарной культуры».

Андрей Никитин. Подвиг Александра Пересвета. — «Знание — сила», 1999, № 9-10.

Пересвет и Ослябя — легендарные и исторические.

Владимир Новиков. Попов и Смирнов. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 12.

Попов — питерский прозаик Валерий Попов, Смирнов — филолог Игорь Смирнов. «Два героя моих заметок, может быть, и не вполне положительные, но... Гиганты!»

Олег Павлов. <Ответ на новогоднюю анкету газеты «ЛР»> — «Литературная Россия», 1999, № 51-52, 31 декабря.

Литературным событием последних лет уходящего столетия Олег Павлов без колебаний называет повесть Бориса Екимова «Пиночет» («Новый мир», 1999, № 4). Откровением современной русской литературы считает эту повесть Владимир Бондаренко («Екимов ставит на Пиночета» — «День литературы», 1999, № 11). В глазах Марии Ремизовой («Человек с палкой» — «Независимая газета», 1999, № 106, 16 июня) повесть о суровом председателе колхоза, твердой рукой наводящем в хозяйстве порядок и ненавидимом односельчанами, приобретает характер самого мрачного исторического прогноза. Повесть выдвигалась на литературную премию Антибукер 1999 года.

Петр Палиевский. Русский Лесной царь. — «Наш современник», 1999, № 12.

«Eriköping» Гёте. «Лесной царь» Жуковского. «Песнь о вещем Олеге» Пушкина.

Памяти Е. Ф. Куниной (1898 — 1997). — «Литературное обозрение», 1999, № 4.

В подборку материалов вошли статья Светланы Соложенкиной, а также неопубликованные стихи Евгении Филипповны Куниной и ее короткие мемуарные очерки «Каким запомнился мне Валерий Яковлевич Брюсов» и «Мария Степановна Волошина». См. в «Новом мире» лирическую трагедию Е. Куниной «Франческа да Римини» (1993, № 3), а также большую подборку ее стихов (1995, № 10).

Борис Парамонов. По поводу Фаулза. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 12.

Роман Джона Фаулза «Коллекционер» как еще одна реакция английского искусства на британский социализм.

Виктор Пелевин: Библиография. Составитель С. В. Некрасов. — «Библиография». Профессиональный журнал. 1999, № 3, май — июнь.

Ценной библиографии предшествует необязательная статья С. В. Некрасова о Пелевине «„Мечты, мечты, где ваша сладость?“ (Проблема авторства в отсутствие автора)».

Людмила Петрушевская. Из цикла «Карамзин». (Деревенский дневник). — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 12.

Основной текст деревенских *верлибров* Петрушевской см. в «Новом мире» (1994, № 9).

Гжегож Пшебина. Русский гений жертвоприношения. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. 1999, № 2, октябрь.

Тут же — статья Ежи Пильха «Все устроено, все кончено». Обе — о польском издании *мизантропических* дневников Андрея Тарковского, еще не опубликованных на русском языке. Судя по приведенным цитатам, нас со временем ждет увлекательное чтение (что-то вроде дневников Юрия Нагибина).

Олег Рогов. О поэзии Сергея Стратановского. — «Волга», Саратов, 1999, № 9. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/volga>

«Поэт, считающийся одним из классиков самиздатской литературы, печатавшийся в „глухие годы“ лишь на Западе, выпустил высокой печатью всего одну книгу, итоговую (СПб., 1993. — А. В.)...» Статья вторая из цикла «Очерки русской неподцензурной поэзии второй половины XX века». Статью первую — о поэзии Юрия Кублановского — см. в журнале «Волга» (1999, № 7).

Борис Родоман. Фобия потери территориальной целостности. — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 6 (8). Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/nz>

Но и сама — местами не лишенная остроумия — статья может рассматриваться как проявление *навязчивой идеи* Всемирного государства.

Генрих Сапгир. Автобиография. Вступительная заметка Е. Путиловой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 12.

Автобиография для третьего тома антологии «Русская поэзия детям» («Новая библиотека поэта») была написана Сапгиром незадолго до смерти.

Бенедикт Сарнов. Последний обэриут. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 1999, № 48, декабрь. Электронная версия: <http://www.1september.ru>

Поэт Николай Глазков — а также Хармс, Олейников, ранний Заболоцкий — как *примитивисты* (по аналогии с художниками-примитивистами).

Светлана Семенова. Метаморфозы эроса в пушкинской поэзии. — «Знамя», 1999, № 12.

«Любопытно, что Пушкина — эротического поэта приковывает к себе, завораживает не столько мужская, сколько женская сексуальность — в последовательности ее загорания, ее страстных проявлений и ощущений...»

Владимир Соколов. «Когда-нибудь, когда меня не будет...». Беседу вела Елена Константинова. — «Вопросы литературы», 1999, № 6, ноябрь — декабрь.

«Даже тогда, когда был совсем неизвестен, почему-то считал себя крупным поэтом», — рассказывал Владимир Соколов в феврале 1996-го, за год до смерти.

Роберт Станюкович. Скучно ли русскому интеллигенту в Америке? — «Неприкосновенный запас». Очерки нравов культурного сообщества. 1999, № 6 (8).

Кому скучно, а кому — нет.

Игорь Сухих. О звездах, крови, людях и лошадях. (1923 — 1925. «Конармия» И. Бабеля). — «Звезда», Санкт-Петербург, 1999, № 12.

Рубрика «Книги XX века».

Лариса Сысоева. Берлинские эпохалки. Предисловие Евгения Попова. — «Октябрь», № 12. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/October>

«Слава (муж рассказчицы, художник Вячеслав Сысоев. — А. В.) много лет назад поехал в путешествие по Вологодской области. Пришел к Ферапонтову монастырю и

любуется видом, открывающимся оттуда: вся Вологодчина как на ладони. Какой-то местный житель подошел к нему и спрашивает:

— Красиво?

— Очень, — ответил Слава.

Мужик посмотрел на Сысоева, протянул руку вдаль и произнес:

— А там дальше — лагеря, лагеря, лагеря...»

Сергей Федякин. Столетние. Русские прозаики, родившиеся в 1899-м. — «День литературы», 1999, № 12, декабрь.

Олеша, Вагинов, Набоков, Леонов и — противопоставленный им Платонов.

Г. Хазагеров. Скифский словарь. — «Знамя», 1999, № 12.

«Есть такое общее место: тоталитарные режимы — разновидность традиционалистских обществ... Попробую показать антитрадиционалистскую природу отечественного тоталитаризма в наиболее востребованной сегодняшним дискурсом форме — в форме словаря...»

Василий Цветков. Уроки упущенных побед. К восьмидесятилетию похода на Москву 1919 года. — «Посев». Общественно-политический журнал. 1999, № 11. Электронная версия: <http://www.glasnet.ru/~posev>

«Октябрь 1999 года — годовщина похода на Москву Вооруженных сил Юга России. Никогда еще Белые армии не оказывались так близки к победе, как в те далекие дни осени 1919 года. Никогда, ни до, ни после осени 1919 года, Белое движение не имело больших шансов для того, чтобы раз и навсегда покончить с большевизмом, спасти Россию от 70-летнего тоталитарного ига...»

Что запомнилось. Взгляд на русскую литературу 90-х годов. — «Время МН», 1999, № 239, 24 декабря.

Полезный путеводитель по современной словесности, составленный критиками разных поколений, обработанный и прокомментированный Андреем Немзером. Впечатление — оптимистическое.

Михаил Швыдкой. «Смежили очи гении...». — «Известия», 1999, № 240, 22 декабря. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

О том, что отечественная культура последних пятнадцати лет бурно развивалась вширь, но количество не перешло в качество. «Нам нужно сделать усилие, может быть, сверхусилие, чтобы идея святости русской культуры не превратилась в историческую пародию, не превратилась в юродство».

Олег Шишкин. Распутин в тоге миротворца. Найдены новые свидетельства того, что царский фаворит участвовал в секретных сепаратных переговорах с германскими агентами и готовил дворцовый переворот. — «Ex libris НГ», 1999, № 48, 9 декабря.

Автор нашумевшей книги «Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж» (М., 1999), журналист Олег Шишкин написал историческую повесть «Убить Распутина: британская разведка и розенкрейцеры устраниют фаворита». Публикуемый фрагмент повести посвящен тому, как в июне 1916 года из Берлина именно к Григорию Распутину отправилась делегация «неофициально, для связи с элементами русского двора, которые имели стремление добиться заключения сепаратного мира с Германией...»

Виктория Шохина. Образ Сталина в русской литературе. О последнем юбилее уходящего года. — «Кулиса НГ», 1999, № 21, 25 декабря.

С середины 60-х до начала 90-х: А. Солженицын, «В круге первом»; А. Рыбаков, «Дети Арбата»; А. Бек, «Новое назначение»; А. Синявский, «Спокойной ночи»; Ф. Искандер, «Пирсы Валтасара»; В. Аксенов, «Московская сага». На следующем витке — «Голубое сало» В. Сорокина (1999).

Лев Этинген. От чего умер Иисус Христос. — «НГ-Наука», 1999, № 11, 15 декабря.

Распяты на кресте медленно умирали от удушья.



ДАТА: 14 апреля исполняется 70 лет со дня смерти Владимира Владимировича Маяковского (1893 — 1930).

Составитель Андрей Василевский.

«НОВЫЙ МИР» РЕКОМЕНДУЕТ:

«Мемориал». Информационный бюллетень Правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». Адрес редакции: 103051, Москва, Малый Каретный переулок, 12. Телефон/факс: (095) 200-65-06. E-mail: shvedov@memo.ru

СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА



Сетевые литературные журналы как новый этап структурирования литературного пространства в Интернете. О журнале «TextOnly». Об альманахе иронической литературы «Сирано». Еще раз о пьесе Михаила Угарова «Зеленые щеки апреля»

1

Этот выпуск обозрения я начну цитатой из декларации интернетовского журнала «TextOnly» (<http://vavilon.ru/textonly>):

«Современная русская литература переживает бурный расцвет... в первую очередь в русской неподцензурной литературе. В недавнее время произошло важнейшее событие: осознало себя новое поколение в литературе или, точнее, несколько близких поколений, в которых оказались люди, родившиеся с конца 50-х по конец 70-х...

Но проблема не только в новом поколении. Становится видно, что и авторы нескольких предыдущих поколений русской литературы, живые или ушедшие, понаты часто неадекватно...

Мы видим свою задачу в отслеживании „болевых точек“, „точек роста“ современной культуры. И в сопоставлении их в более или менее едином контексте. Нам интересно ощутить этот контекст не как фон, но как силовое поле. Литературу мы воспринимаем как часть культуры, растущую по своим особым законам и свойствам. Литературные „точки роста“ нас интересуют больше всего. Но понять, что происходит в литературе, можно только при обращении к ситуациям в других областях культуры.

«TextOnly» — кроме того, что с этим у каждого из нас связаны домашние компьютерные ассоциации, — это текст, интересный прежде всего своим внутренним движением, а не социальными, групповыми или поколенческими обоснованиями...» (<http://vavilon.ru/textonly/decl.htm>).

Появление в Сети интернетовских литературных журналов, которые ставят перед собой подобные задачи, — явление симптоматическое. Мы можем констатировать новый этап структурирования культурного пространства в Интернете. В прошлых обзорах мы говорили о таких единицах, как литературный сайт (или сервер) и сайты литературных конкурсов. И вот пришло время интернетовских литературных журналов. Это не только количественное, но и качественное приращение. До последнего времени самой характерной ситуацией в обращении с литературой мог-

ла быть, например, вот такая (цитирую одного из ведущих интернетовских обозревателей Макса Фрая): «Еще все та же „электропочта” принесла мне ссылку на страничку датского киевлянина Виктора Максимова. С тех пор как я побывал там впервые, страничка претерпела радикальные перемены (что к лучшему). Особенно мне понравилась „Аптечка библиомана”. Теперь, когда мне будут ныть на ухо, мол, „ну совсем нечего читать в наше время”, я буду уверенно направлять сюда. „Здесь есть что читать. Есть чем зачитываться”, — пишет Максимов. Не могу не отдать должное его вкусу. Действительно есть. Вот список авторов, собранных в „Аптечке”: Павел ПЕППЕРШТЕЙН, Лев РУБИНШТЕЙН, Дмитрий А. ПРИГОВ, Михаил РЫКЛИН, Андрей МОНАСТЫРСКИЙ, Нина САДУР, Виктор ТУПИЦЫН, Борис ГРОЙС, Игорь СМИРНОВ, Михаил ЭПШТЕЙН, Юрий МАМЛЕЕВ, Владимир ТУЧКОВ, Саша СОКОЛОВ, Игорь ЯРКЕВИЧ, Владимир СОРОКИН, Юлия КИСИНА, Бахыт КЕНЖЕЕВ, Виктор СОСНОРА, Николай БАЙТОВ, Татьяна ТОЛСТАЯ, Евгений ПОПОВ, Виктор ЕРОФЕЕВ, Иван ЖДАНОВ, Виталий КАЛЬПИДИ, Генрих САПГИР, Всеволод НЕКРАСОВ, Виктор ПЕЛЕВИН. Я бы список имен на сорок расширил, но товарищ копает в симпатичном направлении...»

Подбор имен в этом списке характернейший — здесь собраны имена, так сказать, по признаку их «продвинутости». И не важно, в каком направлении — эстетическом ли, идеологическом, поведенческом или еще каком-то. Напоминает списки постмодернистов времен перестройки, когда эстетические категории подменялись социально-культурной ситуацией противостояния «нового» «старому», при этом состав, характер «нового» особой роли не играл. Это список прежде всего идеологический — так самоутверждается в современной литературе новое поколение пишущих и читающих. Принцип этот, конечно, имеет отношение к литературе, но гораздо меньший, чем принято думать. Составители таких вот блоков абсолютно не смущались ни перепадами в творческой ориентации авторов, ни в их мировоззрении, ни, наконец, в уровне таланта — нужно сильно постараться, чтобы найти общее у мастера современной прозы, наследницы русской литературы Татьяны Толстой и домодельного «эзотерика», иногда просто беспомощного в прозе Юрия Мамлеева или соединить соцартовца Пригова и «метаметафориста» Жданова. Но именно так строились библиотеки сайтов: «новизна» здесь простодушно воспринималась определяющей литературной категорией. Да и, кстати, новизна перечисленного выше сильно преувеличена, это уж скорее вчерашний литературный истеблишмент.

И приятно наблюдать стремительность, с которой был пройден этот этап. Создатели журналов, в частности журнала «TextOnly», делают попытку подойти к литературе как и подобает с категориями эстетическими. И потому так неожидан на фоне джентльменского набора на других серверах состав авторов «TextOnly». Приведу краткое содержание второго выпуска журнала: повесть Светланы Литвак «Награда Верой», проза и графика Василя Кондратьева «Карманный альбом для Игоря Вишневецкого», цикл рассказов Эдуарда Шульмана «Правила любви», стихи Александра Месропяна, Андрея Полякова, Марии Степановой, Андрея Таврова, Бориса Кочешвили, Дарьи Суховой, Натальи Осиповой; «И говорил с ними...» — три интервью о возрождении жанра притчи в современной литературе, взятые Ильей Кукулиным у Ильи Бражникова, Алексея Цветкова, Данилы Давыдова; рассказ Сантьяго Дабове «Стать прахом» в переводе Бориса Дубина; современная скандинавская поэзия в переводах Александра и многие другие материалы.

В отличие от списка, приведенного Максом Фраем, эти имена пока мало что говорят широкому читателю. Журнал делает ставку не на «имена», то есть некие широко известные эмблемки современной литературы, а на собственно литературу. Одно из свидетельств этому — игнорирование редколлегией журнала категории поколенческой литературы. Кстати о редколлегии — вот команда, которая ведет журнал: Данила Давыдов — поэт, прозаик, критик (родился в 1977 году), Сергей Завьялов окончил филфак Ленинградского университета, преподает древнегреческий язык и античную литературу в петербургских вузах, организатор цикла литературных вечеров «Поэты Петербурга» в 1997 году (самый старый родился в 1958 году), Илья Кукулин — кандидат филологических наук, автор журналов «Вопросы лите-

ратуры», «Новое литературное обозрение», «Знамя», «Арион», «Медведь», газеты «Ex libris НГ» (родился в 1969 году), **Евгения Лавут** — филфак МГУ, пишет стихи и прозу, переводит прозу с английского (родилась в 1972 году), **Станислав Львовский** — химфак МГУ, преподавал химию и английский язык, работает в сфере рекламы и public relations, лауреат IV Фестиваля свободного стиха — Москва, 1993 (родился в 1972 году).

Перед нами писатели и литераторы новой генерации, известные в Интернете и не только. Скажем, о прозе Станислава Львовского мы уже писали как о прозе современной и по реалиям жизни, отраженным в ней, и по воплотившемуся в этой прозе авторскому взгляду, мироощущению нового поколения. Но оказывается, что вот эти признаки не играют принципиальной роли для редколлегии — редколлегия выбирает для своего альманаха прозу Эдуарда Шульмана, прозаика, по чисто внешним атрибутам принадлежащего скорее ранним 70-м, чем 90-м. Но в данном случае есть родство в эстетической ориентированности этих литераторов, и этот аргумент становится решающим для редколлегии.

2

Другое периодическое интернетовское издание, возникшее летом 1999 года, — альманах иронической литературы «Сирано» (http://kulichki.rambler.ru/cyrano/images/cyrano_12.gif), представляющий прозу, поэзию, пародии, афоризмы, эссеистику. Команда, делающая этот альманах, также не слишком знакома широкому читателю: главный редактор альманаха **Михаил Бару (Мишня)**; редакторы: **Дмитрий Горчев (Горчев)**, **Игорь Петров (Лабас)**, **Михаил Сазонов (Мишель)**, **Дмитрий ДЫММА**.

Обращение редакции к читателю:

«Иронически глядя на вполне понятную печаль, присущую произведениям многих прекрасных авторов, несколько несерьезных участников **Литературного объединения имени Л. Стерна** решили открыть альманах иронической литературы „Сирано“. Мы уверены, что наряду с просто глубокими и глубоко трагичными произведениями у многих авторов иногда случаются произведения легкомысленные и не претендующие на врачевание язв этого мира.

Альманах „Сирано“ ни в коем случае не задумывается как юмористический, ибо хотя граница между юмором и иронией достаточно зыбка, она тем не менее есть. Мы приглашаем к сотрудничеству всех авторов, согласных с позицией хотя бы одного из нижепоименованных редакторов — основателей альманаха» (<http://kulichki.rambler.ru/cyreno/content/about.htm>).

Это тоже пусть на первый взгляд в меньшей степени, но эстетически сориентированное собрание текстов. Здесь ориентация чисто жанровая. Издание, повторяю, молодое, но уже быстро обзаведшееся и своими постоянными авторами, и авторами, принявшими участие в первой крупной акции альманаха: Конкурсе иронической поэзии. Среди участников журнала **Михаил Бару**, **Сергей Бойченко**, **Митя Буковский**, **Александр Житинский**, **Вика Измайлова**, **Игорь Иртенев**, **Александр Коквихин**, **Игорь Кручик**, **Игорь Петров**, **Михаил Рабинович**, **Макс Фрай** (список, естественно, неполный).

Художественный уровень представленного на страницах «Сирано» разный — есть тексты более удачные, есть менее. Попадают и хорошие. Ограничусь короткой цитатой из раздела афоризмов:

«Самый пылливый ум — у инквизиторов.

Самые хладнокровные — пресмыкающиеся.

Что ни год — то переломный. Похоже, что так всю жизнь в гипсе и проходим...» (Михаил Бару) (<http://kulichki.rambler.ru/cyrano/baru/baru2.html>).

Обаяние альманаха «Сирано» — в некой дополнительной виртуальности существования этого издания. Читатель, вероятно, обратил внимание на вторые — в данном случае интернетовские — имена членов редколлегии альманаха. Кроме текстов, которые помещаются в «Сирано», читателю предлагается на первой же его странице познакомиться с мифологией самого журнала — хроникой жизни редакции. Это как бы некий параллельный сюжет, предложенный альманахом:

«04.09. Рано редакция обрадовалась, что удачно пережила конец света 11-го августа, рано! Конец, как известно, подкрадывается незаметно. Вчера упаковал свой компьютер отбывающий на жительство в Германию редактор Игорь Петров, потихоньку пакует вещи отбывающий на жительство в Санкт-Петербург бессменный и незаменимый редактор Горчев. Ходят слухи, пока, к счастью, не подтвержденные, что Сам Главный Редактор Миня собрался переехать на жительство из одного небоскреба, торчащего посреди чиста поля, в другой (из этих двух небоскребов и состоит его родной город)... И только редактор Мишель сидит себе тихонько в Швейцарии и никуда не собирается. И что же из этого всего следует? А следует из этого то, что редакция альманаха „Сирано” бодра и свежа, как никогда, и твердо намерена продолжать своих читателей и далее любить, баловать и лелеять, пусть даже сидя на чемоданах. Жизнь продолжается.

08.09. Ну что ж. Жизнь идет сама по себе, а конкурс иронического стихотворения тем временем продолжается. Что удивляет редакцию, так это наивность некоторых авторов, которые из огромного списка номинаторов предпочитают именно редакцию „Сирано” и именно ей присылают свои стихи для номинации на конкурс. Вероятно, они не очень хорошо осведомлены о нравах, царящих в этой самой редакции. А нравы там самые людоедские. Помнится, подборку стихов самого главного редактора Мини зарезали на две трети, Лабаса — наполовину, и даже отца основателя Жору не пощадили, не говоря уже про менее всех поэтически одаренного Горчева, которому удалось тиснуть в альманахе несколько стишков только после того, как он начал шантажировать остальных редакторов тем, что специально будет выкладывать их произведения с орфографическими ошибками».

Возможно, кому-то этот юмор покажется — ну скажем так — излишне кавээнновским, но из процитированного можно почувствовать определенный стиль альманаха, в котором отсутствует надрывно культивируемый некоторыми держателями литературных сайтов эстетический экстремизм, да и просто «крутизна» — лексическая, нравственная и проч.

3

Ну а теперь несколько слов о собственно литературных событиях последних месяцев в Интернете. К таковым я бы отнес появление пьесы Михаила Угарова «Зеленые щеки апреля» (<http://www.pereplet.ru:8081/text/aprel./html>). Правда, здесь необходима оговорка — литературной новостью, строго говоря, она не является: печаталась в журнале «Драматург» в 1995 году (№ 6) и даже фигурировала в новостной рецензии Алены Злобиной (1996, № 8). И тем не менее, представ перед новой аудиторией, а главное, в новом литературном контексте, она заставляет прочитывать себя заново. Здесь, повторяю, важна «подсветка контекста». Трудно предположить, что Угаров писал пьесы, ориентируясь на субкультуру нарождающегося русского Интернета, но пьеса эта, что называется, *легла* в контекст литературного Интернета почти органично, показывая возможности «интеллектуального стеба», которыми были заморожены многие из держателей первых литературных сайтов и которые слишком многим, претендующим на реализацию их (возможностей), оказались не по зубам. Это с одной стороны. А с другой, и это здесь принципиально важно, органичность угаровского сочинения для новой «интернетовской литературы» свидетельствует о неких общих процессах в движении современной литературы, абсолютно равнодушных к попыткам разделить ее на «бумажную» и «интернетовскую».

«Зеленые щеки апреля» — это своеобразный историософский гротеск. Время действия: апрель 1916 года; место действия: безлюдная местность в окрестностях Швейцарского озера. Действующие лица: Сережа, двадцатилетний юноша, русские политические эмигранты Лисицын и Крупа и местный житель Бауэр (появляется эпизодически). Внешний сюжет: русский юноша Сережа, романтический, чистый, восторженный, торопится в Цюрих к приходу поезда, на котором прибывает его невеста Нина и на котором они поедут дальше, но уже вместе, чтоб никогда больше не разлучаться. Сережа сталкивается с Лисицыным, совершающим прогулку со своей женой и соратницей Крупой. Вежливый юноша вынужден вступить с ними

в беседу, отвечать на вопросы, ему неловко отказаться от предложенного соотечественниками шнапса (шнапсом снабжает компанию немец Бауэр), он подчиняется их в данном случае злой воле — и вот Сережа уже пьян, беспомощен, он забыл про время, он безнадежно опаздывает к поезду, и ясно, что Нину он больше никогда не увидит, и день, когда светило веселое весеннее солнце, превращается в черный вечер с ливнем и несчастным страдающим, всеми брошенным Сережей. Повествование строится на игре историко-культурных аллюзий. Автор сталкивает лубочный (из массового сознания, переиначивающего под себя Чехова, Набокова и т. д.) мир русских интеллигентных мальчиков, играющих в дачных театрах Гамлета, влюбленных первой любовью, с миром страшным, вывернутым, с нежитями-позитивистами, прагматиками-революционерами. Лисицын соответственно — лыс, картав, Крупу называет Наденькой, предельно физиологичен (икает, рыгает, мочится без стеснения), с отвращением вспоминает Россию и восхищается красотой звучания немецких имен из «тоталитарных» опер Вагнера и т. д. Сережу завораживает жуть, которой тянет от его зловещих соотечественников, — мальчик перед ними весь открыт, робок, податлив.

Это противостояние дано автором отстраненно, гротескно, почти фарсово, он работает не с образами живых людей и даже не с условными историческими персонажами, а с клише массового сознания (Крупа — имя Крупской из анекдотов), на таком же уровне переосмысляются и историко-культурные знаки русской литературы XX века. Автор иронизирует над устоявшимися «интеллигентскими» представлениями о несчастной погрязшей России: даже традиционный для русской литературы элегический мотив отроческого потрясения мальчика, случайно увидевшего купающихся нагишом русских деревенских девок, выворачивается в финале апокалиптической сценой погони за мальчиком агрессивных безжалостных валькирий, тех самых, которыми так восхищается Лисицын-Ульянов с Крупой. Кошмар двухмерных агрессивных прагматиков Лисицына и Крупы окончательно накрывает Россию.

Вещь, на мой взгляд, несомненно интересная — талантливая, а в профессиональном отношении — изошренно выполненная. Правда, не отпускает ощущение, что попытка говорить об историософских проблемах на языке фарса создает излишнюю напряженность, сковывающую мысль автора. Стихия низового фольклора иногда подминает под себя игру с культурно-историческими понятиями, выхлещивая их. Но это, возможно, просто придирки. А в целом со спокойной совестью могу порекомендовать читателю знакомство с этим текстом.

Составитель **Сергей Костырко**.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Апрель

5 лет назад — в № 4 за 1995 год напечатан рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный».

35 лет назад — в № 4 за 1965 год напечатаны очерки Виктора Некрасова «Месяц во Франции» и статья В. Лакшина «Писатель, читатель, критик».

45 лет назад — в № 4, 5, 6, 7, 8 за 1955 год напечатана повесть Николая Дубова «Сирота».

60 лет назад — в № 4-5, 8 за 1940 год напечатан роман Алексея Толстого «Хмурое утро» (третья часть романа «Хождение по мукам»).

SUMMARY



The poetry is represented in this Issue by poems of Anatoly Nayman, Maxim Amelin, Evgeny Saburov and Rakhil Baumvol. The following materials are also published here: the Vladimir Makanin's narrative «The Letter „A”», a story by Yury Petkevich «Joy», the forth part of the prose work «The Long Distance or The Slavic Accent» by Marina Paley; the author herself calls such a genre «screen script imitations». You can also read «The Sea-gull», a play by Boris Akunin, a well known modern author of intellectual detectives; this play is written in a postmodern genre as a «continuation» of the classical Chekhov's play.

Under the heading «Times and Manners» are published Aleksey Turobov's sketches «Everyday America».

Under the heading «Philosophy. History. Politics» you can find articles by Valery Shubinsky «The City of the Dead and the City of the Immortals» about the Saint-Petersburg and Moscow images' evolution in the Russian culture of XVII — XX centuries. In this section you can also read an article by Vladimir Yusbashev «The City on the Eve», dedicated to the modern Moscow.

The notes by Olga Shamborant «The Entertaining Diagnostics» are published in the section «Essais».

The literary critique is represented by the Pavel Basinsky's article «How Can The Heart Express Yourself...», dedicated to contemporary Russian prose. In this section you can also find the Marina Adamovich's article «This Virtual World ...», where the author prepares a detailed analytical survey of the modern Internet-literature.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@aha.ru или seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: <http://www.infoart.ru/magazine>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”».

Сдано в набор 20.12.99 г. Подписано к печати 01.02.2000 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 16,0 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28,0 уч.-изд. л.

Тираж 14 860 экз. Зак. 2093. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

**В год своего 75-летия
редакция журнала «Новый мир»
приняла решение учредить
постоянную литературную премию
за лучший рассказ года.**

**Премия присуждается автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).
Правом выдвижения произведений на премию
обладают авторы, издатели и критики.
Жюри формируется из сотрудников редакции
и независимых экспертов.
Состав жюри и денежное содержание премии
будут объявлены дополнительно.
Объявление лауреата и торжественное вручение премии
состоится в декабре 2000 – январе 2001 года.
Мы приглашаем заинтересованных лиц
стать соучредителями премии.**

**Контактный телефон (095) 209-57-02.
E-mail:seva@mail.cnt.ru**